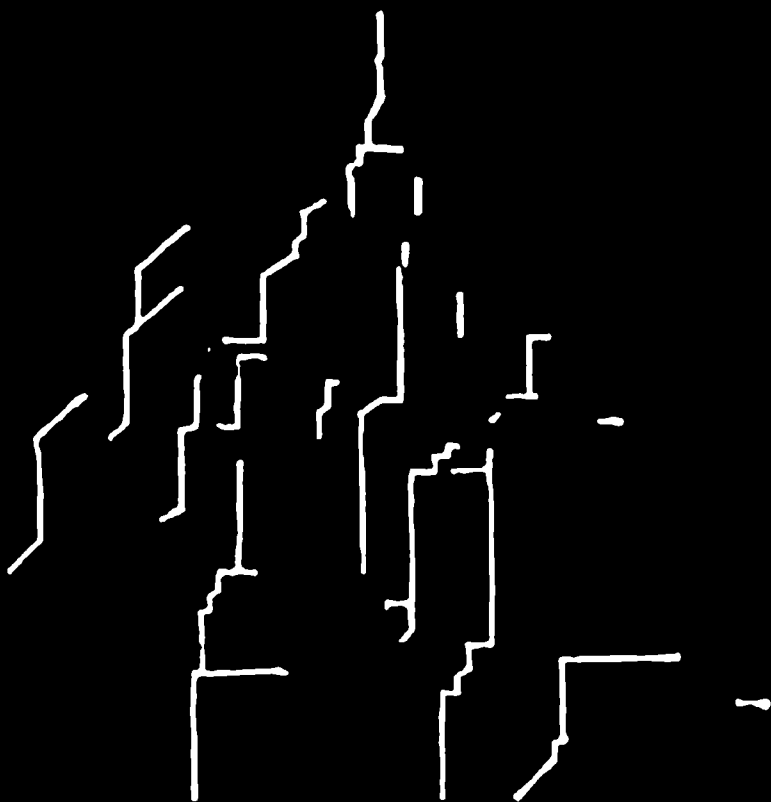


AMERICAN SHORT STORIES THE 20th CENTURY

АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА



**AMERICAN
SHORT STORIES
THE 20th CENTURY**

**АМЕРИКАНСКАЯ
НОВЕЛЛА
XX ВЕКА**



AMERICAN SHORT STORIES THE 20th CENTURY

**MOSCOW
RADUGA PUBLISHERS**

1989

АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РАДУГА»

1989

Составление Г. В. ЛАПИНОЙ
Послесловие А. А. ДОЛИНИНА
Комментарии А. А. ДОЛИНИНА, Г. В. ЛАПИНОЙ
Художник А. О. СЕМЕНОВ
Редактор С. Б. БЕЛОВ

**Американская новелла XX века: Сборник / Сост.
Г. В. Лапина. — На англ. яз. с параллельным русским
текстом. — М.: Радуга, 1989. — 590 с.**

Сборник знакомит с лучшими произведениями таких признанных мастеров американской новеллы XX века, как Э. Хемингуэй, Ф. С. Фицджеральд, У. Фолкнер, Дж. Д. Сэлинджер и другие, на языке оригинала, а также в переводах ведущих советских переводчиков.

Издание сопровождается послесловием и комментариями и рассчитано на студентов высших учебных заведений, изучающих английский язык, а также на тех, кто интересуется проблемами художественного перевода.

© Составление, послесловие и комментарии издательство «Радуга», 1989

А $\frac{4703040100-270}{031(01)-89}$ 492-89

ISBN 5-05-002423-4

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

SHERWOOD ANDERSON
ШЕРВУД АНДЕРСОН

The Book of the Grotesque	8
Книга о нелепых людях. <i>Перевод В. Гольшера</i> . .	9
The Strength of God	14
Сила Божья. <i>Перевод В. Гольшера</i>	15
The Teacher	30
Учительница. <i>Перевод В. Гольшера</i>	31
Death in the Woods	46
Смерть в лесу. <i>Перевод В. Стенича</i>	47

RING LARDNER
РИНГ ЛАРДНЕР

Who Dealt?	74
Кому сдавать? <i>Перевод Н. Дарузес</i>	75

KATHERINE ANNE PORTER
КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР

The Jilting of Granny Weatherall	100
Как была брошена бабушка Вэзеролл. <i>Перевод</i> <i>Н. Волжиной</i>	101

F. SCOTT FITZGERALD
ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Babylon Revisited	126
Опять Вавилон. <i>Перевод М. Кан</i>	127

CONTENTS

WILLIAM FAULKNER УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

A Rose for Emily	178
Роза для Эмили. Перевод И. Бернштейн	179
That Evening Sun	202
Когда наступает ночь. Перевод О. Холмской	203

ERNEST HEMINGWAY ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Indian Camp	244
Индейский поселок. Перевод О. Холмской	245
The Killers	254
Убийцы. Перевод Е. Калашниковой	255
A Way You'll Never Be	274
Какими вы не будете. Перевод И. Кашкина	275
The Short Happy Life of Francis Macomber	302
Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера. Перевод М. Лорие	303

BERNARD MALAMUD БЕРНАРД МАЛАМУД

The Magic Barrel	374
Волшебный бочонок. Перевод Р. Райт-Ковалевой	375

J. D. SALINGER ДЖЕРОМ Д. СЭЛИНДЖЕР

De Daumier-Smith's Blue Period	416
Голубой период де Домье-Смита. Перевод Р. Райт-Ковалевой	417

FLANNERY O'CONNOR ФЛАННЕРИ О'КОННОР

Judgement Day	480
Судный день. Перевод А. Кистяковского	481

Послесловие А. А. Долинина	529
--------------------------------------	-----

Комментарии А. А. Долинина и Г. В. Лапиной	547
--	-----

AMERICAN SHORT STORIES THE 20th CENTURY

Sherwood Anderson Шервуд Андерсон

Ring Lardner Ринг Ларднер

Katherine Anne Porter Кэтрин Энн Портер

**F. Scott Fitzgerald Фрэнсис Скотт
Фицджеральд**

William Faulkner Уильям Фолкнер

Ernest Hemingway Эрнест Хемингуэй

Bernard Malamud Бернард Маламуд

J. D. Salinger Джером Д. Сэлинджер

Flannery O'Connor Фланнери О'Коннор

АМЕРИКАНСКАЯ НОВЕЛЛА XX ВЕКА



SHERWOOD ANDERSON

The Book of the Grotesque

The writer, an old man with a white mustache, had some difficulty in getting into bed. The windows of the house in which he lived were high and he wanted to look at the trees when he awoke in the morning. A carpenter came to fix the bed so that it would be on a level with the window.

Quite a fuss was made about the matter. The carpenter, who had been a soldier in the Civil War, came into the writer's room and sat down to talk of building a platform for the purpose of raising the bed. The writer had cigars lying about and the carpenter smoked.

For a time the two men talked of the raising of the bed and then they talked of other things. The soldier got on the subject of the war. The writer, in fact, led him to that subject. The carpenter had once been a prisoner in Andersonville prison and had lost a brother. The brother had died of starvation, and whenever the carpenter got upon that subject he cried. He, like the old writer, had a white mustache, and when he cried he puckered up his lips and the mustache bobbed up and down. The weeping old man with the cigar in his mouth was ludicrous. The plan the writer had for the raising of his bed was forgotten and later the carpenter did it in his own way and the writer,



ШЕРВУД АНДЕРСОН

Книга о нелепых людях

Писателю, седоусому старику, было трудновато забираться в постель. Окна в его доме располагались высоко над полом, а он хотел смотреть на деревья, когда просыпался по утрам. Пришел плотник, чтобы поднять кровать вровень с подоконником.

Дело сопровождалось изрядной суматохой. Плотник, ветеран Гражданской войны, пришел к писателю в комнату и сел поговорить о сооружении помоста, на который он поставит кровать. В комнате у писателя лежали сигары, и плотник закурил.

Сперва они поговорили о том, как поднять кровать, потом стали говорить о другом. Плотник затронул тему войны. В сущности, его навел на это писатель. Плотник побывал в плену, сидел в военной тюрьме в Андерсоне-вилле, и у него погиб брат. Брат умер от голода, и, вспоминая об этом, плотник плакал. У него, как и у старого писателя, были седые усы, плача, он надувал губы, и усы ездили вверх и вниз. Плачущий старик с сигарой во рту выглядел смешно. О писательском проекте поднятия кровати забыли, и впоследствии плотник сделал все по-своему, а писатель, которому шел седьмой десяток,

who was past sixty, had to help himself with a chair when he went to bed at night.

In his bed the writer rolled over on his side and lay quite still. For years he had been beset with notions concerning his heart. He was a hard smoker and his heart fluttered. The idea had got into his mind that he would some time die unexpectedly and always when he got into bed he thought of that. It did not alarm him. The effect in fact was quite a special thing and not easily explained. It made him more alive, there in bed, than at any other time. Perfectly still he lay and his body was old and not of much use any more, but something inside him was altogether young. He was like a pregnant woman, only that the thing inside him was not a baby but a youth. No, it wasn't a youth, it was a woman, young, and wearing a coat of mail like a knight. It is absurd, you see, to try to tell what was inside the old writer as he lay on his high bed and listened to the fluttering of his heart. The thing to get at is what the writer, or the young thing within the writer, was thinking about.

The old writer, like all of the people in the world, had got, during his long life, a great many notions in his head. He had once been quite handsome and a number of women had been in love with him. And then, of course, he had known people, many people, known them in a peculiarly intimate way that was different from the way in which you and I know people. At least that is what the writer thought and the thought pleased him. Why quarrel with an old man concerning his thoughts?

In the bed the writer had a dream that was not a dream. As he grew somewhat sleepy but was still conscious, figures began to appear before his eyes. He imagined the young indescribable thing within himself was driving a long procession of figures before his eyes.

You see the interest in all this lies in the figures that went before the eyes of the writer. They were all grotesques. All of the men and women the writer had ever known had become grotesques.

The grotesques were not all horrible. Some were

вынужден был взбираться на кровать при помощи стула.

В постели писатель поворачивался на бок и лежал тихо. Много лет его осаждали соображения касательно его сердца. Он был заядлый курильщик, и сердце у него трепыхалось. В уме его угнездилась мысль, что он умрет скоропостижно, и когда он ложился спать, он каждый раз думал об этом. Мысль эта не пугала его. Но действовала особым образом, трудно даже объяснить каким. Из-за нее он в постели оживлялся — больше, чем где бы то ни было. Лежал он совсем тихо, тело у него было старое, и проку от него уже было мало, но что-то внутри оставалось совсем молодым. Он был как беременная женщина — только носил в себе не младенца, а молодость. Нет, даже не молодость, а женщину, молодую и в кольчуге, как рыцарь. Видите, бессмысленно объяснять, что оживало у писателя внутри, когда он лежал на высокой кровати и прислушивался к трепыханию сердца. Разобраться же надо в том, о чем думал писатель или это молодое внутри него.

В голове у старика писателя, как и у всех людей на свете, за долгую жизнь накопилось много понятий. В свое время он был интересным мужчиной, и не одна женщина любила его. А кроме того, он знал людей, знал как-то особенно близко, не так, как знаем людей мы с вами. Так, по крайней мере, думал сам писатель, и ему было приятно так думать. Не спорить же со старым человеком о его мыслях?

Писателя в постели посещал сон, то есть не совсем сон. Где-то на полпути между явью и дремотой перед глазами его возникали фигуры. Ему представлялось, будто это молодое, необъяснимое, что живет в нем, проводит длинную вереницу фигур перед его глазами.

И любопытно тут, видите ли, то, какие фигуры проходили перед глазами писателя. Все они были нелепы. Все мужчины и женщины, которых писатель знал, становились нелепыми.

Эти нелепые люди не все были уродами. Были забав-

amusing, some almost beautiful, and one, a woman all drawn out of shape, hurt the old man by her grotesqueness. When she passed he made a noise like a small dog whimpering. Had you come into the room you might have supposed the old man had unpleasant dreams or perhaps indigestion.

For an hour the procession of grotesques passed before the eyes of the old man, and then, although it was a painful thing to do, he crept out of bed and began to write. Some one of the grotesques had made a deep impression on his mind and he wanted to describe it.

At his desk the writer worked for an hour. In the end he wrote a book which he called "The Book of the Grotesque." It was never published, but I saw it once and it made an indelible impression on my mind. The book had one central thought that is very strange and has always remained with me. By remembering it I have been able to understand many people and things that I was never able to understand before. The thought was involved but a simple statement of it would be something like this:

That in the beginning when the world was young there were a great many thoughts but no such thing as a truth. Man made the truths himself and each truth was a composite of a great many vague thoughts. All about in the world were the truths and they were all beautiful.

The old man had listed hundreds of the truths in his book. I will not try to tell you of all of them. There was the truth of virginity and the truth of passion, the truth of wealth and of poverty, of thrift and of profligacy, of carelessness and abandon. Hundreds and hundreds were the truths and they were all beautiful.

And then the people came along. Each as he appeared snatched up one of the truths and some who were quite strong snatched up a dozen of them.

It was the truths that made the people grotesques. The old man had quite an elaborate theory concerning the matter. It was his notion that the moment one of the people took one of the truths to himself, called it his truth, and tried to live his life by it, he became a grotesque and the

ные, были почти прекрасные, а одна женщина, совсем искаженного вида, ранила старика своей нелепостью. Когда она проходила, он скулил наподобие собачонки. Очутись вы в комнате, вы, пожалуй, подумали бы, что у старика дурные сны или же несварение желудка.

Час тянулась вереница нелепых людей перед глазами старика, а затем, хоть и тяжело ему это было, он вылезал из постели и садился записывать. Кое-кто из нелепых людей глубоко западал ему в душу, и ему хотелось описать их.

За столом писатель работал час. В итоге получилась книга, которую он назвал «Книгой о нелепых людях». Ее так и не напечатали, но я ее однажды видел, и она произвела на меня неизгладимое впечатление. В книге была стержневая мысль, очень странная, и я усвоил ее навсегда. Вспоминая ее, я мог понять многих и многое, непонятное мне прежде. Мысль эта сложная, а упрощая, ее можно изложить примерно так:

Что вначале, когда мир был молод, существовало множество мыслей, но правды как таковой не было. Человек вырабатывал правды сам, и каждая правда составлялась из множества неясных мыслей. Повсюду в мире были правды, и все они были прекрасны.

Старик занес сотни правд в свою книгу. Я не стану перечислять вам все. Была там правда девственности и правда страсти, правда богатства и нищеты, бережливости и транжирства, легкомыслия и самозабвения. Сотни и сотни правд, и все — прекрасные.

А потом набежали люди. Каждый, явившись, ухватывал какую-нибудь правду, а особенно сильные ухватывали по десятку.

Правды и сделали людей нелепыми. Старик развил целую теорию на этот счет. По его представлениям, как только человек захватывал для себя одну из правд, нарекал ее своею и старался прожить по ней жизнь, он

truth he embraced became a falsehood.

You can see for yourself how the old man, who had spent all of his life writing and was filled with words, would write hundreds of pages concerning this matter. The subject would become so big in his mind that he himself would be in danger of becoming a grotesque. He didn't, I suppose, for the same reason that he never published the book. It was the young thing inside him that saved the old man.

Concerning the old carpenter who fixed the bed for the writer, I only mentioned him because he, like many of what are called very common people, became the nearest thing to what is understandable and lovable of all the grotesques in the writer's book.

The Strength of God

The Reverend Curtis Hartman was pastor of the Presbyterian Church of Winesburg, and had been in that position ten years. He was forty years old, and by his nature very silent and reticent. To preach, standing in the pulpit before the people, was always a hardship for him and from Wednesday morning until Saturday evening he thought of nothing but the two sermons that must be preached on Sunday. Early on Sunday morning he went into a little room called a study in the bell tower of the church and prayed. In his prayers there was one note that always predominated. "Give me strength and courage for Thy work, O Lord!" he pleaded, kneeling on the bare floor and bowing his head in the presence of the task that lay before him.

The Reverend Hartman was a tall man with a brown beard. His wife, a stout, nervous woman, was the daughter of a manufacturer of underwear at Cleveland, Ohio. The minister himself was rather a favorite in the town. The elders of the church liked him because he was quiet and unpretentious and Mrs. White, the banker's wife, thought him scholarly and refined.

становился нелепым, а облюбованная правда — ложью.

Сами понимаете, что старик, который затратил на писание всю жизнь и весь был полон словами, может написать сотни страниц на эту тему. И предмет так разросся в его мозгу, что писатель сам рисковал превратиться в нелепого человека. Но не превратился. По той же, я думаю, причине, по которой не напечатал свою книгу. Молодое внутри него — вот что спасло старика.

О старом же плотнике, который поднимал писателю кровать, я упомянул потому только, что среди всех нелепых личностей в книге писателя его, подобно многим так называемым простым людям, легче всего, наверное, можно было бы понять и полюбить.

Сила Божья

Пастор Кёртис Хартман служил в пресвитерианской церкви Уайнсбурга уже десять лет. Это был сорокалетний человек, крайне молчаливый и замкнутый. Проповедовать с амвона, стоя перед народом, всегда было для него испытанием, и со среды до субботнего вечера он не мог думать ни о чем, кроме тех двух проповедей, которые надо прочесть в воскресенье. В воскресенье рано утром он уходил в кабинет — комнатку на колокольне — и молился. В молитвах его преобладала одна нота. «Дай мне силы и смелости для труда Твоего, Господи!» — просил он, стоя коленями на голом полу, и склонял голову перед делом, которое его ожидало.

Кёртис Хартман был высокий мужчина с каштановой бородой. Его жена, толстая нервная женщина, была дочерью фабриканта нижнего белья из Кливленда. К самому священнику в городе относились хорошо. Церковные старейшины одобряли его за то, что он спокойный и скромный, а жена банкира Уайта считала его образованным и культурным.

The Presbyterian Church held itself somewhat aloof from the other churches of Winesburg. It was larger and more imposing and its minister was better paid. He even had a carriage of his own and on summer evenings sometimes drove about town with his wife. Through Main Street and up and down Buckeye Street he went, bowing gravely to the people, while his wife, afire with secret pride, looked at him out of the corners of her eyes and worried lest the horse become frightened and run away.

For a good many years after he came to Winesburg things went well with Curtis Hartman. He was not one to arouse keen enthusiasm among the worshippers in his church but on the other hand he made no enemies. In reality he was much in earnest and sometimes suffered prolonged periods of remorse because he could not go crying the word of God in the highways and byways of the town. He wondered if the flame of the spirit really burned in him and dreamed of a day when a strong sweet new current of power would come like a great wind into his voice and his soul and the people would tremble before the spirit of God made manifest in him. "I am a poor stick and that will never really happen to me," he mused dejectedly, and then a patient smile lit up his features. "Oh well, I suppose I'm doing well enough," he added philosophically.

The room in the bell tower of the church, where on Sunday mornings the minister prayed for an increase in him of the power of God, had but one window. It was long and narrow and swung outward on a hinge like a door. On the window, made of little leaded panes, was a design showing the Christ laying his hand upon the head of a child. One Sunday morning in the summer as he sat by his desk in the room with a large Bible opened before him, and the sheets of his sermon scattered about, the minister was shocked to see, in the upper room of the house next door, a woman lying in her bed and smoking a cigarette while she read a book. Curtis Hartman went on tiptoe to the window and closed it softly. He was horror stricken at the thought of a woman smoking and trembled also to think that his eyes, just raised from the pages of the book of God, had

Пресвитерианская церковь держалась несколько особняком от других церквей Уайнсбурга. И здание ее было больше, внушительней, и священнику платили лучше. У него был даже собственный выезд, и летними вечерами он иногда катался с женой по городу. Ехал по Главной улице, туда и обратно по Каштановой, степенно кланялся встречным, а жена в это время, тайно млея от гордости, поглядывала на него краем глаза и опасалась, как бы лошадь не понесла.

Много лет после приезда в Уайнсбург дела у Кёртиса Хартмана шли благополучно. Прихожан у себя в церкви он, правда, не воспалял, но и врагов себе не нажил. Служил с душой и порою подолгу мучился угрызениями, что не способен ходить и выкликать Слово Божье на улицах и в закоулках города. Он сомневался, горит ли в нем действительно духовный жар, и мечтал о том дне, когда неодолимый и сладостный прилив свежих сил ворвется в его голос и душу подобно ветру, и люди задрожат перед духом Божьим, явленным через него. «Я — жалкая чурка, и никогда мне этого не дожидаться, — уныло размышлял пастор, но вскоре лицо его освещалось терпеливой улыбкой. — А впрочем, я как будто справляюсь», — философски добавлял он.

Комната в колокольне, где воскресными утрами священник молился об увеличении в нем Божьей силы, была с одним окном. Высокое и узкое, оно отворялось наружу, как дверь. На окне, составленном из маленьких стеклышек в свинцовом переплете, был изображен Христос, возложивший руку на голову ребенка. Однажды летним воскресным утром, сидя за столом с раскрытой Библией и листками будущей проповеди, пастор, к возмущению своему, увидел в верхней комнате соседнего дома женщину, которая лежала на кровати с книжкой и при этом курила сигарету. Кёртис Хартман подошел на цыпочках к окну и тихо прикрыл его. Пастор ужаснулся мысли, что женщина может курить, и с содроганием думал, что стоило его глазам оторваться от божественной книги, как они увидели голые женские

looked upon the bare shoulders and white throat of a woman. With his brain in a whirl he went down into the pulpit and preached a long sermon without once thinking of his gestures or his voice. The sermon attracted unusual attention because of its power and clearness. "I wonder if she is listening, if my voice is carrying a message into her soul," he thought and began to hope that on future Sunday mornings he might be able to say words that would touch and awaken the woman apparently far gone in secret sin.

The house next door to the Presbyterian Church, through the windows of which the minister had seen the sight that had so upset him, was occupied by two women. Aunt Elizabeth Swift, a grey competent-looking widow with money in the Winesburg National Bank, lived there with her daughter Kate Swift, a school teacher. The school teacher was thirty years old and had a neat trim-looking figure. She had few friends and bore a reputation of having a sharp tongue. When he began to think about her, Curtis Hartman remembered that she had been to Europe and had lived for two years in New York City. "Perhaps after all her smoking means nothing," he thought. He began to remember that when he was a student in college and occasionally read novels, good although somewhat worldly women, had smoked through the pages of a book that had once fallen into his hands. With a rush of new determination he worked on his sermons all through the week and forgot, in his zeal to reach the ears and the soul of this new listener, both his embarrassment in the pulpit and the necessity of prayer in the study on Sunday mornings.

Reverend Hartman's experience with women had been somewhat limited. He was the son of a wagon maker from Muncie, Indiana, and had worked his way through college. The daughter of the underwear manufacturer had boarded in a house where he lived during his school days and he had married her after a formal and prolonged courtship, carried on for the most part by the girl herself. On his marriage day the underwear manufacturer had given his daughter five thousand dollars and he promised to leave

плечи и белую длинную шею. В смятении чувств он взошел на амвон и произнес длинную проповедь, ни разу не задумавшись о своих жестах и голосе. Проповедь, из-за ее силы и ясности, слушали как никогда внимательно. «Слушает ли она, достигнет ли до ее души моя проповедь?» — спрашивал себя пастор и уже надеялся, что, может быть, в следующие воскресенья сумеет найти слова, которые тронут и пробудят женщину, видимо, погрязшую в тайном грехе.

Соседний с церковью дом, в окнах которого священник увидел это огорчительное зрелище, занимали две женщины. Элизабет Свифт, седая, деловитая вдова со счетом в Уайнсбургском национальном банке, и ее дочь, учительница Кейт Свифт. У тридцатилетней учительницы была стройная, подтянутая фигура. Друзей у нее было мало; считалось, что она остра на язык. Когда Кёртис Хартман стал думать об учительнице, он вспомнил, что она ездила в Европу и два года прожила в Нью-Йорке. «В конце концов курение может еще ничего не значить», — размышлял он. Он вспомнил, что в студенческие годы, когда ему случалось читать романы, в руки ему попала одна книга, где из страницы в страницу курили порядочные, хотя и несколько суетные женщины. В горячке небывалого воодушевления он проработал над проповедями всю неделю и, усердствуя достичь до слуха и души прихожанки, забыл и смутиться на амвоне, и помолиться в воскресенье утром в кабинете.

По части женщин опыт у пастора Хартмана был небогатый. Он был сыном тележника из Манси в штате Индиана и на учение в колледже зарабатывал сам. Дочь бельевого фабриканта снимала комнату в том же пансионе, где он жил студентом, и женился он на ней после продолжительного и чинного ухаживания, бремя которого девушка взяла в основном на себя. На свадьбу бельевой фабрикант подарил дочери пять тысяч долла-

her at least twice that amount in his will. The minister had thought himself fortunate in marriage and had never permitted himself to think of other women. He did not want to think of other women. What he wanted was to do the work of God quietly and earnestly.

In the soul of the minister a struggle awoke. From wanting to reach the ears of Kate Swift, and through his sermons to delve into her soul, he began to want also to look again at the figure lying white and quiet in the bed. On a Sunday morning when he could not sleep because of his thoughts he arose and went to walk in the streets. When he had gone along Main Street almost to the old Richmond place he stopped and picking up a stone rushed off to the room in the bell tower. With the stone he broke out a corner of the window and then locked the door and sat down at the desk before the open Bible to wait. When the shade of the window to Kate Swift's room was raised he could see, through the hole, directly into her bed, but she was not there. She also had arisen and had gone for a walk and the hand that raised the shade was the hand of Aunt Elizabeth Swift.

The minister almost wept with joy at this deliverance from the carnal desire to "peep" and went back to his own house praising God. In an ill moment he forgot, however, to stop the hole in the window. The piece of glass broken out at the corner of the window just nipped off the bare heel of the boy standing motionless and looking with rapt eyes into the face of the Christ.

Curtis Hartman forgot his sermon on that Sunday morning. He talked to his congregation and in his talk said that it was a mistake for people to think of their minister as a man set aside and intended by nature to lead a blameless life. "Out of my own experience I know that we, who are the ministers of God's word, are beset by the same temptations that assail you," he declared. "I have been tempted and have surrendered to temptation. It is only the hand of God, placed beneath my head, that has raised me up. As he has raised me so also will he raise you. Do not despair. In your hour of sin raise your eyes to the skies and

ров и пообещал оставить после себя, по крайней мере, вдвое больше. Священник считал, что ему посчастливилось в браке, и никогда не позволял себе думать о других женщинах. Не хотел думать о других женщинах. Хотел он только служить Богу, тихо и прилежно.

В душе священника началась борьба. Из желания достигнуть до слуха Кейт Свифт и проповедями внедриться в ее душу возникло желание опять поглядеть, как лежит на кровати белое, спокойное тело. Однажды воскресным утром, когда мысли не давали ему спать, он встал и пошел бродить по городу. Дойдя по Главной улице почти до дома Ричмондов, он остановился, подобрал камень и помчался обратно, в комнату на колокольне. Он выбил камнем уголок в окне, а потом запер дверь и сел перед столом с раскрытой Библией — ждать. Когда в окне Кейт Свифт поднялась занавеска, он увидел через дырку как раз ее постель — но самой женщины там не было. Она тоже встала и пошла гулять; рука же, поднявшая занавеску, была рукою вдовы Элизабет Свифт.

Священник чуть не расплакался от радости, что избежал соблазна подглядывать, — и пошел к себе домой, славя Господа. В недобрую минуту, однако, забыл он заткнуть дыру в окне. Выбитый уголок подрезал босую пятку мальчика, который замер перед Христом, зачарованно глядя ему в лицо.

В то воскресенье Кёртис Хартман забыл свою утреннюю проповедь. Он беседовал с прихожанами и в беседе сказал, что люди ошибаются, полагая, будто их пастырь выделен природой как человек, предназначенный для безупречной жизни.

— По собственному опыту знаю, что нас, служителей Слова Божия, подстерегают те же искушения, какие осаждают вас, — объявил он. — Я был искушаем — и поддался искушению. И только Господь поднял меня, простерши руку мне под голову. Так же и вас он подымет, как меня поднял. Не отчаивайтесь. В час греха по-

you will be again and again saved."

Resolutely the minister put the thoughts of the woman in the bed out of his mind and began to be something like a lover in the presence of his wife. One evening when they drove out together he turned the horse out of Buckeye Street and in the darkness on Gospel Hill, above Waterworks Pond, put his arm about Sarah Hartman's waist. When he had eaten breakfast in the morning and was ready to retire to his study at the back of his house he went around the table and kissed his wife on the cheek. When thoughts of Kate Swift came into his head, he smiled and raised his eyes to the skies. "Intercede for me, Master," he muttered, "keep me in the narrow path intent on Thy work."

And now began the real struggle in the soul of the brown-bearded minister. By chance he discovered that Kate Swift was in the habit of lying in her bed in the evenings and reading a book. A lamp stood on a table by the side of the bed and the light streamed down upon her white shoulders and bare throat. On the evening when he made the discovery the minister sat at the desk in the study from nine until after eleven and when her light was put out stumbled out of the church to spend two more hours walking and praying in the streets. He did not want to kiss the shoulders and the throat of Kate Swift and had not allowed his mind to dwell on such thoughts. He did not know what he wanted. "I am God's child and he must save me from myself," he cried, in the darkness under the trees as he wandered in the streets. By a tree he stood and looked at the sky that was covered with hurrying clouds. He began to talk to God intimately and closely. "Please, Father, do not forget me. Give me power to go tomorrow and repair the hole in the window. Lift my eyes again to the skies. Stay with me, Thy servant, in his hour of need."

Up and down through the silent streets walked the minister and for days and weeks his soul was troubled. He could not understand the temptation that had come to him nor could he fathom the reason for its coming. In a way he began to blame God, saying to himself that he had tried to keep his feet in the true path and had not run about seeking

дымите глаза ваши к небу и спасены будете опять и опять.

Мысли о раздетой женщине священник решительно отбросил, а с женой стал вести себя на манер влюбленного. Однажды вечером, когда они катались, он свернул с Каштановой улицы и на темном Евангельском холме, над Водозаборным прудом, обнял Сару Хартман за талию. Утром, съев завтрак, он, перед тем как удалиться в кабинет в задней части дома, обошел вокруг стола и поцеловал жену в щеку. Когда в голове у него возникали мысли о Кейт Свифт, он улыбался и поднимал глаза к небу. «Господи Владыка, заступись за меня, — бормотал он, — удержи на пути усердия в труде Твоем».

И в душе бородатого священника борьба разгорелась теперь не на шутку. Случайно он обнаружил, что Кейт Свифт имеет обыкновение по вечерам лежать на кровати с книжкой. Подле кровати на столике стояла лампа, и свет лился на белые плечи и обнаженную шею женщины. В вечер, когда было сделано это открытие, священник просидел в кабинете с девяти до начала двенадцатого; как только погас у нее свет, он, спотыкаясь, вышел из церкви и еще два часа бродил по улицам, творя молитвы. Он не хотел целовать плечи и шею Кейт Свифт и не позволял себе задерживаться на таких мыслях. Он сам не знал, чего он хочет. «Я чадо Божье, и Он должен спасти меня от меня самого», — восклицал священник в темноте под деревьями. Остановившись возле дерева, он поглядел на небо, по которому мчались тучи. Он заговорил с Богом искренне и задушевно. «Прошу тебя, Отче, не забывай меня. Дай мне сил пойти завтра и заделать дыру в окне. Обрати мои глаза опять к небу. Не оставь раба Твоего в час нужды».

Взад и вперед ходил по тихим улицам священник; дни и недели не утихала в его душе смута. Не понимал он, что это за напасть, не мог постигнуть ее причину. Косвенно он даже стал упрекать Бога, говоря себе, что старался не сбиться с истинного пути, не искал греха.

sin. "Through my days as a young man and all through my life here I have gone quietly about my work," he declared. "Why now should I be tempted? What have I done that this burden should be laid on me?"

Three times during the early fall and winter of that year Curtis Hartman crept out of his house to the room in the bell tower to sit in the darkness looking at the figure of Kate Swift lying in her bed and later went to walk and pray in the streets. He could not understand himself. For weeks he would go along scarcely thinking of the school teacher and telling himself that he had conquered the carnal desire to look at her body. And then something would happen. As he sat in the study of his own house, hard at work on a sermon, he would become nervous and begin to walk up and down the room. "I will go out into the streets," he told himself and even as he let himself in at the church door he persistently denied to himself the cause of his being there. "I will not repair the hole in the window and I will train myself to come here at night and sit in the presence of this woman without raising my eyes. I will not be defeated in this thing. The Lord has devised this temptation as a test of my soul and I will grope my way out of darkness into the light of righteousness."

One night in January when it was bitter cold and snow lay deep on the streets of Winesburg Curtis Hartman paid his last visit to the room in the bell tower of the church. It was past nine o'clock when he left his own house and he set out so hurriedly that he forgot to put on his overshoes. In Main Street no one was abroad but Hop Higgins the night watchman and in the whole town no one was awake but the watchman and young George Willard, who sat in the office of the *Winesburg Eagle* trying to write a story. Along the street to the church went the minister, plowing through the drifts and thinking that this time he would utterly give way to sin. "I want to look at the woman and to think of kissing her shoulders and I am going to let myself think what I choose," he declared bitterly and tears came into his eyes. He began to think that he would get out of the ministry and try some other way of life. "I shall go to some city and get

«Всю мою молодость и все годы здесь я смиренно делал мою работу, — роптал он. — За что же мне искушение? Чем провинился, что на меня наложено это бремя?»

Трижды в начале осени и зимой этого года украдкой приходил из дома в комнату на колокольне Кёртис Хартман: сидел в темноте, смотрел на раздетую учительницу, а потом бродил по улицам и молился. Он не мог себя понять. Неделями он почти не вспоминал об учительнице и говорил себе, что победил плотское желание глядеть на ее тело. А потом что-то случалось. Он сидел в кабинете у себя дома, прилежно работал над проповедью и вдруг начинал беспокойно расхаживать по комнате. «Выйду-ка на улицу, — говорил он и, даже открывая церковную дверь, упорно не признавался себе, зачем он здесь. — Я не заделаю дыру в окне и приучу себя приходить сюда вечером, сидеть поблизости от этой женщины и не поднимать на нее глаз. Я не сдамся. Господь замыслил это искушение, чтобы испытать мою душу, и я нащупаю путь из тьмы на свет праведности».

Январским вечером, в лютый мороз, когда на улицах Уайнсбурга лежал глубокий снег, священник сделал последний визит в комнату на колокольне. Вышел он из дому в десятом часу и так торопился, что позабыл галоши. На Главной улице не было ни души, кроме ночного сторожа Хопа Хигинса, да и во всем городе не спал только сторож и молодой Джордж Уилард, который сидел в редакции «Уайнсбургского орла» и пытался сочинить рассказ. Шел по улице в церковь священник, пробирался по сугробам и думал, что на этот раз он всецело предастся греху. «Я хочу смотреть на женщину и думать о том, как целую ей плечи, и я позволю себе думать, о чем хочу, — ожесточенно провозгласил он, и у него потекли слезы. Он стал думать, что сложит с себя сан и пощет другой дороги в жизни. — Уеду в большой город и

into business," he declared. "If my nature is such that I cannot resist sin, I shall give myself over to sin. At least I shall not be a hypocrite, preaching the word of God with my mind thinking of the shoulders and neck of a woman who does not belong to me."

It was cold in the room of the bell tower of the church on that January night and almost as soon as he came into the room Curtis Hartman knew that if he stayed he would be ill. His feet were wet from tramping in the snow and there was no fire. In the room in the house next door Kate Swift had not yet appeared. With grim determination the man sat down to wait. Sitting in the chair and gripping the edge of the desk on which lay the Bible he stared into the darkness thinking the blackest thoughts of his life. He thought of his wife and for the moment almost hated her. "She has always been ashamed of passion and has cheated me," he thought. "Man has a right to expect living passion and beauty in a woman. He has no right to forget that he is an animal and in me there is something that is Greek. I will throw off the woman of my bosom and seek other women. I will besiege this school teacher. I will fly in the face of all men and if I am a creature of carnal lusts I will live then for my lusts."

The distracted man trembled from head to foot, partly from cold, partly from the struggle in which he was engaged. Hours passed and a fever assailed his body. His throat began to hurt and his teeth chattered. His feet on the study floor felt like two cakes of ice. Still he would not give up. "I will see this woman and will think the thoughts I have never dared to think," he told himself, gripping the edge of the desk and waiting.

Curtis Hartman came near dying from the effects of that night of waiting in the church, and also he found in the thing that happened what he took to be the way of life for him. On other evenings when he had waited he had not been able to see, through the little hole in the glass, any part of the school teacher's room except that occupied by her bed. In the darkness he had waited until the woman suddenly appeared sitting in the bed in her white night-

займусь коммерцией, — сказал он. — Коли природа моя такова, что не могу греху противиться, так отдамся же греху. Хоть пустосвятом не буду, а то на устах у меня слово Божье, а на уме плечи и шея женщины, которая мне не принадлежит».

В ту январскую ночь на колокольне было холодно, и, едва войдя в комнату, Кёртис Хартман понял, что если останется здесь, то заболит. Ноги у него промокли от ходьбы по снегу, а печки не было. В доме напротив Кейт Свифт еще не появилась. С мрачной решимостью он уселся ждать. Сидя на стуле и вцепившись в края стола, на котором лежала Библия, он смотрел в темноту, и в голове у него проходили самые черные мысли за всю его жизнь. Сейчас он думал о своей жене чуть ли не с ненавистью. «Она всегда стыдилась страсти, и она обездолила меня, — думал пастор. — Человек вправе ждать от женщины живой страсти и красоты. Он не вправе забывать, что он животное; вот и во мне — есть же что-то от эллина. Я вырву эту женщину из моего сердца и буду искать других женщин. Буду осаждать учительницу. Я брошу вызов людям и, коль скоро я — раб плотских вожделений, ради вожделений и стану жить».

Отчаявшийся пастор дрожал всем телом — и от холода, и оттого, что в душе у него был разброд. Текли чашы, и лихорадка забирала его тело. У него болело горло и стучали зубы. Ноги на полу кабинета окоченели. Но он не желал сдаваться. «Я увижу эту женщину и буду думать о том, о чем никогда не смел думать», — говорил он себе, вцепившись в край стола, и ждал.

Кёртис Хартман чуть не умер от последствий этого ночного ожидания на колокольне — и в том, что произошло, прозрел, как ему казалось, свой жизненный путь. В прошлые вечера ему удавалось разглядеть через маленькую дыру в окне только ту часть комнаты, где стояла кровать учительницы. Он ждал в темноте — и вот на кровати появлялась женщина в белой ночной ру-

robe. When the light was turned up she propped herself up among the pillows and read a book. Sometimes she smoked one of the cigarettes. Only her bare shoulders and throat were visible.

On the January night, after he had come near dying with cold and after his mind had two or three times actually slipped away into an odd land of fantasy so that he had by an exercise of will power to force himself back into consciousness, Kate Swift appeared. In the room next door a lamp was lighted and the waiting man stared into an empty bed. Then upon the bed before his eyes a naked woman threw herself. Lying face downward she wept and beat with her fists upon the pillow. With a final outburst of weeping she half arose, and in the presence of the man who had waited to look and to think thoughts the woman of sin began to pray. In the lamplight her figure, slim and strong, looked like the figure of the boy in the presence of the Christ on the leaded window.

Curtis Hartman never remembered how he got out of the church. With a cry he arose, dragging the heavy desk along the floor. The Bible fell, making a great clatter in the silence. When the light in the house next door went out he stumbled down the stairway and into the street. Along the street he went and ran in at the door of the *Winesburg Eagle* to George Willard, who was tramping up and down in the office undergoing a struggle of his own, he began to talk half incoherently. "The ways of God are beyond human understanding," he cried, running in quickly and closing the door. He began to advance upon the young man, his eyes glowing and his voice ringing with fervor. "I have found the light," he cried. "After ten years in this town, God has manifested himself to me in the body of a woman." His voice dropped and he began to whisper. "I did not understand," he said. "What I took to be a trial of my soul was only a preparation for a new and more beautiful fervor of the spirit. God has appeared to me in the person of Kate Swift, the school teacher, kneeling naked on a bed. Do you know Kate Swift? Although she may not be aware of it, she is an instrument of God, bearing the message of truth."

башке. Она прибавляла огня в лампе и, подпершись подушками, принималась за книгу. Иногда курила сигарету. Видны были только белые плечи и шея.

В январскую ночь, когда он чуть не замерз насмерть и ум его раза два или три по-настоящему уносился в причудливый мир фантазий, так что лишь усилием воли он возвращал себя к действительности, Кейт Свифт все же появилась. В комнате зажегся свет, и взгляд пастора уткнулся в пустую кровать. Потом на глазах у него в постель бросилась голая женщина. Лежа ничком, она плакала и колотила кулаками по подушке. Зарыдав напоследок, она привсталала, и на глазах у мужчины, который хотел подглядывать и предаваться мыслям, грешница начала молиться. В свете лампы ее стройная сильная фигура напоминала фигуру мальчика, замершего перед Спасителем на витраже колокольни.

Кёртис Хартман не помнил, как он покинул колокольню. Он вскочил с криком, протацив по полу тяжелый стол. С оглушительным в тишине грохотом упала Библия. Когда свет в доме напротив погас, священник скатился по лестнице и выскочил на улицу. Шел по улице, вбежал в редакцию «Уайнсбургского орла». С Джорджем Уилардом, который топал взад и вперед по комнате, тоже переживая внутренний раздор, заговорил почти бессвязно.

— Пути Господни неисповедимы, — закричал он, ворвавшись в комнату и захлопнув дверь. С горящими глазами он наседали на молодого человека, в его голосе звенела истовость. — Я обрел свет, — кричал он. — Десять лет прожил в этом городе — и Бог явил себя мне в теле женщины. — Голос его упал до шепота. — Я не понимал. Я думал, что Он испытывает мою душу, а Он подготавливал меня для нового и более прекрасного духовного подвига. Бог явился мне в образе Кейт Свифт, учительницы, когда она стояла, нагая, на коленях в постели. Знаете вы Кейт Свифт? Может быть, сама того не ведая, она — орудие Божье, посланница истины.

Reverend Curtis Hartman turned and ran out of the office. At the door he stopped, and after looking up and down the deserted street, turned again to George Willard. "I am delivered. Have no fear." He held up a bleeding fist for the young man to see. "I smashed the glass of the window," he cried. "Now it will have to be wholly replaced. The strength of God was in me and I broke it with my fist."

The Teacher

Snow lay deep in the streets of Winesburg. It had begun to snow about ten o'clock in the morning and a wind sprang up and blew the snow in clouds along Main Street. The frozen mud roads that led into town were fairly smooth and in places ice covered the mud. "There will be good sleighing," said Will Henderson, standing by the bar in Ed Griffith's saloon. Out of the saloon he went and met Sylvester West the druggist stumbling along in the kind of heavy overshoes called arctics. "Snow will bring the people into town on Saturday," said the druggist. The two men stopped and discussed their affairs. Will Henderson, who had on a light overcoat and no overshoes, kicked the heel of his left foot with the toe of the right. "Snow will be good for the wheat," observed the druggist sagely.

Young George Willard, who had nothing to do, was glad because he did not like working that day. The weekly paper had been printed and taken to the post office Wednesday evening and the snow began to fall on Thursday. At eight o'clock, after the morning train had passed, he put a pair of skates in his pocket and went up to Waterworks Pond but did not go skating. Past the pond and along a path that followed Wine Creek he went until he came to a grove of beech trees. There he built a fire against the side of a log and sat down at the end of the log to think. When the snow

Пастор Кёртис Хартман повернулся и побежал из редакции. В дверях он остановился, окинул взглядом безлюдную улицу и снова повернулся к Джорджу Уиларду.

— Я спасен. Не страшитесь. — Он показал молодому человеку окровавленный кулак. — Я разбил стекло в окне, — крикнул он. — Теперь его придется заменить целиком. Сила Божья снизошла на меня, я разбил его кулаком.

Учительница

На улицах Уайнсбурга лежал глубокий снег. Снег пошел часов в десять утра, поднялся ветер и тучами гнал снег по Главной улице. Грязные проселки, сходявшиеся к городу, выровнял мороз, и кое-где грязь затянуло льдом.

— Сани готовы, — сказал Уилл Хендерсон возле стойки в салуне Эда Грифита.

Он вышел из салуна и повстречался с аптекарем Сильвестром Уэстом, который брел навстречу в громоздких ботах «арктика».

— В субботу по снежку люди в город понаедут, — сказал аптекарь.

Мужчины остановились и начали толковать о своих делах. Уилл Хендерсон, в легком пальто и без бот, постукивал носком о пятку.

— Снег — пшенице на пользу, — глубокомысленно заметил аптекарь.

Молодому Джорджу Уиларду нечего было делать, и он был этому рад, потому что работать ему сегодня не хотелось. Еженедельную его газету отпечатали и свезли на почту в среду вечером, а снег пошел в четверг. В восемь часов, когда проехал утренний поезд, он сунул в карман коньки и отправился на Водозаборный пруд, но кататься не стал. Пошел мимо пруда и по тропке вдоль Винной речки в дубовую рощу. Развел костер возле бревна, сел на край бревна и задумался. Когда повалил

began to fall and the wind to blow he hurried about getting fuel for the fire.

The young reporter was thinking of Kate Swift, who had once been his school teacher. On the evening before he had gone to her house to get a book she wanted him to read and had been alone with her for an hour. For the fourth or fifth time the woman had talked to him with great earnestness and he could not make out what she meant by her talk. He began to believe she might be in love with him and the thought was both pleasing and annoying.

Up from the log he sprang and began to pile sticks on the fire. Looking about to be sure he was alone he talked aloud pretending he was in the presence of the woman. "Oh, you're just letting on, you know you are," he declared. "I am going to find out about you. You wait and see."

The young man got up and went back along the path toward town leaving the fire blazing in the wood. As he went through the streets the skates clanked in his pocket. In his own room in the New Willard House he built a fire in the stove and lay down on top of the bed. He began to have lustful thoughts and pulling down the shade of the window closed his eyes and turned his face to the wall. He took a pillow into his arms and embraced it thinking first of the school teacher, who by her words had stirred something within him, and later of Helen White, the slim daughter of the town banker, with whom he had been for a long time half in love.

By nine o'clock of that evening snow lay deep in the streets and the weather had become bitter cold. It was difficult to walk about. The stores were dark and the people had crawled away to their houses. The evening train from Cleveland was very late but nobody was interested in its arrival. By ten o'clock all but four of the eighteen hundred citizens of the town were in bed.

Hop Higgins, the night watchman, was partially awake. He was lame and carried a heavy stick. On dark nights he carried a lantern. Between nine and ten o'clock he went his rounds. Up and down Main Street he stumbled through the drifts trying the doors of the stores. Then he went into

снег и подул ветер, он бросился собирать дрова для костра.

Молодой репортер думал о Кейт Свифт, бывшей своей учительнице. Вчера вечером он ходил к ней за книгой, которую она советовала прочесть, и час провел с ней наедине. Уже в четвертый или пятый раз она заводила с ним очень серьезные разговоры, и он не мог сообразить, к чему бы это. Он уже подумывал, не влюбилась ли она в него; эта мысль и грела его, и раздражала.

Джордж вскочил с колоды и подбросил сучьев в костер. Оглядевшись, — точно ли нет никого поблизости — он заговорил вслух с таким видом, будто говорил с ней.

— А-а, прикидываетесь, нечего отпираться, — проговорил он. — Я вас выведу на чистую воду. Погодите у меня.

Молодой человек встал и пошел по тропинке к городу, оставив в лесу пылающий костер. Когда он шел по улицам, в кармане у него звякали коньки. У себя в комнате в «Новом доме Уиларда» он растопил печку и лег на кровать. У него зародились похотливые мысли, он опустил штору, закрыл глаза и повернулся лицом к стене. Он обнял подушку, прижал к груди и стал думать сперва об учительнице, которая что-то разбудила в нем своими словами, а после — об Элен Уайт, стройной дочери местного банкира, в которую он уже давно был полувлюблен.

К девяти часам вечера улицы тонули в глубоком снегу, и мороз лютовал. Ходить стало трудно. Окна магазинов погасли, и люди расползлись по домам. Вечерний поезд из Кливленда пришел с большим опозданием, но никому не было до него дела. В десять часов из тысячи восьмисот жителей только четверо не легли спать.

Ночной сторож Хоп Хигинс не спал отчасти. Он был хромой и ходил с тяжелой палкой. В темные ночи он брал фонарь. Обход он делал между девятью и десятью. Ковыляя по сугробам, он прошел Главную улицу из конца в конец и проверил двери магазинов. Потом обо-

alleyways and tried the back doors. Finding all tight he hurried around the corner to the New Willard House and beat on the door. Through the rest of the night he intended to stay by the stove. "You go to bed. I'll keep the stove going," he said to the boy who slept on a cot in the hotel office.

Hop Higgins sat down by the stove and took off his shoes. When the boy had gone to sleep he began to think of his own affairs. He intended to paint his house in the spring and sat by the stove calculating the cost of paint and labor. That led him into other calculations. The night watchman was sixty years old and wanted to retire. He had been a soldier in the Civil War and drew a small pension. He hoped to find some new method of making a living and aspired to become a professional breeder of ferrets. Already he had four of the strangely shaped savage little creatures, that are used by sportsmen in the pursuit of rabbits, in the cellar of his house. "Now I have one male and three females," he mused. "If I am lucky by spring I shall have twelve or fifteen. In another year I shall be able to begin advertising ferrets for sale in the sporting papers."

The night watchman settled into his chair and his mind became a blank. He did not sleep. By years of practice he had trained himself to sit for hours through the long nights neither asleep nor awake. In the morning he was almost as refreshed as though he had slept.

With Hop Higgins safely stowed away in the chair behind the stove only three people were awake in Winesburg. George Willard was in the office of the *Eagle* pretending to be at work on the writing of a story but in reality continuing the mood of the morning by the fire in the wood. In the bell tower of the Presbyterian Church the Reverend Curtis Hartman was sitting in the darkness preparing himself for a revelation from God, and Kate Swift, the school teacher, was leaving her house for a walk in the storm.

It was past ten o'clock when Kate Swift set out and the walk was unpremeditated. It was as though the man and the boy, by thinking of her, had driven her forth into the

шел задворки и проверил черные двери. Все оказались заперты; он не мешкая свернул за угол к «Новому дому Уилларда» и постучал в дверь. Остаток ночи он намеревался скоротать возле печки.

— Ложись спать. За печкой я присмотрю, — сказал он мальчику-коридорному, ночевавшему на койке в конторе гостиницы.

Хоп Хигинс сел у печки и стащил башмаки. Когда мальчик улегся спать, он стал думать о своих делах. Весной он собирался покрасить дом и, сидя у печки, начал подсчитывать, во что обойдется краска и работа. Отсюда он перешел к другим вычислениям. Ночному сторожу стукнуло шестьдесят, и он хотел уйти на покой. Участник Гражданской войны, он получал небольшую пенсию. Хоп надеялся найти дополнительный источник доходов и решил стать профессиональным хорьководом. В подвале у него уже жили четыре этих странно сложенных свирепых зверька, с которыми любители охотятся на кроликов. «Сейчас у меня самец и три самочки, — размышлял он. — Если повезет, к весне у меня будет голов двенадцать — пятнадцать. Через год смогу давать объявления о продаже в охотничьих газетах».

Ночной сторож уместился в кресле, и в сознании его наступил перерыв. Он не спал. Многолетней практикой он выработал навык просиживать долгие часы ночного дежурства ни спя, ни бодрствуя. К утру он успевал так отдохнуть, как будто выспался.

Исключая Хопа Хигинса, надежно определившегося в кресле за печкой, во всем Уайнсбурге не спали теперь только трое. Джордж Уиллард сидел в редакции «Орла», делал вид, будто пишет рассказ, а на самом деле предавался тому же, чему и утром в лесу, у костра. На колокольне пресвитерианской церкви сидел пастор Хартман, приготовляясь к Божьему откровению, а учительница Кейт Свифт как раз выходила из дома, погулять в пургу.

На улицу она отправилась в одиннадцатом часу, и прогулка эта явилась неожиданностью для нее самой. Получилось так, будто мужчина и юноша тем, что ду-

wintry streets. Aunt Elizabeth Swift had gone to the country seat concerning some business in connection with mortgages in which she had money invested and would not be back until the next day. By a huge stove, called a base burner, in the living room of the house sat the daughter reading a book. Suddenly she sprang to her feet and, snatching a cloak from a rack by the front door, ran out of the house.

At the age of thirty Kate Swift was not known in Winesburg as a pretty woman. Her complexion was not good and her face was covered with blotches that indicated ill health. Alone in the night in the winter streets she was lovely. Her back was straight, her shoulders square, and her features were as the features of a tiny goddess on a pedestal in a garden in the dim light of a summer evening.

During the afternoon the school teacher had been to see Doctor Welling concerning her health. The doctor had scolded her and had declared she was in danger of losing her hearing. It was foolish for Kate Swift to be abroad in the storm, foolish and perhaps dangerous.

The woman in the streets did not remember the words of the doctor and would not have turned back had she remembered. She was very cold but after walking for five minutes no longer minded the cold. First she went to the end of her own street and then across a pair of hay scales set in the ground before a feed barn and into Trunion Pike. Along Trunion Pike she went to Ned Winters' barn and turning east followed a street of low frame houses that led over Gospel Hill and into Sucker Road that ran down a shallow valley past Ike Smead's chicken farm to Waterworks Pond. As she went along, the bold, excited mood that had driven her out of doors passed and then returned again.

There was something biting and forbidding in the character of Kate Swift. Everyone felt it. In the schoolroom she was silent, cold, and stern, and yet in an odd way very close to her pupils. Once in a long while something seemed to have come over her and she was happy. All of the children in the schoolroom felt the effect of her happiness.

мали о ней, выгнали ее на мороз. Вдова Элизабет Свифт уехала в окружной центр по делам, связанным с ипотечными операциями, в которые она вкладывала деньги, и вернуться должна была только назавтра. У громадной угольной печи в гостиной сидела с книжкой ее дочь. Вдруг она вскочила, схватила с вешалки у двери накидку и выбежала из дома.

Тридцатилетнюю учительницу в Уайнсбурге не считали интересной женщиной. У нее был плохой цвет лица, и пигментные пятна говорили о слабом здоровье. И все же ночью, на пустынной морозной улице, она была хороша собой. У нее была прямая спина, крутые плечи, а чертами лица она напоминала маленькую парковую статую богини в летние сумерки.

Днем учительница показывалась доктору Уэлингу. Доктор выбрал ее и предупредил, что ей угрожает потеря слуха. Глупо было с ее стороны выходить в пургу из дома — глупо, да и опасно, пожалуй.

На улице Кейт Свифт не вспомнила это предостережение, а если бы и вспомнила, все равно бы не повернула назад. Она очень замерзла, но, прошагав минут пять, притерпелась к холоду. Она прошла до конца своей улицы и мимо сенных весов, установленных перед фуражным складом, вышла на Вертлюжную дорогу. У амбара Неда Уинтерса она свернула на восток, на улицу, застроенную низкими деревянными домами, которая привела ее на Евангельский холм и на Волчковую дорогу, спускавшуюся по мелкой лощине мимо птицефермы Айка Смида к Водозаборному пруду. Пока она шла, задор и беспокойство, выгнавшие ее на улицу, покинули ее, а потом вновь вернулись.

В характере Кейт Свифт было что-то колючее, не располагающее. Это все чувствовали. В классе она была немногословна, строга, холодна, но, странным образом, при всем этом близка с учениками. Изредка на нее словно что-то находило, и настроение у нее становилось радостным. Эту радость разделяли все ученики в клас-

For a time they did not work but sat back in their chairs and looked at her.

With hands clasped behind her back the school teacher walked up and down in the schoolroom and talked very rapidly. It did not seem to matter what subject came into her mind. Once she talked to the children of Charles Lamb and made up strange, intimate little stories concerning the life of the dead writer. The stories were told with the air of one who had lived in a house with Charles Lamb and knew all the secrets of his private life. The children were somewhat confused, thinking Charles Lamb must be someone who had once lived in Winesburg.

On another occasion the teacher talked to the children of Benvenuto Cellini. That time they laughed. What a bragging, blustering, brave, lovable fellow she made of the old artist! Concerning him also she invented anecdotes. There was one of a German music teacher who had a room above Cellini's lodgings in the city of Milan that made the boys guffaw. Sugars McNutts, a fat boy with red cheeks, laughed so hard that he became dizzy and fell off his seat and Kate Swift laughed with him. Then suddenly she became again cold and stern.

On the winter night when she walked through the deserted snow-covered streets, a crisis had come into the life of the school teacher. Although no one in Winesburg would have suspected it, her life had been very adventurous. It was still adventurous. Day by day as she worked in the schoolroom or walked in the streets, grief, hope, and desire fought within her. Behind a cold exterior the most extraordinary events transpired in her mind. The people of the town thought of her as a confirmed old maid and because she spoke sharply and went her own way thought her lacking in all the human feeling that did so much to make and mar their own lives. In reality she was the most eagerly passionate soul among them, and more than once, in the five years since she had come back from her travels to settle in Winesburg and become a school teacher, had been compelled to go out of the house and walk half through the night fighting out some battle raging

се. Они разваливались на стульях, не работали и смотрели на учительницу.

Сцепив руки за спиной, Кейт Свифт расхаживала по классу и очень быстро говорила. Что за тема приходила ей в голову — по-видимому, не имело значения. Однажды она беседовала с детьми о Чарльзе Лэме и сочинила на ходу странные интимные рассказы из жизни покойного писателя. Рассказы эти были поданы так, словно она жила с Чарльзом Лэмом в одном доме и знала все подробности его частной жизни. Это несколько сбило с толку детей, которые решили, что Чарльз Лэм тоже, наверное, был местный.

На другом уроке учительница рассказала о Бенвенуто Челлини. На этот раз они смеялись. Каким хвастливым, шумным храбрецом и милягой изобразила она старого мастера! И тут она тоже придумала анекдоты. Один — про немца, учителя музыки, который жил в комнате над Челлини в городе Милане, — вызвал у ребят хохот. Краснощекий толстяк Сахар Макнатс до того смеялся, что у него закружилась голова и он упал со стула, а Кейт Свифт смеялась вместе с ними. И вдруг опять сделалась строгой и холодной.

Та зимняя ночь, когда Кейт Свифт бродила по безлюдным заснеженным улицам, пришлась на бурное время в ее жизни. Хотя никто в Уайнсбурге не заподозрил бы этого, жизнь ее всегда была богата приключениями. Богата была и теперь. Изо дня в день, пока она вела урок или бродила по улицам, печаль, надежда, вожделение сражались в ее груди. Под холодной оболочкой — в душе — происходили самые необычайные события. Горожане считали ее безнадежной старой девой и оттого, что она разговаривала резко и во всем поступала по-своему, считали, что ей недостает человеческих чувств, которые так украшают или портят жизнь им самим. На самом же деле нетерпеливой страстностью она превосходила их всех, и за те пять лет, что она учительствовала в Уайнсбурге, вернувшись из своих странствий, душевные бури не раз выгоняли ее из дому и заставляли

within. Once on a night when it rained she had stayed out six hours and when she came home had a quarrel with Aunt Elizabeth Swift. "I am glad you're not a man," said the mother sharply. "More than once I've waited for your father to come home, not knowing what new mess he had got into. I've had my share of uncertainty and you cannot blame me if I do not want to see the worst side of him reproduced in you."

* * *

Kate Swift's mind was ablaze with thoughts of George Willard. In something he had written as a school boy she thought she had recognized the spark of genius and wanted to blow on the spark. One day in the summer she had gone to the *Eagle* office and finding the boy unoccupied had taken him out Main Street to the Fair Ground, where the two sat on a grassy bank and talked. The school teacher tried to bring home to the mind of the boy some conception of the difficulties he would have to face as a writer. "You will have to know life," she declared, and her voice trembled with earnestness. She took hold of George Willard's shoulders and turned him about so that she could look into his eyes. A passer-by might have thought them about to embrace. "If you are to become a writer you'll have to stop fooling with words," she explained. "It would be better to give up the notion of writing until you are better prepared. Now it's time to be living. I don't want to frighten you, but I would like to make you understand the import of what you think of attempting. You must not become a mere peddler of words. The thing to learn is to know what people are thinking about, not what they say."

On the evening before that stormy Thursday night when the Reverend Curtis Hartman sat in the bell tower of the church waiting to look at her body, young Willard had gone to visit the teacher and to borrow a book. It was then the thing happened that confused and puzzled the boy. He had the book under his arm and was preparing to depart. Again Kate Swift talked with great earnestness. Night was

до глубокой ночи бродить по городу. Однажды дождливой ночью она отсутствовала шесть часов, а когда вернулась, мать стала ругать ее.

— Я рада, что ты не мужчина, — сердито сказала она. — Сколько раз я так дожидалась твоего отца и ломала голову, в какую опять он ввязался историю. Хватит с меня тех волнений — и не обижайся, если я не желаю видеть, как самые плохие его черты повторяются в тебе.

* * *

Кейт Свифт была воспламенена мыслями о Джордже Уилларде. В каких-то его школьных сочинениях она усмотрела искру гения — и ей хотелось эту искру раздуть. Однажды летом она явилась в редакцию «Орла» и, поскольку юноша был ничем не занят, увела его на Главную улицу, а потом на Ярмарочную площадь, где они сели на поросшем травой склоне и начали разговаривать. Учительница хотела дать ему представление о тех трудностях, которые ожидают его на писательском поприще.

— Тебе понадобится знание жизни, — объявила она с такой серьезностью, что у нее задрожал голос. Она взяла Джорджа Уилларда за плечи и повернула, чтобы смотреть ему в глаза. Прохожий подумал бы, что они сейчас обнимутся. — Если ты намерен стать писателем, нельзя баловаться словами, — объяснила она. — Лучше отставить мысли о писательстве, пока не будешь к этому подготовлен. Сейчас — время просто жить. Не хочу тебя запугивать, но надо, чтобы ты осознал важность того, за что ты берешься. Нельзя превращаться в словесного менялу. Научись узнавать, что думают люди, а не что говорят.

В четверг вечером, перед той вьюжной ночью, когда священник Кёртис Хартман пришел на колокольню, чтобы поглядеть на ее тело, молодой Уиллард зашел к учительнице за книжкой. Тут и случилось то, что смутило и озадачило юношу. Он взял книгу под мышку и уже собирался уйти. Снова Кейт Свифт заговорила с

coming on and the light in the room grew dim. As he turned to go she spoke his name softly and with an impulsive movement took hold of his hand. Because the reporter was rapidly becoming a man something of his man's appeal, combined with the winsomeness of the boy, stirred the heart of the lonely woman. A passionate desire to have him understand the import of life, to learn to interpret it truly and honestly, swept over her. Leaning forward, her lips brushed his cheek. At the same moment he for the first time became aware of the marked beauty of her features. They were both embarrassed, and to relieve her feeling she became harsh and domineering. "What's the use? It will be ten years before you begin to understand what I mean when I talk to you," she cried passionately.

* * *

On the night of the storm and while the minister sat in the church waiting for her, Kate Swift went to the office of the *Winesburg Eagle*, intending to have another talk with the boy. After the long walk in the snow she was cold, lonely, and tired. As she came through Main Street she saw the light from the printshop window shining on the snow and on an impulse opened the door and went in. For an hour she sat by the stove in the office talking of life. She talked with passionate earnestness. The impulse that had driven her out into the snow poured itself out into talk. She became inspired as she sometimes did in the presence of the children in school. A great eagerness to open the door of life to the boy, who had been her pupil and who she thought might possess a talent for the understanding of life, had possession of her. So strong was her passion that it became something physical. Again her hands took hold of his shoulders and she turned him about. In the dim light her eyes blazed. She arose and laughed, not sharply as was customary with her, but in a queer, hesitating way. "I must be going," she said. "In a moment, if I stay, I'll be wanting to kiss you."

чрезвычайной серьезностью. Наступал вечер, в комнате стало сумрачно. Когда он повернулся к двери, она ласково назвала его по имени и порывисто взяла за руки. Молодой репортер стремительно превращался в мужчину, и мужская его притягательность, еще сочетавшаяся с мальчишеским обаянием, взволновала одинокую женщину. Ей захотелось, чтобы он немедленно понял ценность жизни, научился толковать ее правдиво и честно. Она наклонилась вперед, ее губы скользнули по его щеке. Сейчас он впервые обратил внимание на редкую красоту ее лица. Оба смутились, и, спасаясь от этого, она опять взяла резкий, безапелляционный тон.

— Что толку? Десять лет пройдет, пока ты начнешь понимать суть того, о чем я тебе толкую, — с горячностью сказала она.

* * *

Этой ночью, когда разыгралась вьюга, а священник уже сидел на колокольне в ожидании Кейт Свифт, она зашла в редакцию «Уайнсбургского орла», намереваясь еще раз поговорить с юношей. После долгой ходьбы по снегу она устала, замерзла и чувствовала себя одинокой. Проходя по Главной улице, она увидела под окном типографии яркое пятно света на снегу и, неожиданно для самой себя, открыла дверь и вошла. Она час просидела возле печки — и говорила о жизни. Говорила горячо и серьезно. Побуждение, которое выгнало ее из дома в метель, вылилось теперь в слова. Она ощущала подъем, как иногда перед детьми в школе. Ей не терпелось распахнуть дверь жизни перед юношей, у которого, она полагала, может быть талант понимания жизни. Порыв этот был таким страстным, что выразился физически. Опять она взяла Джорджа за плечи и повернула к себе. В полутьме ее глаза горели. Она встала и засмеялась, но не резко, как с ней бывало обычно, а со странной нерешительностью.

— Мне надо уходить, — сказала она. — Еще на минуту останусь — и мне захочется тебя поцеловать.

In the newspaper office a confusion arose. Kate Swift turned and walked to the door. She was a teacher but she was also a woman. As she looked at George Willard, the passionate desire to be loved by a man, that had a thousand times before swept like a storm over her body, took possession of her. In the lamplight George Willard looked no longer a boy, but a man ready to play the part of a man.

The school teacher let George Willard take her into his arms. In the warm little office the air became suddenly heavy and the strength went out of her body. Leaning against a low counter by the door she waited. When he came and put a hand on her shoulder she turned and let her body fall heavily against him. For George Willard the confusion was immediately increased. For a moment he held the body of the woman tightly against his body and then it stiffened. Two sharp little fists began to beat on his face. When the school teacher had run away and left him alone, he walked up and down in the office swearing furiously.

It was into this confusion that the Reverend Curtis Hartman protruded himself. When he came in George Willard thought the town had gone mad. Shaking a bleeding fist in the air, the minister proclaimed the woman George had only a moment before held in his arms an instrument of God bearing a message of truth.

* * *

George blew out the lamp by the window and locking the door of the printshop went home. Through the hotel office, past Hop Higgins lost in his dream of the raising of ferrets, he went and up onto his own room. The fire in the stove had gone out and he undressed in the cold. When he got into bed the sheets were like blankets of dry snow.

George Willard rolled about in the bed on which he had lain in the afternoon hugging the pillow and thinking thoughts of Kate Swift. The words of the minister, who he thought had gone suddenly insane, rang in his ears. His eyes stared about the room. The resentment, natural to the

В редакционной комнате воцарилось смятение. Кейт Свифт повернулась и пошла к двери. Она была учительницей, но, кроме того, женщиной. Она смотрела на Джорджа Уиларда, и ею вновь овладело страстное желание мужской любви, сотни раз уже затоплявшее ее тело. При свете лампы Джордж выглядел уже не мальчиком, а мужчиной, способным исполнить роль мужчины.

Учительница позволила Джорджу Уиларду обнять себя. В натопленной тесной комнате вдруг стало душно, и силы покинули ее тело. Она ждала, прислонившись к низкой конторке возле двери. Когда он подошел и положил руку ей на плечо, она тяжело, всем телом припала к нему. Джорджа Уиларда это привело в еще большее смятение. Он крепко прижимал к себе тело женщины, и вдруг оно окаменело. Два жестких кулачка стали бить его по лицу. Учительница выбежала, он остался один и заходил по комнате, яростно ругаясь.

На это смятение как раз и угодил пастор Хартман. Когда и он еще явился, Джордж Уилард решил, что город спятил. Потрясая окровавленным кулаком, пастор объявил женщину, которую Джордж только что обнимал, орудием Божьим и посланницей истины.

* * *

Джордж задул лампу у окна, запер дверь и отправился восвояси. Он прошел через контору гостиницы, мимо Хопа Хигинса, грезившего об умножении хорьков, и поднялся к себе в комнату. Печка давно потухла, и он разделся в холоде. Постель приняла его, как сугроб сухого снега.

Джордж Уилард ворочался в постели, где еще днем обнимал подушку, предаваясь мыслям о Кейт Свифт. У него в ушах звучали слова священника, который, ему казалось, внезапно сошел с ума. Глаза его блуждали по комнате. Злость, естественная в мужчине после такой

baffled male, passed and he tried to understand what had happened. He could not make it out. Over and over he turned the matter in his mind. Hours passed and he began to think it must be time for another day to come. At four o'clock he pulled the covers up about his neck and tried to sleep. When he became drowsy and closed his eyes, he raised a hand and with it groped about in the darkness. "I have missed something. I have missed something Kate Swift was trying to tell me," he muttered sleepily. Then he slept and in all Winesburg he was the last soul on that winter night to go to sleep.

Death in the Woods

I

She was an old woman and lived on a farm near the town in which I lived. All country and small-town people have seen such old women, but no one knows much about them. Such an old woman comes into town driving an old worn-out horse or she comes afoot carrying a basket. She may own a few hens and have eggs to sell. She brings them in a basket and takes them to a grocer. There she trades them in. She gets some salt pork and some beans. Then she gets a pound or two of sugar and some flour.

Afterwards she goes to the butcher's and asks for some dog-meat. She may spend ten or fifteen cents, but when she does she asks for something. Formerly the butchers gave liver to any one who wanted to carry it away. In our family we were always having it. Once one of my brothers got a whole cow's liver at the slaughter-house near the fair-grounds in our town. We had it until we were sick of it. It never cost a cent. I have hated the thought of it ever since.

The old farm woman got some liver and a soupbone. She never visited with any one, and as soon as she got what

осечки, прошла, и он пытался понять, что же все-таки случилось. Он не мог разобраться. И все думал и думал об этом. Проходили часы, и ему уже казалось, что пора бы, наверное, наступить новому дню. В четыре он натянул одеяло до подбородка и постарался уснуть. Он закрыл глаза и уже в дремоте поднял руку, нашаривая что-то во тьме. «Я что-то упустил. Упустил, что мне пыталась сказать Кейт Свифт», — сонно пробормотал он. И уснул — уснул последним в Уайнсбурге в эту зимнюю ночь.

Смерть в лесу

I

Это была старуха, которая жила на ферме, неподалеку от нашего городка. Любой обитатель провинциального города сотни раз встречал подобных старух, но никто ничего о них не знает. Приезжает такая старуха в город в повозке, запряженной тощей клячей, либо приходит пешком с корзиной. Может, у нее есть две-три курицы, и она продает яйца. Они у нее в корзине, и она относит их в бакалейную лавку. Там она их продает. Получает она за них кусок солонины и немного бобов, а то еще фунт или два сахара и муки.

Потом она идет к мяснику и просит мяса для собак. Она может истратить десять — пятнадцать центов, но уж за свои деньги требует товару сполна. В прежнее время мясники даром отдавали печенку всякому, кому не лень было унести ее из лавки. У нас дома всегда бывала печенка. Как-то раз один из моих братьев раздобыл на городской скотобойне около Ярмарочной площади целую коровью печенку. Мы ели ее столько, что она уже в горло не лезла. Она нам ни гроша не стоила. С тех пор я и думать не могу о печенке.

Старуха получала печенку и суповую кость. В гости ходить ей было некуда, и, добыв то, что ей было нужно,

she wanted she lit out for home. It made quite a load for such an old body. No one gave her a lift. People drive right down a road and never notice an old woman like that.

There was such an old woman who used to come into town past our house one Summer and Fall when I was a young boy and was sick with what was called inflammatory rheumatism. She went home later carrying a heavy pack on her back. Two or three large gaunt-looking dogs followed at her heels.

The old woman was nothing special. She was one of the nameless ones that hardly any one knows, but she got into my thoughts. I have just suddenly now, after all these years, remembered her and what happened. It is a story. Her name was Grimes, and she lived with her husband and son in a small unpainted house on the bank of a small creek four miles from town.

The husband and son were a tough lot. Although the son was but twenty-one, he had already served a term in jail. It was whispered about that the woman's husband stole horses and ran them off to some other county. Now and then, when a horse turned up missing, the man had also disappeared. No one ever caught him. Once, when I was loafing at Tom Whitehead's livery-barn, the man came there and sat on the bench in front. Two or three other men were there, but no one spoke to him. He sat for a few minutes and then got up and went away. When he was leaving he turned around and stared at the men. There was a look of defiance in his eyes. "Well, I have tried to be friendly. You don't want to talk to me. It has been so wherever I have gone in this town. If, some day, one of your fine horses turns up missing, well, then what?" He did not say anything actually. "I'd like to bust one of you on the jaw," was about what his eyes said. I remember how the look in his eyes made me shiver.

The old man belonged to a family that had had money once. His name was Jake Grimes. It all comes back clearly now. His father, John Grimes, had owned a sawmill when the country was new, and had made money. Then he got to

она отправлялась домой. Груз был довольно тяжелый для старого человека. Подвезти ее никому не приходило в голову. Едут себе люди по дороге и на таких старух даже внимания не обращают.

Когда я в детстве сильно болел ревматизмом, такая старуха все лето и осень ходила мимо нашего дома по пути в город. А потом возвращалась домой с тяжелым мешком на спине. Два-три огромных тощих пса бежали за ней по пятам.

Ничего замечательного в этой старухе не было. Одна из многих никому не известных, безымянных старух, но мне она почему-то запомнилась. Вот и теперь, через столько лет, я неожиданно вспомнил ее и все, что с ней случилось. Это целая история. Звали ее миссис Граймз, и жила она с мужем и сыном в некрашеном домишке на берегу ручья, в четырех милях от города.

Муж ее и сын были отпетые негодяи. Сыну шел всего-навсего двадцать второй год, а он уже успел отбыть тюремное заключение. Поговаривали, что муж старухи — конокрад и продает угнанных лошадей в соседнем округе. Бывало, пропадет чья-нибудь лошадь, и он тоже на время исчезает. Никто еще не накрыл его с поличным. Как-то раз я слонялся у конного двора Тома Уайтхеда и видел, как Граймз пришел и сел на скамейку у входа. Там было еще два-три человека, но никто не заговорил с ним. Он немного посидел, потом встал и ушел. Уходя, он обернулся и в упор поглядел на оставшихся. В его глазах был вызов. «Ну что ж, я хотел поговорить с вами по-хорошему, а вы не захотели! И так всякий раз, когда бы я ни приходил в город. А вот если в один прекрасный день у кого-нибудь из вас пропадет славная лошадка, что тогда?» Конечно, он на самом деле ничего не сказал. «С какой охотой я дал бы кому-нибудь из вас в зубы!» — вот что говорил его взгляд. Помню, я даже вздрогнул.

Человек этот был из зажиточной семьи. Звали его Джейк Граймз. Теперь я все ясно вспоминаю. Его отец Джон Граймз поставил лесопилку в те дни, когда наш край только начинал заселяться, и нажил деньги. По-

drinking and running after women. When he died there wasn't much left.

Jake blew in the rest. Pretty soon there wasn't any more lumber to cut and his land was nearly all gone.

He got his wife off a German farmer, for whom he went to work one June day in the wheat harvest. She was a young thing then and scared to death. You see, the farmer was up to something with the girl—she was, I think, a bound girl and his wife had her suspicions. She took it out on the girl when the man wasn't around. Then, when the wife had to go off to town for supplies, the farmer got after her. She told young Jake that nothing really ever happened, but he didn't know whether to believe it or not.

He got her pretty easy himself, the first time he was out with her. He wouldn't have married her if the German farmer hadn't tried to tell him where to get off. He got her to riding with him in his buggy one night when he was threshing on the place, and then he came for her the next Sunday night.

She managed to get out of the house without her employer's seeing, but when she was getting into the buggy he showed up. It was almost dark, and he just popped up suddenly at the horse's head. He grabbed the horse by the bridle and Jake got out his buggy-whip.

They had it out all right! The German was a tough one. Maybe he didn't care whether his wife knew or not. Jake hit him over the face and shoulders with the buggy-whip, but the horse got to acting up and he had to get out.

Then the two men went for it. The girl didn't see it. The horse started to run away and nearly a mile down the road before the girl got him stopped. Then she managed to tie him to a tree beside the road. (I wonder how I know all this. It must have stuck in my mind from small-town tales when I was a boy.) Jake found her there after he got through with the German. She was huddled up in the buggy seat, crying, scared to death. She told Jake a lot of stuff, how the

том он запил и стал бегать за бабами. Когда он умер, денег уже почти не было.

Джейк промотал остальное. Вскоре нечего уже было рубить, и земля тоже почти целиком перешла в другие руки.

Жену он взял с немецкой фермы, куда как-то в июне, во время жатвы, пришел наниматься в батраки. Она была тогда совсем еще молоденькая, насмерть запуганная девчонка: фермер приставал к ней. Она, кажется, была сиротой, отданной на воспитание, и жена фермера кое о чем догадывалась. Она вымещала свои подозрения на девушке, когда мужа не было дома. А когда жена уезжала в город за продуктами, фермер давал себе волю. Девушка говорила Джейку, что ничего по-настоящему у нее с фермером не было, но Джейк не знал, верить ей или нет.

Сам он соблазнил ее без большого труда, на первой же прогулке. Он не женился бы на ней, если б фермер не выгнал его вон. Было это так: во время молотьбы Джейк уговорил ее поехать с ним вечером покататься и в ближайшее воскресенье явился за ней.

Она улизнула из дома так, что хозяин не заметил, но когда садилась в тележку, он как из-под земли вырос. Было уже почти темно, и он неожиданно вынырнул прямо из-под конской морды. Фермер схватил лошадь под уздцы, а Джейк достал из-под козел кнут.

Ну, и сцепились же они! Немец был упрям. Ему, видно, было наплевать, что подумает жена. Джейк хлестнул его кнутом по лицу и плечам, но лошадь встала на дыбы, и ему пришлось слезть.

Тут уж драка у них пошла вовсю. Но девушка ничего не видела. Лошадь рванула и понесла. Только через милю девушка кое-как остановила ее. Она привязала лошадь к дереву у дороги (удивительно, откуда я все это знаю: должно быть, в памяти со времен детства застряли городские сплетни). Расправившись с немцем, Джейк нашел девушку. Она съежилась в тележке, плачущая, смертельно напуганная. Она все выложила Джейку — как немец пытался овладеть ею, как одна-

German had tried to get her, how he chased her once into the barn, how another time, when they happened to be alone in the house together, he tore her dress open clear down the front. The German, she said, might have got her that time if he hadn't heard his old woman drive in at the gate. She had been off to town for supplies. Well, she would be putting the horse in the barn. The German managed to sneak off to the fields without his wife seeing. He told the girl he would kill her if she told. What could she do? She told a lie about ripping her dress in the barn when she was feeding the stock. I remember now that she was a bound girl and did not know where her father and mother were. Maybe she did not have any father. You know what I mean.

Such bound children were often enough cruelly treated. They were children who had no parents, slaves really. There were very few orphan homes then. They were legally bound into some home. It was a matter of pure luck how it came out.

II

She married Jake and had a son and daughter, but the daughter died.

Then she settled down to feed stock. That was her job. At the German's place she had cooked the food for the German and his wife. The wife was a strong woman with big hips and worked most of the time in the fields with her husband. She fed them and fed the cows in the barn, fed the pigs, the horses and the chickens. Every moment of every day, as a young girl, was spent feeding something.

Then she married Jake Grimes and he had to be fed. She was a slight thing, and when she had been married for three or four years, and after the two children were born, her slender shoulders became stooped.

Jake always had a lot of big dogs around the house, that stood near the unused sawmill near the creek. He was always trading horses when he wasn't stealing something

жды он загнал ее в сарай, а в другой раз, когда они случайно остались в доме одни, разорвал на ней платье от ворота до подола. По ее словам, немец в тот раз добился бы своего, если бы не услышал, что в ворота въезжает жена. Она возвращалась из города с покупками, и ей надо было еще отвести лошадь в стойло. Немцу удалось удрать в поле, так что жена ничего не заметила. Он сказал девушке, что убьет ее, если она вздумает болтать. Что ей было делать? Она наврала, будто разорвала платье в хлеву, кормя скот. Теперь я вспоминаю, что она была сирота и не знала ни отца, ни матери. А может, у нее и вовсе не было отца. Вы понимаете, что я хочу сказать.

С такими ребятами, отданными на воспитание, часто обращались очень жестоко. Они были детьми без роду, без племени, самыми настоящими рабами. Приютов в те времена почти не было. Их законным образом отдавали в какой-нибудь дом. А дальше — как кому повезет.

II

Девушка вышла замуж за Джейка и родила сына и дочь, но дочь умерла.

Тогда она посвятила себя кормлению скота. Это было ее основным делом. На ферме у немца она стряпала на него и его жену. Жена была сильная женщина, с широкими бедрами, работала она по большей части в поле вместе с мужем. Девушка-приемыш кормила их и кормила коров на скотном дворе, кормила свиней, лошадей и кур. В те годы она каждый день, каждую минуту кого-нибудь кормила.

Потом она вышла замуж за Джейка Граймза, и его тоже надо было кормить. Она была женщина тщедушная, и после трех-четырех лет брачной жизни, когда она родила двух детей, ее хрупкие плечи согнулись.

В доме Джейка, стоявшем подле заброшенной лесопилки недалеко от ручья, всегда водилось несколько крупных собак. Когда Джейк не занимался воровством,

and had a lot of poor bony ones about. Also he kept three or four pigs and a cow. They were all pastured in the few acres left of the Grimes place and Jake did little enough work.

He went into debt for a threshing outfit and ran it for several years, but it did not pay. People did not trust him. They were afraid he would steal the grain at night. He had to go a long way off to get work and it cost too much to get there. In the winter he hunted and cut a little firewood, to be sold in some nearby town. When the son grew up he was just like the father. They got drunk together. If there wasn't anything to eat in the house when they came home the old man gave his old woman a cut over the head. She had a few chickens of her own and had to kill one of them in a hurry. When they were all killed she wouldn't have any eggs to sell when she went to town, and then what would she do?

She had to scheme all her life about getting things fed, getting the pigs fed so they would grow fat and could be butchered in the Fall. When they were butchered her husband took most of the meat off to town and sold it. If he did not do it first the boy did. They fought sometimes and when they fought the old woman stood aside trembling.

She had got the habit of silence anyway—that was fixed. Sometimes, when she began to look old—she wasn't forty yet—and when the husband and son were both off, trading horses or drinking or hunting or stealing, she went around the house and the barn-yard muttering to herself.

How was she going to get everything fed?—that was her problem. The dogs had to be fed. There wasn't enough hay in the barn for horses and the cow. If she didn't feed the chickens how could they lay eggs? Without eggs to sell how could she get things in town, things she had to have to keep the life of the farm going? Thank heaven, she did not have to feed her husband—in a certain way. That hadn't lasted long after their marriage and after the babies came. Where he went on his long trips she did not know. Sometimes he

он торговал лошадьми и вечно держал у себя каких-то тощих, жалких одров. Кроме того, у него было несколько свиней и корова. Все они паслись на тесном выгоне, — это было все, что осталось от усадьбы Граймзов, а Джейк почти не работал.

Он купил в кредит молотилку, влез в долги и промышлял молотью несколько лет подряд, но затраты не окупились. Ему не доверяли. Боялись, что он ночью украдет зерно. Он принужден был ездить за зерном в дальние концы, а это слишком дорого стоило. Зимой он охотился, рубил лес и продавал дрова в каком-нибудь городе поближе. Сын подрос и весь пошел в отца. Они вместе напивались. Когда они приходили домой и нечего было есть, старик бил старуху по голове. У нее было несколько кур, принадлежавших лично ей, приходилось срочно резать курицу. Но если она перережет всех кур, она не сможет продавать яйца в городе, что ей тогда делать?

Всю жизнь ей приходилось изворачиваться, чтобы кормить кого-нибудь, кормить свиней, чтобы они жирили и можно было осенью зарезать их. Муж их резал, отвозил почти все мясо в город и продавал. Если он с этим мешкал, свинину продавал сын. Иногда они дрались, и тогда женщина отходила в сторону и вся дрожала.

Постепенно она привыкла молчать. Когда она уже стала похожа на старуху (ей не было и сорока) и муж с сыном уезжали торговать лошадьми, пьянствовать, охотиться или воровать, она бродила по дому и по скотному двору и что-то бормотала про себя.

Как ей всех прокормить? Это была ее единственная забота. Собак надо кормить, лошадям и коровам не хватит сена на сеновале. Если она не накормит кур, как они будут нестись? А если не будет яиц, как она купит в городе все, что ей нужно, чтобы жизнь на ферме шла своим чередом? Слава богу, мужа ей не надо было кормить — в определенном смысле. Близкие отношения после женитьбы и рождения детей продолжались недолго. Куда он пропадал на столько времени, она не знала.

was gone from home for weeks, and after the boy grew up they went off together.

They left everything at home for her to manage and she had no money. She knew no one. No one ever talked to her in town. When it was Winter she had to gather sticks of wood for fire, had to try to keep the stock fed with very little grain.

The stock in the barn cried to her hungrily, the dogs followed her about. In the Winter the hens laid few enough eggs. They huddled in the corners of the barn and she kept watching them. If a hen lays an egg in the barn in the Winter and you do not find it, it freezes and breaks.

One day in Winter the old woman went off to town with a few eggs and the dogs followed her. She did not get started until nearly three o'clock and the snow was heavy. She hadn't been feeling very well for several days and so she went muttering along, scantily clad, her shoulders stooped. She had an old grain bag in which she carried her eggs, tucked away down in the bottom. There weren't many of them, but in Winter the price of eggs is up. She would get a little meat in exchange for the eggs, some salt pork, a little sugar, and some coffee perhaps. It might be the butcher would give her a piece of liver.

When she had got to town and was trading in her eggs the dogs lay by the door outside. She did pretty well, got the things she needed, more than she had hoped. Then she went to the butcher and he gave her some liver and some dog-meat.

It was the first time any one had spoken to her in a friendly way for a long time. The butcher was alone in his shop when she came in and was annoyed by the thought of such a sick-looking old woman out on such a day. It was bitter cold and the snow, that had let up during the afternoon, was falling again. The butcher said something about her husband and her son, swore at them, and the old woman stared at him, a look of mild surprise in her eyes as he talked. He said that if either the husband or the son were going to get any of the liver or the heavy bones with scraps of meat hanging to them that he had put into the grain bag, he'd see him starve first.

Иногда он не показывался неделями, а когда подросток мальчик, они стали исчезать вдвоем.

Они оставляли на нее весь дом, а у нее не было денег. Знакомых у нее тоже не было. В городе с ней никто не разговаривал. Зимой она сама собирала хворост для плиты, ухитрялась пригоршней зерна накормить скот.

Корова в хлеву встречала ее голодным мычанием, лошади ржали, собаки бегали за ней по пятам. Зимой куры почти не неслись. Они забивались в угол сарая, и она неотступно следила за ними. Если наседка зимой снесет яйцо в курятнике и вы его вовремя не найдете, оно замерзнет и лопнет.

Однажды зимой старуха отправилась в город продавать яйца, и собаки увязались за ней. Она вышла из дому только в три часа; выпало много снега. Старуха уже несколько дней неважно себя чувствовала и потихоньку плелась, что-то бормоча, сгорбившись, в ветхом платье. Яйца она уложила на дно старого мешка из-под зерна. Их было совсем мало, но зимой цена на яйца повышается. Она надеялась получить в обмен немного мяса, кусок солонины, немного сахара, а то еще и кофе. Может быть, мясник даст ей кусок печенки.

Старуха добралась до города, и пока она продавала в лавке яйца, собаки лежали у дверей. Ей повезло, она добыла все, что ей было нужно, больше, чем она рассчитывала. Потом она пошла к мяснику, и он дал ей печенки и мяса для собак.

За много лет с нею впервые заговорили дружелюбно. Когда она вошла, мясник был в лавке один и возмущился при виде этой хилой старухи, приползшей в город в такую погоду. Было очень холодно, и снег, не падавший днем, повалил опять. Мясник спросил ее про мужа и сына, выругал их, и старуха смотрела на него с робким изумлением. Он сказал, чтобы она не смела давать мужу или сыну печенку или кости с мясом, которые он положил ей в мешок; пускай они лучше подохнут с голоду.

Starve, eh? Well, things had to be fed. Men had to be fed, and the horses that weren't any good but maybe could be traded off, and the poor thin cow that hadn't given any milk for three months.

Horses, cows, pigs, dogs, men.

III

The old woman had to get back before darkness came if she could. The dogs followed at her heels, sniffing at the heavy grain bag she had fastened on her back. When she got to the edge of town she stopped by a fence and tied the bag on her back with a piece of rope she had carried in her dress-pocket for just that purpose. That was an easier way to carry it. Her arms ached. It was hard when she had to crawl over fences and once she fell over and landed in the snow. The dogs went frisking about. She had to struggle to get to her feet again, but she made it. The point of climbing over the fences was that there was a short cut over a hill and through a woods. She might have gone around by the road, but it was a mile farther that way. She was afraid she couldn't make it. And then, besides, the stock had to be fed.

There was a little hay left and a little corn. Perhaps her husband and son would bring some home when they came. They had driven off in the only buggy the Grimes family had, a rickety thing, a rickety horse hitched to the buggy, two other rickety horses led by halters. They were going to trade horse, get a little money if they could. They might come home drunk. It would be well to have something in the house when they came back.

The son had an affair on with a woman at the country seat, fifteen miles away. She was a rough enough woman, a tough one. Once, in the Summer, the son had brought her to the house. Both she and the son had been drinking. Jake Grimes was away and the son and his woman ordered the old woman about like a servant. She didn't mind much; she was used to it. Whatever happened she never said anything.

Подохнут с голоду? Ну нет, все должны есть! Мужчины должны есть, и лошади, — правда, они никуда не годятся, но, может быть, все-таки удастся сбыть их, — и бедная тощая корова, которая уже три месяца не дает молока.

Лошади, корова, свиньи, собаки, мужчины.

III

Старуха торопилась, чтобы попасть домой засветло. Собаки бежали за ней, обнюхивая тяжелый мешок, висевший у нее за спиной. Дойдя до окраины города, она остановилась у какого-то забора и привязала к себе мешок веревкой, которую для этого захватила из дома. Так легче было нести. У нее болели плечи. Очень трудно было перелезть через заборы; один раз она потеряла равновесие и упала в снег. Собаки запрыгали вокруг нее. Она поднялась на ноги с большим трудом, но все-таки поднялась. Через заборы она перелезала из-за того, что этот путь — вверх по холму и лесом — был значительно короче. Она могла бы пойти и по проезжей дороге, но так было бы дальше на целую милю. Она боялась, что не дойдет. И, кроме того, пора было кормить скот.

На ферме еще оставалось немного сена и овса. Может быть, муж и сын тоже привезут сколько-нибудь. Они уехали в единственной уцелевшей тележке, тряском ящике на колесах, запряженном разбитой клячей с двумя другими разбитыми клячами на привязи. Мужчины поехали продавать их — может, хоть что-нибудь за них выручат. Пожалуй, вернуться пьяными. Надо, чтобы в доме была какая-нибудь еда, когда они вернутся.

Сын путался с какой-то женщиной, жившей в окружном центре, милях в пятнадцати от фермы. Это была грубая, скверная баба. Как-то летом сын привез ее с собой. Оба они напились. Джейка Граймза не было дома, и сын и та женщина обращались со старухой как со служанкой. Она не обижалась; она к этому привыкла. Что бы ни происходило, она не говорила ни слова. Это

That was her way of getting along. She had managed that way when she was a young girl at the German's and ever since she had married Jake. That time her son brought his woman to the house they stayed all night, sleeping together just as though they were married. It hadn't shocked the old woman, not much. She had got past being shocked early in life.

With the pack on her back she went painfully along across an open field, wading in the deep snow, and got into the woods.

There was a path, but it was hard to follow. Just beyond the top of the hill, where the woods was thickest, there was a small clearing. Had some one once thought of building a house there? The clearing was as large as a building lot in town, large enough for a house and a garden. The path ran along the side of the clearing, and when she got there the old woman sat down to rest at the foot of a tree.

It was a foolish thing to do. When she got herself placed, the pack against the tree's trunk, it was nice, but what about getting up again? She worried about that for a moment and then quietly closed her eyes.

She must have slept for a time. When you are about so cold you can't get any colder. The afternoon grew a little warmer and the snow came thicker than ever. Then after a time the weather cleared. The moon even came out.

There were four Grimes dogs that had followed Mrs. Grimes into town, all tall gaunt fellows. Such men as Jake Grimes and his son always keep just such dogs. They kick and abuse them but they stay. The Grimes dogs, in order to keep from starving, had to do a lot of foraging for themselves, and they had been at it while the old woman slept with her back to the tree at the side of the clearing. They had been chasing rabbits in the woods and in adjoining fields and in their ranging had picked up three other farm dogs.

After a time all the dogs came back to the clearing. They were excited about something. Such nights, cold and clear and with a moon, do things to dogs. It may be that some old instinct, come down from the time when they were wolves

было ее жизненным правилом. Она молчала, когда девушкой жила у немца, молчала и после, когда вышла замуж за Джейка. Любовница сына в тот раз осталась ночевать, они спали вместе, точно муж и жена. Старуху это нисколько не возмутило. Она давно уже перестала возмущаться.

С мешком за спиной, увязая в глубоком снегу, она перебралась через открытое поле и вошла в лес.

Тут была тропинка, но по ней трудно было идти. Сразу же за вершиной холма, где лес рос особенно густо, лежала небольшая прогалина. Вероятно, кто-нибудь расчистил здесь лес, чтобы построить себе дом. Прогалина была размером с городской строительный участок, на ней как раз хватило бы места для дома и огорода. Тропинка вела по краю прогалины; дойдя до нее, старуха села под дерево передохнуть.

Вот уж чего ей не следовало делать! Усесться поудобней и прислонить мешок к стволу было очень приятно, а вот как потом встать? Она на мгновение встревожилась, но потом спокойно закрыла глаза.

Должно быть, она заснула. Когда человек так промерзает, он больше не чувствует холода. Вскоре чуть-чуть потеплело, и снег повалил еще гуще. А еще через некоторое время совсем прояснилось. Показалась даже луна.

Четыре собаки увязались за миссис Граймз в город, огромные тощие псы. Люди, вроде Джейка Граймза и его сына, всегда держат именно таких собак. Они бьют, истязают их, но те остаются. Собаки Граймзов, чтобы не околесть от голода, принуждены были сами добывать себе пропитание; покуда старуха спала, прислонившись спиной к дереву на краю прогалины, они отправились на разведку. Они охотились на кроликов в лесу и ближайших полях, и к ним пристали еще три чужие собаки.

Через некоторое время они вернулись на прогалину. Они были чем-то возбуждены. В такие ночи, холодные, ясные и лунные, с собаками творится что-то странное. Может быть, какой-то древний инстинкт, сохранив-

and ranged the woods in packs on Winter nights, comes back into them.

The dogs in the clearing, before the old woman, had caught two or three rabbits and their immediate hunger had been satisfied. They began to play, running in circles in the clearing. Round and round they ran, each dog's nose at the tail of the next dog. In the clearing, under the snow-laden trees and under the wintry moon they made a strange picture, running thus silently, in a circle their running had beaten in the soft snow. The dogs made no sound. They ran around and around in the circle.

It may have been that the old woman saw them doing that before she died. She may have awakened once or twice and looked at the strange sight with dim old eyes.

She wouldn't be very cold now, just drowsy. Life hangs on a long time. Perhaps the old woman was out of her head. She may have dreamed of her girlhood, at the German's, and before that, when she was a child and before her mother lit out and left her.

Her dreams couldn't have been very pleasant. Not many pleasant things had happened to her. Now and then one of the Grimes dogs left the running circle and came to stand before her. The dog thrust his face close to her face. His red tongue was hanging out.

The running of the dogs may have been a kind of death ceremony. It may have been that the primitive instinct of the wolf, having been aroused in the dogs by the night and the running, made them somehow afraid.

"Now we are no longer wolves. We are dogs, the servants of men. Keep alive, man! When man dies we become wolves again."

When one of the dogs came to where the old woman sat with her back against the tree and thrust his nose close to her face he seemed satisfied and went back to run with the pack. All the Grimes dogs did it at some time during the evening, before she died. I knew all about it afterward, when I grew to be a man, because once in a woods in Illinois, on another Winter night, I saw a pack of dogs act

шийся с тех времен, когда они были волками и в зимние ночи стаями рыскали по лесам, вновь вселяется в них.

Собаки, собравшиеся на прогалине перед старухой, уже поймали двух-трех кроликов и кое-как утолили голод. Они начали играть, носиться по прогалине. Они мчались и мчались по кругу, одна почти касаясь носом хвоста другой. Странное было зрелище — этот безмолвный бег по кругу, протоптанному в мягком снегу, под засыпанными снегом деревьями, под зимней луной. Собаки не издавали ни звука. Они все мчались и мчались по кругу.

Может быть, старуха увидела их игру, прежде чем умерла. Возможно, что она время от времени просыпалась и смотрела на эту странную сцену слабыми затуманенными глазами.

Должно быть, ей теперь и холодно не было, только клонило ко сну. Жизнь теплится в человеке очень долго. Может быть, старуха потеряла рассудок. Может быть, ей снилось ее девичество, как она жила у немца, и как она была ребенком, и что было до того, как мать бросила ее и исчезла.

Едва ли ей снилось что-нибудь приятное. Мало было у нее в жизни приятного. Время от времени одна из собак выбегала из круга, останавливалась перед ней и приближала морду к ее лицу. Из пасти собаки свисал красный язык.

Кружение собак могло быть чем-то вроде похоронной церемонии. А может быть, первобытный волчий инстинкт, возбужденный ночной беготней, заставлял их чего-то опасаться.

«Мы больше не волки. Мы — собаки, слуги человека. Держись за жизнь, человек! Когда ты умираешь, мы снова превращаемся в волков».

Одна из собак подбегала к старухе, сидевшей спиной к дереву, приближала морду к ее лицу и, по-видимому, удовлетворенная, возвращалась к стае. То же самое проделали по очереди в течение вечера, прежде чем старуха умерла, все собаки Граймзов. Обо всем этом я узнал позже, уже взрослым, когда мне однажды такой же

like that. The dogs were waiting for me to die as they waited for the old woman that night when I was a child, but when it happened to me I was a young man and had no intention whatever of dying.

The old woman died softly and quietly. When she was dead and when one of the Grimes dogs had come to her and had found her dead all the dogs stopped running.

They gathered about her.

Well, she was dead now. She had fed the Grimes dogs when she was alive, what about now?

There was the pack on her back, the grain bag containing the piece of salt pork, the liver the butcher had given her, the dog-meat, the soup bones. The butcher in town, having been suddenly overcome with a feeling of pity, had loaded her grain bag heavily. It had been a big haul for the old woman.

It was a big haul for the dogs now.

IV

One of the Grimes dogs sprang suddenly out from among the others and began worrying the pack on the old woman's back. Had the dogs really been wolves that one would have been the leader of the pack. What he did, all the others did.

All of them sank their teeth into the grain bag the old woman had fastened with ropes to her back.

They dragged the old woman's body out into the open clearing. The worn-out dress was quickly torn from her shoulders. When she was found, a day or two later, the dress had been torn from her body clear to the hips, but the dogs had not touched her body. They had got the meat out of the grain bag, that was all. Her body was frozen stiff when it was found, and the shoulders were so narrow and the body so slight that in death it looked like the body of some charming young girl.

Such things happened in towns of the Middle West, on farms near town, when I was a boy. A hunter out after rabbits found the old woman's body and did not touch it.

зимней ночью, в лесу, в Иллинойсе, довелось увидеть подобное зрелище. Собаки ждали, чтобы я умер, так же как они ждали, чтобы умерла старуха в ту ночь, когда я был еще ребенком. Но когда это случилось со мной, я был молод и не имел ни малейшего намерения умирать.

Старуха скончалась тихо и спокойно. Когда она перестала дышать и когда одна из собак Граймзов подошла к ней вплотную и увидела, что она мертва, все собаки перестали носиться по прогалине.

Они собрались вокруг старухи.

Ну вот, она мертва. Она кормила граймзовских собак, когда была жива, как же теперь?

На спине у нее висел мешок, мешок из-под зерна, в котором лежали солонина, подаренная ей мясником, печенька, мясо для собак и кости. Мясник, внезапно охваченный состраданием, доверху наполнил мешок. Для старухи это была богатая добыча.

Теперь это была богатая добыча для собак.

IV

Одна из граймзовских собак внезапно отделилась от остальных и начала теребить мешок на спине у старухи. Если бы собаки были волками, эта, несомненно, была бы вожаком стаи. Прочие последовали ее примеру.

Все они вцепились зубами в мешок, который старуха укрепила веревкой на спине.

Они выволокли труп на середину прогалины. Истлевшее платье мгновенно сползло с плеч старухи. Когда ее нашли два-три дня спустя, оказалось, что платье с нее начисто сорвано по пояс, но тела собаки не тронули. Они вытащили мясо из мешка, и все тут. Когда труп нашли, он окоченел, и плечи были так узки, а тело так хрупко, что в смерти оно казалось телом прелестной девушки.

В дни моего детства в городах Среднего Запада, на пригородных фермах, случались такие истории. Какой-то охотник за кроликами набрел на тело старухи и не

Something, the beaten round path in the little snow-covered clearing, the silence of the place, the place where the dogs had worried the body trying to pull the grain bag away or tear it open—something startled the man and he hurried off to town.

I was in Main Street with one of my brothers who was town newsboy and who was taking the afternoon papers to the stores. It was almost night.

The hunter came into a grocery and told his story. Then he went to a hardware-shop and into a drugstore. Men began to gather on the sidewalks. Then they started out along the road to the place in the woods.

My brother should have gone on about his business of distributing papers but he didn't. Every one was going to the woods. The undertaker went and the town marshal. Several men got on a dray and rode out to where the path left the road and went into the woods, but the horses weren't very sharply shod and slid about on the slippery roads. They made no better time than those of us who walked.

The town marshal was a large man whose leg had been injured in the Civil War. He carried a heavy cane and limped rapidly along the road. My brother and I followed at his heels, and as we went other men and boys joined the crowd.

It had grown dark by the time we go to where the old woman had left the road but the moon had come out. The marshal was thinking there might have been a murder. He kept asking the hunter questions. The hunter went along with his gun across his shoulders, a dog following at his heels. It isn't often a rabbit hunter has a chance to be so conspicuous. He was taking full advantage of it, leading the procession with the town marshal. "I didn't see any wounds. She was a beautiful young girl. Her face was buried in the snow. No, I didn't know her." As a matter of fact, the hunter had not looked closely at the body. He had been frightened. She might have been murdered and some one might spring out from behind a tree and murder him. In a woods, in the late afternoon, when the trees are all bare

тронул его. Неизвестно, что — то ли вытоптанный кругообразный след на маленькой, занесенной снегом прогалине, то ли безмолвие природы, то ли вид места, где собаки теребили тело, стараясь стянуть с него мешок либо разодрать его, — неизвестно, что именно смутило охотника, но он поспешил в город.

Я находился на Главной улице с одним из моих братьев, газетчиком, разносившим вечерний выпуск по лавкам. Уже спускалась ночь.

Охотник зашел в бакалейную лавку и рассказал о том, что видел. Потом он пошел в скобяную лавку и в аптекарский магазин. На тротуарах начали собираться люди. Они двинулись по шоссе в лес.

Моему брату надо было возвращаться к своим обязанностям газетчика, но он забыл о них. Все направились в лес. Среди других шел владелец похоронного бюро, шел шериф. Несколько человек сели в повозку и поехали к тому месту, где тропинка ответвлялась от шоссе и уходила в лес, однако лошади были плохо подкованы и спотыкались на скользкой дороге. Мы шли пешком, но повозка не опередила нас.

Шериф был грузный мужчина, с ногой, изувеченной на Гражданской войне. Он торопливо ковылял по дороге, опираясь на толстую палку. Мы с братом следовали за ним, и по пути к нам присоединилось еще несколько мужчин и мальчишек.

Пока мы добрались до того места, где старуха свернула с шоссе, стемнело, но уже взошла луна. Шериф допускал, что тут могло быть убийство, и задавал охотнику разные вопросы. Тот шел с нами в сопровождении собаки, закинув за плечи ружье. Не часто случается охотнику за кроликами стать предметом общего внимания. Он всячески старался использовать свое положение и вместе с шерифом возглавлял шествие.

— Ран я не заметил, — сказал охотник. — Это красивая молодая девушка. Она лежит, зарывшись лицом в снег. Нет, кто она, я не знаю.

Как выяснилось, охотник и не подходил близко к замерзшей женщине. Ему было страшно. А что, если ее

and there is white snow on the ground, when all is silent, something creepy steals over the mind and body. If something strange or uncanny has happened in the neighborhood all you think about is getting away from there as fast as you can.

The crowd of men and boys had got to where the old woman had crossed the field and went, following the marshal and the hunter, up the slight incline and into the woods.

My brother and I were silent. He had his bundle of papers in a bag slung across his shoulder. When he got back to town he would have to go on distributing his papers before he went home to supper. If I went along, as he had no doubt already determined I should, we would both be late. Either mother or our older sister would have to warm our supper.

Well, we would have something to tell. A boy did not get such a chance very often. It was lucky we just happened to go into the grocery when the hunter came in. The hunter was a country fellow. Neither of us had ever seen him before.

Now the crowd of men and boys had got to the clearing. Darkness comes quickly on such Winter nights, but the full moon made everything clear. My brother and I stood near the tree, beneath which the old woman had died.

She did not look old, lying there in that light, frozen and still. One of the men turned her over in the snow and I saw everything. My body trembled with some strange mystical feeling and so did my brother's. It might have been the cold.

Neither of us had ever seen a woman's body before. It may have been the snow, clinging to the frozen flesh, that made it look so white and lovely, so like marble. No woman had come with the party from town; but one of the men, he was the town blacksmith, took off his overcoat and spread it over her. Then he gathered her into his arms and started off to town, all the others following silently. At that time no one knew who she was.

убили, и вдруг кто-нибудь выскочит из-за дерева и его тоже убьет! В лесу под вечер, когда деревья совершенно голы, а земля покрыта белым снегом, когда все кругом молчит, какая-то жуть вползает в душу и сковывает тело. А если к тому же поблизости случилось что-то странное и подозрительное, думаешь только об одном — как бы скорей унести ноги.

Толпа — мужчины и мальчишки — добралась до того места, где старуха пересекла поле, вслед за шерифом и охотником поднялась по пологому склону и вступила в лес.

Мы с братом молчали. В его сумке, перекинутой через плечо, лежала пачка газет. Он должен был успеть еще до ужина разнести их по адресам. Если я помогу ему, — а он, видимо, этого хотел, — мы оба опоздаем домой. Матери или старшей сестре придется разогревать нам ужин.

Ну что ж, зато у нас будет о чем рассказать! Не часто выпадает мальчишкам такое счастье. Как это здорово вышло, что мы заглянули в бакалейную лавку как раз тогда, когда туда зашел охотник! Он был не из наших мест; мы его никогда раньше не встречали.

Наконец толпа подошла к прогалине. В зимние ночи темнеет очень быстро, но полная луна озаряла все ярким светом. Мы с братом остановились невдалеке от дерева, под которым умерла старуха.

И вот она лежала перед нами в лунном свете, совсем непохожая на старуху, застывшая и тихая. Кто-то перевернул ее на спину, и я увидел все. Я содрогнулся всем телом от какого-то странного, таинственного чувства, мой брат — тоже. А может быть, это было от холода.

Мы никогда еще не видели женского тела. Возможно, что из-за снега, облепившего замерзшую плоть, она казалась такой белой и прекрасной, такой мраморной. В толпе, пришедшей из города, совсем не было женщин; но один из мужчин, кузнец, житель нашего городка, скинул с себя куртку и прикрыл ею тело. Потом он поднял мертвую женщину и понес в город; все молча пошли за ним. Тогда никто еще не знал, кто она такая.

V

I had seen everything, had seen the oval in the snow, like a miniature race-track, where the dogs had run, had seen how the men were mystified, had seen the white bare young-looking shoulders, had heard the whispered comments of the men.

The men were simply mystified. They took the body to the undertaker's, and when the blacksmith, the hunter, the marshal and several others had got inside they closed the door. If father had been there perhaps he could have got in, but we boys couldn't.

I went with my brother to distribute the rest of his papers and when we got home it was my brother who told the story.

I kept silent and went to bed early. It may have been I was not satisfied with the way he told it.

Later, in the town, I must have heard other fragments of the old woman's story. She was recognized the next day and there was an investigation.

The husband and son were found somewhere and brought to town and there was an attempt to connect them with the woman's death, but it did not work. They had perfect enough alibis.

However, the town was against them. They had to get out. Where they went I never heard.

I remember only the picture there in the forest, the men standing about, the naked girlish-looking figure, face down in the snow, the tracks made by the running dogs and the clear cold Winter sky above. White fragments of clouds were drifting across the sky. They went racing across the little open space among the trees.

The scene in the forest had become for me, without my knowing it, the foundation for the real story I am now trying to tell. The fragments, you see, had to be picked up slowly, long afterwards.

Things happened. When I was a young man I worked on the farm of a German. The hired-girl was afraid of her employer. The farmer's wife hated her.

V

Я видел все, видел похожий на уменьшенную беговую дорожку круг в снегу, протоптанный собаками, видел недоуменные лица мужчин, видел белые, голые девственные плечи, слышал, как люди шепотом обменивались замечаниями.

Мужчины были озадачены. Они отнесли тело в похоронное бюро; кузнец, охотник, шериф и еще несколько человек вошли и заперли за собой дверь. Если бы тут был наш отец, он, пожалуй, проник бы туда, но нам, мальчишкам, никак нельзя было.

Мы с братом разнесли оставшиеся газеты, а когда пришли домой, всю историю рассказал брат.

Я не произнес ни слова и рано лег спать. Может быть, потому, что он, по-моему, не так все рассказал.

Позже я, должно быть, слышал в городе еще какие-то подробности о старухе. На следующий день ее опознали, и началось следствие.

Где-то разыскали ее мужа и сына и доставили их в город. Вину за смерть старухи пытались взвалить на них, но из этого ничего не вышло. Они полностью доказали свою непричастность.

Тем не менее весь город был настроен против них. Им пришлось уехать. Куда они делись, я и по сей день не знаю.

Я помню только эту картину в лесу — толпу, голое девическое тело, опрокинутое лицом в снег, следы от беготни собак и ясное холодное, зимнее небо вверху. По небу плыли белые клочья облаков. Они проносились над маленьким открытым пространством между деревьями.

Я сам не заметил, как из этой сцены в лесу со временем возникла та повесть, которую я ныне пытаюсь рассказать. Все мелкие черточки, как видите, пришлось подбирать исподволь, значительно позже.

На моих глазах случалось разное. В дни молодости я работал на ферме у одного немца. Тамошняя служанка боялась хозяина. Жена фермера ненавидела ее.

I saw things at that place. Once later, I had a half-uncanny, mystical adventure with dogs in an Illinois forest on a clear, moon-lit Winter night. When I was a schoolboy, and on a Summer day, I went with a boy friend out along a creek some miles from town and came to the house where the old woman had lived. No one had lived in the house since her death. The doors were broken from the hinges; the widow lights were all broken. As the boy and I stood in the road outside, two dogs, just roving farm dogs no doubt, came running around the corner of the house. The dogs were tall, gaunt fellows and came down to the fence and glared through at us, standing in the road.

The whole thing, the story of the old woman's death, was to me as I grew older like music heard from far off. The notes had to be picked up slowly one at a time. Something had to be understood.

The woman who dies was one destined to feed animal life. Anyway, that is all she ever did. She was feeding animal life before she was born, as a child, as a young woman working on the farm of the German, after she married, when she grew old and when she died. She fed animal life in cows, in chickens, in pigs, in horses, in dogs, in men. Her daughter had died in childhood and with her one son she had no articulate relations. On the night when she died she was hurrying homeward, bearing on her body food for animal life.

She died in the clearing in the woods and even after her death continued feeding animal life.

You see it is likely that, when my brother told the story, that night when we got home and my mother and sister sat listening, I did not think he got the point. He was too young and so was I. A thing so complete has its own beauty.

I shall not try to emphasize the point. I am only explaining why I was dissatisfied then and have been ever since. I speak of that only that you may understand why I have been impelled to try to tell the simple story over again.

Я много там насмотрелся. Позже я попал в довольно жуткую историю с собаками — в лесу, в Иллинойсе, ясной, лунной зимней ночью. Еще в школьные годы я как-то летом отправился с товарищем вдоль ручья за несколько миль от города и отыскал дом, где жила старуха. С тех пор, как она умерла, никто там не жил. Двери были сорваны с петель, оконные стекла разбиты. Мы с товарищем стояли на дороге, и вдруг из-за дома выскочили две собаки — просто две бродячие дворняги. Собаки были огромные, тощие, они подбежали к забору и уставились с той стороны на нас.

Все это вместе — история старухи и ее смерть — стало для меня, когда я вырос, словно музыкой, доносящейся издалека. Мне пришлось медленно подбирать ноту за нотой. Необходимо было что-то осмыслить.

Умершая женщина была из тех, что обречены питать собою чужую жизнь. Собственно говоря, она всю жизнь ничем иным и не занималась. Она питала собою чужую жизнь еще до того, как родилась, ребенком, девушкой, батрачившей у немца на ферме, замужней женщиной, старухой, и после того, как она умерла. Она поддерживала жизнь в коровах, в курах, в свиньях, в лошадях, в собаках, в мужчинах. Ее дочь умерла в раннем детстве, с сыном у нее не было человеческих отношений. В ту ночь, когда она умерла, спеша домой, она несла на себе питание для чужих жизней.

Она умерла на прогалине в лесу и даже после смерти питала собою чужую жизнь.

Вот почему в тот вечер, когда мы с братом вернулись домой и мать и сестра слушали его рассказ, я чувствовал, что самого главного он не коснулся. Он был слишком молод, и я тоже. В такой завершенности есть своя красота.

Я не хочу подчеркивать это обстоятельство. Я только хочу объяснить, почему я тогда не был удовлетворен рассказом брата и остался неудовлетворенным до сих пор. Я говорю об этом только для того, чтобы вы поняли, почему я попытался вновь рассказать эту простую историю.



RING LARDNER

Who Dealt?

You know, this is the first time Tom and I have been with real friends since we were married. I suppose you'll think it's funny for me to call you *my* friends when we've never met before, but Tom has talked about you so much and how much he thought of you and how crazy he was to see you and everything—well, it's just as if I'd known you all my life, like he has.

We've got our little crowd out there, play bridge and dance with them; but of course we've only been there three months, at least I have, and people you've known that length of time, well, it isn't like knowing people all your life, like you and Tom. How often I've heard Tom say he'd give any amount of money to be with Arthur and Helen, and how bored he was out there with just poor little me and his new friends!

Arthur and Helen, Arthur and Helen—he talks about you so much that it's a wonder I'm not jealous; especially of you, Helen. You must have been his real pal when you were kids.

Nearly all of his kid books, they have your name in front—to Thomas Cannon from Helen Bird Strong. This is a wonderful treat for him to see you! And a treat for me,



РИНГ ЛАРДНЕР

Кому сдавать?

А знаете ли, ведь это первый раз, что мы с Томом встречаемся с близкими друзьями после того, как поженились. Вам, может быть, покажется странно, что я вас тоже считаю своими друзьями, когда мы даже не были раньше знакомы, но Том столько мне про вас рассказывал, так вас всегда хвалил и так скучал по вас, что я тоже как будто всю жизнь вас знаю, не хуже Тома.

У нас в городе есть, конечно, свой круг знакомых, мы у них бываем, танцуем, играем в карты, но ведь мы там всего три месяца прожили, а такие знакомые, которых знаешь три месяца, конечно, совсем не то, что люди, с которыми знаком всю жизнь, вот как вы с Томом. Сколько раз я от него слышала, что он отдал бы все на свете, лишь бы повидаться с Эллен и Артуром, и как он скучает здесь, где у него, бедняжки, никого нет, кроме меня да новых знакомых!

Артур и Эллен, Артур и Эллен — только и разговора что про вас, даже удивительно, как это я не приревновала, особенно к вам, Эллен. Вы, должно быть, с детства с ним дружите?

Ведь почти на всех его детских книжках стоит ваше имя на заглавном листе. «Томасу Кэннону от Эллен Берд Стронг». Для него это такая радость повидаться с

too. Just think, I've at last met the wonderful Helen and Arthur! You must forgive me calling you by your first names; that's how I always think of you and I simply can't say Mr. and Mrs. Gratz.

No, thank you, Arthur; no more. Two is my limit and I've already exceeded it, with two cocktails before dinner and now this. But it's a special occasion, meeting Tom's best friends. I bet Tom wishes he could celebrate too, don't you, dear? Of course he could if he wanted to, but when he once makes up his mind to a thing, there's nothing in the world can shake him. He's got the strongest will power of any person I ever saw.

I do think it's wonderful, him staying on the wagon this long, a man that used to—well, you know as well as I do; probably a whole lot better, because you were with him so much in the old days, and all I know is just what he's told me. He told me about once in Pittsburgh—— All right, Tommie; I won't say another word. But it's all over now, thank heavens! Not a drop since we've been married; three whole months! And he says it's forever, don't you, dear? Though I don't mind a person drinking if they do it in moderation. But you know Tom! He goes the limit in everything he does. Like he used to in athletics——

All right, dear; I won't make you blush. I know how you hate the limelight. It's terrible, though, not to be able to boast about your own husband; everything he does or ever has done seems so wonderful. But is that only because we've been married such a short time? Do you feel the same way about Arthur, Helen? You do? And you married him four years ago, isn't that right? And you eloped, didn't you? You see I know all about you.

Oh, are you waiting for me? Do we cut for partners? Why can't we play families? I don't feel so bad if I do something dumb when it's Tom I'm playing with. He never scolds, though he does give me some terrible looks. But not very often lately; I don't make the silly mistakes I used to.

вами! И для меня, разумеется, тоже радость. Подумать только, наконец-то я познакомилась с Эллен и Артуром! Вы уж извините, что я вас зову просто по имени; про себя я вас всегда так зову, да у меня даже язык не повернется выговорить: «Мистер и миссис Гратц».

Нет, спасибо, Артур, больше не надо. И то уже много, больше двух я обыкновенно не пью, а тут выпила два коктейля перед обедом, да сейчас еще. Правда, случай такой особенный — встреча с самыми близкими друзьями Тома. Ему тоже, верно, хочется выпить, правда, милый? Он, конечно, мог бы еще выпить, но если уж он что-нибудь решил, то ни за что на свете не переменит решения. У него такой сильный характер, просто как ни у кого другого.

По-моему, это даже удивительно, что он вот решил — и не пьет, а раньше у него была привычка — да вы это не хуже моего знаете, а может, и лучше, вы так часто с ним виделись прежде, а я ведь знаю только то, что он мне сам говорит. Он мне рассказывал, как один раз в Питтсбурге — ну хорошо, Томми, я молчу. Но теперь всему этому конец, слава богу! Капли в рот не берет с тех пор, как мы поженились, целых три месяца! И говорит, что теперь навсегда зарекся, правда, Томми? Хотя я ничего не имею против, если мужчина выпьет. Но вы ведь знаете Тома? Всегда у него крайности. Вот и с футболом то же...

Хорошо, милый, не буду, нечего тебе краснеть. Я знаю, ты терпеть не можешь, когда тебя хвалят. Хотя это ужасно, что мне нельзя даже похвастаться собственным мужем. Ведь все, что он делает, кажется мне просто удивительным. Неужели это оттого, что мы недавно женаты? Вы тоже так относитесь к Артуру, Эллен? Да? А ведь вы уже четыре года замужем, правда? И, кажется, вы обвенчались тайно? Видите, я все про вас знаю.

Ах, вы меня ждете? Кому сдавать? А почему мы не можем играть семья против семьи? Когда я сделаю какой-нибудь промах, мне бывает не так стыдно, если я играю с Томом. Он никогда не бранит меня, хотя иногда смотрит такими сердитыми глазами. За последнее

I'm pretty good now, aren't I, Tom? You better say so, because if I'm not, it's your fault. You know Tom had to teach me the game. I never played at all till we were engaged. Imagine! And I guess I was pretty awful at first, but Tom was a dear, so patient! I know he thought I never would learn, but I fooled you, didn't I, Tommie?

No, indeed, I'd rather play than do almost anything. But you'll sing for us, won't you, Helen? I mean after a while. Tom has raved to me about your voice and I'm dying to hear it.

What are we playing for? Yes, a penny's perfectly all right. Out there we generally play for half a cent a piece, a penny a family. But a penny a piece is all right. I guess we can afford it now, can't we, dear? Tom hasn't told you about his raise. He was—— All right, Tommie; I'll shut up. I know you hate to be talked about, but your wife can't help being just a teeny bit proud of you. And I think your best friends are interested in your affairs, aren't you, folks?

But Tom is the most secretive person I ever knew. I believe he even keeps things from me! Not very many, though. I can usually tell when he's hiding something and I keep after him till he confesses. He often says I should have been a lawyer or a detective, the way I can worm things out of people. Don't you, Tom?

For instance, I never would have known about his experience with those horrid football people at Yale if I hadn't just made him tell me. Didn't you know about that? No, Tom, I'm going to tell Arthur even if you hate me for it. I know you'd be interested, Arthur, not only because you're Tom's friend, but on account of you being such a famous athlete yourself. Let me see, how was it, Tom? You must

время это бывает редко, я уж не делаю таких глупых промахов, как раньше. Я теперь хорошо играю, правда, Том? Лучше уж скажи, что правда, а то, если окажется, что я ничего не умею, ты же сам будешь виноват. Знаете, Тому ведь пришлось учить меня играть в карты. Я даже мастей не знала, пока мы не обручились, представьте себе! Сначала я, должно быть, играла ужасно, но Том такой милый, такой терпеливый! Я знаю, он думал, что мне никогда не выучиться, только я его провела и научилась, правда, Томми?

Нет, в самом деле, я теперь больше всего люблю карты. Но вы нам все-таки споете, Эллен? То есть немножко погодя. Том просто без ума от вашего голоса, и мне ужасно хочется послушать.

Какая будет ставка? Пенни? Что ж, очень хорошо. Обыкновенно мы играем по полпенни, стало быть, это выходит пенни на двоих. Но по пенни тоже ничего. Думаю, теперь это нам по средствам, правда, милый? Том не говорил вам, что его повысили? Он ведь был... Ну хорошо, Томми, я молчу. Я знаю, ты не любишь, когда о тебе говорят, но как же твоей жене не гордиться тобой хоть чуточку? И я думаю, твои лучшие друзья тоже интересуются твоими делами, ведь правда?

Такого скрытного человека я в жизни не видывала. Мне кажется, он даже от меня многое скрывает! Хотя, может быть, и не так уж много. Я обыкновенно догадываюсь, если он что-нибудь утаит, и пристаю к нему до тех пор, пока он не скажет. Он часто говорит, что из меня вышел бы хороший следователь или сыщик, так хорошо я умею выпытать у человека всю подноготную. Правда, Том?

Да вот, например, я бы так никогда и не узнала, какие у него были неприятности с футбольной командой в Иейле, если бы не заставила его рассказать. А вы тоже не знали? Нет, Том. Артуру я непременно расскажу, это уж как ты хочешь. Я знаю, Артур, вам это будет интересно, и не только потому, что вы друг Тома: ведь вы и сами увлекаетесь спортом. Позвольте, как же это было? Ну, Том, ты мне помоги. Если

help me out. Well, if I don't get it right, you correct me.

Well, Tom's friends at Yale had heard what a wonderful football player he was in high school so they made him try for a place on the Yale nine. Tom had always played half-back. You have to be a fast runner to be a half-back and Tom could run awfully fast. He can yet. When we were engaged we used to run races and the prize was—— All right, Tommie, I won't give away our secrets. Anyway, he can beat me to pieces.

Well, he wanted to play half-back at Yale and he was getting along fine and the other men on the team said he would be a wonder and then one day they were having their practice and Tex Jones, no, Ted Jones—he's the main coach—he scolded Tom for having the signal wrong and Tom proved that Jones was wrong and he was right and Jones never forgave him. He made Tom quit playing half-back and put him tackle on end or some place like that where you can't do anything and being a fast runner doesn't count. So Tom saw that Jones had it in for him and he quit. Wasn't that it, Tom? Well, anyway, it was something.

Oh, are you waiting for me? I'm sorry. What did you bid, Helen? And you, Tom? You doubled her? And Arthur passed? Well, let's see. I wish I could remember what that means. I know that sometimes when he doubles he means one thing and sometimes another. But I always forget which is which. Let me see; it was two spades that he doubled, wasn't it? That means I'm to leave him in, I'm pretty sure. Well, I'll pass. Oh, I'm sorry, Tommie! I knew I'd get it wrong. Please forgive me. But maybe we'll set them anyway. Whose lead?

I'll stop talking now and try and keep my mind on the game. You needn't look that way, Tommie. I *can* stop talking if I try. It's kind of hard to concentrate though, when you're, well, excited. It's not only meeting you people, but I always get excited traveling. I was just terrible on our

я что-нибудь скажу не так, ты меня поправь.

Так вот, иейлские друзья Тома узнали, что он еще в школе был замечательным футболистом, и настояли, чтоб он вступил в иейлскую команду. Прежде Том всегда играл в полузащите. Для того чтобы быть хорошим полузащитником, надо очень быстро бегать, а Том бежал удивительно. Он и сейчас бежит не хуже. Когда мы с ним еще не были женаты, то часто бежали наперегонки, и вместо приза... Ну хорошо, Томми, я не стану выдавать наших секретов. Во всяком случае, ему ничего не стоило меня обогнать.

Ну вот, он и в иейлской команде хотел быть полузащитником, и все шло хорошо, вся команда говорила, что полузащитник он будет замечательный, а тут как-то они тренировались, и Тек Джонс, нет, Тед Джонс — это главный тренер — сделал выговор Тому за то, что он будто бы не понял сигнала, а Том доказал, что, наоборот, это Джонс ошибся, и Джонс ему этого никак не мог простить. Он снял Тома с полузащиты и поставил его на край или еще куда-то, словом, на такое место, где ничего нельзя сделать и где быстрота бега просто ни к чему. Ну, Том понял, что ему не сладить с Джонсом, и ушел из команды. Разве не так это было, Том? Во всяком случае, что-то в этом роде.

Ах, вы меня ждете? Извините, пожалуйста! Что вы объявили, Эллен? А ты, Том? Удваиваешь? А Артур пасует? Ну что ж, посмотрим. Жалко, не припомню хорошенько, что бы это значило, когда он удваивает. Знаю только, что иногда это значит одно, а иногда совсем другое. Я всегда забываю, что именно. Позвольте: она сказала две пики, а он удвоил? Ну тогда я пасую. Ах, прости ради бога, Томми! Я так и знала, что все перепутаю. Извини меня, пожалуйста. Но, может быть, это еще можно как-нибудь поправить. Кому ходить?

Я не буду больше болтать, постараюсь сосредоточиться на игре. Нечего так смотреть, Томми. Я могу и молчать, если постараюсь. Хотя трудно сосредоточиться, если... ну, если волнуешься, что ли. И не только оттого, что вы с Артуром тут, я вообще всегда нервничаю,

honeymoon, but then I guess a honeymoon's enough to make anybody nervous. I'll never forget when we went into the hotel in Chicago—— All right, Tommie, I won't. But I can tell about meeting the Bakers.

They're a couple about our age that I've known all my life. They were the last people in the world I wanted to see, but we ran into them on State Street and they insisted on us coming to their hotel for dinner and before dinner they took us up to their room and Ken—that's Mr. Baker—Ken made some cocktails, though I didn't want any and Tom was on the wagon. He said a honeymoon was a fine time to be on the wagon! Ken said.

"Don't tempt him, Ken," I said. "Tom isn't a drinker like you and Gertie and the rest of us. When he starts, he can't stop." Gertie is Mrs. Baker.

So Ken said why should he stop and I said there was good reason why he should because he had promised me he would and he told me the day we were married that if I ever saw him take another drink I would know that——

What did you make? Two odd? Well, thank heavens that isn't a game! Oh, that does make a game, doesn't it? Because Tom doubled and I left him in. Isn't that wicked! Oh, dearie, please forgive me and I'll promise to pay attention from now on! What do I do with these? Oh, yes, I make them for Arthur.

I was telling you about the Bakers. Finally Ken saw he couldn't make Tom take a drink, so he gave up in disgust. But imagine meeting them on our honeymoon, when we didn't want to see anybody! I don't suppose anybody does unless they're already tired of each other, and we certainly weren't, were we, Tommie? And aren't yet, are we, dear? And never will be. But I guess I better speak for myself.

There! I'm talking again! But you see it's the first time we've been with anybody we really cared about; I mean,

когда мы не дома. Весь медовый месяц я ужасно нервничала, хотя медовый месяц кому угодно может расстроить нервы, так я думаю. Никогда не забуду, как мы вошли в отель в Чикаго... Ну хорошо, Томми, молчу. Расскажу лучше, как мы встретились с Бекерами, это, я думаю, можно.

Бекеры — это супружеская пара нашего приблизительно возраста, я их обоих знаю с детства. И, конечно, я вовсе не желала их видеть, но мы столкнулись с ними на улице, и они зазвали нас к себе в отель обедать, а перед обедом повели нас в свой номер, и Кен — это мистер Бекер — приготовил коктейли, хотя мне вовсе не хотелось, а Том как раз бросил пить. Он сказал: ну, уж действительно нашел время бросать в медовый месяц, — то есть это Кен сказал.

— Не искушай его, Кен, — говорю я. — Том не так пьет, как ты, или Герти, или все мы. Если уж он начнет пить, то не может остановиться. Герти — это миссис Бекер.

А Кен сказал, чего ради ему бросать, а я сказала, на это есть основательные причины; прежде всего он мне обещал и в тот день, когда мы поженились, сказал, что если я еще раз увижу, как он пьет, значит...

Как вы сказали? Без двух? Ну, ничего, мы это еще поправим. Как, разве уже партия? Быть не может! Ах, как вышло нехорошо! Извини, милый, теперь я обещаю тебе, что буду играть внимательно. Кто же сдает? А с этими картами что мне делать? Ах да, передать Артуру.

Так вот, я рассказывала вам про Бекеров. Наконец Кен понял, что ему не удастся спить Тома, и отстал от него, хотя очень был недоволен. Но вы представьте себе: встретить их во время медового месяца, когда нам совсем никого не хотелось видеть! Я думаю, у всех так бывает, разве только если люди успели надоесть друг другу, а мы еще нет, правда, Томми? И сейчас еще не надоели друг другу, правда, милый? И никогда не надоедим. Но я думаю, мне лучше ручаться только за себя.

Ну вот! Я опять болтаю! Но вы понимаете, это первый раз, что мы видимся с людьми, которые нам дей-

you're Tom's best friends and it's so nice to get a chance to talk to somebody who's known him a long time. Out there the people we run around with are almost strangers and they don't talk about anything but themselves and how much money their husbands make. You never can talk to them about things that are worth while, like books. I'm wild about books, but I honestly don't believe half the women we know out there can read. Or at least they don't. If you mention some really worth while novel like, say, "Black Oxen," they think you're trying to put on the Ritz.

You said a no-trump, didn't you, Tom? And Arthur passed. Let me see; I wish I knew what to do. I haven't any five-card—it's terrible! Just a minute. I wish somebody could—I know I ought to take—but—well, I'll pass. Oh, Tom, this is the worst you ever saw, but I don't know what I could have done.

I do hold the most terrible cards! I certainly believe in the saying, "Unlucky at cards, lucky in love." Whoever made it up must have been thinking of me. I hate to lay them down, dear. I know you'll say I ought to have done something. Well, there they are! Let's see your hand, Helen. Oh, Tom, she's—but I mustn't tell, must I? Anyway, I'm dummy. That's one comfort. I can't make a mistake when I'm dummy. I believe Tom overbids lots of times so I'll be dummy and can't do anything ridiculous. But at that I'm much better than I used to be, aren't I, dear?

Helen, do you mind telling me where you got that gown? Crandall and Nelsons's? I've heard of them, but I heard they were terribly expensive. Of course a person can't expect to get a gown like that without paying for it. I've got to get some things while I'm here and I suppose that's where I better go, if their things aren't too horribly dear. I

ствительно по душе. Я хочу сказать, вы самые близкие друзья Тома, и это так приятно — иметь возможность поговорить с кем-нибудь, кто его давно знает. У нас в городе нам приходится встречаться с совершенно чужими людьми, они только и говорят, что о самих себе да о том, сколько зарабатывают их мужья. Не с кем слова сказать о чем-нибудь действительно интересном, например, о литературе. Сама я просто помешана на книгах, а вот про наших городских дам, честное слово, никак не скажешь, что они любят читать. Книги в руки не берут. Если при них назвать какой-нибудь стоящий роман, ну хоть «Черные быки», они подумают, ты просто задаешься.

Ты, кажется, сказал «без козырей», Том? А вы, Артур, пасуете? Дайте-ка сообразить; не знаю даже, что мне делать. У меня нет длинной масти — вот так штука! Одну минутку. Хоть бы кто-нибудь... я сама не знаю, как мне бы лучше... Ну, да что уж там... пасую. Ах, Том, я сама знаю, что это было ужасно, но что же делать, если я не знала, с чего ходить.

У меня такие плохие карты, просто из рук вон! Ну, как после этого не верить пословице: «В картах не везет, в любви везет». Тот, кто это выдумал, должно быть, имел в виду меня. Мне ужасно не хочется открывать карты, милый. Ты, я знаю, скажешь, что я могла бы постараться. Ну, вот они, возьми, пожалуйста. Покажите, что у вас на руках, Эллен? Ах, Том, у нее... нельзя говорить, правда? Во всяком случае, я теперь «болван». Одно утешение, что теперь я ничего не перепутаю. Том всегда сам назначает козыри, так что даже лучше, когда я «болван»: я не могу наделать глупостей. Но вообще теперь я играю гораздо лучше. Не правда ли, милый?

Эллен, не скажете ли вы мне, где вы заказывали это платье? У «Крендла и Нелсона»? Да, я про них слыхала, только, говорят, там все ужасно дорого. Конечно, такое платье даром нигде не сошьешь, нечего и толковать. Мне надо купить хоть что-нибудь, пока я здесь; пожалуйста, самое лучшее съездить к ним, если у них не такая уж страшная дороговизна. После свадьбы я еще ничего

haven't had a thing new since I was married and I've worn this so much I'm sick of it.

Tom's always after me to buy clothes, but I can't seem to get used to spending somebody else's money, though it was dad's money I spent before I did Tom's, but that's different, don't you think so? And of course at first we didn't have very much to spend, did we, dear? But now that we've had our raise—— All right, Tommie, I won't say another word.

Oh, did you know they tried to get Tom to run for mayor? Tom is making faces at me to shut up, but I don't see any harm in telling it to his best friends. They know we're not the kind that brag, Tommie. I do think it was quite a tribute; he'd only lived there a little over a year. It came up one night when the Guthries were at our house, playing bridge. Mr. Guthrie—that's A. L. Guthrie—he's one of the big lumbermen out there. He owns—just what does he own, Tom? Oh, I'm sorry. Anyway, he's got millions. Well, at least thousands.

He and his wife were at our house playing bridge. She's the queerest woman! If you just saw her, you'd think she was a janitor or something; she wears the most hideous clothes. Why, that night she had on a—honestly you'd have sworn it was a maternity gown, and for no reason. And the first time I met her—well, I just can't describe it. And she's a graduate of Bryn Mawr and one of the oldest families in Philadelphia. You'd never believe it!

She and her husband are terribly funny in a bridge game. He doesn't think there ought to be any conventions; he says a person might just as well tell each other what they've got. So he won't pay any attention to what-do-you-call-'em, informatory, doubles and so forth. And she plays all the conventions, so you can imagine how they get along. Fight! Not really fight, you know, but argue. That is, he

себе не покупала, а вот это платье я так часто надеваю, что оно мне опротивело.

Том все пристает ко мне, чтобы я побольше накупила платьев, но я никак не могу привыкнуть тратить чужие деньги. Хотя тратила я раньше папины, но ведь это совсем другое дело, как вы думаете? И, конечно, сначала у нас было вовсе не так уж много денег, правда, милый? Зато теперь, когда нам прибавили... Ну хорошо, Томми, я больше ни слова не скажу.

Ах да, вы знаете, у нас в городе хотели сделать Тома даже мэром! Том хмурится и мигает мне, чтоб я замолчала, хотя я тут ничего такого не вижу. Почему же и не рассказать твоим самым близким друзьям? Они же знают, Томми, мы совсем не такие, чтобы хвастаться. А по моему, это даже лестно: он прожил там немногим больше года. Это мы узнали совершенно неожиданно: мистер и миссис Гатри были у нас в гостях и играли в бридж. Мистер Гатри, Э.-Л. Гатри, самый крупный лесопромышленник у нас в городе. Он владеет... Чем он владеет, Томми? Ах, не лесопромышленник, ну, тогда извини... Во всяком случае, у него денег миллионы. Ну, если не миллионы, во всяком случае много тысяч.

Они с женой были у нас в гостях и играли в бридж. Она ужасная чудачка! Посмотреть на нее, так подумаешь, это уборщица какая-нибудь: одевается отвратительно. Да вот, например, в тот вечер на ней было платье — ну, честное слово, широкое, как для беременной, и без всякого на то основания. А в первый раз, когда я с ней познакомилась, — даже описывать не берусь ее туалет. А она еще училась в Брин-Мор, и семья у них из первых в Филадельфии. Просто не верится!

Смешно смотреть, как они с мужем играют в бридж. Он не признает обмена информацией в картах, говорит, например, что это все равно, что рассказывать, какие у тебя карты на руках. Он даже не обращает внимания на этот самый обмен информацией. Просто ничего не признает. А она соблюдает все правила; можете себе представить, что у них получается, когда они играют вместе. Чуть не дерутся! То есть не то чтобы по-настоящему

does. It's horribly embarrassing to whoever is playing with them. Honestly, if Tom ever spoke to me like Mr. Guthrie does to his wife, well—aren't they terrible, Tom? Oh, I'm sorry!

She was the first woman in Portland that called on me and I thought it was awfully nice of her, though when I saw her at the door I would have sworn she was a book agent or maybe a cook looking for work. She had on a—well, I can't describe it. But it was sweet of her to call, she being one of the real people there and me—well, that was before Tom was made a vice-president. What? Oh, I never dreamed he hadn't written you about that!

But Mrs. Guthrie acted just like it was a great honor for her to meet me, and I like people to act that way even when I know it's all apple sauce. Isn't that a funny expression, "apple sauce"? Some man said it in a vaudeville show in Portland the Monday night before we left. He was a comedian—Jack Brooks or Ned Frawley or something. It means—well, I don't know how to describe it. But we had a terrible time after the first few minutes. She is the silentest person I ever knew and I'm kind of bashful myself with strangers. What are you grinning about, Tommie? I am, too, bashful when I don't know people. Not exactly bashful, maybe, but, well, bashful.

It was one of the most embarrassing things I ever went through. Neither of us could say a word and I could hardly help from laughing at what she had on. But after you get to know her you don't mind her clothes, though it's a terrible temptation all the time not to tell her how much nicer—And her hair! But she plays a dandy game of bridge, lots better than her husband. You know he won't play

дрались, знаете ли, а ссорятся ужасно. То есть это он ссорится. Очень стеснительно для партнеров, которые с ними играют. Право, если бы Том попробовал со мной так обращаться, как мистер Гатри обращается со своей женой, я бы... правда, они ужасно себя ведут, Том? Ну, извини, я больше не буду тебе мешать.

Она первая в Портленде сделала мне визит, и, по моему, это очень мило с ее стороны, хотя в первую минуту, как я ее увидела перед нашей дверью, я бы дала голову на отсечение, что это агент пришел подписывать нас на книги или кухарка ищет места. На ней было... нет, просто невозможно описать! Но все же очень мило, что она мне первая сделала визит, тем более что она там важная персона, а я... ведь это было еще до того, как Тома назначили вице-президентом. Как? Разве? Вот уж мне в голову не могло прийти, что он вам об этом не писал!

Но миссис Гатри держала себя так, будто бы для нее большая честь со мной познакомиться, а мне очень нравится, когда люди себя так держат, даже если я знаю, что они это делают просто так, для фасона. Правда, странное выражение «для фасона»? Это я слышала в Портленде; один водевильный актер так сказал, когда мы были в ревю, в понедельник перед нашим отъездом. Он комик — Джек Брукс или Нед Фроули, что-то в этом роде. Это выражение значит... право, не знаю, как вам объяснить. Но в первые несколько минут я себя чувствовала просто ужасно. Такой молчаливой женщины я еще не видывала, а с незнакомыми я ведь очень стесняюсь. Что ты улыбаешься, Томми? Ну да, стесняюсь, когда мало знакома. Ну, может, не очень стесняюсь, но все-таки стесняюсь.

В жизни я себя не чувствовала до такой степени неловко. Сидим, молчим, а меня еще смех разбирает, как погляжу на ее туалет. Но после того как привыкнешь к ней, уже не обращаешь внимания на платье, хотя все время ужасно хочется сказать ей, что лучше было бы... А прическа! Но в бридж она играет замечательно, гораздо лучше мужа. Он, знаете ли, не признает обмена

conventions. He says it's just like telling you what's in each other's hand. And they have awful arguments in a game. That is, he does. She's nice and quiet and it's a kind of mystery how they ever fell in love. Though there's a saying or a proverb or something, isn't there, about like not liking like? Or is it just the other way?

But I was going to tell you about them wanting Tom to be mayor. Oh, Tom, only two down? Why, I think you did splendidly! I gave you a miserable hand and Helen had—what didn't you have, Helen? You had the ace, king of clubs. No, Tom had the king. No, Tom had the queen. Or was it spades? And you had the ace of hearts. No, Tom had that. No, he didn't. What *did* you have, Tom? I don't exactly see what you bid on. Of course I was terrible, but—what's the difference anyway?

What was I saying? Oh, yes, about Mr. and Mrs. Guthrie. It's funny for a couple like that to get married when they are so different in every way. I never saw two people with such different tastes. For instance, Mr. Guthrie is keen about motoring and Mrs. Guthrie just hates it. She simply suffers all the time she's in a car. He likes a good time, dancing, golfing, fishing, shows, things like that. She isn't interested in anything but church work and bridge work.

"Bridge work." I meant bridge, not bridge work. That's funny, isn't it? And yet they get along awfully well; that is when they're not playing cards or doing something else together. But it does seem queer that they picked each other out. Still, I guess hardly any husband and wife agree on anything.

You take Tom and me, though, and you'd think we were made for each other. It seems like we feel just the same about everything. That is, almost everything. The things we don't agree on are little things that don't matter. Like music. Tom is wild about jazz and blues and dance music. He adores Irving Berlin and Gershwin and Jack Kearns. He's always after those kind of things on the radio and I just want serious, classical things like "Humoresque" and

информацией. Говорит, что лучше уж прямо сообщать, что у кого на руках. И они ужасно ссорятся во время игры. То есть это он ссорится. Она очень милая и тихая, прямо непонятно, как они могли друг в друга влюбиться. Хотя есть какая-то пословица или поговорка насчет того, что крайности сходятся. Кажется, так.

Да, ведь я собиралась вам рассказать про то, как Тома хотели сделать мэром. Как, Том, у нас разве только две взятки? У меня карты были просто из рук вон плохие, а у Эллен — чего только у нее не было! И туз, и король треф. Хотя король был у Тома. Нет, у него была трефовая дама! Или пиковая? А у вас был туз червей? Нет, туз был у Тома. Хотя нет, у него туза не было. Что же ты объявил, Том? Я уж толком не помню. Конечно, я играла ужасно, но в конце концов беда не велика.

О чем я рассказывала? Ах да, про мистера и миссис Гатри. Как-то странно, что люди поженились, когда они во всем такие разные. Я просто не видывала двух людей, у которых были бы такие разные вкусы. Например, мистер Гатри очень любит кататься на автомобиле, а миссис Гатри терпеть не может. Она просто делается больна, как только сядет в машину. Он не прочь повеселиться, любит танцы, гольф, рыбную ловлю, театр и все такое. А она ничем не интересуется, кроме церкви и бриджей.

Я сказала «бриджей», а хотела сказать «бриджа». Смешно, правда? А все-таки они отлично уживаются, то есть если не играют вместе в карты или во что-нибудь еще. Но все-таки странно, как это они поженились. Хотя, по-моему, мужья с женами редко бывают в чем-нибудь согласны.

А впрочем, возьмите нас с Томом, мы как будто созданы друг для друга. У нас, кажется, на все одинаковые взгляды. То есть почти на все. Если мы в чем и расходимся, то разве в каких-нибудь пустяках. Например, в музыке. Том помешан на джазе и танцевальной музыке. Он поклонник Ирвинга Берлина, Гершвина и Джека Кирнса. Всегда ловит их музыку по радио, а я люблю серьезные вещи, например «Юморески» или «Индей-

"Indian Love Lyrics." And then there's shows. Tom is crazy over Ed Wynn and I can't see anything in him. Just the way he laughs at his own jokes is enough to spoil him for me. If I'm going to spend time and money on a theater I want to see something worth while—"The Fool" or "Lightnin'."

And things to eat. Tom insists, or that is he did insist, on a great big breakfast—fruit, cereal, eggs, toast, and coffee. All I want is a little fruit and dry toast and coffee. I think it's a great deal better for a person. So that's one habit I broke Tom of, was big breakfasts. And another thing he did when we were first married was to take off his shoes as soon as he got home from the office and put on bedroom slippers. I believe a person ought not to get sloppy just because they're married.

But the worst of all was pajamas! What's the difference, Tommie? Helen and Arthur don't mind. And I think it's kind of funny, you being so old-fashioned. I mean Tom had always worn a nightgown till I made him give it up. And it was a struggle, believe me! I had to threaten to leave him if he didn't buy pajamas. He certainly hated it. And now he's mad at me for telling, aren't you, Tommie? I just couldn't help it. I think it's so funny in this day and age. I hope Arthur doesn't wear them; nightgowns, I mean. You don't, do you, Arthur? I knew you didn't.

Oh, are you waiting for me? What did you say, Arthur? Two diamonds? Let's see what that means. When Tom makes an original bid of two it means he hasn't got the tops. I wonder—but of course you couldn't have the—heavens! What am I saying! I guess I better just keep still and pass.

But what was I going to tell you? Something about—oh, did I tell you about Tom being an author? I had no idea he was talented that way till after we were married and I was

ские любовные песни». Или возьмите хоть театр. Том обожает Эда Уинна, а я в нем ровно ничего не вижу хорошего. Хотя бы одно то, что он первый смеется собственным шуткам! Весь эффект портит! Уж если тратить время и деньги на театр, так смотреть действительно что-нибудь хорошее, «Дурня», например, или «Молнию».

Ну и в еде тоже. Том настаивает, то есть раньше настаивал, чтобы завтрак был сытный: фрукты, овсянка, яичница, поджаренный хлеб, кофе. А я за завтраком почти ничего не ем, разве только немножко фруктов и кофе с поджаренным хлебом. По-моему, это гораздо полезнее. Так что от этой привычки я Тома уже отучила — от сытных завтраков. А еще у него привычка была, когда мы только что поженились, снимать башмаки и надевать ночные туфли, как только вернется домой из конторы. По-моему, если человек женился, то это еще не причина распускаться.

А всего хуже было с пижамой! Ну, не все ли тебе равно, Томми? Эллен и Артур с удовольствием послушают. По-моему, это даже забавно, что ты такой старомодный. Я хочу сказать, что Том всегда носил ночные рубашки, пока я его не отучила. Поверите ли, прямо воевать с ним пришлось! Пришлось даже пригрозить, что я с ним разведусь, если он не будет носить пижаму. Он их просто терпеть не мог. А теперь злится, что я сплетничаю, правда, Томми? Ну, я никак не могла смолчать. По-моему, просто смешно в наше время носить ночные рубашки. Надеюсь, Артур не носит ночных рубашек? Ведь правда, вы их не носите, Артур? Ну, так я и знала.

Ах, вы меня ждете? Вы что сказали, Артур? Бубны? Дайте мне сообразить, как это получится. Когда Том объявляет бубны, это значит, что карты у него неважные. Хотела бы я знать... но, конечно, у вас этого быть не может... боже мой, что я говорю! Лучше мне не мешаться... пас!

Что я вам хотела рассказать? Про что-то такое... ах, да, говорила я вам, что Том у нас писатель? И я понятия не имела, что у него есть талант, пока мы не пожени-

unpacking his old papers and things and came across a poem he'd written, the saddest, mushiest poem! Of course it was a long time ago he wrote it; it was dated four years ago, long before he met me, so it didn't make me very jealous, though it was about some other girl. You didn't know I found it, did you, Tommie?

But that wasn't what I refer to. He's written a story, too, and he's sent it to four different magazines and they all sent it back. I tell him though, that that doesn't mean anything. When you see some of the things the magazines do print, why, it's an honor to have them *not* like yours. The only thing is that Tom worked so hard over it and sat up nights writing and rewriting, it's a kind of a disappointment to have them turn it down.

It's a story about two men and a girl and they were all brought up together and one of the men was awfully popular and well off and good-looking and a great athlete—a man like Arthur. There, Arthur! How is that for a T.L.? The other man was just an ordinary man with not much money, but the girl seemed to like him better and she promised to wait for him. Then this man worked hard and got money enough to see him through Yale.

The other man, the well-off one, went to Princeton and made a big hit as an athlete and everything and he was through college long before his friend because his friend had to earn the money first. And the well-off man kept after the girl to marry him. He didn't know she had promised the other one. Anyway she got tired waiting for the man she was engaged to and eloped with the other one. And the story ends up by the man she threw down welcoming the couple when they came home and pretending everything was all right, though his heart was broken.

What are you blushing about, Tommie? It's nothing to be ashamed of. I thought it was very well written and if the editors had any sense they'd have taken it.

лись, а потом стала как-то разбирать его старые бумаги и нашла стихи, ну, такие грустные, такие трогательные стихи! Конечно, он их давно написал, еще четыре года назад, когда мы даже не были знакомы, так что я не очень ревновала, хотя они написаны не мне, а какой-то другой девушке. Ах, ты не знал, что я их нашла, Томми?

Но я не о том хотела говорить. Он ведь написал еще и рассказ, даже посылал его в четыре разных журнала, и все четыре его вернули. Хотя я говорю ему, что это еще ничего не значит. Вы посмотрите только, что за чушь печатают в журналах, можно даже гордиться тем, что твой рассказ не приняли. Одно только, что он так много работал над этим рассказом, ночами писал и переписывал, вот из-за этого неприятно, что не приняли.

Там рассказывается про двух мужчин и одну девушку, как они росли все вместе, и одного из них все очень любили; он был богатый, красивый, и отличный спортсмен — вот вроде Артура. Ну, вылитый Артур! Другой был так себе, обыкновенный молодой человек, не очень богатый, но девушке он больше нравился, и она обещала, что выйдет за него замуж. Он тогда стал очень много работать, все откладывал деньги, чтобы поступить в Иейлский университет.

А богатый поступил в Принстон, выдвинулся там как спортсмен и во всех других отношениях и кончил курс раньше своего друга: тому сначала надо было заработать много денег. И вот этот, богатый, стал уговаривать девушку, чтобы она за него вышла замуж. Он не знал, что она уже дала слово другому. А девушке надоело ждать того, с которым она обручилась, и она потихоньку обвенчалась с богатым. В конце рассказа тот, кого она бросила, встречает их на вокзале, когда они возвращаются домой, и делает вид, будто он очень рад их счастью, а на самом деле его сердце разбито.

Ну, что ты краснеешь, Томми? Тут нечего стыдиться. Написано, по-моему, очень хорошо, и если бы у редактора была хоть капля здравого смысла, он бы напечатал рассказ.

Still, I don't believe the real editors see half the stories that are sent to them. In fact I know they don't. You've either got to have a name or a pull to get your things published. Or else pay the magazines to publish them. Of course if you are Robert Chambers or Irving R. Cobb, they will print whatever you write whether it's good or bad. But you haven't got a chance if you are an unknown like Tom. They just keep your story long enough so you will think they are considering it and then they send it back with a form letter saying it's not available for their magazine and they don't even tell why.

You remember, Tom, that Mr. Hastings we met at the Hammonds'. He's a writer and knows all about it. He was telling me of an experience he had with one of the magazines; I forget which one, but it was one of the big ones. He wrote a story and sent it to them and they sent it back and said they couldn't use it.

Well, some time after that Mr. Hastings was in a hotel in Chicago and a bell-boy went around the lobby paging Mr.—— I forget the name, but it was the name of the editor of this magazine that had sent back the story, Runkle, or Byers, or some such name. So the man, whatever his name was, he was really there and answered the page and afterwards Mr. Hastings went up to him and introduced himself and told the man about sending a story to his magazine and the man said he didn't remember anything about it. And he was the editor! Of course he'd never seen it. No wonder Tom's story keeps coming back!

He says he is through sending it and just the other day he was going to tear it up, but I made him keep it because we may meet somebody some time who knows the inside ropes and can get a hearing with some big editor. I'm sure it's just a question of pull. Some of the things that get into the magazines sound like they had been written by the

А я все-таки думаю, вряд ли редакторы читают хоть половину тех рассказов, которые им посылают. Даже наверное не читают. Для того чтобы вас печатали, надо или быть знаменитостью, или иметь знакомства, или заплатить редакции. Конечно, Роберта Чемберса или Ирвина Кобба всегда напечатают, что бы они ни написали, хорошо это или плохо. Зато, если вас никто не знает, вот как Тома, то у вас нет никаких шансов попасть в печать. Будут держать рассказ без конца, чтобы вы подумали, будто они его читают, а потом вернут с официальным письмом, напишут вам, что рассказ не подошел для журнала, и даже не объяснят почему.

Помнишь, Том, мистера Гастингса, с которым мы познакомились у Гаммондсов? Он тоже писатель и все это отлично знает. Он мне рассказывал, какая у него вышла неприятность с одним журналом, забыла каким, знаю только, что с каким-то из толстых. Он написал рассказ и послал его в редакцию, а ему вернули рассказ под тем предлогом, что он будто бы не годится.

Так вот, вскоре после этого мистер Гастингс был в одном отеле в Чикаго, а в это время мальчик-посыльный ходил по вестибюлю и вызывал мистера... не помню, как фамилия. Ну, в общем, редактора того самого журнала, откуда вернули рассказ, не то Ранкл, не то Байерс, что-то вроде этого. Не важно, как его звали, но он оказался тут и откликнулся на зов, а потом мистер Гастингс подошел к нему, представился и напомнил, что посылал рассказ к ним в журнал, а тот сказал, что первый раз об этом слышит. А ведь он редактор! Конечно, он так и не видел рассказа. После этого не удивительно, что рассказ Тома четыре раза возвращали!

Он говорит, что больше никуда его посылать не будет, а на днях даже хотел разорвать и выбросить, но я не дала, почем знать, может, мы еще познакомимся с кем-нибудь, кто знает все ходы и выходы и похлопочет за нас у какого-нибудь видного редактора. Я уверена, что тут все дело в знакомстве. Иногда в журналах помещают такие вещи, ну сразу видно, что это написал кто-нибудь из родственников редактора, и напечатали

editor's friends or relatives or somebody whom they didn't want to hurt their feelings. And Tom really can write!

I wish I could remember that poem of his I found. I memorized it once, but—wait! I believe I can still say it! Hush, Tommie! What hurt will it do anybody? Let me see; it goes:

“I thought the sweetness of her song
Would ever, ever more belong
To me; I thought (O thought divine!)
My bird was really mine!

“But promises are made, it seems,
Just to be broken. All my dreams
Fade out and leave me crushed, alone.
My bird, alas, has flown!”

Isn't that pretty. He wrote it four years ago. Why, Helen, you revoked! And, Tom, do you know that's Scotch you're drinking? You said—— *Why, Tom!*

только потому, что побоялись обидеть автора. А ведь Том настоящий писатель!

Хотелось бы мне припомнить эти его стихи, что я нашла. Раньше я их знала наизусть, а теперь — впрочем, погодите! Кажется, я их еще помню! Да будет тебе, Томми! Ну кому это может повредить? Позвольте, кажется, так:

Для песен (думал я нередко)
Привычная просторна клетка.
Да и певунья (верил я)
Навек, навек моя!

Увы, мой пестрый мир поблек.
Как безнадежно он далек!
Один молчу осиротело,
И клетка опустела¹.

Правда, очень мило? Он написал это четыре года назад. Что с вами, Эллен, вы ходите не в масть! Том, да ты знаешь ли, что ты пьешь? Ведь это виски! Ты же мне обещал... Да что с тобой, Том!

¹ Перевод Р. Дубровкина.



KATHERINE ANNE PORTER

The Jilting of Granny Weatherall

She flicked her wrist neatly out of Doctor Harry's pudgy careful fingers and pulled the sheet up to her chin. The brat ought to be in knee-breeches. Doctoring around the country with spectacles on his nose! "Get along now, take your school-books and go. There's nothing wrong with me."

Doctor Harry spread a warm paw like a cushion on her forehead where the forked green vein danced and made her eyelids twitch. "Now, now, be a good girl, and we'll have you up in no time."

"That's no way to speak to a woman nearly eighty years old just because she's down. I'd have you respect your elders, young man."

"Well, missy, excuse me." Doctor Harry patted her cheek. "But I've got to warn you, haven't I? You're a marvel, but you must be careful or you're going to be good and sorry."

"Don't tell me what I'm going to be. I'm on my feet now, morally speaking. It's Cornelia. I had to go to bed to get rid of her."



КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР

Как была брошена бабушка Вэзеролл

Она ловко выпростала руку из заботливых пухлых пальцев доктора Гарри и подтянула простыню к подбородку. Этому малыцу самый раз ходить в коротких штанишках. Нацепил очки на нос и колесит по всей округе с визитами.

— Да ну вас совсем! Забирайте свои школярские учебники и марш отсюда. Ничего со мной не стряслось.

Доктор Гарри приложил свою теплую лапу, как подушку, ей ко лбу, где над подрагивающими веками дергалась ижица зеленоватой вены.

— Ну, ну! Будьте умницей, и мы вас живо на ноги поставим.

— Женщине без малого восемьдесят лет, а вы так с ней разговариваете! И только потому, видите ли, что она лежит в постели. Я научу вас уважать старших, молодой человек.

— Вы на меня не сердитесь, мисси. — Доктор Гарри потрепал ее по щеке. — Я же должен вас предостеречь. Вы чудо из чудес, но надо щадить себя, не то как бы не пришлось пожалеть потом.

— Вы меня не учите, жалеть мне себя или нет. На самом деле я ведь ходячая. Это все из-за Корнелии. Пришлось лечь, лишь бы она отвязалась.

Her bones felt loose, and floated around in her skin, and Doctor Harry floated like a balloon around the foot of the bed. He floated and pulled down his waistcoat and swung his glasses on a cord. "Well, stay where you are, it certainly can't hurt you."

"Get along and doctor your sick," said Granny Weatherall. "Leave a well woman alone. I'll call for you when I want you... Where were you forty years ago when I pulled through milk-leg and double pneumonia? You weren't even born. Don't let Cornelia lead you on," she shouted, because Doctor Harry appeared to float up to the ceiling and out. "I pay my own bills, and I don't throw my money away on nonsense!"

She meant to wave goodbye, but it was too much trouble. Her eyes closed of themselves, it was like a dark curtain drawn round the bed. The pillow rose and floated under her, pleasant as a hammock in a light wind. She listened to the leaves rustling outside the window. No, somebody was swishing newspapers: no, Cornelia and Doctor Harry were whispering together. She leaped broad awake, thinking they whispered in her ear.

"She was never like this, *never* like this!" "Well, what can we expect?" "Yes, eighty years old..."

Well, and what if she was? She still had ears. It was like Cornelia to whisper round doors. She always kept things secret in such a public way. She was always being tactful and kind. Cornelia was dutiful; that was the trouble with her. Dutiful and good: "So good and dutiful," said Granny, "that I'd like to spank her." She saw herself spanking Cornelia and making a fine job of it.

"What'd you say, Mother?"

Granny felt her face tying up in hard knots.

Кости у нее будто разболтались и плавали под кожей, и доктор Гарри тоже плавал в ногах кровати, точно воздушный шар. Он плавал, и одергивал на себе жилетку, и крутил очками на шнурке.

— Ну раз легли, так и лежите, это уж, конечно, вам не повредит.

— Марш отсюда и лечите своих немощных, — сказала бабушка Вэзеролл. — А здоровую женщину оставьте в покое. Понадобится, я сама вас позову... Где вы были сорок лет назад, когда я лежала с родильной лихорадкой и с воспалением в обоих легких? Вас тогда и на свете не было. Не слушайте, что вам Корнелия будет говорить, — крикнула она, потому что доктор Гарри будто взмыл под потолок и выплыл из комнаты. — Я сама оплачиваю свои счета и не стану тратиться на всякую чушь.

Она хотела помахать ему рукой на прощанье, но это было слишком хлопотно. Глаза у нее сами собой закрылись, точно кто-то задернул кровать темным пологом. Подушка поднялась под ней и поплыла так приятно, будто качнуло гамак легким ветерком. Она прислушалась к шелесту листьев за окнами. Нет, это кто-то шуршит газетой. Нет, это Корнелия перешептывается с доктором Гарри. Она очнулась, точно они шептали ей на ухо.

— Такой она еще никогда не была, *никогда!*

— Что поделаешь...

— Да, восемьдесят лет...

Восемьдесят — ну и что? Слуха-то она еще не лишилась. Шептаться за дверями! Корнелия — вот она вся тут. Всегда секретничает на людях. А ведь деликатная и добрая. Корнелия верная дочь — в этом вся ее беда. Верная и добродетельная.

— Уж такая верная и такая добродетельная, — сказала бабушка, — что выпороть бы ее как следует. — И она представила себе, что порет Корнелию, порет со знанием дела.

— Ты что-то говоришь, мама?

Бабушка почувствовала, как лицо у нее стягивает в тугие узлы.

"Can't a body think, I'd like to know?"

"I thought you might want something."

"I do. I want a lot of things. First off all, go away and don't whisper."

She lay and drowsed, hoping in her sleep that the children would keep out and let her rest a minute. It had been a long day. Not that she was tired. It was always pleasant to snatch a minute now and then. There was always so much to be done. Let me see: tomorrow.

Tomorrow was far away and there was nothing to trouble about. Things were finished somehow when the time came; thank God there was always a little margin over for peace: then a person could spread out the plan of life and tuck in the edges orderly. It was good to have everything clean and folded away, with the hairbrushes and tonic bottles sitting straight on the white embroidered linen; the day started without fuss and the pantry shelves laid out with rows of jelly glasses and brown jugs and white stone-china jars with blue whirligigs and words painted on them: coffee, tea, sugar, ginger, cinnamon, allspice; and the bronze clock with the lion on the top nicely dusted off. The dust that lion could collect in twenty-four hours! The box in the attic with all those letters tied up, well, she'd have to go through that tomorrow. All those letters—George's letters and John's letters and her letters to them both—lying around for the children to find afterwards made her uneasy. Yes, that would be tomorrow's business. No use to let them know how silly she had been once.

While she was rummaging round she found death in her mind and it felt clammy and unfamiliar. She had spent so much time preparing for death there was no need for bringing it up again. Let it take care of itself now. When she was sixty she had felt very old, finished, and went round making farewell trips to see her children and grandchildren, with a secret in her mind: This is the very last of your mother, children! Then she made her will and

— Что, уж и подумать человеку нельзя?

— Мне показалось, тебе что-то нужно.

— Да, нужно. Мне много чего нужно. Перво-наперво, чтобы ты ушла и перестала там перешептываться.

Она задремала, надеясь сквозь дремоту, что дети не прибегут в комнату и дадут ей отдохнуть. День был такой длинный. Да нет, она не устала. Но всегда приятно урвать минутку-другую для отдыха. Столько всяких дел впереди. Вот, скажем, завтра.

До завтра еще далеко, и беспокоиться пока не о чем. Так или иначе, в свой час все успеваешь переделать. Благодарение богу, для тишины и покоя всегда остается хоть какое-то время. Тогда человек может расправить свой план жизни и аккуратно подоткнуть его края. Хорошо, когда у тебя все прибрано, все на месте: головные щетки и флаконы со всякими снадобьями в порядке разложены и расставлены на белой вышитой дорожке. День начинается без суеты, и на полках в кладовой рядком стоят формочки для желе, и глазурованные кувшины, и белые фарфоровые банки с голубыми разводами, и на каждой написано: кофе, чай, сахар, имбирь, корица, гвоздика; и бронзовые часы со львом наверху, с которого чисто обметена пыль. Сколько этот лев набирает на себя пылинки за сутки! А на чердаке ящик с пачками всех этих писем. Надо будет их разобрать завтра. И то, что письма эти — письма Джорджа, и письма Джона, и ее письма к ним обоим — лежат там и попадутся потом детям на глаза, беспокоило ее. Да, этим надо заняться завтра. Нечего им знать, какая она была дурочка когда-то.

Копаясь в мыслях, она наткнулась там на смерть — такую липкую, незнакомую. Она потратила столько времени, подготавливая себя к смерти, что незачем опять ворошить все это. Пусть как будет, так и будет. Когда ей стукнуло шестьдесят, она почувствовала себя такой дряхлой — ну, конец пришел! — и стала разъезжать с прощальными визитами по своим детям и внукам, не выдавая им своей тайны: последний раз видите родную мать, дети мои! Потом составила завещание и

came down with a long fever. That was all just a notion like a lot of other things, but it was lucky too, for she had once for all got over the idea of dying for a long time. Now she couldn't be worried. She hoped she had better sense now. Her father had lived to be one hundred and two years old and had drunk a noggin of strong hot toddy on his last birthday. He told the reporters it was his daily habit, and he owed his long life to that. He had made quite a scandal and was very pleased about it. She believed she'd just plague Cornelia a little.

"Cornelia! Cornelia!" No footsteps, but a sudden hand on her cheek, "Bless you, where have you been?"

"Here, mother."

"Well, Cornelia, I want a noggin of hot toddy."

"Are you cold, darling?"

"I'm chilly, Cornelia. Lying in bed stops the circulation. I must have told you that a thousand times."

Well, she could just hear Cornelia telling her husband that Mother was getting a little childish and they'd have to humor her. The thing that most annoyed her was that Cornelia thought she was deaf, dumb, and blind. Little hasty glances and tiny gestures tossed around her head, saying, "Don't cross her, let her have her way, she's eighty years old," and she sitting there as if she lived in a thin glass cage. Sometimes Granny almost made up her mind to pack up and move back to her own house where nobody could remind her every minute that she was old. Wait, wait, Cornelia, till your own children whisper behind your back!

In her day she had kept a better house and had got more work done. She wasn't too old yet for Lydia to be driving eighty miles for advice when one of the children jumped the

надолго слегла в горячке. А то, что засело у нее в голове, оказалось просто фантазией, как часто бывало и раньше, но пришлась эта фантазия весьма кстати, потому что мысли о смерти сразу и надолго оставили ее. И теперь не желает она беспокоиться. Теперь, надо полагать, она стала умнее. Ее отец дожил до ста двух лет и, празднуя в последний раз день своего рождения, выпил кружку горячего крепкого пунша. Он сказал репортерам, что это ежедневная порция, чем и объясняется его долголетие. Такое заявление всех огорошило, а он остался весьма доволен собой. Она решила: надо бы немного помучить Корнелию.

— Корнелия! Корнелия! — Шагов не было слышно, но чья-то рука коснулась ее щеки. — Боже ты мой! Где ты пропадаешь?

— Я здесь, мама.

— Так вот, Корнелия. Я хочу выпить кружку горячего пунша.

— Ты озябла, родная?

— Мне, Корнелия, холодно. Когда лежишь в постели, кровообращение останавливается. Я, наверное, тысячу раз тебе об этом говорила.

Вот она все-таки услышала, как Корнелия сказала мужу, что мать немножко ребячится и надо сделать ей поблажку. А ее больше всего злило, что Корнелия думает, будто мать глухая, немая и слепая. Быстрые взгляды, чуть заметные жесты — так и перебрасываются ими над кроватью и у нее над головой, будто говоря: «Не надо ей перечить. Пусть как хочет, так и будет. Ведь как-никак восемьдесят лет!» А она точно сидит в прозрачной стеклянной клетке. Случалось, бабушка решала почти окончательно: соберу свои вещи и уеду к себе домой, где никто не станет мне тыкать каждую минуту, что я старая. Подожди, подожди, Корнелия, придет время и твои детки тоже будут перешептываться у тебя за спиной!

В былые времена порядка в доме у нее было больше и работы наваливалось тоже не сравнить. Вот Лидия, например, не сочла ее старухой, небось отмахала во-

track, and Jimmy still dropped in and talked things over: "Now, Mammy, you've a good business head, I want to know what you think of this...?" Old. Cornelia couldn't change the furniture round without asking. Little things, little things! They had been so sweet when they were little. Granny wished the old days were back again with the children young and everything to be done over. It had been a hard pull, but not too much for her. When she thought of all the food she had cooked, and all the clothes she had cut and sewed, and all the gardens she had made—well, the children showed it. There they were, made out of her, and they couldn't get away from that. Sometimes she wanted to see John again and point to them and say, "Well, I didn't do so badly, did I?" But that would have to wait. That was for tomorrow. She used to think of him as a man, but now all the children were older than their father, and he would be a child beside her if she saw him now. It seemed strange and there was something wrong in the idea. Why, he couldn't possibly recognize her. She had fenced in a hundred acres once, digging the post holes herself and clamping the wires with just a Negro boy to help. That changed a woman. John would be looking for a young woman with the peaked Spanish comb in her hair and the painted fan. Digging post holes changed a woman. Riding country roads in the winter when women had their babies was another thing: sitting up nights with sick horses and sick Negroes and sick children and hardly ever losing one. John, I hardly ever lost one of them! John would see that in a minute; that would be something he could understand, she wouldn't have to explain anything!

It made her feel like rolling up her sleeves and putting the whole place to rights again. No matter if Cornelia was determined to be everywhere at once, there were a great

семьдесят миль, чтобы посоветоваться с матерью, как быть с одним из ее ребят, который сбился с пути, и Джимми все еще заглядывает к ней, когда нужно обсудить что-нибудь. «У тебя, мама, голова всегда хорошо работает, как ты думаешь насчет...» Старуха! Корнелия и мебель не может переставить, не посоветовавшись с ней. Малыши, малыши! Какие они были славные — маленькие! Бабушке захотелось, чтобы время повернуло вспять, когда дети еще бегали малышами, и все надо было бы начинать снова. Ей приходилось нелегко, но ничего, сил хватало. Как вспомнишь, сколько она всего напекла, нажарила, сколько сделала всяких выкроек, сколько всего сшила, сколько развела огородов! Ну, что ж, это по детям видно. Вот они, все пошли от нее и никуда им от этого не деться. Иногда ей снова хотелось повидать Джона и выстроить их всех перед ним и сказать ему: «Вот, посмотри, не так уж все плохо у меня получилось». Но с этим придется обождать. Это отложим на завтра. Обычно она думала о нем как о взрослом мужчине, а теперь дети стали старше отца, и если б увидеться с ним теперь, он показался бы мальчишкой по сравнению с ней. В этом было что-то странное, что-то неправильное. Да он и не узнал бы ее. Однажды она обнесла изгородью участок в сто акров, сама копала ямы под столбы, а тянуть между ними проволоку ей помогал только парнишка-негритенок. Такое меняет женщину. Джон, наверно, ждал бы, что увидит молоденькую, с тем самым высоким испанским гребнем в волосах и с пестрым веером. Рытье ям под столбы меняет женщину. Ездить зимой по деревенским дорогам к роженицам тоже дело нелегкое; сидеть целыми ночами возле больных лошадей, больных негров, больных ребятишек и почти всех их выходить. Джон, я почти всех выходила! Джон сразу все поймет, это ему все знакомо, ничего не понадобится растолковывать.

От всех этих мыслей ей захотелось засучить рукава и снова наводить порядок в доме. Корнелия хоть и старается поспевать всюду, но у нее все-таки до многого не

many things left undone on this place. She would start tomorrow and do them. It was good to be strong enough for everything, even if all you made melted and changed and slipped under your hands, so that by the time you finished you almost forgot what you were working for. What was it I set out to do? she asked herself intently, but she could not remember. A fog rose over the valley, she saw it marching across the creek swallowing the trees and moving up the hill like an army of ghosts. Soon it would be at the near edge of the orchard, and then it was time to go in and light the lamps. Come in, children, don't stay out in the night air.

Lighting the lamps had been beautiful. The children huddled up to her and breathed like little calves waiting at the bars in the twilight. Their eyes followed the match and watched the flame rise and settle in a blue curve, then they moved away from her. The lamp was lit, they didn't have to be scared and hang on to mother any more. Never, never, never more. God, for all my life I thank Thee. Without Thee, my God, I could never have done it. Hail, Mary, full of grace.

I want you to pick all the fruit this year and see that nothing is wasted. There's always someone who can use it. Don't let good things rot for want of using. You waste life when you waste good food. Don't let things get lost. It's bitter to lose things. Now, don't let me get to thinking, not when I am tired and taking a little nap before supper...

The pillow rose about her shoulders and pressed against her heart and the memory was being squeezed out of it: oh, push down the pillow, somebody; it would smother her if she tried to hold it. Such a fresh breeze blowing and such a green day with no threats in it. But he had not come, just the same. What does a woman do when she has put on the white veil and set out the white cake for a man and he doesn't come? She tried to remember. No, I swear he never

доходят руки. Завтра надо встать и все сделать самой. Хорошо, когда у тебя хватает сил, даже если все, что ты сделала, тает, меняется и уходит у тебя между пальцами, так что, когда работа кончена, ты вроде и забываешь, чего ради все это затеяно. «Что это я собиралась сделать?» — пытливо спросила она себя, но вспомнить так и не смогла. Над равниной поднялся туман, она видела, как он наступает на реку, заглатывая деревья, и поднимается вверх по холму, точно воинство призраков. Скоро подберется к ближайшему углу сада, и тогда настанет время возвращаться в дом и зажигать лампы. Дети, идите домой, не стойте там на ночном холоду.

Зажиганье ламп — как это было прекрасно! Дети жались к ней и дышали, точно телята, сбившиеся в сумерках у кормушки. Глаза не отрывались от спички и следили, как огонек разгорается и голубым пояском обегает фитиль, потом они отходили от нее. Лампа горит, бояться им теперь нечего и лнуть к матери тоже незачем. Больше так никогда, никогда не будет! Господи! Благодарю тебя за каждый прожитый день. Без тебя, господи, я бы такой жизни не выдержала. Богородица дева, радуйся!

Я хочу, чтобы вы собрали весь урожай фруктов в этом году и чтобы ничего у вас не пропало даром. Всегда найдутся такие, кому и падалица годна. Нельзя, чтобы добро валялось попусту и гнило. Вы жизнь расточаете, когда выбрасываете добрую еду. Нельзя, чтобы что-нибудь пропадало. Если что пропадает, это беда. И не заставляйте меня забивать себе голову разными мыслями, потому что я устала и хочу немножко вздремнуть перед ужином...

Подушка вздыбилась у нее под плечами, навалилась ей на сердце, и память стала выдавливать из него воспоминания: ох, примните кто-нибудь подушку, если держаться за нее, она меня придушит. Дул такой свежий ветерок, и день был такой зеленый, и ничем этот день не грозил. А он все-таки не пришел. Что делать женщине, когда она надела белую фату и поставила на стол свадебный пирог под белой глазурью, а он не идет? Она по-

harmed me but in that. He never harmed me but in that ... and what if he did? There was the day, the day, but a whirl of dark smoke rose and covered it, crept up and over into the bright field where everything was planted so carefully in orderly rows. That was hell, she knew hell when she saw it. For sixty years she had prayed against remembering him and against losing her soul in the deep pit of hell, and now the two things were mingled in one, and the thought of him was a smoky cloud from hell that moved and crept in her head when she had just got rid of Doctor Harry and was trying to rest a minute. Wounded vanity, Ellen, said a sharp voice in the top of her mind. Don't let your wounded vanity get the upper hand of you. Plenty of girls get jilted. You were jilted, weren't you? Then stand up to it. Her eyelids wavered and let in streamers of blue-grey light like tissue-paper over her eyes. She must get up and pull the shades down or she'd never sleep. She was in bed again and the shades were not down. How could that happen? Better turn over, hide from the light; sleeping in the light gave you nightmares. "Mother, how do you feel now?" and stinging wetness on her forehead. But I don't like having my face washed in cold water!

Hapsy? George? Lydia? Jimmy? No, Cornelia, and her features were swollen and full of little puddles. "They're coming, darling, they'll all be here soon." Go wash your face, child, you look funny.

Instead of obeying, Cornelia knelt down and put her head on the pillow. She seemed to be talking but there was no sound. "Well, are you tongue-tied? Whose birthday is it? Are you going to give a party?"

пыталась припомнить, как все было. Нет! Богом клянусь, он никогда не причинял мне зла, вот только в тот раз. Он никогда не причинял мне зла, вот только в тот раз... ну, а если и причинил? Да, был день, был такой день. Но поднялся вихрь черного дыма и закрыл его, и пополз дальше в чистое поле, где все было посеяно так аккуратно, такими ровными грядками. Это был ад, сущий ад. Шестьдесят лет она молила, чтобы ей было позволено забыть его, чтобы не загубила она свою душу в глубокой прорве ада, и теперь все это смешалось воедино, а мысль о нем стала дымной тучей: вымахнула из ада, пробралась ей в мозг и зашевелилась там в ту минуту, когда она отделалась от доктора Гарри и только-только собралась немножко отдохнуть. Уязвленное самолюбие, Эллен, проговорил резкий голос у нее в мозгу. Не давай уязвленному самолюбию взять над тобой верх. Первый раз, что ли, девушек бросают? И тебя бросили, ведь правда? Так держись, не сдавайся. Веки у нее дрогнули, и ленты серо-голубого света хлынули под них, точно папиросной бумагой залепив ей глаза. Надо встать и задернуть занавески на окнах, а то не уснуть. Вот она опять лежит в постели, а занавески не задернуты. Как это получилось? Повернуться, что ли, на другой бок, спрятаться от света: когда спишь при свете, снятся кошмары.

— Мама, как ты теперь? — и саднящая влажность на лбу.

Не люблю я, когда меня умывают холодной водой!

Хепси? Джордж? Лидия? Джимми? Нет, Корнелия, и лицо у нее припухло и все в маленьких лужицах.

— Они выехали, родная, скоро приедут.

— Пойди умойся, девочка, а то вид у тебя какой-то странный.

Вместо того чтобы послушаться матери, Корнелия опустила на колени и положила голову ей на подушку. Она будто говорила что-то, но слов не было слышно.

— У тебя что, язык заплетается? Чей сегодня день рождения? Ты ждешь гостей?

Cornelia's mouth moved urgently in strange shapes. "Don't do that, you bother me, daughter."

"Oh, no, Mother. Oh, no..."

Nonsense. It was strange about children. They disputed your every word. "No what, Cornelia?"

"Here's Doctor Harry."

"I won't see that boy again. He just left five minutes ago."

"That was this morning, Mother. It's night now. Here's the nurse."

"This is Doctor Harry, Mrs. Weatherall. I never saw you look so young and happy!"

"Ah, I'll never be young again—but I'd be happy if they'd let me lie in peace and get rested."

She thought she spoke up loudly, but no one answered. A warm weight on her forehead, a warm bracelet on her wrist, and a breeze went on whispering, trying to tell her something. A shuffle of leaves in the everlasting hand of God, He blew on them and they danced and rattled. "Mother, don't mind, we're going to give you a little hypodermic." "Look here, daughter, how do ants get in this bed? I saw sugar ants yesterday." Did you send for Hapsy too?

It was Hapsy she really wanted. She had to go a long way back through a great many rooms to find Hapsy standing with a baby on her arm. She seemed to herself to be Hapsy also, and the baby on Hapsy's arm was Hapsy and himself and herself, all at once, and there was no surprise in the meeting. Then Hapsy melted from within and turned flimsy as grey gauze and the baby was a gauzy shadow, and Hapsy came up close and said, "I thought you'd never

Губы у Корнелии как-то странно, настойчиво задержались.

— Зачем ты так, дочка? Мне неприятно на тебя смотреть.

— Нет, мама! Нет, нет...

Вздор какой! Станные они, эти дети. Каждому твоему слову наперекор.

— Что «нет», Корнелия?

— Доктор Гарри пришел.

— Не хочу я опять видеть этого юнца. Он пять минут назад от меня ушел.

— Это было утром, мама, а сейчас ночь. И сиделка здесь.

— Я доктор Гарри, миссис Вэзеролл. Никогда вас не видел такой молоденькой, такой спокойной!

— Молоденькой мне уже больше не бывать, а успокоюсь я, когда мне дадут полежать здесь тихо и мирно.

Ей казалось, что она проговорила это громко, но они промолчали. Теплая тяжесть у нее на лбу, теплый браслет на запястье, а ветерок все шепчет и шепчет, пытаясь втолковать ей что-то. Шорох листьев в предвечной длани господней. Ондохнул на них, и они пустились в пляс, зашуршали.

— Мама, ты только не бойся, сейчас мы сделаем тебе легкий укол.

— Слушай, дочка, откуда у меня столько муравьев в постели? Я вчера рыжих видела.

А за Хепси тоже послали?

Больше всего ей хотелось увидеть Хепси. И пришлось пройти далеко назад, комнату за комнатой, чтобы разыскать Хепси, которая стояла, держа девочку на руках. Ей почудилось, будто она сама стала Хепси, а девочка у нее на руках тоже превратилась в Хепси, и в него и в нее, и все это сразу, и в их встрече не было ничего удивительного. Потом Хепси начала таять изнутри и сделалась вся прозрачная, как серая кисея, и ребенок тоже превратился в прозрачную тень, а Хепси подошла к ней вплотную и сказала:

— Я думала, ты никогда не придешь, — пытливо

come," and looked at her very searchingly and said, "You haven't changed a bit!" They leaned forward to kiss, when Cornelia began whispering from a long way off, "Oh, is there anything you want to tell me? Is there anything I can do for you?"

Yes, she had changed her mind after sixty years and she would like to see George. I want you to find George. Find him and be sure to tell him I forgot him. I want him to know I had my husband just the same, and my children and my house, like any other woman. A good house too and a good husband that I loved and fine children out of him. Better than I hoped for, even. Tell him, I was given back everything he took away, and more. Oh, no, O God, no, there was something else besides the house and the man and the children. Oh, surely they were not all? What was it? Something not given back... Her breath crowded down under her ribs and grew into a monstrous frightening shape with cutting edges; it bored up into her head, and the agony was unbelievable. Yes, John, get the doctor now, no more talk, my time has come.

When this one was born it should be the last. The last. It should have been born first, for it was the one she had truly wanted. Everything came in good time. Nothing left out, left over. She was strong, in three days she would be as well as ever. Better. A woman needed milk in her to have her full health.

"Mother, do you hear me?"

"I've been telling you—"

"Mother, Father Connolly's here."

"I went to Holy Communion only last week. Tell him I'm not so sinful as all that."

"Father just wants to speak to you."

He could speak as much as he pleased. It was like him to drop in and inquire about her soul as if it were a teething baby, and then stay on for a cup of tea and a round of cards

присмотрелась к ней и сказала: — А ты ничуть не изменилась.

Они потянулись друг к другу, чтобы поцеловаться, и тут Корнелия зашептала откуда-то издали:

— Ты хочешь мне что-нибудь сказать? Чем-нибудь помочь тебе?

Да, спустя шестьдесят лет она стала относиться к Джорджу совсем по-другому, и ей захотелось повидаться с ним. Разыщите мне Джорджа. Разыщите Джорджа и скажите ему, обязательно скажите, что я его забыла. Пусть узнает, что у меня все-таки был муж и дети и дом, как у всех женщин. Хороший дом и хороший муж, которого я любила, и славные дети от него. Я на такое даже не рассчитывала. Скажите ему, что мне было дано все, что он отнял у меня, все и даже больше. О, нет, о, боже мой, нет! Ведь было что-то еще, помимо дома и мужа и детей. Неужели дом и муж и дети — это все? Что же еще было? То, что ко мне не вернулось... Дыхание ушло у нее куда-то вниз, под ребра, и стеснилось там страшным чудовищем с зазубренными краями; оно ввинтилось ей в голову, и боль стала непереносимой. Да, Джон, зови доктора, и довольно говорить, пришло мое время.

Когда этот родится, он будет последним. Самый последний. Ему бы родиться первым, потому что его-то она по-настоящему и хотела. В свое время все сбывается. Ничего не упущено, ничего не отложено. Она сильная, через три дня будет не хуже прежнего. Даже лучше. Женщина только тогда и здорова, когда у нее молоко в грудях.

— Мама, ты меня слышишь?

— Я о том говорю, что...

— Мама, отец Коннели пришел.

— Я только неделю назад ходила к святому причастию. Скажи ему, что не такая уж я грешница.

— Отец хочет просто поговорить с тобой.

Ну и пусть говорит сколько ему угодно. Это на него похоже: заглянет на минутку и осведомится о ее душе, точно она младенец, у которого зубки прорезываются, а потом останется на чашку чая, перебросится в карты,

and gossip. He always had a funny story of some sort, usually about an Irishman who made his little mistakes and confessed them, and the point lay in some absurd thing he would blurt out in the confessional showing his struggles between native piety and original sin. Granny felt easy about her soul. Cornelia, where are your manners? Give Father Connolly a chair. She had her secret comfortable understanding with a few favourite saints who cleared a straight road to God for her. All as surely signed and sealed as the papers for the new Forty Acres. For ever ... heirs and assigns for ever. Since the day the wedding cake was not cut, but thrown out and wasted. The whole bottom dropped out of the world, and there she was, blind and sweating, with nothing under her feet and the walls falling away. His hand had caught her under the breast, she had not fallen; there was the freshly polished floor with the green rug on it, just as before. He had cursed like a sailor's parrot and said, "I'll kill him for you." "Don't lay a hand on him, for my sake leave something to God." "Now, Ellen, you must believe what I tell you..."

So there was nothing, nothing to worry about any more, except sometimes in the night one of the children screamed in a nightmare, and they both hustled out shaking and hunting for the matches and calling, "There, wait a minute, here we are!" John, get the doctor now, Hapsy's time has come. But there was Hapsy standing by the bed in a white cap. "Cornelia, tell Hapsy to take off her cap. I can't see her plain."

Her eyes opened very wide and the room stood out like a picture she had seen somewhere. Dark colors with the shadows rising towards the ceiling in long angles. The tall black dresser gleamed with nothing on it but John's picture, enlarged from a little one, with John's eyes very

поболтает о том о сем. У него всегда в запасе разные смешные истории, чаще всего об ирландце, который натворил кое-каких грешков и кается в них, а вся соль была в тех откровениях, которые он выбалтывает в исповедальне, раздираемый на части между своим исконным благочестием и первородным грехом. За свою душу бабушка спокойна. Корнелия, как ты себя ведешь! Поддай стул отцу Коннели. У нее установилось удобное тайное взаимопонимание с несколькими любимыми святыми, которые проложили ей прямую дорожку к богу. Все честь честью: и подписано, и с приложением печати, как государственный документ на земельный участок в сорок акров. Навечно... наследники и правопреемники на веки вечные. С того самого дня, когда свадебный пирог так и остался неразрезанным и был выброшен за ненадобностью. Мир лишился днища, и она так и осталась стоять без опоры, ослепшая, вся в поту, и земля уходила у нее из-под ног, и стены вокруг рушились. Его рука подхватила ее под грудь, и она не упала, а на только что натертом полу, как и прежде, лежал тот самый зеленый ковер. Он ругался, точно попугай, подученный матросней, и сказал: «Я его убью, отомщу за тебя!» — «И пальцем не тронь, оставь что-нибудь господу богу. Сделай это ради меня». — «Эллен, послушай, поверь мне...»

Так что потом не о чем, просто не о чем было беспокоиться, разве только когда кто-нибудь из детей вдруг закричит среди ночи во сне и они оба заторопятся и, дрожа всем телом, будут шарить — где спички? — и успокаивать их: «Сейчас, сейчас, мы здесь». — «Джон, зови доктора, — Хепси пришло время». А Хепси вот она, стоит в белом колпачке возле кровати.

— Корнелия, скажи Хепси, пусть снимет свой колпак, я ее плохо вижу.

Глаза у нее широко открылись, и комната выступила из мрака, точно картина, которую она где-то видела. Стены темные, и к потолку вытянутыми углами ползут тени. На высоком черном комоде пусто, отсвечивает только фотография Джона, увеличенная с миниатюрной, и глаза у Джона совсем черные, хотя на самом деле

black when they should have been blue. You never saw him, so how do you know how he looked? But the man insisted the copy was perfect, it was very rich and handsome. For a picture, yes, but it's not my husband. The table by the bed had a linen cover and a candle and a crucifix. The light was blue from Cornelia's silk lampshades. No sort of light at all, just frippery. You had to live forty years with kerosene lamps to appreciate honest electricity. She felt very strong and she saw Doctor Harry with a rosy nimbus around him.

"You look like a saint, Doctor Harry, and I vow that's as near as you'll ever come to it."

"She's saying something."

"I heard you, Cornelia. What's all this carrying-on?"

"Father Connolly's saying—"

Cornelia's voice staggered and bumped like a cart in a bad road. It rounded corners and turned back again and arrived nowhere. Granny stepped up in the cart very lightly and reached for the reins, but a man sat beside her, and she knew him by his hands, driving the cart. She did not look in his face, for she knew without seeing, but looked instead down the road where the trees leaned over and bowed to each other and a thousand birds were singing a Mass. She felt like singing too, but she put her hand in the bosom of her dress and pulled out a rosary, and Father Connolly murmured Latin in a very solemn voice and tickled her feet. My God, will you stop that nonsense? I'm a married woman. What if he did run away and leave me to face the priest by myself? I found another a whole world better. I wouldn't have exchanged my husband for anybody except St. Michael himself, and you may tell him that for me, with a thank you into the bargain.

Light flashed on her closed eyelids, and a deep roaring shook her. Cornelia, is that lightning? I hear thunder.

должны быть голубыми. Вы же его никогда не видели, откуда вам знать, какой он был? Но фотограф уверял, что портрет лучше и быть не может, прекрасный, роскошный портрет. Правильно, получилось у него хорошо, настоящая картина, но это не мой муж. Столик у кровати покрыт полотняной скатеркой, на нем свечка и распятие. Лампы у Корнелии с шелковыми абажурами, свет от них голубоватый. Что это за освещение — так, дешевка. Ты проживи сорок лет с керосиновыми лампами, вот тогда оценишь бесхитростное электричество. Она почувствовала себя полной сил и увидела доктора Гарри с розовым нимбом вокруг головы.

— Вы прямо как святой, доктор Гарри, но, уж поверьте мне, больше святости вам вряд ли прибавится.

— Она что-то сказала.

— Я тебя слышу, Корнелия. Что вы тут затеяли?

— Отец Коннели говорит...

Голос у Корнелии пошатнулся и стал подпрыгивать, точно коляска на ухабистой дороге. Раз два-три он завернул за угол, и снова подался назад, и никуда не приехал. Бабушка легко, во весь рост, встала в коляске и хотела взять вожжи, но рядом с ней сидел человек, и она узнала его по рукам, которые правили лошадью. Она не взглянула ему в лицо, потому что и так знала, кто он, но посмотрела вперед — туда, где деревья сгибались над дорогой и кланялись друг другу, а сотни птиц пели мессу. Ей тоже захотелось петь, но вместо этого она сунула руку за пазуху и вынула оттуда четки, и отец Коннели торжественным тоном проговорил что-то по-латыни и поцекотал ей пятку. О, господи, перестаньте безобразничать! Я замужняя женщина. Ну и что, если он сбежал, оставив меня одну лицом к лицу со священником? Я нашла другого, в тысячу раз лучше. Я бы ни на кого своего мужа не променяла, разве только на самого святого Михаила, и так тому и передайте, а заодно и мою благодарность в придачу.

Свет блеснул ей на закрытые веки, и глухой рокот сотряс все ее тело. Корнелия, что это — молния? Я

There's going to be a storm. Close all the windows. Call the children in... "Mother, here we are, all of us." "Is that you, Hapsy?" "Oh, no, I'm Lydia. We drove as fast as we could." Their faces drifted above her, drifted away. The rosary fell out of her hands and Lydia put it back. Jimmy tried to help, their hands fumbled together, and Granny closed two fingers round Jimmy's thumb. Beads wouldn't do, it must be something alive. She was so amazed her thoughts ran round and round. So, my dear Lord, this is my death and I wasn't even thinking about it. My children have come to see me die. But I can't, it's not time. Oh, I always hated surprises. I wanted to give Cornelia the amethyst set—Cornelia, you're to have the amethyst set, but Hapsy's to wear it when she wants, and, Doctor Harry, do shut up. Nobody sent for you. Oh, my dear Lord, do wait a minute. I meant to do something about the Forty Acres, Jimmy doesn't need it and Lydia will later on, with that worthless husband of hers. I meant to finish the altar cloth and send six bottles of wine to Sister Borgia for her dyspepsia. I want to send six bottles of wine to Sister Borgia, Father Connolly, now don't let me forget.

Cornelia's voice made short turns and titled over and crashed. "Oh, Mother, oh, Mother, oh, Mother..."

"I'm not going, Cornelia. I'm taken by surprise. I can't go."

You'll see Hapsy again. What about her? "I thought you'd never come." Granny made a long journey outward, looking for Hapsy. What if I don't find her? What then? Her heart sank down and down, there was no bottom to death, she couldn't come to the end of it. The blue light from Cornelia's lampshade drew into a tiny point in the centre of

слышу гром. Будет гроза. Закрой все окна. Позови детей домой...

— Мама, мы здесь, мы все тут.

— Это ты, Хепси?

— Нет, это я — Лидия. Мы торопились, хотели как можно скорее приехать. — Их лица плавали над ней и вот — уплыли. Четки выпали у нее из рук, и Лидия снова вложила их, Джимми хотел помочь, их руки соприкоснулись, бабушка уцепилась двумя пальцами за его большой. Зачем тут четки, надо, чтобы что-то живое. Она была так потрясена всем этим, что мысли у нее металась по кругу. Господи милостивый! Значит, моя смерть пришла? А у меня и в мыслях этого не было. Мои дети все съехались, чтобы быть при мне, когда я буду умирать. Но мне еще рано, я еще не могу. Всегда терпеть не могла, когда меня застигают врасплох. Я хотела еще подарить Корнелии мои аметисты, — Корнелия, аметисты тебе, только давай их поносить Хепси, когда ей захочется, и... доктор Гарри, помолчите, пожалуйста. Вас никто сюда не звал. Боже мой, боже! Подожди минутку. Я хотела распорядиться насчет земельного участка. Джимми он не нужен, а Лидии когда-нибудь понадобится, при ее-то никчемном муженьке. Я собиралась докончить вышивку на алтарном покрове и послать сестре Борджиа шесть бутылок вина, это ей от расстройства пищеварения. Отец Коннели, я хочу послать шесть бутылок вина сестре Борджиа, напомните мне об этом.

Голос Корнелии заметался из стороны в сторону, круто накренился и рухнул.

— Мама, мама, ой, мама...

— Я не уйду, Корнелия, меня застигли врасплох. Не могу я так уйти.

Ты еще увидишь Хепси. Как она там? «Я думала, ты так и не придешь». В поисках Хепси бабушка свершила путешествие далеко во внешний мир. А что, если она так и не найдется? Что тогда? Ее сердце стало падать все ниже и ниже, смерть была бездонна, не было ей конца. Голубоватый свет лампы, проникавший сквозь абажур, сузился до крошечной точки в центре ее мозга, он

her brain, it flickered and winked like an eye, quietly it fluttered and dwindled. Granny lay curled down within herself, amazed and watchful, staring at the point of light that was herself; her body was now only a deeper mass of shadow in an endless darkness and this darkness would curl round the light and swallow it up. God, give a sign!

For the second time there was no sign. Again no bridegroom and the priest in the house. She could not remember any other sorrow because this grief wiped them all away. Oh, no, there's nothing more cruel than this—I'll never forgive it. She stretched herself with a deep breath and blew out the light.

вспыхивал и угасал, подмигивал, точно глаз, он тихонько мерцал, все убывая и убывая. Свернувшись калачиком внутри себя, бабушка изумленно и настороженно вглядывалась в точку света, которая была ею самой. Ее тело стало теперь более густой тенью в бесконечном мраке, и этот мрак скоро обовьется вокруг света и проглотит его. Господи, где твое знамение!

А знамения и на этот раз нет. И снова нет жениха, а священник тут, в доме. И ей не вспомнились беды, сколько их у нее ни было, ибо эта боль стерла их все. Нет большей жестокости! Этого я никогда не прощу. Она вытянулась с глубоким вздохом и погасила свет.



F. SCOTT FITZGERALD

Babylon Revisited

I

"And where's Mr. Campbell?" Charlie asked.

"Gone to Switzerland. Mr. Campbell's a pretty sick man, Mr. Wales."

"I'm sorry to hear that. And George Hardt?" Charlie inquired.

"Back in America, gone to work."

"And where is the Snow Bird?"

"He was in here last week. Anyway, his friend, Mr. Schaeffer, is in Paris."

Two familiar names from the long list of a year and a half ago. Charlie scribbled an address in his notebook and tore out the page.

"If you see Mr. Schaeffer, give him this," he said. "It's my brother-in-law's address. I haven't settled on a hotel yet."

He was not really disappointed to find Paris was so empty. But the stillness in the Ritz bar was strange and portentous. It was not an American bar any more—he felt polite in it, and not as if he owned it. It had gone back into France. He felt the stillness from the moment he got out of the taxi and saw the doorman, usually in a frenzy of



ФРЭНСИС СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Опять Вавилон

I

— А мистер Кемпбелл где? — спрашивал Чарли.

— Уехал в Швейцарию. Мистер Кемпбелл сильно болеет, мистер Уэйлс.

— Это грустно. Ну а Джордж Хардт?

— Вернулся в Америку, работает.

— А где Кокаинист?

— На той неделе заходил к нам. Мистер Шеффер, друг его, этот определенно в Париже.

Полтора года, и всего двое из длинного перечня знакомых имен. Чарли набросал в записной книжке адрес и вырвал листок.

— Увидите мистера Шеффера, передайте ему, — сказал он. — Тут адрес моих родных. Я еще не решил, где остановиться.

Париж опустел, но это было не так уж худо. Настораживало гнетущее, непривычное затишье в баре отеля «Риц». Американский дух исчез — теперь здесь невольно хотелось держаться вежливым гостем, не хозяином. Бар вновь отошел к Франции. Чарли ощутил затишье сразу, едва только вылез из такси и увидел, что

activity at this hour, gossiping with a *chasseur* by the servants' entrance.

“Passing through the corridor, he heard only a single, bored voice in the once-clamorous women's room. When he turned into the bar he traveled the twenty feet of green carpet with his eyes fixed straight ahead by old habit; and then, with his foot firmly on the rail, he turned and surveyed the room, encountering only a single pair of eyes that fluttered up from a newspaper in the corner. Charlie asked for the head barman, Paul, who in the latter days of the bull market had come to work in his own custom-built car—disembarking, however, with due nicety at the nearest corner. But Paul was at his country house today and Alix giving him information.

“No, no more,” Charlie said, “I'm going slow these days.”

Alix congratulated him: “You were going pretty strong a couple of years ago.”

“I'll stick to it all right,” Charlie assured him. “I've stuck to it for over a year and a half now.”

“How do you find conditions in America?”

“I haven't been to America for months. I'm in business in Prague, representing a couple of concerns there. They don't know about me down there.”

Alix smiled.

“Remember the night of George Hardt's bachelor dinner here?” said Charlie. “By the way, what's become of Claude Fessenden?”

Alix lowered his voice confidentially: “He's in Paris, but he doesn't come here any more. Paul doesn't allow it. He ran up a bill of thirty thousand francs, charging all his drinks and his lunches, and usually his dinner, for more than a year. And when Paul finally told him he had to pay, he gave him a bad check.”

Alix shook his head sadly.

“I don't understand it, such a dandy fellow. Now he's

швейцар, которому в такой час обыкновенно вздохнуть было некогда, судачит у служебного входа с *chasseur*.

Он двинулся по коридору, и лишь одинокий скучающий голосок долетел до него из дамской комнаты, когда-то полной щебетанья. Свернув в бар, он прошел пятнадцать шагов до стойки по зеленому ковру, глядя по старой привычке прямо перед собой, сел, поставил ногу на опору, а уж тогда повернулся, осмотрелся кругом, и лишь чей-то одинокий взгляд, оторвавшись от газеты, вспорхнул навстречу ему из угла. Чарли спросил, нет ли старшего бармена Поля, который в те дни, когда на бирже еще играли на повышение, приезжал на работу в собственном несерийной модели автомобиле — хоть, правда, из понятной щепетильности оставлял его за углом. Но Поль был сегодня в своем загородном доме, и новости рассказывал Аликс.

— Нет, хватит, — сказал Чарли, — я нынче соблюдаю меру.

Аликс поздравил его.

— А года два назад вы крепко налегали.

— Теперь — кончено, — уверил его Чарли. — Точка. Держусь полтора с лишним года, даже больше.

— Каково сейчас в Америке?

— Я в Америке не был уж сколько месяцев. Веду дела в Праге, представляю кой-какие предприятия. Туда обо мне не дошли слухи.

Аликс улыбнулся.

— Помните, когда Джордж Хардт давал холостяцкий ужин, что здесь было? — сказал Чарли. — А кстати, что с Клодом Фессенденом, где он?

Аликс доверительно понизил голос:

— В Париже, только теперь не показывается сюда. Поль не пускает. У него тут счетов набралось на тридцать тысяч франков, больше года пил, обедал, да и ужинал большей частью — и все в долг. А под конец, когда Поль сказал, что надо платить, дал негодный чек.

Аликс сокрушенно покачал головой.

— Понять не могу, такой приличный человек, и вот поди ты. Теперь к тому же разнесло всего... — Он очер-

all bloated up—" He made a plump apple of his hands.

Charlie watched a group of strident queens installing themselves in a corner.

"Nothing affects them," he thought. "Stocks rise and fall, people loaf or work, but they go on forever." The place oppressed him. He called for the dice and shook with Alix for the drink.

"Here for long, Mr. Wales?"

"I'm here for four or five days to see my little girl."

"Oh-h! You have a little girl?"

Outside, the fire-red, gas-blue, ghost-green signs shone smokily through the tranquil rain. It was late afternoon and the streets were in movement; the *bistros* gleamed. At the corner of the Boulevard des Capucines he took a taxi. The Place de la Concorde moved by in pink majesty; they crossed the logical Seine, and Charlie felt the sudden provincial quality of the Left Bank.

Charlie directed his taxi to the Avenue de l'Opéra, which was out of his way. But he wanted to see the blue hour spread over the magnificent façade, and imagine that the cab horns, playing endlessly the first few bars of *Le Plus que Lente*, were the trumpets of the Second Empire. They were closing the iron grill in front of Brentano's Book-store, and people were already at dinner behind the trim little bourgeois hedge of Duval's. He had never eaten at a really cheap restaurant in Paris. Five-course dinner, four francs fifty, eighteen cents, wine included. For some odd reason he wished that he had.

As they rolled on the Left Bank and he felt its sudden provincialism, he thought, "I spoiled this city for myself. I didn't realize it, but the days came along one after another, and then two years were gone, and everything was gone, and I was gone."

He was thirty-five, and good to look at. The Irish mobility of his face was sobered by a deep wrinkle between his eyes. As he rang his brother-in-law's bell in the Rue

тил ладонями пузатое яблоко.

Чарли смотрел, как рассаживается в углу стайка писклявых педерастов.

Этих ничто не берет, думал он. Повышаются и падают акции, люди слоняются без дела или работают, а им все нипочем. Ему становилось тягостно здесь. Он попросил у Аликса игральные кости, и они кинули, кому платить за выпивку.

— Надолго сюда, мистер Уэйлс?

— Дня на четыре, провести дочь.

— О-о! Так у вас есть дочка?

Снаружи, сквозь тихий дождик, дымно мерцали вывески, огненно-красные, газово-синие, призрачно-зеленые. Вечерело, и улицы были в движении, светились быстро. На углу бульвара Капуцинок он взял такси. Мимо, розоватая, величественная, проплыла площадь Согласия, за нею логическим рубежом легла Сена, и на Чарли внезапным нестоличным уютом повеяло с левого берега.

Он велел шоферу ехать на авеню Опера, хотя это был крюк. Просто хотелось увидеть, как сизые сумерки затягивают пышный фасад, и в клаксонах такси, бессчетно повторяющих начальные такты «Очень медленного вальса» Дебюсси, услышать трубы Второй империи. У книжной лавки Брентано запирали железную решетку, у Дюваля, за чинно подстриженными кустиками живой изгороди, уже обедали. Чарли ни разу не приводилось в Париже есть в настоящем дешевом ресторане. Обед из пяти блюд и с вином — четыре франка пятьдесят сантимов, то есть восемнадцать центов. Почему-то сейчас он пожалел об этом.

Переехали на левый берег, и, как всегда, окунаясь в его неожиданный провинциальный уют, Чарли думал: я своими руками сгубил для себя этот город. Не замечал, как, один за другим, уходят дни, а там оказалось, что пропало два года, и все пропало, и сам я пропал.

Ему было тридцать пять лет, и он был хорош собой. Глубокая поперечная морщина на лбу придавала сосредоточенность его живым ирландским чертам. Когда он

Palatine, the wrinkle deepened till it pulled down his brows; he felt a cramping sensation in his belly. From behind the maid who opened the door darted a lovely little girl of nine who shrieked "Daddy!" and flew up, struggling like a fish, into his arms. She pulled his head around by one ear and set her cheek against his.

"My old pie," he said.

"Oh, daddy, daddy, daddy, daddy, dads, dads, dads!"

She drew him into the salon, where the family waited, a boy and a girl his daughter's age, his sister-in-law and her husband. He greeted Marion with his voice pitched carefully to avoid either feigned enthusiasm or dislike, but her response was more frankly tepid, though she minimized her expression of unalterable distrust by directing her regard toward his child. The two men clasped hands in a friendly way and Lincoln Peters rested his for a moment on Charlie's shoulder.

The room was warm and comfortably American. The three children moved intimately about, playing through the yellow oblongs that led to other rooms; the cheer of six o'clock spoke in the eager smacks of the fire and the sounds of French activity in the kitchen. But Charlie did not relax; his heart sat up rigidly in his body and he drew confidence from his daughter, who from time to time came close to him, holding in her arms the doll he had brought.

"Really extremely well," he declared in answer to Lincoln's question. "There's a lot of business there that isn't moving at all, but we're doing even better than ever. In fact, damn well. I'm bringing my sister over from America next month to keep house for me. My income last year was bigger than it was when I had money. You see, the Czechs—"

His boasting was for a specific purpose; but after a moment, seeing a faint restiveness in Lincoln's eye, he changed the subject:

"Those are fine children of yours, well brought up, good manners."

позвонил на улице Палатин в дверь своих родственников, морщина обозначилась резче, брови сошлись к переносице; у него заныло под ложечкой. Горничная отворила дверь, и прелестная девочка лет девяти выскочила из-за ее спины, взвизгнула: «Папа!» — и забилась, точно рыбка, повиснув у него на шее. Она за ухо пригнула к себе его голову и прижалась к его щеке.

— Старушенция моя, — сказал он.

— Ой, папа, папа, папочка!

Она потянула его в гостиную, где дожидалось все семейство — мальчик с девочкой, ровесники его дочери, свояченица, ее муж. Он поздоровался с Марион обдуманно ровным голосом, без неприязни, но и без наигранной радости, она отозвалась откровенно кислым тоном и тут же перевела взгляд на его ребенка, стирая с лица неистребимую отчужденность. Мужчины дружески поздоровались за руку, и ладонь Линкольна Питерса опустилась Чарли на плечо.

В комнате было тепло, было удобно на американский привычный лад. Дети играли во что-то свое, переходя через желтые прямоугольники, ведущие в другие комнаты; в предобеденном благодушии смачно причмокивал огонь, ему вторили отголоски французских священнодействий на кухне. Но Чарли не удавалось расслабиться, сердце комом застряло в горле — спасибо, что поминутно подходила дочка, баюкая дареную куклу, — она прибавляла ему уверенности.

— Отлично, представь себе, — ответил он на вопрос Линкольна. — Кругом, куда ни поглядишь, полный застой, а у нас дела идут вовсю. Черт его знает, прямо лучше прежнего. Вот в будущем месяце жду сестру из Америки, будет вести хозяйство. Такого дохода, как в последний год, не получал, даже когда был при капитале. Чехи, понимаешь...

Он расхвастался неспроста, но в этот миг в глазах у Линкольна прошла беспокойная тень, и он перевел разговор на другое.

— Хорошие у вас дети, воспитанные, умеют себя вести.

"We think Honoria's a great little girl too."

Marion Peters came back from the kitchen. She was a tall woman with worried eyes, who had once possessed a fresh American loveliness. Charlie had never been sensitive to it and was always surprised when people spoke of how pretty she had been. From the first there had been an instinctive antipathy between them.

"Well, how do you find Honoria?" she asked.

"Wonderful. I was astonished how much she's grown in ten months. All the children are looking well."

"We haven't had a doctor for a year. How do you like being back in Paris?"

"It seems very funny to see so few Americans around."

"I'm delighted," Marion said vehemently. "Now at least you can go into a store without their assuming you're a millionaire. We've suffered like everybody, but on the whole it's a good deal pleasanter."

"But it was nice while it lasted," Charlie said. "We were a sort of royalty, almost infallible, with a sort of magic around us. In the bar this afternoon"—he stumbled, seeing his mistake—"there wasn't a man I knew."

She looked at him keenly. "I should think you'd have had enough of bars."

"I only stayed a minute. I take one drink every afternoon, and no more."

"Don't you want a cocktail before dinner?" Lincoln asked.

"I take only one drink every afternoon, and I've had that."

"I hope you keep to it," said Marion.

Her dislike was evident in the coldness with which she spoke, but Charlie only smiled; he had larger plans. Her very aggressiveness gave him an advantage, and he knew

— А мы довольны Онорией, хоть куда девица.

Вернулась из кухни Марион Питерс. Высокая, с вечно озабоченными глазами — от свежей американской миловидности не осталось и следа. Впрочем, Чарли никогда не находил ее привлекательной, только удивлялся, когда кто-нибудь вспоминал, какая она была хорошенькая. Они невзлюбили друг друга безотчетно, с первой минуты.

— Ну, как Онория, на твой взгляд?

— Чудесно. До чего выросла за десять месяцев, поразительно. Да вся троица загляденье.

— Вот уж год не знаем, что такое врач. Как тебе в Париже после такого перерыва?

— Непривычно как-то, совсем не видно американцев.

— И слава богу, — мстительно сказала Марион. — По крайней мере заходишь в магазин, никто тебя не принимает за миллионершу. Мы пострадали не меньше других, но, вообще говоря, так оно куда лучше.

— И все же славно было, как вспомнишь, — сказал Чарли. — На нас смотрели, точно на сказочных принцев и принцесс, которым все дозволено и все прощается. А сегодня в баре... — он осекся, слишком поздно заметив свою оплошность, — я не встретил ни одной знакомой души.

Она бросила на него острый взгляд.

— Казалось бы, хватит с тебя баров.

— Я заходил всего на минуту. У меня правило, виски с содовой раз в день, и больше ни капли.

— Может быть, выпьешь коктейль перед обедом? — спросил Линкольн.

— Мое правило — один раз в день, значит, на сегодня довольно.

— Будем надеяться, что это надолго, — сказала Марион.

Она говорила холодно, с явной неприязнью, но Чарли только усмехнулся, не стоило обращать внимания на мелочи, когда решалось главное. Наоборот, ее враждебность была ему на руку, он понимал, что нужно

enough to wait. He wanted them to initiate the discussion of what they knew had brought him to Paris.

At dinner he couldn't decide whether Honoria was most like him or her mother. Fortunate if she didn't combine the traits of both that had brought them to disaster. A great wave of protectiveness went over him. He thought he knew what to do for her. He believed in character; he wanted to jump back a whole generation and trust in character again as the eternally valuable element. Everything else wore out.

He left soon after dinner, but not to go home. He was curious to see Paris by night with clearer and more judicious eyes than those of other days. He bought a *strapontin* for the Casino and watched Josephine Baker go through her chocolate arabesques.

After an hour he left and strolled toward Montmartre, up the Rue Pigalle into the Place Blanche. The rain had stopped and there were a few people in evening clothes disembarking from taxis in front of cabarets, and *cocottes* prowling singly or in pairs, and many Negroes. He passed a lighted door from which issued music, and stopped with the sense of familiarity; it was Brichtop's, where he had parted with so many hours and so much money. A few doors farther on he found another ancient rendezvous and incautiously put his head inside. Immediately an eager orchestra burst into sound, a pair of professional dancers leaped to their feet and a maître d'hôtel swooped toward him, crying, "Crowd just arriving, sir!" But he withdrew quickly.

"You have to be damn drunk," he thought.

Zelli's was closed, the bleak and sinister cheap hotels surrounding it were dark; up in the Rue Blanche there was more light and a local, colloquial French crowd. The Poet's Cave had disappeared, but the two great mouths of the Café of Heaven and the Café of Hell still yawned—even

лишь выждать. Дождаться, пока они заведут разговор о том, что привело его в Париж, ведь они знают, зачем он приехал.

За обедом он старался и не мог определить, на кого Онория больше похожа, на него или на мать. Счастье, если ей не достались от обоих те свойства, которые навлекли на них беду. Его захлестнуло желание оградить, уберечь. Он, кажется, знал, что ей нужно больше всего. Он верил в твердость духа, он хотел перенестись на целое поколение назад и вновь уповать на твердость духа как некую непреходящую ценность. Все прочее снашивалось дотла.

После обеда он просидел недолго, но не поехал домой. Любопытно было взглянуть на ночной Париж новыми глазами, яснее, строже, чем в те прежние дни. Он взял strapontin в «Казино» и смотрел, как изгибается в арабесках шоколадное тело Жозефины Бейкер.

Через час он вышел и не спеша направился в сторону Монмартра, вверх по улице Пигаль, на площадь Бланш. Дождь перестал; по-вечернему одетые люди высаживались из такси у дверей кабаре, в одиночку и по двое прохаживались cocottes, было много негров. Он миновал освещенный подъезд, из которого доносилась музыка, и, почуяв что-то знакомое, остановился — это оказалось заведение Бриктопа, и сколько часов сюда ухнуло, сколько денег. Еще несколько дверей, и еще одно полузабытое место давних сборищ; он опрометчиво заглянул в дверь. Тут же с готовностью грянул оркестр, вскочила на ноги пара профессиональных танцоров, и с возгласом: «Милости просим, сэр, успели к самому сбору!» — к нему устремился метрдотель. Чарли поспешил убратъся.

Да, думал он, для такого нужно черт те сколько выпить.

У Зелли было закрыто, и сомнительные гостинички по соседству прятали свои облезлые стены в темноте, зато на улице Бланш светились огни, слышался бойкий говор парижан. «Пещеры поэтов» не стало, но по-прежнему разверзали пасти кафе «Рай» и кафе «Ад» — и да-

devoured, as he watched, the meager contents of a tourist bus—a German, a Japanese, and an American couple who glanced at him with frightened eyes.

So much for the effort and ingenuity of Montmartre. All the catering to vice and waste was on an utterly childish scale, and he suddenly realized the meaning of the word “dissipate”—to dissipate into thin air; to make nothing out of something. In the little hours of the night every move from place to place was an enormous human jump, an increase of paying for the privilege of slower and slower motion.

He remembered thousand-franc notes given to an orchestra for playing a single number, hundred-franc notes tossed to a doorman for calling a cab.

But it hadn't been given for nothing.

It had been given, even the most wildly squandered sum, as an offering to destiny that he might not remember the things most worth remembering, the things that now he would always remember—his child taken from his control, his wife escaped to a grave in Vermont.

In the glare of a *brasserie* a woman spoke to him. He bought her some eggs and coffee, and then, eluding her encouraging stare, gave her a twenty-franc note and took a taxi to his hotel.

II

He woke upon a fine fall day—football weather. The depression of yesterday was gone and he liked the people on the streets. At noon he sat opposite Honoria at Le Grand Vatel, the only restaurant he could think of not reminiscent of champagne dinners and long luncheons that began at two and ended in a blurred and vague twilight.

“Now, how about vegetables? Oughtn't you to have some vegetables?”

же, у него на глазах, заглотнули скудное содержимое туристского автобуса — одного немца, одного японца и чету американцев, которая покосилась на него испуганно.

Вот и все, к чему сводился Монмартр, его старания, ухищрения. Порок и расточительство обставлены были совершенно по-детски, и Чарли вдруг осознал, что значат слова «вести рассеянный образ жизни» — рассеять по ветру, обратить нечто в ничто. В предутренние часы всякий переход из одного заведения в другое был как бы резким скачком в иное человеческое состояние, скачком в цене за возможность все более замедлять свой ход.

Вспомнились тысячные бумажки, отданные в оркестр за то, что сыграли по заказу одну вещь; сотенные бумажки, брошенные швейцару за то, что кликнул такси.

Впрочем, все это отдавалось не даром.

Все это, вплоть до совсем уж дико промотанных денег, отдавалось как мзда судьбе, чтобы не вспоминать главное, о чем только и стоило помнить, о чем теперь он будет помнить всегда, — что у него забрали ребенка, что жена скрылась от него на вермонтском кладбище.

В пронзительном свете brasserie с ним заговорила женщина. Он взял для нее омлет и кофе, потом, стараясь не встречаться с ее зазывным взглядом, дал ей двадцать франков, сел в такси и поехал в гостиницу.

II

Когда он проснулся, стоял осенний солнечный день — подходящая погода для футбола. Вчерашняя хандра прошла, встречные на улице радовали глаз. В двенадцать он сидел против Онории в «Ле Гран Ватель» — из всех знакомых ресторанов только этот не приводил на память ужины с шампанским, долгие обеды, которые начинались в два пополудни и завершались в расплывчатых, мутных сумерках.

— Ну а как ты насчет овощей? Возьмем тебе что-нибудь?

"Well, yes."

"Here's *épinards* and *chou-fleur* and carrots and *haricots*."

"I'd like *chou-fleur*."

"Wouldn't you like to have two vegetables?"

"I usually only have one at lunch."

The waiter was pretending to be inordinately fond of children. "*Qu'elle est mignonne la petite! Elle parle exactement comme une Française.*"

"How about dessert? Shall we wait and see?"

The waiter disappeared. Honoria looked at her father expectantly.

"What are we going to do?"

"First, we're going to that toy store in the Rue Saint-Honoré and buy you anything you like. And then we're going to the vaudeville at the Empire."

She hesitated. "I like it about the vaudeville, but not the toy store."

"Why not?"

"Well, you brought me this doll." She had it with her. "And I've got lots of things. And we're not rich any more, are we?"

"We never were. But today you are to have anything you want."

"All right," she agreed resignedly.

When there had been her mother and a French nurse he had been inclined to be strict; now he extended himself, reached out for a new tolerance; he must be both parents to her and not shut any of her out of communication.

"I want to get to know you," he said gravely. "First let me introduce myself. My name is Charles J. Wales, of Prague."

"Oh, daddy!" her voice cracked with laughter.

"And who are you, please?" he persisted, and she

— Давай.

— Есть épinards, chou-fleur, морковка есть, haricots.

— Chou-fleur, если можно.

— Еще что хочешь?

— Я за обедом больше не ем.

Официант переигрывал, изображая, как любит детей.

— Qu'elle est mignonne la petite! Elle parle exactement comme une Française.

— Что скажешь насчет сладкого? Или подождем, там видно будет?

Официант скрылся. Онория с надеждой взглянула на отца.

— Что мы сегодня будем делать?

— Первым делом идем на улицу Сент-Оноре в магазин игрушек, и ты выбираешь, что твоей душе угодно. Потом едем в театр «Ампир» на утренник.

Она помялась.

— Утренник — это хорошо, а в игрушечный лучше не надо.

— Почему?

— Ты уже мне привез куклу. — Кукла была при ней. — И потом, у меня и так много всего. Мы ведь теперь не богатые, правда?

— И не были никогда. Но сегодня тебе будет все, что пожелаешь.

— Ладно, — покорно согласилась она.

Когда рядом была мать и няня-француженка, он считал нужным держаться строго, теперь он ломал все, чем отгораживался от нее раньше, учился быть терпимым — она должна была найти в нем и отца и мать, должна знать, что он не останется глух ни к одному ее зову.

— Я хочу познакомиться с тобой поближе, — серьезно сказал он. — Во-первых, разрешите представиться. Я — Чарлз Джей Уэйлс, живу в Праге.

— Ой, папа! — У нее голос сорвался от смеха.

— А вас как зовут, позвольте узнать? — не отступался он, и она мгновенно включилась в игру.

accepted a rôle immediately; "Honorina Wales, Rue Palatine, Paris."

"Married or single?"

"No, not married. Single."

He indicated the doll. "But I see you have a child, madame."

Unwilling to disinherit it, she took it to her heart and thought quickly: "Yes, I've been married, but I'm not married now. My husband is dead."

He went on quickly, "And the child's name?"

"Simone. That's after my best friend at school."

"I'm very pleased that you're doing so well at school."

"I'm third this month," she boasted. "Elsie"—that was her cousin—"is only about eighteenth, and Richard is about at the bottom."

"You like Richard and Elsie, don't you?"

"Oh, yes, I like Richard quite well and I like her all right."

Cautiously and casually he asked: "And Aunt Marion and Uncle Lincoln—which do you like best?"

"Oh, Uncle Lincoln, I guess."

He was increasingly aware of her presence. As they came in, a murmur of "...adorable" followed them, and now the people at the next table bent all their silences upon her, staring as if she were something no more conscious than a flower.

"Why don't I live with you?" she asked suddenly. "Because mamma's dead?"

"You must stay here and learn more French. It would have been hard for daddy to take care of you so well."

"I don't really need much taking care of any more. I do everything for myself."

Going out of the restaurant, a man and a woman unexpectedly hailed him.

— Онория Уэйлс, живу в Париже, улица Палатин.

— Одна или с мужем?

— Одна. Я не замужем.

Он указал на куклу.

— Но я вижу, у вас ребенок, мадам.

Обидеть куклу было выше сил, Онория прижала ее к груди и быстро нашлась:

— Верно, я была замужем, а теперь — нет. У меня муж умер.

Чарли поспешно задал другой вопрос:

— И как же зовут вашу девочку?

— Симона. В честь моей школьной подружки, самой лучшей.

— Я так доволен, что у тебя успехи в школе.

— На третьем месте в этом месяце, — похвалилась она. — Элси всего на восемнадцатом, по-моему... — Элси была ее двоюродная сестра. — А Ричард и вовсе в хвосте.

— Нравятся они тебе, Ричард и Элси?

— Да, вполне. Ричард очень нравится, и она тоже ничего.

Он спросил осторожно, как бы между прочим:

— А тетя Марион и дядя Линкольн — из них кто больше?

— Наверно, дядя Линкольн все-таки.

С каждой минутой он все острее ощущал ее присутствие. Когда они входили, вслед им шелестело «...преlestь», и сейчас молчание за соседним столиком посвящено было ей, ее разглядывали открыто, словно цветок, который не способен чувствовать, что им любуются.

— Почему я живу не с тобой? — внезапно спросила она. — Потому что мама умерла?

— Тебе полезно здесь пожить, подучишь французский как следует. Папе трудно было бы так хорошо за тобой смотреть.

— За мной больше не нужно особенно смотреть. Я все умею сама.

Они выходили из ресторана, как вдруг его окликнули двое, мужчина и женщина.

"Well, the old Wales!"

"Hello there, Lorraine.... Dunc."

Sudden ghosts out of the past: Duncan Schaeffer, a friend from college. Lorraine Quarries, a lovely, pale blonde of thirty; one of a crowd who had helped them make months into days in the lavish times of three years ago.

"My husband couldn't come this year," she said, in answer to his question. "We're poor as hell. So he gave me two hundred a month and told me I could do my worst on that.... This your little girl?"

"What about coming back and sitting down?" Duncan asked.

"Can't do it." He was glad for an excuse. As always, he felt Lorraine's passionate, provocative attraction, but his own rhythm was different now.

"Well, how about dinner?" she asked.

"I'm not free. Give me your address and let me call you."

"Charlie, I believe you're sober," she said judicially. "I honestly believe he's sober, Dunc. Pinch him and see if he's sober."

Charlie indicated Honoria with his head. They both laughed.

"What's your address?" said Duncan skeptically.

He hesitated, unwilling to give the name of his hotel.

"I'm not settled yet. I'd better call you. We're going to see the vaudeville at the Empire."

"There! That's what I want to do," Lorraine said. "I want to see some clowns and acrobats and jugglers. That's just what we'll do, Dunc."

"We've got to do an errand first," said Charlie. "Perhaps we'll see you there."

"All right, you snob... Good-by, beautiful little girl."

"Good-by."

Honoria bobbed politely.

— Ба, Уэйлс собственной персоной!

— Лорейн, сколько лет... Здравствуй, Дунк.

Нежданнные тени из прошлого — Дункан Шеффер, приятель и однокашник по колледжу, Лорейн Куолз, хорошенькая пепельная блондинка лет тридцати, из той компании, с чьей помощью в то бесшабашное времечко три года назад месяцы пролетали, как короткие дни.

— Муж в этом году приехать не мог, — ответила она на его вопрос. — Вконец обнищали. Определил мне двести в месяц и пожелал истратить их наихудшим для себя образом... Девочка ваша?

— Может быть, вернешься, посидим? — спросил Дункан.

— Рад бы, да не могу. — Хорошо, что было чем отговориться. Как всегда, он не остался равнодушен к дразнящему, влекущему обаянию Лорейн, однако ритм его жизни был теперь иной.

— Тогда пообедаем вместе? — спросила она.

— Если бы я был свободен. Вы мне оставьте ваш адрес, и я позвоню.

— Чарли, у меня подозрение, что вы трезвый, — осуждающе сказала она. — Дунк, я, кроме шуток, подозреваю, что он трезв. Ущипните-ка его, и мы проверим.

Чарли показал глазами на Онорию. Они прыснули.

— Ты-то где живешь? — недоверчиво спросил Дункан.

Чарли помедлил, называть гостиницу не было никакой охоты.

— Еще не знаю толком. Лучше все-таки я вам позвоню. Мы идем на утренник в театр «Ампир».

— Вот! Как раз то, что мне надо, — сказала Лорейн. — Желаю смотреть клоунов, акробатов, жонглеров. Дунк, решено, чем заняться.

— У нас еще до этого есть дела, — сказал Чарли. — Там, вероятно, увидимся.

— Ладно уж, сноб несчастный... До свидания, красивая девочка.

— До свидания.

Онория сделала вежливый книксен.

Somehow, an unwelcome encounter. They liked him because he was functioning, because he was serious; they wanted to see him, because he was stronger than they were now, because they wanted to draw a certain sustenance from his strength.

At the Empire, Honoria proudly refused to sit upon her father's folded coat. She was already an individual with a code of her own, and Charlie was more and more absorbed by the desire of putting a little of himself into her before she crystallized utterly. It was hopeless to try to know her in so short a time.

Between the acts they came upon Duncan and Lorraine in the lobby where the band was playing.

"Have a drink?"

"All right, but not up at the bar. We'll take a table."

"The perfect father."

Listening abstractedly to Lorraine, Charlie watched Honoria's eyes leave their table, and he followed them wistfully about the room, wondering what they saw. He met her glance and she smiled.

"I liked that lemonade," she said.

What had she said? What had he expected? Going home in a taxi afterward, he pulled her over until her head rested against his chest.

"Darling, do you ever think about your mother?"

"Yes, sometimes," she answered vaguely.

"I don't want you to forget her. Have you got a picture of her?"

"Yes, I think so. Anyhow, Aunt Marion has. Why don't you want me to forget her?"

"She loved you very much."

"I loved her too."

They were silent for a moment.

"Daddy, I want to come and live with you," she said suddenly.

His heart leaped; he had wanted it to come like this.

"Aren't you perfectly happy?"

"Yes, but I love you better than anybody. And you love

Как-то некстати эта встреча. Он им нравится, потому что он занят делом, твердо стоит на ногах — он сейчас сильнее, чем они, оттого они льнут к нему, ища опору в его силе.

В театре Онория гордо отказалась сидеть на сложенном отцовском пальто. Она была уже личность, с собственными понятиями и правилами, и Чарли все сильнее проникался желанием вложить в нее немножко себя, пока она не определилась окончательно. Тщетно было пытаться узнать ее близко за такой короткий срок.

После первого отделения в фойе, где играла музыка, они столкнулись с Дунканом и Лорейн.

— Не выпьешь с нами?

— Давайте, только не у стойки. Сядем за стол.

— Ну, образцовый родитель.

Слушая рассеянno, что говорит Лорейн, Чарли смотрел, как глаза Онории покинули их столик, и с нежностью и печалью старался угадать, что-то они видят. Он перехватил ее взгляд, и она улыбнулась.

— Вкусный был лимонад, — сказала она.

Что это она такое сказала? Что он рассчитывал услышать? В такси, на обратном пути, он притянул ее к себе, и ее голова легла ему на грудь.

— Дочка, ты маму вспоминаешь когда-нибудь?

— Иногда вспоминаю, — небрежно отозвалась она.

— Мне хочется, чтобы ты ее не забывала. Есть у тебя ее карточка?

— Есть, по-моему. У тети Марион — наверняка есть. А почему ты хочешь, чтоб я ее не забывала?

— Она тебя очень любила.

— И я ее.

Они на минуту примолкли.

— Пап, я хочу уехать и жить с тобой, — сказала она вдруг.

У него забилося сердце, он мечтал, чтобы это случилось в точности так.

— Тебе разве худо живется?

— Нет, просто я тебя люблю больше всех. И ты меня

me better than anybody, don't you, now that mummy's dead?"

"Of course I do. But you won't always like me best, honey. You'll grow up and meet somebody your own age and go marry him and forget you ever had a daddy."

"Yes, that's true," she agreed tranquilly.

He didn't go in. He was coming back at nine o'clock and he wanted to keep himself fresh and new for the thing he must say then.

"When you're safe inside, just show yourself in that window."

"All right. Good-by, dads, dads, dads, dads."

He waited in the dark street until she appeared, all warm glowing, in the window above and kissed her fingers out into the night.

III

They were waiting. Marion sat behind the coffee service in a dignified black dinner dress that just faintly suggested mourning. Lincoln was walking up and down with the animation of one who had already been talking. They were as anxious as he was to get into the question. He opened it almost immediately:

"I suppose you know what I want to see you about—why I really came to Paris."

Marion played with the black stars on her necklace and frowned.

"I'm awfully anxious to have a home," he continued. "And I'm awfully anxious to have Honoria in it. I appreciate your taking in Honoria for her mother's sake, but things have changed now"—he hesitated and then continued more forcibly—"changed radically with me, and I want to ask you to reconsider the matter. It would be silly for me to deny that about three years ago I was acting badly—"

Marion looked up at him with hard eyes.

"—but all that's over. As I told you, I haven't had more

больше, да? Раз мамы нету...

— Еще бы. Только тебе-то, милая, я не всегда буду нравиться больше всех. Вот вырастешь большая, встретишь какого-нибудь сверстника, выйдешь замуж и думать забудешь, что у тебя есть папа.

— Да, это правда, — безмятежно согласилась она.

Он не стал входить с нею в дом. В девять ему предстояло быть тут снова, хотелось вот таким, обновленным, нетронутым, сохранить себя для того, что он должен сказать.

— Прибежишь домой, выгляни на минутку в окно.

— Ладно. До свидания, папа, папочка мой.

Он постоял на неосвещенной улице, пока она не показалась в окошке наверху, разгоряченная, розовая, и не послала ему в темноту воздушный поцелуй.

III

Его ждали. Марион, внушительная в вечернем черном платье — не совсем траур, но все-таки... — сидела за кофейным сервизом. Линкольн возбужденно расхаживал по комнате — явно только что кончил говорить что-то и еще не остыл. Очевидно было, что им, как и ему, не терпится перейти к делу. Он начал почти сразу:

— Вам известно, я полагаю, для чего я пришел — с чем, собственно, и ехал в Париж.

Марион, хмуря лоб, перебирала черные звездочки ожерелья.

— Я ужасно хочу, чтобы у меня был свой дом, — продолжал он. — И ужасно хочу, чтобы в этом доме была Онория. Спасибо вам, что из любви к матери вы приютили девочку, но теперь обстоятельства изменились... — Он запнулся и тотчас повторил, тверже: — Обстоятельства у меня изменились решительным образом, и я вас прошу пересмотреть положение вещей. Я не спорю, и глупо было бы, — года три назад я действительно вел себя скверно...

Марион подняла на него тяжелый взгляд.

— ...однако все это позади. Я говорил уже, что год с

than a drink a day for over a year, and I take that drink deliberately, so that the idea of alcohol won't get too big in my imagination. You see the idea?"

"No," said Marion succinctly.

"It's a sort of stunt I sent myself. It keeps the matter in proportion."

"I get you," said Lincoln. "You don't want to admit it's got any attraction for you."

"Something like that. Sometimes I forget and don't take it. But I try to take it. Anyhow, I couldn't afford to drink in my position. The people I represent are more than satisfied with what I've done, and I'm bringing my sister over from Burlington to keep house for me, and I want awfully to have Honoria too. You know that even when her mother and I weren't getting along well we never let anything that happened touch Honoria. I know she's fond of me and I know I'm able to take care of her and—well there you are. How do you feel about it?"

He knew that now he would have to take a beating. It would last an hour or two hours, and it would be difficult, but if he modulated his inevitable resentment to the chastened attitude of the reformed sinner, he might win his point in the end.

Keep your temper, he told himself. You don't want to be justified. You want Honoria.

Lincoln spoke first: "We've been talking it over ever since we got your letter last month. We're happy to have Honoria here. She's a dear little thing, and we're glad to be able to help her, but of course that isn't the question—"

Marion interrupted suddenly. "How long are you going to stay sober, Charlie?" she asked.

"Permanently, I hope."

"How can anybody count on that?"

"You know I never did drink heavily until I gave up

лишним я вообще не пью, только один раз в день, да и то нарочно, чтобы у меня в сознании не слишком разрас-
талась мысль о выпивке. Ясно ли, в чем тут суть?

— Нет, — отрубил Марион.

— Самотренировка, что ли. Слежу, чтобы вопрос не становился проблемой.

— Что ж, ясно, — сказал Линкольн. — Доказываешь себе, что незапретный плод теряет сладость.

— Примерно так. Бывает, что и забуду, не выпью. Хотя стараюсь не забывать. Но вообще-то при такой работе, как у меня, пьянство так или иначе исключается. На службе довольны тем, что мне удалось проделать, больше чем довольны, так что — вот, вызвал к себе из Берлингтона сестру вести хозяйство и просто мечтаю, чтобы Онория тоже жила у меня. Вспомните, даже когда у нас с ее матерью не клеилось, никогда мы не допускали, чтобы это хоть как-либо задело Онорию. Она ко мне привязана, я знаю, заботиться о ней я способен, это я тоже знаю, и... короче, вот так. Дальше ваше слово.

Теперь ему, конечно, зададут жару. Расправа затянется на час, а то и на два, и стерпеть будет нелегко, но если прикрыть ответное раздражение постным смирением кающегося грешника, можно в конечном счете добиться своего.

Держи себя в руках, говорил он себе. Тебе не оправдание нужно. Тебе нужна Онория.

Первым заговорил Линкольн:

— После того как от тебя в том месяце пришло письмо, мы не раз это обсуждали. Нам-то ничуть не в тягость, что Онория у нас. Она милое существо, и мы только рады сделать для нее, что можем, но не в том, естественно, вопрос...

Его внезапно перебила Марион:

— На сколько хватит твоей решимости не пить, Чарли?

— Думаю, на всю жизнь.

— Где доказательство, что это не слова?

— Ты сама знаешь, я никогда не пьянствовал, пока

business and came over here with nothing to do. Then Helen and I began to run around with—”

“Please leave Helen out of it. I can’t bear to hear you talk about her like that.”

He stared at her grimly; he had never been certain how fond of each other the sisters were in life.

“My drinking only lasted about a year and a half—from the time we came over until I—collapsed.”

“It was time enough.”

“It was time enough,” he agreed.

“My duty is entirely to Helen,” she said. “I try to think what she would have wanted me to do. Frankly, from the night you did that terrible thing you haven’t really existed for me. I can’t help that. She was my sister.”

“Yes.”

“When she was dying she asked me to look out for Honoria. If you hadn’t been in a sanitarium then, it might have helped matters.”

He had no answer.

“I’ll never in my life be able to forget the morning when Helen knocked at my door, soaked to the skin and shivering and said you’d locked her out.”

Charlie gripped the sides of the chair. This was more difficult than he expected; he wanted to launch out into a long expostulation and explanation, but he only said: “The night I locked her out—” and she interrupted, “I don’t feel up to going over that again.”

After a moment’s silence Lincoln said: “We’re getting off the subject. You want Marion to set aside her legal guardianship and give you Honoria. I think the main point for her is whether she has confidence in you or not.”

“I don’t blame Marion,” Charlie said slowly, “but I think she can have entire confidence in me. I had a good

не забросил работу и не приехал сюда, на заведомое безделье. А тут еще нас с Элен угораздило связаться с...

— Будь добр, оставь в покое Элен. Не могу слышать, когда ты позволяешь себе так говорить о ней.

Он посмотрел на нее угрюмо — при жизни Элен у него не было уверенности, что сестры обожают друг друга.

— Всерьез я пил только года полтора, с того времени, как мы сюда приехали, и до того, как я... ну, в общем, сорвался.

— Срок немалый.

— Срок немалый, это верно.

— Я считаюсь единственно со своим долгом перед Элен, — сказала она. — Стараюсь исходить из того, что пожелала бы она. Ты же, честно говоря, с той ночи, когда так гнусно обошелся с нею, перестал для меня существовать. И тут уж ничего не поделаешь. Она мне сестра.

— Да-да.

— Перед смертью она меня просила, чтобы я не оставила Онорию. Возможно, если бы ты в ту пору не изволил пребывать на излечении, было бы проще.

На это ответить было нечего.

— В жизни не забуду то утро, когда Элен постучалась ко мне и сказала, что ты запер дверь и не пускаешь ее в дом, — до нитки мокрая, иззябшая.

Чарли вцепился пальцами в края стула. Он предвидел, что будет нелегко, но так... Хотелось возразить, объяснить, но он сказал только:

— В то утро, когда я запер дверь... — и она оборвала его:

— Я сейчас не в состоянии в это вдаваться.

Все смолкли на минуту, потом Линкольн сказал:

— Мы что-то уклоняемся. Ты, значит, хочешь, чтобы Марион официально сложила с себя опеку и отдала Онорию тебе. Для нее, как я понимаю, самое главное — можно ли на тебя положиться или нет.

— Я не осуждаю Марион, — с расстановкой сказал Чарли, — и все же думаю, что положиться на меня

record up to three years ago. Of course, it's within human possibilities I might go wrong any time. But if we wait much longer I'll lose Honoria's childhood and my chance for a home." He shook his head, "I'll simply lose her, don't you see?"

"Yes, I see," said Lincoln.

"Why didn't you think of all this before?" Marion asked.

"I suppose I did, from time to time, but Helen and I were getting along badly. When I consented to the guardianship, I was flat on my back in a sanitarium and the market had cleaned me out. I knew I'd acted badly, and I thought if it would bring any peace to Helen, I'd agree to anything. But now it's different. I'm functioning, I'm behaving damn well, so far as—"

"Please don't swear at me," Marion said.

He looked at her, startled. With each remark the force of her dislike became more and more apparent. She had built up all her fear of life into one wall and faced it toward him. This trivial reproof was possibly the result of some trouble with the cook several hours before. Charlie became increasingly alarmed at leaving Honoria in this atmosphere of hostility against himself; sooner or later it would come out, in a word here, a shake of the head there, and some of that distrust would be irrevocably implanted in Honoria. But he pulled his temper down out of his face and shut it up inside him; he had won a point, for Lincoln realized the absurdity of Marion's remark and asked her lightly since when she had objected to the word "damn".

"Another thing," Charlie said: "I'm able to give her certain advantages now. I'm going to take a French governess to Prague with me. I've got a lease on a new apartment—"

He stopped, realizing that he was blundering. They couldn't be expected to accept with equanimity the fact

можно смело. До того, что началось три года назад, меня не в чем было упрекнуть. Конечно, трудно поручиться, что я ни разу не оступлюсь, — чего не бывает. Но если ждать, откладывая, тогда еще немного, и ее детство для меня потеряно, а с ним — надежда создать себе дом. — Он покачал головой. — Да я попросту потеряю ее, как вы не понимаете!

— Нет, я понимаю, — сказал Линкольн.

— Что ж ты об этом раньше не задумался? — спросила Марион.

— Пожалуй, что и задумывался, но начались нелады с Элен... На опекунство дал согласие, когда сидел в лечебнице, а верней, лежал на обеих лопатках, если учесть, что крах на бирже пустил меня по миру. Я сознавал, что вел себя из рук вон, думал, соглашусь на что угодно, если Элен так будет спокойней. Теперь другое дело. Я работаю, черт возьми, веду примерный образ жизни во всем, что...

— Не ругайся при мне, будь любезен, — сказала Марион.

Он взглянул на нее оторопело. С каждым словом все сильней выпирала наружу ее неприязнь к нему. Весь свой страх перед жизнью она вложила в некий оборонительный заслон и выставляла его ему навстречу. Как знать, может быть, за обедом провинилась кухарка — и готов повод для мелочной придирки. В нем нарастала тревога, было страшно оставлять Онорию в этой враждебной ему обстановке; сегодня это будет слово, завтра неодобрительное покачивание головой — и рано или поздно что-то неизбежно прорвется, заронит в детскую душу недоверие, которое не вытравишь после. Но Чарли согнал досаду с лица, запрятал ее глубже — он все-таки выиграл очко: Линкольн в ответ на вздорный окрик жены вскользь осведомился, с каких это пор ее коробит от слова «черт».

— И еще одно, — сказал Чарли. — Я теперь могу для нее кое-что сделать. Собираюсь взять с собой в Прагу французскую гувернантку. Уже снял новую квартиру...

Он не договорил, сообразив, что дал маху. Едва ли

that his income was again twice as large as their own.

"I suppose you can give her more luxuries than we can," said Marion. "When you were throwing away money we were living along watching every ten francs.... I suppose you'll start doing it again."

"Oh, no," he said. "I've learned. I worked hard for ten years, you know—until I got lucky in the market, like so many people. Terribly lucky. It didn't seem any use working any more, so I quit."

There was a long silence. All of them felt their nerves straining, and for the first time in a year Charlie wanted a drink. He was sure now that Lincoln Peters wanted him to have his child.

Marion shuddered suddenly; part of her saw that Charlie's feet were planted on the earth now, and her own maternal feeling recognized the naturalness of his desire; but she has lived for a long time with a prejudice—a prejudice founded on a curious disbelief in her sister's happiness, and which, in the shock of one terrible night, had turned to hatred for him. It had all happened at a point in her life where the discouragement of ill health and adverse circumstances made it necessary for her to believe in tangible villainy and a tangible villain.

"I can't help what I think!" she cried out suddenly. "How much you were responsible for Helen's death, I don't know. It's something you'll have to square with your own conscience."

An electric current of agony surged through him; for a moment he was almost on his feet, an unuttered sound echoing in his throat. He hung on to himself for a moment, another moment.

"Hold on there," said Lincoln uncomfortably. "I never thought you were responsible for that."

разумно напоминать, что он опять вдвое их богаче.

— Да, ты, конечно же, в состоянии окружить ее роскошью, какая нам не по средствам, — сказала Марион. — Было время, ты сорил деньгами направо и налево, а у нас каждые десять франков были на счету... И, конечно же, ты все начнешь сначала.

— Э, нет, — сказал он. — Теперь я стал умней. Я десять лет работал не покладая рук, ты же знаешь, а потом повезло на бирже, и многим, не одному мне. Неслышанно повезло. Казалось, работать нет смысла, я и бросил.

На этот раз молчание было долгим. Чувствовалось, что у всех сдают нервы, и впервые за год Чарли потянуло выпить. Он уже был уверен, что Линкольн Питерс за то, чтобы отдать ему дочь.

Марион вдруг передернулась. Краем сознания она как будто и понимала, что у Чарли теперь под ногами надежная почва, материнским чутьем не могла не ощутить, как естественно то, чего он хочет, однако странное нежелание верить, что сестра счастлива замужем, уже давно вселило в нее стойкое предубеждение — предубеждение, которое за одну жуткую ночь обратилось в ее потрясенной душе в ненависть. У нее в ту пору подошла такая минута, когда под бременем расстроенного здоровья и незавидных житейских обстоятельств ей необходимо стало найти себе вполне определенное злодейство и определенного злодея — и тогда-то разыгрались все события.

— Я не могу приказать себе думать так, а не иначе! — выкрикнула она. — А насколько ты повинен в смерти Элен — больше, меньше, — этого я не знаю. Это уж ты выясняй наедине со своей совестью.

Боль пронзила его электрическим током, еще секунда — и он вскочил бы на ноги, нерожденный звук рвался из гортани. Он сумел удержаться на волоске, и секунда прошла — одна, другая.

— Полегче, не надо так, — с неловкостью сказал Линкольн. — Я, например, никогда не считал, что тут есть твоя вина.

"Helen died of heart trouble," Charlie said dully.

"Yes, heart trouble." Marion spoke as if the phrase had another meaning for her.

Then, in the flatness that followed her outburst, she saw him plainly and she knew he had somehow arrived at control over the situation. Glancing at her husband, she found no help from him, and as abruptly as if it were a matter of no importance, she threw up the sponge.

"Do what you like!" she cried, springing up from her chair. "She's your child. I'm not the person to stand in your way. I think if it were my child I'd rather see her—" She managed to check herself. "You two decide it. I can't stand this. I'm sick. I'm going to bed."

She hurried from the room; after a moment Lincoln said:

"This has been a hard day for her. You know how strongly she feels—" His voice was almost apologetic: "When a woman gets an idea in her head."

"Of course."

"It's going to be all right. I think she sees now that you—can provide for the child, and so we can't very well stand in your way or Honoria's way."

"Thank you, Lincoln."

"I'd better go along and see how she is."

"I'm going."

He was still trembling when he reached the street, but a walk down the Rue Bonaparte to the *quai* set him up, and as he crossed the Seine, fresh and new by the *quai* lamps, he felt exultant. But back in his room he couldn't sleep. The image of Helen haunted him. Helen whom he had loved so until they had senselessly begun to abuse each other's love, tear it into shreds. On that terrible February night that Marion remembered so vividly, a slow quarrel had gone on

— Элен умерла оттого, что у нее было что-то с сердцем, — глухо сказал Чарли.

— Вот именно — что-то с сердцем, — сказала Марион, как бы вкладывая свой смысл в эти слова.

Но ее запал уже иссяк, и, отрезвленная, она увидела Чарли таким, каков он есть, увидела, что он, неведомо как, сделался хозяином положения. Взглянув на мужа, она поняла, что от него поддержки ждать нечего, и разом, словно речь шла о чем-то несущественном, перестала сопротивляться.

— Ах, да поступай как знаешь! — вскочив со стула, воскликнула она. — Твоя дочь, в конце концов. Я не тот человек, чтобы становиться тебе поперек дороги. Хотя, будь это моя девочка, я скорей бы, кажется, похо... — Она успела совладать с собой. — Решайте сами. Я не могу больше. Я совсем разбита. Пойду лягу.

Она быстрыми шагами вышла, и Линкольн сказал, не сразу:

— У нее сегодня тяжелый день. Ты знаешь, как она остро воспринимает... — Голос у него звучал почти что виновато. — Уж если женщина что-нибудь вбила себе в голову...

— Это конечно.

— Все образуется. По-моему, она уже видит, что ты способен, м-м... позаботиться о ребенке, а раз так, зачем нам становиться поперек дороги тебе или Онории.

— Спасибо тебе, Линкольн.

— Пойти, пожалуй, посмотреть, как она там.

— Да, ухажу.

Его еще била дрожь, когда он вышел из дома, но достаточно было пройтись по улице Бонапарт пешком до quai, как она унялась, и по пути на ту сторону Сены, нетронутой, обновленной в свете прибрежных фонарей, его настигло ликование. Однако после, в гостинице, сон не шел к нему. Образ Элен маячил перед ним неотступно. Как он любил ее, пока они вдвоем не принялись безрассудно топтать ногами свою любовь, не надругались над нею. В ту февральскую жуткую ночь, которая так врезалась в память Марион, между ними час за часом

for hours. There was a scene at the Florida, and then he attempted to take her home, and then she kissed young Webb at a table; after that there was what she had hysterically said. When he arrived home alone he turned the key in the lock in wild anger. How could he know she would arrive an hour later alone, that there would be a snowstorm in which she wandered about in slippers, too confused to find a taxi? Then the aftermath, her escaping pneumonia by a miracle, and all the attendant horror. They were "reconciled," but that was the beginning of the end, and Marion, who had seen with her own eyes and who imagined it to be one of many scenes from her sister's martyrdom, never forgot.

Going over it again brought Helen nearer, and in the white, soft light that steals upon half sleep near morning he found himself talking to her again. She said that he was perfectly right about Honoria and that she wanted Honoria to be with him. She said she was glad he was being good and doing better. She said a lot of other things—very friendly things—but she was in a swing in a white dress, and swinging faster and faster all the time, so that at the end he could not hear clearly all that she said.

IV

He woke up feeling happy. The door of the world was open again. He made plans, vistas, futures for Honoria and himself, but suddenly he grew sad, remembering all the plans he and Helen had made. She had not planned to die. The present was the thing—work to do and someone to love. But not to love too much, for he knew the injury that a father can do to a daughter or a mother to a son by attaching them too closely: afterward, out in the world, the

лениво тянулась перебранка. Во «Флориде» разразилась сцена, потом он пробовал увезти ее домой, потом где-то за столиком она поцеловалась с этим мальчишкой Уэббом, — а потом были слова, которые она наговорила ему, уже не помня себя. Домой он приехал один и со зла, плохо соображая, что делает, повернул ключ в двери. Откуда ему было знать, что через час она вернется без провожатых, и поднимется снежный буран, и она в легких туфельках побредет сквозь снег, точно в дурмане, не сообразив даже поискать такси? И какой все это был ужас после, когда она чудом не получила воспаление легких. Они, что называется, заключили мир, но все равно это было начало конца, и Марион, став очевидицей злодейства и поверив, что этот случай — один из многих в жизни мученицы-сестры, так и не простила ему.

Блуждая в прошлом, он приблизился к Элен и сам не заметил, как в белесом свете, который мягко крадется в полусон на исходе ночи, разговорился с нею, как встарь. Она говорила, что он совершенно правильно все решил насчет Онории и она хочет, чтобы Онория была у него. Говорила, как ее радует, что он хорошо живет, а работает и того лучше. Она еще много что говорила — очень сердечно, — только все время раскачивалась, как на качелях, в своем белом платье, быстрее, быстрее, так что под конец уже трудно было расслышать, что она говорит.

IV

Он проснулся от счастья. Мир снова распахнул перед ним двери. Он строил планы, рисовал себе картины их с Онорией будущего и загрустил неожиданно, когда вспомнил, какие планы они строили вместе с Элен. Она не собиралась умирать. Настоящее — вот что имело цену: работа, которую делаешь, кто-то рядом, кого любишь. Только нельзя позволять себе любить чрезмерно; он знал, как может отец напортить дочери или мать сыну, приучив к чрезмерно тесным узам, — после, оторвав-

child would seek in the marriage partner the same blind tenderness and, failing probably to find it, turn against love and life.

It was another bright, crisp day. He called Lincoln Peters at the bank where he worked and asked if he could count on taking Honoria when he left for Prague. Lincoln agreed that there was no reason for delay. One thing—the legal guardianship. Marion wanted to retain that a while longer. She was upset by the whole matter, and it would oil things if she felt that the situation was still in her control for another year. Charlie agreed, wanting only the tangible, visible child.

Then the question of a governess. Charles sat in a gloomy agency and talked to a cross Béarnaise and to a buxom Breton peasant, neither of whom he could have endured. There were others whom he would see tomorrow.

He lunched with Lincoln Peters at Griffons, trying to keep down his exultation.

"There's nothing quite like your own child," Lincoln said. "But you understand how Marion feels too."

"She's forgotten how hard I worked for seven years there," Charlie said. "She just remembers one night."

"There's another thing." Lincoln hesitated. "While you and Helen were tearing around Europe throwing money away, we were just getting along. I didn't touch any of the prosperity because I never got ahead enough to carry anything but my insurance. I think Marion felt there was some kind of injustice in it—you not even working toward the end, and getting richer and richer."

"It went just as quick as it came," said Charlie.

"Yes, a lot of it stayed in the hands of *chasseurs* and

шись от дома, дети будут искать у спутника жизни ту же нерассуждающую нежность и, быть может, не найдя ее, ожесточатся и на любовь, и на самую жизнь.

День выдался опять погожий, бодрый. Чарли позвонил Линкольну Питерсу на службу в банк и спросил, твердо ли может рассчитывать, что в Прагу едет с Онорией. Линкольн тоже считал, что откладывать нет оснований. Но с одной оговоркой — насчет формальностей. Марион хочет еще на некоторое время остаться опекуном. Ее основательно взбудоражило это событие, и, чтобы все сошло гладко, лучше, если она будет знать, что еще год последнее слово остается за ней. Чарли согласился, лишь бы сама девочка была с ним рядом.

Пора было решать с гувернанткой. В унылом бюро по найму Чарли сидел и беседовал сперва с какой-то ведьмой из Беарна, потом — с деревенской пышкой из Бретани; ни ту, ни другую он не вытерпел бы и дня. Были еще какие-то, но тех он отложил на потом.

Завтракая вместе с Линкольном Питерсом у Гриффонса, Чарли старался, чтобы его ликование не слишком бросалось в глаза.

— Родной ребенок — с этим, конечно, ничто не сравнится, — говорил Линкольн. — Но и Марион тоже надо понять.

— Она забыла, сколько я работал в Америке, целых семь лет, — сказал Чарли. — Запомнила одну ночь, и кончено.

— Видишь ли, тут еще что, — Линкольн замялся. — Пока вы с Элен раскатывали по Европе, сорили деньгами, мы сводили концы с концами, и не более того. Пресловутое процветание не коснулось меня никак — я туго продвигаюсь по службе, и у меня тогда ничего не было за душой, разве что страховка. Думаю, Марион усматривала в этом своего рода несправедливость — что ты, палец о палец для того не ударяя, становишься все богаче.

— Быстро текло в руки, быстро и утекало, — сказал Чарли.

— Верно, и оседало в чужих карманах: *chasseur*, сак-

saxophone players and maîtres d'hôtel—well, the big party's over now. I just said that to explain Marion's feeling about those crazy years. If you drop in about six o'clock tonight before Marion's too tired, we'll settle the details on the spot."

Back at his hotel, Charlie found a *pneumatique* that had been redirected from the Ritz bar where Charlie had left his address for the purpose of finding a certain man.

"Dear Charlie: You were so strange when we saw you the other day that I wondered if I did something to offend you. If so, I'm not conscious of it. In fact, I have thought about you too much for the last year, and it's always been in the back of my mind that I might see you if I came over here. We *did* have such good times that crazy spring, like the night you and I stole the butcher's tricycle, and the time we tried to call on the president and you had the old derby rim and the wire cane. Everybody seems so old lately, but I don't feel old a bit. Couldn't we get together some time today for old time's sake? I've got a vile hang-over for the moment, but will be feeling better this afternoon and will look for you about five in the sweat-shop at the Ritz.

"Always devotedly,
"Lorraine."

His first feeling was one of awe that he had actually, in his mature years, stolen a tricycle and pedaled Lorraine all over the Étoile between the small hours and dawn. In retrospect it was a nightmare. Locking out Helen didn't fit in with any other act of his life, but the tricycle incident did—it was one of many. How many weeks or months of

софонисты, метрдотели — ну, да что там, карнавал окончен. Это я так сказал, чтобы стало ясно, с чем связаны для Марион те сумасшедшие годы. Ты заходи-ка сегодня часиков в шесть, когда Марион еще не слишком устанет, и мы сразу же обсудим все подробности.

В гостинице Чарли обнаружил, что его дожидается *pneumatique*, его переслали сюда из бара «Рица», где Чарли оставил свой адрес на тот случай, если объявится нужный ему человек.

«Милый Чарли!

Вы вчера так странно держались при встрече с нами, что я подумала, уж не обидела ли Вас чем-нибудь. Если да, значит, сама того не ведая. Наоборот, я что-то подозрительно часто о Вас думала этот год и, когда ехала сюда, в глубине души все надеялась, что вдруг Вас встречу. Признайтесь, разве не весело нам было вместе в ту сумасшедшую весну — помните, как мы ночью стащили у мясника трехколесный велосипед с тележкой, а другой раз порывались нанести визит президенту и у Вас был на голове старый котелок без тульи, а в руках — трость из проволоки. Все в последнее время сделались какие-то старые, а я ни чуточки себя не чувствую старой. Хотите, встретимся сегодня, помянем былое? Сейчас у меня с похмелья раскалывается голова, но к вечеру станет лучше, и часов в пять я Вас жду в баре «Рица», на обычном рабочем месте.

Неизменно Ваша
Лорейн».

Его в первый миг охватило чувство, похожее на священный ужас: чтобы он, взрослый человек, и впрямь стянул чужой велосипед и с глубокой ночи до рассвета колесил вокруг площади Звезды, катая Лорейн... Сегодня это походило на страшный сон. Запереть дверь и не впустить в дом Элен — такое ни с чем не вязалось в его жизни, ни с одним поступком, но случай с велосипедом — вязался, он был действительно один из многих. Сколько же дней, сколько месяцев надо было вести этот

dissipation to arrive at that condition of utter irresponsibility?

He tried to picture how Lorraine had appeared to him then—very attractive; Helen was unhappy about it, though she said nothing. Yesterday, in the restaurant, Lorraine had seemed trite, blurred, worn away. He emphatically did not want to see her, and he was glad Alix had not given away his hotel address. It was a relief to think, instead, of Honoria, to think of Sundays spent with her and of saying good morning to her and of knowing she was there in his house at night, drawing her breath in the darkness.

At five he took a taxi and bought presents for all the Peters—a piquant cloth doll, a box of Roman soldiers, flowers for Marion, big linen handkerchiefs for Lincoln.

He saw, when he arrived in the apartment, that Marion had accepted the inevitable. She greeted him now as though he were a recalcitrant member of the family, rather than a menacing outsider. Honoria had been told she was going; Charlie was glad to see that her tact made her conceal her excessive happiness. Only on his lap did she whisper her delight and the question "When?" before she slipped away with the other children.

He and Marion were alone for a minute in the room, and on an impulse he spoke out boldly:

"Family quarrels are bitter things. They don't go according to any rules. They're not like aches or wounds; they're more like splits in the skin that won't heal because there's not enough material. I wish you and I could be on better terms."

"Some things are hard to forget," she answered. "It's a question of confidence." There was no answer to this and presently she asked, "When do you propose to take her?"

самый рассеянный образ жизни, чтобы дойти до подобного состояния, когда все на свете трын-трава?

Он силился восстановить в памяти, какой ему представлялась Лорейн в те дни, — она очень ему нравилась; Элен молчала, но он знал, что ее это мучит. Вчера в ресторане Лорейн ему показалась поблекшей, увядшей, несвежей. Меньше всего ему хотелось с ней встречаться, хорошо хоть, Аликс не проболтался, в какой он гостинице. Как отрадно вместо того помечтать об Онории, о том, как они будут вдвоем проводить воскресенье, как он будет здороваться с ней по утрам, а вечером ложиться спать с сознанием, что она тут же, под одной с ним крышей, дышит тем же воздухом в темноте.

В пять он сел в такси и отправился покупать Питерсам подарки, каждому особый, — зазорную тряпичную куклу, ящик с солдатиками в одежде римских воинов, цветы для Марион и большие полотняные носовые платки для Линкольна.

Видно было, когда он приехал, что Марион смирилась с неизбежным. Теперь она его встретила как члена семьи, непутевого, но своего — до сих пор он был посторонний, был опасен. Онории сказали, что она уезжает, и Чарли с удовольствием отметил, что у нее хватило деликатности не слишком показывать, как она счастлива. Она улучила минуту, когда сидела у него на коленях, и только тогда шепнула ему на ухо: «Ура!» — шепнула: «А скоро?» — и, соскользнув с колен, убежала к Ричарду и Элси.

Они с Марион остались в комнате одни, и Чарли под влиянием минуты отважился заговорить:

— Болезненная это штука, распри между родными. Как-то не по правилам протекают. Не болячка, не рана — так, трещина на коже, которая никак не затянется из-за того, что не хватает ткани. Хорошо бы, у нас с тобой немного наладились отношения.

— Не всякое легко забывается, — отозвалась она. — Сначала надо, чтоб было доверие. — Он не ответил, и, помолчав, она спросила: — Ты когда думаешь ее забирать?

"As soon as I can get a governess. I hoped the day after tomorrow."

"That's impossible. I've got to get her things in shape. Not before Saturday."

He yielded. Coming back into the room, Lincoln offered him a drink.

"I'll take my daily whisky," he said.

It was warm here, it was a home, people together by a fire. The children felt very safe and important; the mother and father were serious, watchful. They had things to do for the children more important than his visit here. A spoonful of medicine was, after all, more important than the strained relations between Marion and himself. They were not dull people, but they were very much in the grip of life and circumstances. He wondered if he couldn't do something to get Lincoln out of his rut at the bank.

A long peal at the door-bell; the *bonne à tout faire* passed through and went down the corridor. The door opened upon another long ring, and then voices, and the three in the salon looked up expectantly; Richard moved to bring the corridor within his range of vision, and Marion rose. Then the maid came back along the corridor, closely followed by the voices, which developed under the light into Duncan Schaeffer and Lorraine Quarries.

They were gay, they were hilarious, they were roaring with laughter. For a moment Charlie was astounded; unable to understand how they ferreted out the Peters' address.

"Ah-h-h!" Duncan wagged his finger roguishly at Charlie. "Ah-h-h!"

They both slid down another cascade of laughter. Anxious and at a loss, Charlie shook hands with them quickly and presented them to Lincoln and Marion. Marion nodded, scarcely speaking. She had drawn back a step toward the fire; her little girl stood beside her, and Marion put an arm about her shoulder.

With growing annoyance at the intrusion, Charlie

— Сразу, как найду гувернантку. Послезавтра, я полагал.

— Послезавтра — ни в коем случае. Мне еще приводить в порядок ее вещи. В субботу, не раньше.

Он покорился. В комнату вернулся Линкольн, предложил ему выпить.

— Выпью положенное, — сказал Чарли. — Виски с содовой.

Здесь было тепло, люди были у себя дома, люди сошлись к очагу. Дети держались очень уверенно, с достоинством; отец и мать чутко, внимательно наблюдали за ними. У родителей были заботы поважней, чем приход гостя. Что, в самом деле, важней для Марион — вовремя дать ребенку ложку лекарства или выяснять отношения с родственником. Не скучные люди, нет, просто жизнь крепко прижимает, обстоятельства. Чарли подумал, нельзя ли как-нибудь вытащить Линкольна из банка, где он тянет лямку.

Протяжный, залиvistый звонок в дверь; через комнату в коридор прошла *bonne à tout faire*. Под второй протяжный звонок дверь открылась, трое в гостиной выжидательно подняли головы. Ричард придвинулся на такое место, откуда видно, что происходит в коридоре. Марион встала. Прислуга пошла обратно по коридору, за нею по пятам надвигались голоса, они вышли на свет и приняли образ Дункана Шеффера и Лорейн Куолз.

Им было весело, их разбирал отчаянный смех, они покатывались со смеху. Чарли в первые секунды остолбенел, тупо соображая, каким образом они ухитрились пронюхать, где живут Питерсы.

— Ая-яй! — Дункан шаловливо погрозил Чарли пальцем. — Ая-яй!

Их скорчило в три погибели от нового приступа смеха. В тревоге и замешательстве Чарли торопливо поздоровался, представил их Линкольну и Марион. Марион, почти не разжимая губ, кивнула. Она отступила к камину; с ней рядом стояла дочь, и Марион одной рукой обняла девочку за плечи.

Закипая от досады, Чарли ждал объяснений. Дун-

waited for them to explain themselves. After some concentration Duncan said:

"We came to invite you to dinner. Lorraine and I insist that all this shishi, cagy business 'bout your address got to stop."

Charlie came closer to them, as if to force them backward down the corridor.

"Sorry, but I can't. Tell me where you'll be and I'll phone you in half an hour."

This made no impression. Lorraine sat down suddenly on the side of a chair, and focusing her eyes on Richard, cried, "Oh, what a nice little boy! Come here, little boy." Richard glanced at his mother, but did not move. With a perceptible shrug of her shoulders, Lorraine turned back to Charlie:

"Come and dine. Sure your cousins won' mine. See you so sel'om. Or solemn."

"I can't," said Charlie sharply. "You two have dinner and I'll phone you."

Her voice became suddenly unpleasant. "All right, we'll go. But I remember once when you hammered on my door at four A.M. I was enough of a good sport to give you a drink. Come on, Dunc."

Still in slow motion, with blurred, angry faces, with uncertain feet, they retired along the corridor.

"Good night," Charlie said.

"Good night!" responded Lorraine emphatically.

When he went back into the salon Marion had not moved, only now her son was standing in the circle of her other arm. Lincoln was still swinging Honoria back and forth like a pendulum from side to side.

"What an outrage!" Charlie broke out. "What an absolute outrage!"

Neither of them answered. Charlie dropped into an armchair, picked up his drink, set it down again and said:

"People I haven't seen for two years having the colossal nerve—"

кану понадобилось время, чтобы собраться с мыслями.

— Пришли звать тебя обедать, — сказал он. — Ломается, видите ли, играет в прятки — мы с Лорейн требуем, чтобы это прекратилось.

Чарли подступил ближе, незаметно тесня их назад, к коридору.

— Не могу, к сожалению. Скажите, где вас найти, и через полчаса я позвоню.

Это не возымело действия. Лорейн с размаху криво плюхнулась на стул, и в поле ее зрения попал Ричард.

— Боже, чей это такой милый мальчик! — вскричала она. — Поди сюда, милый!

Ричард оглянулся на мать и не тронулся с места. Лорейн демонстративно пожала плечами и снова повернулась к Чарли:

— Идем пообедаем. Пожалуйста. Родные не обидятся. Так редко видимся. Вернее, р-робко.

— Я не могу, — сказал Чарли отрывисто. — Вы обедайте без меня, я позвоню потом.

У нее вдруг сделался неприятный голос.

— Хорошо, мы уйдем. Я только помню случай, когда вы дубасили ко мне в дверь в четыре утра. Вас приняли и дали выпить — так люди поступают с приятелями. Идем, Дунк.

Все еще заторможенные в движениях, с набрякшими и злыми лицами, они нетвердой походкой удалились по коридору.

— Всего хорошего, — сказал Чарли.

— Всего наилучшего! — едко отозвалась Лорейн.

Когда он вернулся в гостиную, Марион стояла как вкопанная на том же месте, но теперь подле нее, в полукольце другой ее руки, был и сын. Линкольн все рассказывал на коленях Онорию, туда-сюда, словно маятник.

— Безобразие! — взорвался Чарли. — Нет, каково безобразие!

Никто не ответил. Чарли присел в кресло, взял свой стакан, поставил обратно.

— Два года людей в глаза не видел, и у них хватает наглости...

He broke off. Marion had made the sound "Oh!" in one swift, furious breath, turned her body from him with a jerk and left the room.

Lincoln set down Honoria carefully.

"You children go in and start your soup," he said, and when they obeyed, he said to Charlie:

"Marion's not well and she can't stand shocks. That kind of people make her really physically sick."

"I didn't tell them to come here. They wormed your name out of somebody. They deliberately—"

"Well, it's too bad. It doesn't help matters. Excuse me a minute."

Left alone, Charlie sat tense in his chair. In the next room he could hear the children eating, talking in monosyllables, already oblivious to the scene between their elders. He heard a murmur of conversation from a farther room and then the ticking bell of a telephone receiver picked up, and in a panic he moved to the other side of the room and out of earshot.

In a minute Lincoln came back. "Look here, Charlie. I think we'd better call off dinner for tonight. Marion's in bad shape."

"Is she angry with me?"

"Sort of," he said, almost roughly. "She's not strong and—"

"You mean she's changed her mind about Honoria?"

"She's pretty bitter right now. I don't know. You phone me at the bank tomorrow."

"I wish you'd explain to her I never dreamed these people would come here. I'm just as sore as you are."

"I couldn't explain anything to her now."

Charlie got up. He took his coat and hat and started down the corridor. Then he opened the door of the dining room and said in a strange voice, "Good night, children."

Он не договорил. Потому что Марион стремительно, яростно выдохнула: «А-ах!» — круто, всем телом, повернулась и вышла из комнаты.

Линкольн бережно спустил Онорию на пол.

— Садитесь-ка, дети, за стол, суп стынет, — сказал он и, когда они послушно скрылись в столовой, прибавил, обращаясь к Чарли: — У Марион неважно со здоровьем, ей дорого обходятся встряски. Она в буквальном смысле слова не переносит подобного рода публику.

— Я их не звал сюда. Они сами у кого-то выпытали, где ты живешь. И умышленно...

— Очень жаль, одно могу сказать. Во всяком случае, это не упрощает дело. Извини, я сейчас.

Он вышел; Чарли замер в кресле, подобрался. Было слышно, как едят в соседней комнате дети, односложно переговариваются, успев забыть о неурядице между взрослыми. Из другой комнаты слышались невнятные на отдалении обрывки разговора, звякнул телефон, когда с него сняли трубку, и Чарли в смятении отошел в другой конец комнаты, чтобы не получилось, что он подслушивает.

Через минуту вернулся Линкольн.

— Вот что, Чарли. Похоже, обед сегодня отменяется. Марион плохо себя чувствует.

— Рассердилась на меня?

— Есть отчасти. — Линкольн говорил резковато. — Не по ее силам...

— Ты что, хочешь сказать, она передумала насчет Онории?

— Сейчас по крайней мере она слышать ничего не хочет. Сам не знаю. Лучше позвони мне завтра в банк.

— Объясни ты ей, пожалуйста, я понятия не имел, что эти люди могут сюда явиться. Я сам возмущен не меньше вашего.

— Сейчас не время ей что-то объяснять.

Чарли встал. Он взял пальто, шляпу, сделал несколько шагов по коридору. Он открыл дверь в столовую и проговорил чужим голосом:

— Дети, до свиданья.

Honorio rose and ran around the table to hug him.

"Good night, sweetheart," he said vaguely, and then trying to make his voice more tender, trying to conciliate something. "Good night, dear children."

V

Charlie went directly to the Ritz bar with the furious idea of finding Lorraine and Duncan, but they were not there, and he realized that in any case there was nothing he could do. He had not touched his drink at the Peters, and now he ordered a whisky-and-soda. Paul came over to say hello.

"It's great change," he said sadly. "We do about half the business we did. So many fellows I hear about back in the States lost everything, maybe not in the first crash, but then in the second. Your friend George Hardt lost every cent, I hear. Are you back in the States?"

"No, I'm in business in Prague."

"I heard that you lost a lot in the crash."

"I did," and he added grimly, "but I lost everything I wanted in the boom."

"Selling short."

"Something like that."

Again the memory of those days swept over him like a nightmare—the people they had met traveling; then people who couldn't add a row of figures or speak a coherent sentence. The little man Helen had consented to dance with at the ship's party, who had insulted her ten feet from the table; the women and girls carried screaming with drink or drugs out of public places—

—The men who locked their wives out in the snow,

Онория вскочила из-за стола, подбежала и крепко обхватила его руками.

— До свиданья, доченька, — сказал он машинально и спохватился, стараясь говорить мягче, стараясь еще умиловить неизвестно что. — До свиданья, ребятки.

V

Сгоряча он отправился прямо в бар «Рица», думая застать там Лорейн и Дункана, но их не было, да и все равно, здраво рассуждая, что он мог бы сделать. У Питерсов он даже не пригубил свой стакан и теперь взял себе виски с содовой. Подошел Поль, поздоровался.

— Кругом перемены, — сказал он печально. — У нас вот дела свернулись чуть ли не вдвое против прежнего. И на каждом шагу слышишь, что кто-нибудь, кто возвратился в Штаты, все потерял во время краха — не в первый раз, так во второй. Говорят, ваш друг Джордж Хардт потерял все до последнего. Что же, и вы возвратились в Штаты?

— Нет, я служу в Праге.

— Говорят, вы тоже немало потеряли во время краха.

— Верно говорят. — И угрюмо прибавил: — Но все по-настоящему ценное я потерял во время бума.

— Задешево отдали.

— Вроде того.

Опять, как страшный сон, к нему прихлынули воспоминания тех дней — люди, с которыми они знакомились во время поездок, и другие люди, которые смутно представляли себе, сколько будет дважды два, и не умели толком связать двух слов. Замухрышка, который на пароходе пригласил Элен танцевать, и она пошла, а он в десяти шагах от их столика оскорбил ее; одурманенные винными парами или наркотиками женщины и девушки, которые заливались бессмысленным смехом, когда их выволакивали за дверь...

...Мужчины, которые запирались в доме, а жен оставляли на снегу, потому что снег в двадцать девятом

because the snow of twenty-nine wasn't real snow. If you didn't want it to be snow, you just paid some money.

He went to the phone and called the Peters' apartment; Lincoln answered.

"I called up because this thing is on my mind. Has Marion said anything definite?"

"Marion's sick," Lincoln answered shortly. "I know this thing isn't altogether your fault, but I can't have her go to pieces about it. I'm afraid we'll have to let it slide for six months; I can't take the chance of working her up to this state again."

"I see."

"I'm sorry, Charlie."

He went back to his table. His whisky glass was empty, but he shook his head when Alix looked at it questioningly. There wasn't much he could do now except send Honoria some things; he would send her a lot of things tomorrow. He thought rather angrily that this was just money—he had given so many people money....

"No, no more," he said to another waiter. "What do I owe you?"

He would come back some day; they couldn't make him pay forever. But he wanted his child, and nothing was much good now, beside that fact. He wasn't young any more, with a lot of nice thoughts and dreams to have by himself. He was absolutely sure Helen wouldn't have wanted him to be so alone.

был словно бы и не снег. Хочешь, и будет не снег, стоит только заплатить деньги.

Он пошел к телефону и позвонил Питерсам; трубку взял Линкольн.

— Прости, что звоню, ничто другое в голову не идет. Ну как Марион, говорит что-нибудь определенное?

— Марион слегла, — сухо ответил Линкольн. — Я согласен, в этой истории нет твоей прямой вины, но я не могу допустить, чтобы Марион из-за нее совсем расхворалась. Видимо, придется нам с этим делом повременить полгода, нельзя больше доводить ее до такого состояния, я не пойду на это.

— Понятно.

— Ты уж не взыщи, Чарли.

Он вернулся за свой столик. стакан из-под виски стоял пустой, но Чарли качнул головой, когда Аликс взглянул на него вопросительно. Теперь делать нечего, — хотя можно послать Онории подарки; да, он ей завтра пошлет целый ворох подарков. И опять это будут всего-навсего деньги, думал он со злостью, а кому только он не совал деньги...

— Нет, хватит, — сказал он незнакомому официанту. — Сколько с меня?

Он еще вернется когда-нибудь, не заставят же его расплачиваться всю жизнь. Но дочь была нужна ему сейчас, и остальное в сравнении с этим как-то слабо утешало. Это в молодости хорошо думается и мечтается наедине с собою, а молодость прошла. Он точно знал, что никогда Элен не пожелала бы для него такого одиночества.



WILLIAM FAULKNER

A Rose for Emily

I

When Miss Emily Grierson died, our whole town went to her funeral: the men through a sort of respectful affection for a fallen monument, the women mostly out of curiosity to see the inside of her house, which no one save an old manservant—a combined gardener and cook—had seen in at least ten years.

It was a big, squarish frame house that had once been white, decorated with cupolas and spires and scrolled balconies in the heavily lightsome style of the seventies, set on what had once been our most select street. But garages and cotton gins had encroached and obliterated even the august names of that neighborhood; only Miss Emily's house was left, lifting its stubborn and coquettish decay above the cotton wagons and the gasoline pumps—an eyesore among eyesores. And now Miss Emily had gone to join the representatives of those august names where they lay in the cedar-bemused cemetery among the ranked and



УИЛЬЯМ ФОЛКНЕР

Роза для Эмили

I

Когда мисс Эмили Грирсон умерла, на похороны явился весь город, мужчины по старой памяти — принести дань уважения, так сказать, рухнувшему монументу, а женщины больше из любопытства — заглянуть внутрь дома, в котором лет по крайней мере десять никто не бывал, кроме старого слуги-садовника, он же повар.

Дом был большой, прямоугольный, на бревенчатом каркасе, с оштукатуренными, когда-то белыми стенами, украшенный башенками, шпилями и витыми перильцами в тяжеловесно-легкомысленном вкусе семидесятых годов. Улица, на которой он стоял, была у нас раньше самой аристократической в городе, но потом надвинулись гаражи и хлопкоочистительные фабрики и зачеркнули на ней все августейшие имена, один только дом мисс Эмили оскорблял взор, упрямо и кокетливо вознося над бензоколонками отжившее свое безобразие. И вот теперь мисс Эмили воссоединилась с носителями августейших имен, покоящимися на кладбище под сенью дубов в шеренгах безымянных солдат-

anonymous graves of Union and Confederate soldiers who fell at the battle of Jefferson.

Alive, Miss Emily had been a tradition, a duty, and a care; a sort of hereditary obligation upon the town, dating from that day in 1894 when Colonel Sartoris, the mayor—he who fathered the edict that no Negro woman should appear on the streets without an apron—remitted her taxes, the dispensation dating from the death of her father on into perpetuity. Not that Miss Emily would have accepted charity. Colonel Sartoris invented an involved tale to the effect that Miss Emily's father had loaned money to the town, which the town, as a matter of business, preferred this way of repaying. Only a man of Colonel Sartoris' generation and thought could have invented it, and only a woman could have believed it.

When the next generation, with its more modern ideas, became mayors and aldermen, this arrangement created some little dissatisfaction. On the first of the year they mailed her a tax notice. February came, and there was no reply. They wrote her a formal letter, asking her to call at the sheriff's office at her convenience. A week later the mayor wrote her himself, offering to call or to send his car for her, and received in reply a note on paper of an archaic shape, in a thin, flowing calligraphy in faded ink, to the effect that she no longer went out at all. The tax notice was also enclosed, without comment.

They called a special meeting of the Board of Aldermen. A deputation waited upon her, knocked at the door through which no visitor had passed since she ceased giving china-painting lessons eight or ten years earlier. They were admitted by the old Negro into a dim hall from which a stairway mounted into still more shadow. It smelled of dust and disuse—a close, dank smell. The Negro led them into

ских могил южан и северян, что пали в сражении под Джефферсоном.

Живая, мисс Эмили была у нас традицией, общим долгом и заботой, своего рода наследственным обязательством, взваленным на город еще в 1894 году, когда полковник Сарторис, тогдашний мэр, — тот самый, что произвел на свет указ, запрещающий негритянкам появляться на улицах без передника, — после смерти ее отца навечно освободил ее от налогов. Конечно, милости бы мисс Эмили не приняла, полковнику Сарторису пришлось сочинить целую историю, что будто бы отец мисс Эмили ссудил городу деньги и теперь город, по чисто финансовым соображениям, предпочитает рассчитываться с нею таким способом. Надо было быть человеком его поколения и склада мыслей, чтобы выдумать такое, и надо было быть женщиной, чтобы этой выдумке поверить.

А когда в мэры и муниципальные советники прошло следующее поколение, придерживавшееся более современных взглядов, этот давний уговор уже не встретил прежнего понимания. И к началу нового года ей была направлена налоговая ведомость. Наступил февраль — никакого ответа. Ей послали письмо с просьбой, когда ей будет удобно, посетить приемную шерифа. Еще через неделю мэр написал ей сам, выражая готовность заехать лично или прислать за ней свой автомобиль, и получил ответ, писанный жидкими чернилами тонким витиеватым почерком на листке старомодного формата, — мисс Эмили сообщала, что теперь вообще не выходит из дому. В конверт, без дальних слов, была вложена налоговая ведомость.

Муниципальный совет собрался на специальное заседание. И вот к ней в дом, куда восемь или десять лет, с тех пор как она перестала давать уроки росписи по фарфору, не ступала нога постороннего, явилась депутация. Старый негр впустил посетителей в полутемную прихожую, откуда наверх уходила лестница, скрываясь в еще более густой темноте. В доме стоял запах пыли и запустения — спертый, тленный дух. Негр провел их в

the parlor. It was furnished in heavy, leather-covered furniture. When the Negro opened the blinds of one window, they could see that the leather was cracked; and when they sat down, a faint dust rose sluggishly about their thighs, spinning with slow motes in the single sun-ray. On a tarnished gilt easel before the fireplace stood a crayon portrait of Miss Emily's father.

They rose when she entered—a small, fat woman in black, with a thin gold chain descending to her waist and vanishing into her belt, leaning on an ebony cane with a tarnished gold head. Her skeleton was small and spare; perhaps that was why what would have been merely plumpness in another was obesity in her. She looked bloated, like a body long submerged in motionless water, and of that pallid hue. Her eyes, lost in the fatty ridges of her face, looked like two small pieces of coal pressed into a lump of dough as they moved from one face to another while the visitors stated their errand.

She did not ask them to sit. She just stood in the door and listened quietly until the spokesman came to a stumbling halt. Then they could hear the invisible watch ticking at the end of the gold chain.

Her voice was dry and cold. "I have no taxes in Jefferson. Colonel Sartoris explained it to me. Perhaps one of you can gain access to the city records and satisfy yourselves."

"But we have. We are the city authorities, Miss Emily. Didn't you get a notice from the sheriff, signed by him?"

"I received a paper, yes," Miss Emily said. "Perhaps he considers himself the sheriff... I have no taxes in Jefferson."

"But there is nothing on the books to show that, you see. We must go by the—"

"See Colonel Sartoris. I have no taxes in Jefferson."

"But, Miss Emily—"

гостиную, заставленную тяжелой мебелью в кожаной обивке. Он открыл ставень на одном окне, и стало видно, что кожа вся потрескалась, а когда они рассаживались, с нее лениво поднялась лежалая пыль и плавно поплыла, кружась, в единственном луче света. Перед камином на почерневшем золоченом мольберте стоял карандашный портрет отца мисс Эмили.

Все встали, когда она вошла — низенькая толстая старуха в черном, с заправленной за пояс тонкой золотой цепочкой через грудь, опирающаяся на черную трость с тусклым золотым набалдашником. Она была узкой в кости и, наверно, поэтому казалась не просто располневшей, как другая бы на ее месте, а бесформенной, расплывшейся, даже разбухшей, будто утопленник, долго пролежавший в стоячей воде, и с таким же мертвенно-бледным лицом. Пока гости излагали ей то, что им поручено было сказать, взгляд ее глаз, вдавленных в складки жира, точно два уголька в кусок теста, передвигался с одного лица на другое.

Сесть она их не пригласила, а выслушала, недвижно стоя в дверях, и, когда глава делегации, запинаясь, довел свою речь до конца, стало слышно, как тикают у нее на цепочке невидимые часы.

Она ответила сухо и холодно:

— Я не плачу в Джефферсоне налоги. Мне разъяснил полковник Сарторис. Кто-нибудь из вас мог бы посмотреть в городском архиве и удостовериться.

— Архивы мы подняли, мисс Эмили. Мы — представители муниципалитета. Разве вы не получили уведомления за подписью шерифа?

— Да, я получила какую-то бумагу. Возможно, что он считает себя шерифом, не знаю... Я не плачу в Джефферсоне налоги.

— Но, видите ли, документы этого не подтверждают. А мы обязаны руководствоваться...

— Обратитесь к полковнику Сарторису. Я не плачу налоги.

— Но, мисс Эмили...

"See Colonel Sartoris." (Colonel Sartoris had been dead almost ten years.) "I have no taxes in Jefferson. Tobe!" The Negro appeared. "Show these gentlemen out."

II

So she vanquished them, horse and foot, just as she had vanquished their fathers thirty years before about the smell. That was two years after her father's death and a short time after her sweetheart—the one we believed would marry her—had deserted her. After her father's death she went out very little; after her sweetheart went away, people hardly saw her at all. A few of the ladies had the temerity to call, but were not received, and the only sign of life about the place was the Negro man—a young man then—going in and out with a market basket.

"Just as if a man—any man—could keep a kitchen properly," the ladies said; so they were not surprised when the smell developed. It was another link between the gross, teeming world and the high and mighty Griersons.

A neighbor, a woman, complained to the mayor, Judge Stevens, eighty years old.

"But what will you have me do about it, madam?" he said.

"Why, send her word to stop it," the woman said. "Isn't there a law?"

"I'm sure that won't be necessary," Judge Stevens said. "It's probably just a snake or a rat that nigger of hers killed in the yard. I'll speak to him about it."

The next day he received two more complaints, one from a man who came in diffident deprecation. "We really must do something about it, Judge. I'd be the last one in the world to bother Miss Emily, but we've got to do some-

— Обратитесь к полковнику Сарторису. — (Полковника Сарториса тогда уже лет десять как не было в живых.) — Я не плачу налоги. Тоб! — Появился негр. — Проводи этих джентльменов.

II

Так она одержала над ними полную и сокрушительную победу, подобно тому как за тридцать лет до того одержала победу над их отцами, когда случилась эта история с запахом. Она произошла через два года после смерти ее отца и в недолгом времени после того, как ее бросил ее кавалер — за кого, мы все считали, она выйдет замуж. После смерти отца она стала реже бывать на людях, а когда скрылся ее любезный, и вовсе превратилась в затворницу. Кое-кто из дам сунулись было к ней с визитами, но приняты не были, и единственным признаком жизни в доме остался негр-слуга, тогда еще молодой, выходивший и входивший с базарной корзиной в руках.

— Как будто мужчина вообще способен путно хозяйничать на кухне, — негодовали дамы; и потому, когда появился запах, это никого не удивило: просто лишнее свидетельство, что и над великими Грирсонами имеет власть грубый, плодущий мир плоти.

Одна соседка обратилась с жалобой к мэру, судье Стивенсу, восьмидесяти лет.

— Но чего бы вы хотели от меня, мадам? — спросил он.

— Как чего? Пошлите ей сказать, чтоб убрала. Разве нет такого закона?

— Уверен, что это не понадобится, — сказал судья Стивенс. — Должно быть, просто ее негр убил змею или крысу во дворе. Я с ним поговорю.

На следующий день явились с жалобами еще двое.

— Надо что-то с этим делать, судья, — смущенно разводя руками, сказал один. — Я бы нипочем не стал беспокоить мисс Эмили, а только какие-то меры принять придется.

thing." That night the Board of Aldermen met—three graybeards and one younger man, a member of the rising generation.

"It's simple enough," he said. "Send her word to have her place cleaned up. Give her a certain time to do it in, and if she don't..."

"Dammit, sir," Judge Stevens said, "will you accuse a lady to her face of smelling bad?"

So the next night, after midnight, four men crossed Miss Emily's lawn and slunk about the house like burglars, sniffing along the base of the brickwork and at the cellar openings while one of them performed a regular sowing motion with his hand out of a sack slung from his shoulder. They broke open the cellar door and sprinkled lime there, and in all the outbuildings. As they recrossed the lawn, a window that had been dark was lighted and Miss Emily sat in it, the light behind her, and her upright torso motionless as that of an idol. They crept quietly across the lawn and into the shadow of the locusts that lined the street. After a week or two the smell went away.

That was when people had begun to feel really sorry for her. People in our town, remembering how old lady Wyatt, her great-aunt, had gone completely crazy at last, believed that the Griersons held themselves a little too high for what they really were. None of the young men were quite good enough for Miss Emily and such. We had long thought of them as a tableau, Miss Emily a slender figure in white in the background, her father a spraddled silhouette in the foreground, his back to her and clutching a horsewhip, the two of them framed by the back-flung front door. So when she got to be thirty and was still single, we were not pleased exactly, but vindicated; even with insanity in the family she wouldn't have turned down all of her chances if they had really materialized.

When her father died, it got about that the house was all that was left to her; and in a way, people were glad. At last

В тот же вечер собрался муниципальный совет — трое старцев и один помоложе, представитель нового поколения.

— По-моему, проще простого, — сказал он. — Направим ей бумагу, чтобы к такому-то сроку навела порядок. А если не выполнит, то...

— Черт возьми, сэр, — перебил его судья Стивенс, — вы что же, предлагаете сказать в лицо даме, что от нее дурно пахнет?

И наавтра ночью, уже за полночь, во двор к мисс Эмили забрались четверо мужчин и, крадучись, как воры, обошли вокруг дома, обнюхивая кирпичный фундамент и подвальные отдушины, а один, точно сеятель, рассыпал что-то из мешка у себя на плече. Они взломали дверь в подвал, натрусили туда известки и подобным же образом обработали все дворовые постройки. А когда шли через двор обратно, одно из темных окон дома зажглось, и в нем они увидели обведенную светом сидящую фигуру мисс Эмили, прямую и неподвижную, как идол. На цыпочках прокрались они торопливо по газону, ища убежища в тени акаций на улице. А еще через пару недель запах прекратился.

Только тогда в городе начали по-настоящему жалеть мисс Эмили. У нас помнили ее двоюродную бабу, старую мисс Уайэт, которая под конец жизни совсем рехнулась, и всегда считали, что Грирсоны как-то уж слишком заносятся. Для мисс Эмили, видите ли, все женихи были нехороши. Нам так и представлялось долгие годы: в распахнутых освещенных дверях стоит враскоряку грозный папаша с хлыстом в руке, а у него за спиной — мисс Эмили, тоненькая фигурка в белом. И когда ей сравнялось тридцать, а она по-прежнему сидела в девицах, мы не то чтобы злорадствовали, но чувствовали себя вроде как отомщенными: пусть у них психическая болезнь в роду, все-таки не такая же мисс Эмили сумасшедшая, чтобы отвергнуть все надежды на замужество, похоже, просто никто особенно ее не домогался.

Когда умер ее отец, выяснилось, что, помимо дома, он ей ничего не оставил. У нас даже вроде как обрадова-

they could pity Miss Emily. Being left alone, and a pauper, she had become humanized. Now she too would know the old thrill and the old despair of a penny more or less.

The day after his death all the ladies prepared to call at the house and offer condolence and aid, as is our custom. Miss Emily met them at the door, dressed as usual and with no trace of grief on her face. She told them that her father was not dead. She did that for three days, with the ministers calling on her, and the doctors, trying to persuade her to let them dispose of the body. Just as they were about to resort to law and force, she broke down, and they buried her father quickly.

We did not say she was crazy then. We believed she had to do that. We remembered all the young men her father had driven away, and we knew that with nothing left, she would have to cling to that which had robbed her, as people will.

III

She was sick for a long time. When we saw her again, her hair was cut short, making her look like a girl, with a vague resemblance to those angels in colored church windows—sort of tragic and serene.

The town had just let the contracts for paving the side walks, and in the summer after her father's death they began the work. The construction company came with niggers and mules and machinery, and a foreman named Homer Barron, a Yankee—a big, dark, ready man, with a big voice and eyes lighter than his face. The little boys would follow in groups to hear him cuss the niggers, and the niggers singing in time to the rise and fall of picks. Pretty soon he knew everybody in town. Whenever you heard a lot of laughing anywhere about the square, Homer Barron would be in the center of the group. Presently we

лись: наконец-то можно посочувствовать гордой мисс Эмили. Она словно бы очеловечилась, оставшись одинокой и нищей. Научится теперь не хуже других убиваться и радоваться из-за каждого жалкого цента.

Назавтра после того, как отец ее умер, наши дамы отправились к ней в дом выразить соболезнование и предложить помощь, как у нас заведено. Но мисс Эмили встретила их на пороге в обычном платье и без следов горя на лице. Она сказала, что ее отец вовсе не умирал, и повторяла это в течение трех дней — и священникам, которые к ней наведывались, и врачам, приходившим уговаривать ее, чтобы она позволила похоронить покойника. Только когда в городе уже были готовы прибегнуть к закону и силе, она вдруг сломилась, и его быстро предали земле.

Тогда у нас не говорили, что она помешанная. Мы ее понимали. Ведь отец отпугнул от нее всех женихов, и ясно, что, оставшись ни с чем, она будет, как это свойственно людям, цепляться за руку, которая ее обездолила.

III

Она потом долго болела. Когда мы снова ее увидели, она была острижена, как девочка, и чем-то немного напоминала ангелов на церковных витражах, каким-то умиротворенным трагизмом, что ли.

Как раз тогда городские власти сдали подряд на прокладку тротуаров, и в то же лето, когда умер ее отец, начались работы. Прибыла строительная бригада, негры, мулы, машины и десятник по имени Гомер Бэррон — расторопный здоровяк янки с зычным голосом и светлыми глазами на смуглом лице. За ним толпами ходили мальчишки, слушали, как он честит на все корки своих негров и как негры ритмично поют, в такт взмахивая и ударяя кирками. Скоро он уже перезнакомился со всеми в городе, и если где-нибудь на площади раздавался хохот, значит, там, окруженный людьми, находился Гомер Бэррон. А потом он стал по воскресеньям

began to see him and Miss Emily on Sunday afternoons driving in the yellow-wheeled buggy and the matched team of bays from the livery stable.

At first we were glad that Miss Emily would have an interest, because the ladies all said, "Of course a Grierson would not think seriously of a Northerner, a day laborer." But there were still others, older people, who said that even grief could not cause a real lady to forget *noblesse oblige*—without calling it *noblesse oblige*. They just said, "Poor Emily. Her kinsfolk should come to her." She had some kin in Alabama; but years ago her father had fallen out with them over the estate of old lady Wyatt, the crazy woman, and there was no communication between the two families. They had not even been represented at the funeral.

And as soon as the old people said, "Poor Emily," the whispering began. "Do you suppose it's really so?" they said to one another. "Of course it is. What else could..." This behind their hands; rustling of craned silk and satin behind jalousies closed upon the sun of Sunday afternoon as the thin, swift clop-clop-clop of the matched team passed: "Poor Emily."

She carried her head high enough—even when we believed that she was fallen. It was as if she demanded more than ever the recognition of her dignity as the last Grierson; as if it had wanted that touch of earthiness to reaffirm her imperviousness. Like when she bought the rat poison, the arsenic. That was over a year after they had begun to say "Poor Emily," and while the two female cousins were visiting her.

"I want some poison," she said to the druggist. She was over thirty then, still a slight woman, though thinner than usual, with cold, haughty black eyes in a face the flesh of which was strained across the temples and about the eye-sockets as you imagine a lighthouse-keeper's face ought to look. "I want some poison," she said.

появляться с мисс Эмили — катать ее в наемной двуколке с желтыми спицами, запряженной парой гнедых в масть.

Сначала мы радовались, что мисс Эмили немного хоть развеется, дамы-то все считали, что, уж конечно, дочь Грирсонов не может относиться всерьез к северянину, да еще рабочему. Хотя были и такие, среди старшего поколения, которые и тогда уже говорили: настоящая леди и в горе не должна забывать, что *noblesse oblige*, — не прибегая, понятное дело, к таким выражениям, а просто вздыхая: «Бедная Эмили. Надо, чтобы приехали ее родные». У нее были какие-то родственники в Алабаме, правда, ее папаша давным-давно переругался с ними из-за наследства покойной мисс Уайэт, той, что сошла с ума, и семьи не поддерживали никаких отношений. От них даже на похороны никто не приезжал.

Стоило только старым людям произнести эти слова: «Бедная Эмили», — и сразу же в городе пошли разговоры: «Как вы думаете, это правда? — Ну конечно, а иначе разве бы... — шептали друг дружке, прикрывая ладонью рот, шелестя шелковыми атласными кринолинами и из-за штор, спущенных от закатного солнца, выглядывая на улицу, по которой, часто цокая копытами, трусила гнедая пара. — Бедная Эмили».

А она все же держала голову довольно высоко — даже когда мы не сомневались в ее падении. Она еще настойчивее требовала к себе уважения как к последней из Грирсонов, будто этого земного штриха только и не хватало, чтобы вознести ее на вовсе уж недоступные вершины. Как, например, тогда, когда она покупала крысиный яд, мышьяк. Это было примерно через год после того, как в городе стали говорить: «Бедная Эмили»; у нее тогда гостили две кузины.

— Мне нужно яду, — сказала она аптекарю. Ей шел четвертый десяток, она была все еще стройной, может, чуть худее, чем прежде, а лицо, на котором холодно и надменно чернели глаза, чуть прихмурено у висков и вокруг глазниц, как, наверно, бывают лица у смотрителей маяков. — Мне нужно яду, — сказала она.

"Yes, Miss Emily. What kind? For rats and such? I'd recom—"

"I want the best you have. I don't care what kind."

The druggist named several. "They'll kill anything up to an elephant. But what you want is—"

"Arsenic," Miss Emily said. "Is that a good one?"

"Is ... arsenic? Yes, ma'am. But what you want—"

"I want arsenic."

The druggist looked down at her. She looked back at him, erect, her face like a strained flag. "Why, of course," the druggist said. "If that's what you want. But the law requires you to tell what you are going to use it for."

Miss Emily just stared at him, her head tilted back in order to look him eye for eye, until he looked away and went and got the arsenic and wrapped it up. The Negro delivery boy brought her the package; the druggist didn't come back. When she opened the package at home there was written on the box, under the skull and bones: "For rats."

IV

So the next day we all said, "She will kill herself"; and we said it would be the best thing. When she had first begun to be seen with Homer Barron, we had said, "She will marry him." Then we said, "She will persuade him yet," because Homer himself had remarked—he liked men, and it was known that he drank with the younger men in the Elks' Club—that he was not a marrying man. Later we said, "Poor Emily" behind the jalousies as they passed on Sunday afternoon in the glittering buggy, Miss Emily with her head high and Homer Barron with his hat cocked and a cigar in his teeth, reins and whip in a yellow glove.

— Конечно, мисс Эмили. А какого именно вам яду? От крыс и прочих вредителей? Я бы порекомендовал...

— самого лучшего, какой у вас есть. Какой именно, неважно.

Аптекарь перечислил несколько названий.

— Хоть слона могут убить. Но вам, я думаю, нужен...

— Мышьяк, — сказала мисс Эмили. — Это хороший яд?

— Мышьяк-то? А как же, мисс Эмили. Только я думаю, вам нужен...

— Мышьяк.

Аптекарь наклонился и заглянул ей в лицо. Она встретила его взгляд, держа голову прямо, как флаг на ветру.

— Пожалуйста, как вам угодно, — сказал аптекарь. — Требуется только, согласно закону, указать, для каких целей.

Но мисс Эмили, запрокинув голову, смотрела ему прямо в глаза, и в конце концов он отвел взгляд и ушел завернуть ей покупку. Но обратно не вышел, пакет ей вручил черный мальчик-посыльный. А когда она развернула его дома, на коробке, под черепом с костями, оказалась надпись: «От крыс».

IV

«Отравится», — решили мы назавтра же; мы считали, что с ее стороны это будет правильно. Сначала, когда ее стали видеть с Гомером Бэрроном, у нас говорили: «Она выйдет за него». Позже: «Она еще его уломяет», — потому что сам Гомер за стойкой (он любил мужскую компанию и, как мы знали, бражничал с молодежью в Клубе Лосей) хвастался, что он убежденный холостяк. А уж потом мы только вздыхали: «Бедная Эмили», следя по воскресеньям из-за штор, как они проезжают мимо в лакированной двуколке, мисс Эмили с высоко поднятой головой, а Гомер Бэррон сдвинув шляпу набекрень, зажав сигару в зубах и держа одной рукой в желтой перчатке и вожжи и кнут.

Then some of the ladies began to say that it was a disgrace to the town and a bad example to the young people. The men did not want to interfere, but at last the ladies forced the Baptist minister—Miss Emily's people were Episcopal—to call upon her. He would never divulge what happened during that interview, but he refused to go back again. The next Sunday they again drove about the streets, and the following day the minister's wife wrote to Miss Emily's relations in Alabama.

So she had blood-kin under her roof again and we sat back to watch developments. At first nothing happened. Then we were sure that they were to be married. We learned that Miss Emily had been to the jeweler's and ordered a man's toilet set in silver, with the letters H.B. on each piece. Two days later we learned that she had bought a complete outfit of men's clothing, including a nightshirt, and we said, "They are married." We were really glad. We were glad because the two female cousins were even more Grierson than Miss Emily had ever been.

So we were not surprised when Homer Barron—the streets had been finished some time since—was gone. We were a little disappointed that there was not a public blowing-off, but we believed that he had gone on to prepare for Miss Emily's coming, or to give her a chance to get rid of the cousins. (By that time it was a cabal, and we were all Miss Emily's allies to help circumvent the cousins.) Sure enough, after another week they departed. And, as we had expected all along, within three days Homer Barron was back in town. A neighbor saw the Negro man admit him at the kitchen door at dusk one evening.

And that was the last we saw of Homer Barron. And of Miss Emily for some time. The Negro man went in and out with the market basket, but the front door remained closed. Now and then we would see her at a window for a moment, as the men did that night when they sprinkled the lime, but

Среди дам пошли разговоры, что это позор на весь город и дурной пример для молодежи. Мужчины были не склонны вмешиваться, но в конце концов дамы вынудили баптистского пастора — Грирсоны принадлежали к англиканской церкви — пойти к ней. Что там между ними произошло во время этого визита, он никому не рассказывал и второй раз идти отказался наотрез. Но наступило воскресенье, и опять они катались по городу. И на следующий же день жена пастора написала родственникам мисс Эмили в Алабаму.

Теперь у мисс Эмили были покровители, и мы приготовились ждать, что будет дальше. Сначала ничего вроде не изменилось. Но потом стало похоже, что дело решительно идет к свадьбе. Мы узнали, что мисс Эмили побывала у ювелира и заказала мужской туалетный прибор из серебра с вензелем «Г. Б.» на каждом предмете. Еще через два дня стало известно, что она купила полный комплект мужской одежды, вплоть до ночной рубашки, и тогда мы сказали: «Они поженились». Мы и вправду обрадовались. Слава богу, теперь уедут ее кузины, которые оказались такими Грирсонами, что где там до них самой мисс Эмили.

И когда Гомер Бэррон пропал из города — работы на улицах уже были завершены, — мы не удивились. Обидно, конечно, что обошлось без публичного торжества, но мы считали, что он поехал вперед, чтобы сделать приготовления к приезду мисс Эмили — а она чтобы тем временем выпроводила кузин. (Мы все были на стороне мисс Эмили в этом заговоре против них.) Так оно и вышло: через неделю обе укатили. А спустя еще три дня, оправдав наши ожидания, вернулся Гомер Бэррон. Соседка заметила, как негр мисс Эмили впустил его на закате в дом через черную дверь.

Но больше у нас с тех пор никто Гомера Бэррона не видел. И саму мисс Эмили поначалу тоже. Слуга-негр выходил и входил с базарной корзиной через черную дверь, а парадная дверь оставалась на запоре. Целые полгода мисс Эмили не появлялась на улицах, иногда только мелькнет в окне, как в ту ночь, когда к ней при-

for almost six months she did not appear on the streets. Then we knew that this was to be expected too; as if that quality of her father which had thwarted her woman's life so many times had been too virulent and too furious to die.

When we next saw Miss Emily, she had grown fat and her hair was turning gray. During the next few years it grew grayer and grayer until it attained an even pepper-and-salt iron-gray, when it ceased turning. Up to the day of her death at seventy-four it was still that vigorous iron-gray, like the hair of an active man.

From that time on her front door remained closed, save for a period of six or seven years, when she was about forty, during which she gave lessons in china-painting. She fitted up a studio in one of the downstairs rooms, where the daughters and granddaughters of Colonel Sartoris' contemporaries were sent to her with the same regularity and in the same spirit that they were sent to church on Sundays with a twenty-five-cent piece for the collection plate. Meanwhile her taxes had been remitted.

Then the newer generation became the backbone and the spirit of the town, and the painting pupils grew up and fell away and did not send their children to her with boxes of color and tedious brushes and pictures cut from the ladies' magazines. The front door closed upon the last one and remained closed for good. When the town got free postal delivery, Miss Emily alone refused to let them fasten the metal numbers above her door and attach a mailbox to it. She would not listen to them.

Daily, monthly, yearly we watched the Negro grow grayer and more stooped, going in and out with the market basket. Each December we sent her a tax notice, which would be returned by the post office a week later, unclaimed. Now and then we would see her in one of the downstairs windows—she had evidently shut up the top floor of the house—like the carved torso of an idol in a niche, looking or not looking at us, we could never tell

ходили посыпать двор известкой. И это мы тоже считали в порядке вещей: слишком живучей оказалась в ней зловредная отцовская спесь, и прежде столько раз становившаяся ей поперек ее женской судьбы.

Пока мы ее не видели, она растолстела и начала сидеть. Потом с каждым годом седины у нее в волосах все прибавлялось, покуда они не сделались ровного серо-стального цвета и такими уже остались. До самой смерти в семьдесят четыре года волосы у нее, как у пожилого дельца, отливали энергичным металлическим блеском.

С той поры парадная дверь ее дома так и стояла запертая — не считая тех шести или семи лет, что она, уже за сорок, давала уроки росписи по фарфору. Устроила мастерскую в одной из комнат на первом этаже, и туда к ней полагалось являться дочерям и внукам ровесников полковника Сарториса неукоснительно и благочестиво, как по воскресным дням в церковь, и с теми же двадцатью пятью центами, чтобы положить на тарелку для пожертвований. Тогда ее как раз и освободили от налогов.

А потом определять лицо и дух города стало новое поколение, ученицы ее выросли, и постепенно перестали заниматься, и уже не присылали к ней в свою очередь дочек с красками в ящичках, скучными кисточками и картинками, вырезанными из дамского журнала. Парадная дверь закрылась за последней ученицей, закрылась насовсем. Когда в городе учредили бесплатную доставку почты, мисс Эмили, единственная, не позволила прибить у себя жестяной номер и почтовый ящик на дверь. И ничего не пожелала слушать.

Проходили дни, месяцы, годы, мы видели, как седеет и горбится слуга-негр с базарной корзинкой в руках. Ежегодно в исходе декабря ей отсылали налоговую ведомость, которая неделю спустя неизменно возвращалась с почты как не востребованная. По временам, точно толстый каменный идол в нише, она показывалась в каком-нибудь из окон нижнего этажа — верхний этаж она, то-видимому, заколотила — и то ли смотрела на нас, то ли нет, не разберешь. И так она переходила от поколе-

which. Thus she passed from generation to generation—dear, inescapable, impervious, tranquil, and perverse.

And so she died. Fell ill in the house filled with dust and shadows, with only a doddering Negro man to wait on her. We did not even know she was sick; we had long since given up trying to get any information from the Negro. He talked to no one, probably not even to her, for his voice had grown harsh and rusty, as if from disuse.

She died in one of the downstairs rooms, in a heavy walnut bed with a curtain, her gray head propped on a pillow yellow and moldy with age and lack of sunlight.

V

The Negro met the first of the ladies at the front door and let them in, with their hushed, sibilant voices and their quick, curious glances, and then he disappeared. He walked right through the house and out the back and was not seen again.

The two female cousins came at once. They held the funeral on the second day, with the town coming to look at Miss Emily beneath a mass of bought flowers, with the crayon face of her father musing profoundly above the bier and the ladies sibilant and macabre; and the very old men—some in their brushed Confederate uniforms—on the porch and the lawn, talking of Miss Emily as if she had been a contemporary of theirs, believing that they had danced with her and courted her perhaps, confusing time with its mathematical progression, as the old do, to whom all the past is not a diminishing road but, instead, a huge meadow which no winter ever quite touches, divided from them now by the narrow bottle-neck of the most recent decade of years.

Already we knew that there was one room in that region above stairs which no one had seen in forty years, and

ния к поколению, словно драгоценное, неотвязное, недоступное, изломанное наше наследие.

И в конце концов умерла. Заболела в этом доме, полном теней и пыли, где некому было за ней ходить, кроме одного дряхлого негра. Мы даже не знали, что она болеет, от ее негра путного слова нельзя было добиться, мы уже давно махнули рукой. Он все равно ни с кем не разговаривал, наверно, и с ней тоже, потому что голос у него сделался хриплый, скрипучий, будто заржавел без употребления.

Она умерла в одной из комнат нижнего этажа на массивной деревянной кровати с пологом, откинув седую голову на подушку, желтую от старости и замшелую от недостатка солнечного света.

V

Негр впустил первых посетительниц через парадную дверь и, пока они набивались в прихожую, переговариваясь шипящими шепотами и шныряя по углам любопытными глазами, прошел дом насквозь, выскользнул с черного хода — и был таков.

Обе алабамские кузины приехали сразу же. Через два дня были устроены похороны, и явился весь город, чтобы увидеть мисс Эмили, заваленную грудой покупных цветов. Сверху на гроб глубокомысленно взирал карандашный портрет ее отца, дамы зловеще шелестели, а на веранде и на газоне перед домом самые старые старики города (кое-кто в допотопных конфедератских мундирах) говорили о мисс Эмили так, словно она была их ровесницей, словно они когда-то танцевали с ней и, может быть, за ней ухаживали, — путая строгую последовательность времени, как это свойственно старым людям, для которых прошлое — не сужающаяся вдаль дорога, а широкий луг, недоступный дыханию зимы, отделенный от них, какие они теперь, тесной горловиной последнего десятилетия.

Все уже знали, что наверху есть комната, куда сорок лет никто не заглядывал, и ключ неизвестно где. Но

which would have to be forced. They waited until Miss Emily was decently in the ground before they opened it.

The violence of breaking down the door seemed to fill this room with pervading dust. A thin, acrid pall as of the tomb seemed to lie everywhere upon this room decked and furnished as for a bridal: upon the valance curtains of faded rose color, upon the rose-shaded lights, upon the dressing table, upon the delicate array of crystal and the man's toilet things backed with tarnished silver, silver, so tarnished that the monogram was obscured. Among them lay a collar and tie, as if they had just been removed, which, lifted, left upon the surface a pale crescent in the dust. Upon a chair hung the suit, carefully folded; beneath it the two mute shoes and the discarded socks.

The man himself lay in the bed.

For a long while we just stood there, looking down at the profound and fleshless grin. The body had apparently once lain in the attitude of an embrace, but now the long sleep that outlasts love, that conquers even the grimace of love, had cuckolded him. What was left of him, rotted beneath what was left of the nightshirt, had become inextricable from the bed in which he lay; and upon him and upon the pillow beside him lay that even coating of the patient and biding dust.

Then we noticed that in the second pillow was the indentation of a head. One of us lifted something from it, and leaning forward, that faint and invisible dust dry and acrid in the nostrils, we saw a long strand of iron-gray hair.

дверь взломали только тогда, когда тело мисс Эмили было уже честь по чести предано земле.

Дверь затрещала и распахнулась, и, наверно от удара, воздух наполнился мельчайшей пылью, которая тонким могильным покровом лежала на всем в этой комнате, убранной как брачный покой: выцветшие нежно-розовые шторы с оборками, телесного цвета абажуры, на трельяже — изящно расставленный хрусталь и мужские туалетные принадлежности, оправленные почерневшим серебром, до того почерневшим, что нельзя было разобрать монограммы. Здесь же валялся воротничок с галстуком, будто только что отстегнутый, но, когда его подняли, в пыли на полированной поверхности остался темный полумесяц. На спинке стула, аккуратно сложенный, висел костюм, на полу — два безмолвных ботинка и снятые носки.

А сам мужчина лежал в кровати.

Мы долго стояли и смотрели на зияющую, бесплотную улыбку. Тело когда-то лежало в любовной позе, но сон, который долговечнее, чем любовь, и необоримее, чем даже ее гримасы, вырвал новобрачную из этих объятий. Что осталось от жениха, сгнило в том, что осталось от ночной рубашки, смешалось нерасторжимо с прахом простынь, и поверх всего, на одеяле и на второй подушке, лежал ровный слой многотерпеливой, упорной пыли.

А потом мы заметили, что вторая подушка промята. Один из нас нагнулся и что-то снял с нее, и мы, столпившись вокруг, стараясь не дышать мельчайшей сухой и едкой пылью, увидели длинную прядь седых волос.

That Evening Sun

I

Monday is no different from any other weekday in Jefferson now. The streets are paved now, and the telephone and electric companies are cutting down more and more of the shade trees—the water oaks, the maples and locusts and elms—to make room for iron poles bearing clusters of bloated and ghostly and bloodless grapes, and we have a city laundry which makes the rounds on Monday morning, gathering the bundles of clothes into bright-colored, specially-made motor cars: the soiled wearing of a whole week now flees apparitionlike behind alert and irritable electric horns, with a long diminishing noise of rubber and asphalt like tearing silk, and even the Negro women who still take in write people's washing after the old custom, fetch and deliver it in automobiles.

But fifteen years ago, on Monday morning the quiet, dusty, shady streets would be full of Negro women with, balanced on their steady, turbaned heads, bundles of clothes tied up in sheets, almost as large as cotton bales, carried so without touch of hand between the kitchen door of the white house and the blackened washpot beside a cabin door in Negro Hollow.

Nancy would set her bundle on the top of her head, then upon the bundle in turn she would set the black straw sailor hat which she wore winter and summer. She was tall, with a high, sad face sunken a little where her teeth were missing. Sometimes we would go a part of the way down the lane and across the pasture with her, to watch the balanced bundle and the hat that never bobbed nor wavered, even when she walked down into the ditch and up the other side and stooped through the fence. She would go down on her hands and knees and crawl through the gap, her head

Когда наступает ночь

I

Теперь понедельник в Джефферсоне ничем не отличается от прочих дней недели. Улицы теперь вымощены, и телефонные и электрические компании все больше вырубают тенистые деревья — дубы, акации, клены и вязы, — чтобы на их месте поставить железные столбы с гроздьями вспухших, призрачных бескровных виноградин; и у нас есть городская прачечная, и в понедельник утром ярко раскрашенные автомобили объезжают город; наполненные скопившимся за неделю грязным бельем, они проносятся мимо, как призраки, под резкие, раздраженные вскрики автомобильного рожка, в шипенье шин по асфальту, похожем на звук разрываемого шелка; и даже негритянки, которые, по старому обычаю, стирают на белых, забирают и развозят белье на автомобилях.

Но пятнадцать лет тому назад по утрам в понедельник тихие пыльные тенистые улицы были полны негритянок, которые на своих крепких, обмотанных шалью головах тащили увязанные в простыни узлы, величинной с добрый тюк хлопка, и проносили их так, не прикасаясь к ним руками, от порога кухни в доме белых до почерневшего котла возле своей лачуги в негритянском квартале.

Нэнси примащивала себе на макушку узел с бельем, а поверх узла насаживала черную соломенную шляпу, которую бессменно носила зимой и летом. Она была высокого роста, со скуластым угрюмым лицом и немного запавшими щеками, — у нее не хватало нескольких зубов. Иногда мы провожали ее по улице и дальше, через луг, и смотрели, как ловко она несет узел; шляпа на его верхушке никогда, бывало, не дрогнет, не шелохнется, даже когда она спускалась в ров и снова из него выбиралась или пролезала сквозь изгородь. Она становилась на четвереньки и проползала в дыру, запрокинув голову, и узел держался крепко, плыл над ней, словно воз-

rigid, uptilted, the bundle steady as a rock or a balloon, and rise to her feet again and go on.

Sometimes the husbands of the washing women would fetch and deliver the clothes, but Jesus never did that for Nancy, even before father told him to stay away from our house, even when Dilsey was sick and Nancy would come to cook for us.

And then about half the time we'd have to go down the lane to Nancy's cabin and tell her to come on and cook breakfast. We would stop at the ditch, because father told us to not have anything to do with Jesus—he was a short black man, with a razor scar down his face—and we would throw rocks at Nancy's house until she came to the door, leaning her head around it without any clothes on.

"What yawl mean, chunking my house?" Nancy said. "What you little devils mean?"

"Father says for you to come on and get breakfast," Caddy said. "Father says it's over a half an hour now, and you've got to come this minute."

"I aint studying no breakfast," Nancy said. "I going to get my sleep out."

"I bet you're drunk," Jason said. "Father says you're drunk. Are you drunk, Nancy?"

"Who says I is?" Nancy said. "I got to get my sleep out. I aint studying no breakfast."

So after a while we quit chunking the cabin and went back home. When she finally came, it was too late for me to go to school. So we thought it was whisky until that day they arrested her again and they were taking her to jail and they passed Mr. Stovall. He was the cashier in the bank and a deacon in the Baptist church, and Nancy began to say:

"When you going to pay me, white man? When you going to pay me, white man? It's been three times now since you paid me a cent—" Mr. Stovall knocked her down, but she kept on saying, "When you going to pay me, white man?"

душный шар; потом она поднималась на ноги и шла дальше.

Случалось, что за бельем приходили мужья прачек, но Иисус никогда не делал этого для Нэнси, даже еще до того, как отец запретил ему входить к нам в дом, даже тогда, когда Дилси была больна и Нэнси стряпала у нас вместо нее.

Чуть не каждое утро приходилось бежать к дому Нэнси и звать ее, чтобы она скорее шла и готовила завтрак. Мы останавливались у рва, так как отец не позволял нам разговаривать с Иисусом — Иисус был приземистый негр со шрамом от удара бритвой на лице, — и отсюда принимались кидать камнями в дом Нэнси, пока наконец она, совершенно голая, не подходила к дверям.

— Это еще что такое, камнями швыряться! — говорила Нэнси. — Чего вам, чертенятам, надо?

— Папа сказал, чтобы ты скорее шла и готовила завтрак, — говорила Кэдди. — Папа сказал, что завтрак и так уже на полчаса запаздывает и чтоб ты шла сию минуту.

— Подумаешь, важность какая ваш завтрак! — говорила Нэнси. — Выспаться не дадут.

— Ты, наверно, пьяная, — говорил Джейсон. — Папа говорит, что ты пьяная. Ты пьяная, Нэнси?

— Кто это выдумал? — говорила Нэнси. — Выспаться не дадут. Подумаешь, важность какая ваш завтрак!

Мы швыряли еще несколько камней, потом шли домой. Когда Нэнси наконец являлась, мне уже поздно было идти в школу. Мы думали, что это все из-за виски, до того дня, когда Нэнси арестовали и повели в тюрьму и по дороге им встретился мистер Стовел — он был кассиром в банке и старостой баптистской церкви, — и Нэнси как только его увидела, так и начала:

— Когда же вы мне заплатите, мистер? Когда же вы мне заплатите, мистер? Были у меня три раза, а до сих пор ни цента не платите...

Мистер Стовел ударил ее так, что она свалилась, но она продолжала:

It's been three times now since—" until Mr. Stovall kicked her in the mouth with his heel and the marshal caught Mr. Stovall back, and Nancy lying in the street, laughing. She turned her head and spat out some blood and teeth and said, "It's been three times now since he paid me a cent."

That was how she lost her teeth, and all that day they told about Nancy and Mr. Stovall, and all that night the ones that passed the jail could hear Nancy singing and yelling. They could see her hands holding to the window bars, and a lot of them stopped along the fence, listening to her and to the jailer trying to make her stop. She didn't shut up until almost daylight, when the jailer began to hear a bumping and scraping upstairs and he went up there and found Nancy hanging from the window bar. He said that it was cocaine and not whisky, because no nigger would try to commit suicide unless he was full of cocaine, because a nigger full of cocaine wasn't a nigger any longer.

The jailer cut her down and revived her; then he beat her, whipped her. She had hung herself with her dress. She had fixed it all right, but when they arrested her she didn't have on anything except a dress and so she didn't have anything to tie her hands with and she couldn't make her hands let go of the window ledge. So the jailer heard the noise and ran up there and found Nancy hanging from the window, stark naked, her belly already swelling out a little, like a little balloon.

When Dilsey was sick in her cabin and Nancy was cooking for us, we could see her apron swelling out; that was before father told Jesus to stay away from the house. Jesus was in the kitchen, sitting behind the stove, with his razor scar on his black face like a piece of dirty string. He said it was a watermelon that Nancy had under her dress.

"It never come off of your vine, though," Nancy said.

"Off of what vine?" Caddy said.

— Когда же вы мне заплатите, мистер? Были у меня три раза, а до сих пор...

Тут мистер Стовел ударил ее каблуком по лицу, и шериф оттащил его, а Нэнси лежала на земле и смеялась. Она повернула голову, выплюнула зубы вместе с кровью и сказала:

— Был у меня три раза, а ни цента не заплатил.

Вот как случилось, что она потеряла зубы. В тот день только и разговору было что о Нэнси и мистере Стовеле, а ночью кто проходил мимо тюрьмы, слышал, как Нэнси там поет и вопит. В окно были видны ее руки, уцепившиеся за решетку, а у забора собралась целая толпа. Все стояли и слушали, как она кричит, а надзиратель приказывает ей замолчать. Но она не замолчала и вопила всю ночь, а на рассвете надзиратель услышал, что наверху что-то колотится и царапается в стену; он пошел наверх и увидел, что Нэнси висит на оконной решетке. Он говорил потом, что дело тут не в виски, а в кокаине: негр ни за что не покончит с собой, разве что нанюхается кокаину, а когда он нанюхается кокаину, то и на негра становится не похож.

Надзиратель вынул ее из петли и привел в чувство, а потом побил ее, отстегал. Она повесилась на своем платье. Она все приладила как следует, но когда ее арестовали, на ней только и было что платье, так что связать себе руки ей уже было нечем, и она так и не смогла оторвать руки от подоконника. Тут-то надзиратель и услышал шум, побежал наверх и увидел, что Нэнси висит на решетке, совершенно голая, причем живот у нее был чуть вздут, как воздушный шар.

Когда Дилси заболела и лежала у себя в хижине, а Нэнси у нас стряпала, мы заметили, что фартук у нее вздувается на животе; это было еще до того, как отец запретил Иисусу приходить к нам в дом. Иисус сидел на кухне возле плиты, и шрам на его черном лице был как обрывок грязной бечевки. Он сказал нам, что у Нэнси под платьем арбуз.

— Но не с твоей бахчи, — сказала ему Нэнси.

— А откуда? — спросила Кэddie.

"I can cut down the vine it did come off of," Jesus said.

"What makes you want to talk like that before these chillen?" Nancy said. "Whyn't you go on to work? You done et. You want Mr. Jason to catch you hanging around his kitchen, talking that way before these chillen?"

"Talking what way?" Caddy said. "What vine?"

"I cant hang around white man's kitchen," Jesus said. "But white man can hang around mine. White man can come in my house, but I cant stop him. When white man want to come in my house, I aint got no house. I cant stop him, but he cant kick me outen it. He cant do that."

Dilsey was still sick in her cabin. Father told Jesus to stay off our place. Dilsey was still sick. It was a long time. We were in the library after supper.

"Isn't Nancy through in the kitchen yet?" mother said. "It seems to me that she had had plenty of time to have finished the dishes."

"Let Quentin go and see," father said. "Go and see if Nancy is through, Quentin. Tell her she can go on home."

I went to the kitchen. Nancy was through. The dishes were put away and the fire was out. Nancy was sitting in a chair, close to the cold stove. She looked at me.

"Mother wants to know if you are through," I said.

"Yes," Nancy said. She looked at me. "I done finished." She looked at me.

"What is it?" I said. "What is it?"

"I aint nothing but a nigger," Nancy said. "It aint none of my fault."

She looked at me, sitting in the chair before the cold stove, the sailor hat on her head. I went back to the library. It was the cold stove and all, when you think of a kitchen being warm and busy and cheerful. And with a cold stove and the dishes all put away, and nobody wanting to eat at that hour.

"Is she through?" mother said.

— Это не от меня подарок, — ответил Иисус. — Но уж там от меня или нет, а вот я возьму да взрежу.

— Зачем ты это говоришь при детях? — сказала Нэнси. — Почему не идешь работать? Хочешь, чтоб мистер Джейсон увидел, что ты торчишь тут, на кухне, да болтаешь невесть что при детях?

— Что болтаешь? Что он болтает, Нэнси? — спросила Кэдди.

— Мне нельзя торчать на кухне у белого, — сказал Иисус. — А у меня на кухне белому можно торчать. Он приходит ко мне, и я не могу ему запретить. Когда белый приходит ко мне домой, это не мой дом. Я ему не могу запретить, ладно, но выгнать меня из моего дома он не может. Нет уж, этого он не может.

Дилси все еще была больна. Отец запретил Иисусу приходить к нам. Дилси все болела. Долго болела. Однажды после ужина мы сидели в кабинете.

— Что, Нэнси уже кончила? — спросила мама. — Кажется, за это время можно было перемыть посуду.

— Пусть Квентин пойдет посмотрит, — сказал отец. — Квентин, походи посмотри, кончила Нэнси или нет? Скажи ей, чтоб шла домой.

Я пошел на кухню. Нэнси уже кончила. Посуда была убрана, огонь в плите погас. Нэнси сидела на стуле, возле остывшей плиты. Она поглядела на меня.

— Мама спрашивает, ты кончила или нет? — сказал я.

— Да, — сказала Нэнси; она поглядела на меня. — Кончила. — Она опять поглядела на меня.

— Ты что, Нэнси? — спросил я. — Что с тобой?

— Я всего только негрятянка, — сказала Нэнси. — Но это же не моя вина.

Она сидела на стуле возле остывшей плиты в своей соломенной шляпе и глядела на меня. Я пошел обратно в кабинет. В кухне было так странно, наверно от остывшей плиты, потому что ведь обыкновенно в кухне тепло и весело и все суетятся. А тут плита погасла, и посуда была убрана, и в такой час никто не думал о еде.

— Ну что, кончила она? — спросила мама.

"Yessum," I said.

"What is she doing?" mother said.

"She's not doing anything. She's through."

"I'll go and see," father said.

"Maybe she's waiting for Jesus to come and take her home," Caddy said.

"Jesus is gone," I said. Nancy told us how one morning she woke up and Jesus was gone.

"He quit me," Nancy said. "Done gone to Memphis, I reckon. Dodging them city *po-lice* for a while, I reckon."

"And a good riddance," father said. "I hope he stays there."

"Nancy's scaired of the dark," Jason said.

"So are you," Caddy said.

"I'm not," Jason said.

"Scairy cat," Caddy said.

"I'm not," Jason said.

"You, Candace!" mother said. Father came back.

"I am going to walk down the lane with Nancy," he said. "She says that Jesus is back."

"Has she seen him?" mother said.

"No. Some Negro sent her word that he was back in town. I wont be long."

"You'll leave me alone, to take Nancy home?" mother said. "Is her safety more precious to you than mine?"

"I wont be long," father said.

"You'll leave these children unprotected, with that Negro about?"

"I'm going too," Caddy said. "Let me go, Father."

"What would he do with them, if he were unfortunate enough to have them?" father said.

"I want to go, too," Jason said.

"Jason!" mother said. She was speaking to father. You could tell that by the way she said the name. Like she believed that all day father had been trying to think of doing the thing she wouldn't like the most, and that she

— Да, мама, — ответил я.

— Что же она делает? — спросила мама.

— Ничего не делает. Сидит.

— Я пойду посмотрю, — сказал отец.

— Она, наверно, ждет Иисуса, чтобы он ее проводил, — сказала Кэдди.

— Иисус уехал, — сказал я.

Нэнси рассказывала, что раз утром она проснулась, а Иисуса нет.

— Бросил меня, — сказала Нэнси. — Надо думать, в Мемфис уехал. От полиции, должно быть, прячется.

— И слава богу, что ты от него избавилась, — сказал отец. — Надеюсь, он там и останется.

— Нэнси боится темноты, — сказал Джейсон.

— Ты тоже боишься, — сказала Кэдди.

— Вовсе нет, — сказал Джейсон.

— Трусишка! — сказала Кэдди.

— Вовсе нет, — сказал Джейсон.

— Кэндейси! — сказала мама.

Вошел отец.

— Я немного провожу Нэнси, — сказал он. — Она говорит, что Иисус вернулся.

— Она его видела? — спросила мама.

— Нет. Какой-то негр ей передавал, что его видели в городе. Я скоро приду.

— А я останусь одна, пока ты будешь провожать Нэнси? — сказала мама. — Ее безопасность тебе дороже, чем моя?

— Я скоро приду, — сказал отец.

— Ну этот негр где-то бродит, а ты уйдешь и оставишь детей?

— Я тоже пойду, — сказала Кэдди. — Можно, папа?

— Да очень они ему нужны, твои дети, — сказал отец.

— Я тоже пойду, — сказал Джейсон.

— Джейсон! — сказала мама. Она обращалась к отцу — это было слышно по голосу. Как будто она хотела сказать: вот целый день он придумывал, чем бы ее посильнее огорчить, и она все время знала, что в конце

knew all the time that after a while he would think of it. I stayed quiet, because father and I both knew that mother would want him to make me stay with her if she just thought of it in time. So father didn't look at me. I was the oldest. I was nine and Caddy was seven and Jason was five.

"Nonsense," father said. "We wont be long."

Nancy had her hat on. We came to the lane. "Jesus always been good to me," Nancy said. "Whenever he had two dollars, one of them was mine." We walked in the lane. "If I can just get through the lane," Nancy said, "I be all right then."

The lane was always dark. "This is where Jason got scared on Hallowe'en," Caddy said.

"I didn't," Jason said.

"Cant Aunt Rachel do anything with him?" father said. Aunt Rachel was old. She lived in a cabin beyond Nancy's, by herself. She had white hair and she smoked a pipe in the door, all day long; she didn't work any more. They said she was Jesus' mother. Sometimes she said she was and sometimes she said she wasn't any kin to Jesus.

"Yes, you did," Caddy said. "You were scairder than Frony. You were scairder than T.P. even. Scairder than niggers."

"Cant nobody do nothing with him," Nancy said. "He say I done woke up the devil in him and aint but one thing going to lay it down again."

"Well, he's gone now," father said. "There's nothing for you to be afraid of now. And if you'd just let white men alone."

"Let what white men alone?" Caddy said. "How let them alone?"

"He aint gone nowhere," Nancy said. "I can feel him. I can feel him now, in this lane. He hearing us talk, every word, hid somewhere, waiting. I aint seen him, and I aint going to see him again but once more, with that razor in his

концов он придумает. Я сидел тихонько, — мы оба с папой знали, что если мама меня заметит, то непременно захочет, чтобы папа велел мне с ней остаться. Поэтому папа даже не глядел на меня. Я был самый старший. Мне было девять лет, а Кэдди — семь и Джейсону — пять.

— Глупости! — сказал отец. — Мы скоро придем.

Нэнси была уже в шляпе. Мы вышли в переулочек.

— Иисус всегда был добр ко мне, — сказала Нэнси. — Заработает два доллара — всегда один мне отдаст.

Мы шли по переулочку.

— Мне бы только переулочком пройти, — сказала Нэнси, — а там уж ничего.

В переулочке всегда было темно.

— Вот тут Джейсон испугался в День Всех святых, — сказала Кэдди.

— Вовсе не испугался, — сказал Джейсон.

— А тетюшка Рэйчел ничего с ним не может сделать? — спросил отец.

Тетюшка Рэйчел была совсем старая. Она жила одна в хижине неподалеку от Нэнси. У нее были седые волосы, и она уже не работала, а только по целым дням сидела на пороге и курила трубку. Говорили, что Иисус — ее сын. Иногда она говорила, что да, а иногда — что он ей вовсе и не родня.

— Нет, ты испугался, — сказала Кэдди. — Ты струсил еще хуже, чем Фрони. Даже хуже, чем Т. П. Хуже всякого негра.

— Никто с ним ничего не может сделать, — сказала Нэнси. — Он говорит, что я в нем беса разбудила, и теперь он не успокоится, пока не...

— Ну ладно, — сказал отец, — ведь он уехал. Теперь тебе нечего бояться. С белыми только не надо путаться.

— Как это — путаться? — спросила Кэдди. — С какими белыми?

— Не уехал он, — сказала Нэнси. — Я чувствую, что он здесь. Вот тут, в переулочке. Слышит, что мы говорим, каждое словечко. Спрятался где-нибудь и ждет. Я его не видела, да и увижу только один-единственный раз с

mouth. That razor on that string down his back, inside his shirt. And then I aint going to be even surprised."

"I wasn't scaired," Jason said.

"If you'd behave yourself, you'd have kept out of this," father said. "But it's all right now. He's probably in St. Louis now. Probably got another wife by now and forgot all about you."

"If he has I better not find out about it," Nancy said. "I'd stand there right over them, and every time he wropped her, I'd cut that arm off. I'd cut his head off and I'd slit her belly and I'd shove—"

"Hush," father said.

"Slit whose belly, Nancy?" Caddy said.

"I wasn't scaired," Jason said. "I'd walk right down this lane by myself."

"Yah," Caddy said. "You wouldn't dare to put your foot down in it if we were not here too."

II

Dilsey was still sick, so we took Nancy home every night until mother said, "How much longer is this going on? I to be left alone in this big house while you take home a frightened Negro?"

We fixed a pallet in the kitchen for Nancy. One night we waked up, hearing the sound. It was not singing and it was not crying, coming up the dark stairs. There was a light in mother's room and we heard father going down the hall, down the back stairs, and Caddy and I went into the hall. The floor was cold. Our toes curled away from it while we listened to the sound. It was like singing and it wasn't like singing, like the sounds that Negroes make.

Then it stopped and we heard father going down the back stairs, and we went to the head of the stairs. Then the

бритвой в руке. Он ее носит на веревочке на спине под рубашкой. И когда увижу, так даже не удивлюсь.

— Вовсе я не испугался, — сказал Джейсон.

— Если бы ты вела себя как следует, ничего бы и не было, — сказал отец. — Но теперь все прошло. Он теперь, вероятно, в Сент-Луисе и уже нашел себе другую жену, а о тебе и думать позабыл.

— Ну, если так, — сказала Нэнси, — так пусть же я об этом ничего не знаю. А не то я до него доберусь, будьте покойны! Попробуй он только ее обнять, я ему руки отрублю! Я ему голову отрежу, я ей брюхо распорю, я...

— Тсс! — сказал отец.

— Чье брюхо, Нэнси? — спросила Кэдди.

— Вовсе я не испугался, — сказал Джейсон. — Хочешь, я один пройду по переулку?

— Да, как же! — сказала Кэдди. — Ты бы сюда и носа без нас не сунул!

II

Дилси все хворала, и мы каждый вечер провожали Нэнси. Наконец мама сказала:

— До каких же пор это будет продолжаться? Я каждый вечер буду оставаться одна в пустом доме, а ты будешь провожать трусливую негритянку?

Для Нэнси положили тюфяк в кухне. Раз ночью мы проснулись от какого-то звука — не то пения, не то плача, доносившегося из темноты под лестницей. У мамы в комнате был свет, и мы слышали, что отец вышел в коридор, потом прошел на черную лестницу; мы с Кэдди тоже побежали в коридор. Пол был холодный. Пальцы на ногах у нас поджимались от холода, мы стояли и прислушивались к звуку. Это было как будто пение, а как будто и не пение — у негров иногда не разберешь.

Потом звук затих, и мы слышали, что отец стал спускаться по лестнице, и мы тоже подошли и остановились у перил. Потом опять начался этот звук, уже на са-

sound began again, in the stairway, not loud, and we could see Nancy's eyes halfway up the stairs, against the wall. They looked like cat's eyes do, like a big cat against the wall, watching us. When we came down the steps to where she was, she quit making the sound again, and we stood there until father came back up from the kitchen, with his pistol in his hand. He went back down with Nancy and they came back with Nancy's pallet.

We spread the pallet in our room. After the light in mother's room went off, we could see Nancy's eyes again. "Nancy," Caddy wh'spered, "are you asleep, Nancy?"

Nancy whispered something. It was oh or no, I dont know which. Like nobody had made it, like it came from nowhere and went nowhere, until it was like Nancy was not there at all; that I had looked so hard at her eyes on the stairs that they had got printed on my eyeballs, like the sun does when you have closed your eyes and there is no sun. "Jesus," Nancy whispered. "Jesus."

"Was it Jesus?" Caddy said. "Did he try to come into the kitchen?"

"Jesus," Nancy said. Like this: Jeeeeeeeeeeeeeeeeesus, until the sound went out, like a match or a candle does.

"It's the other Jesus she means," I said.

"Can you see us, Nancy?" Caddy whispered. "Can you see our eyes too?"

"I aint nothing but a nigger," Nancy said. "God knows. God knows."

"What did you see down there in the kitchen?" Caddy whispered. "What tried to get in?"

"God knows," Nancy said. We could see her eyes. "God knows."

Dilsey got well. She cooked dinner. "You'd better stay in bed a day or two longer," father said.

"What for?" Dilsey said. "If I had been a day later, this place would be to rack and ruin. Get on out of here now, and let me get my kitchen straight again."

Dilsey cooked supper too. And that night, just before dark, Nancy came into the kitchen.

мой лестнице, негромко, и на ступеньках возле стены мы увидели глаза Нэнси. Они светились, как у кошки, словно у стены притаилась большая кошка и смотрела на нас. Когда мы сошли на несколько ступенек, она перестала издавать этот звук, и мы стояли там, пока, наконец, из кухни не вышел отец с револьвером в руке. Он вместе с Нэнси сошел вниз, потом они вернулись, неся Нэнсин тюфяк.

Его разостлали у нас в детской. Когда свет в маминой комнате погас, опять стали видны Нэнсины глаза.

— Нэнси! — шепнула Кэдди. — Ты не спишь, Нэнси?

Нэнси что-то прошептала, я не разобрал что. Шепот пришел из темноты, неизвестно откуда, словно родился сам собой, а Нэнси там и не было; а глаза были видны просто потому, что еще на лестнице я очень пристально на них смотрел, и они отпечатались у меня в зрачках, как бывает, когда посмотришь на солнце, а потом закроешь глаза.

— Иисус! — вздохнула Нэнси. — Иисус!

— Это Иисус там был? — прошептала Кэдди. — Он хотел забраться в кухню?

— Иисус, — сказала Нэнси. Вот так: «Иисууууус!..» — пока ее шепот не погас, как свеча или спичка.

— Она про другого Иисуса, — сказал я.

— Ты нас видишь, Нэнси? — прошептала Кэдди. — Ты тоже видишь наши глаза?

— Я всего только негритянка, — сказала Нэнси. — Господь знает, господь знает...

— Что там было на кухне? — прошептала Кэдди. — Что это хотело войти?

— Господь знает, — сказала Нэнси. — Господь знает. — Нам были видны ее глаза.

Дилси выздоровела. Она принялась готовить обед.

— Ты бы еще денек полежала, — сказал отец.

— Зачем это? — сказала Дилси. — Полежишь еще денек, так тут камня на камне не останется. Ну, уходите отсюда, дайте мне мою кухню привести в порядок.

Ужин тоже готовила Дилси. А вечером, как раз в сумерки, на кухню пришла Нэнси.

"How do you know he's back?" Dilsey said. "You aint seen him."

"Jesus is a nigger," Jason said.

"I can feel him," Nancy said. "I can feel him laying yonder in the ditch."

"Tonight?" Dilsey said. "Is he there tonight?"

"Dilsey's a nigger too," Jason said.

"You try to eat something," Dilsey said.

"I dont want nothing," Nancy said.

"I aint a nigger," Jason said.

"Drink some coffee," Dilsey said. She poured a cup of coffee for Nancy. "Do you know he's out there tonight? How come you know it's tonight?"

"I know," Nancy said. "He's there, waiting. I know. I done lived with him too long. I know what he is fixing to do fore he know it himself."

"Drink some coffee," Dilsey said. Nancy held the cup to her mouth and blew into the cup. Her mouth pursed out like a spreading adder's, like a rubber mouth, like she had blown all the color out of her lips with blowing the coffee.

"I aint a nigger," Jason said. "Are you a nigger, Nancy?"

"I hellborn, child," Nancy said. "I wont be nothing soon. I going back where I come from soon."

III

She began to drink the coffee. While she was drinking, holding the cup in both hands, she began to make the sound again. She made the sound into the cup and the coffee splashed out onto her hands and her dress. Her eyes looked at us and she sat there, her elbows on her knees, holding the cup in both hands, looking at us across the wet cup, making the sound. "Look at Nancy," Jason said. "Nancy cant cook

— Почем ты знаешь, что он вернулся? — спросила Дилси. — Ты ведь его не видела?

— Иисус — черномазый, — сказал Джейсон.

— Я чувствую, — сказала Нэнси, — я чувствую, что он спрятался там, во рву.

— И сейчас? — спросила Дилси. — Сейчас он тоже там?

— Дилси тоже черномазая, — сказал Джейсон.

— Ты бы съела чего-нибудь, — сказала Дилси.

— Я ничего не хочу, — сказала Нэнси.

— А я не черномазый, — сказал Джейсон.

— Выпей кофе, — сказала Дилси. Она налила Нэнси чашку кофе. — Ты думаешь, он сейчас там? Почем ты знаешь?

— Знаю, — сказала Нэнси. — Он там, ждет. Недаром я с ним столько прожила. Я всегда знаю, что он сделает, еще когда он и сам не знает.

— Выпей кофе, — сказала Дилси.

Нэнси поднесла чашку ко рту и подула в нее. Рот у нее растянулся, как резиновый, губы стали серые, словно она сдунула с них всю краску, когда стала дуть на кофе.

— Я не черномазый, — сказал Джейсон. — А ты черномазая, Нэнси?

— Я богом проклятая, — сказала Нэнси. — А скоро я никакая не буду. Скоро я уйду туда, откуда пришла.

III

Она стала пить кофе. И тут же, пока пила, держа обеими руками чашку, она опять начала издавать этот звук.

Звук шел в чашку, и кофе выплескивался Нэнси на руки и на платье. Глаза ее смотрели на нас; она сидела, уперев локти в колени, держа чашку обеими руками, глядя на нас поверх полной чашки, и издавала этот звук.

— Посмотри на Нэнси, — сказал Джейсон. — Нэнси

for us now. Dilsey's got well now."

"You hush up," Dilsey said. Nancy held the cup in both hands, looking at us, making the sound, like there were two of them: one looking at us and the other making the sound. "Whyn't you let Mr. Jason telefoam the marshal?" Dilsey said. Nancy stopped then, holding the cup in her long brown hands. She tried to drink some coffee again, but it splashed out of the cup, onto her hands and her dress, and she put the cup down. Jason watched her.

"I cant swallow it," Nancy said. "I swallows but it wont go down me."

"You go down to the cabin," Dilsey said. "Frony will fix you a pallet and I'll be there soon."

"Wont no nigger stop him," Nancy said.

"I aint a nigger," Jason said. "Am I, Dilsey?"

"I reckon not," Dilsey said. She looked at Nancy. "I dont reckon so. What you going to do, then?"

Nancy looked at us. Her eyes went fast, like she was afraid there wasn't time to look, without hardly moving at all. She looked at us, at all three of us at one time. "You member that night I stayed in yawls' room?" she said. She told about how we waked up early the next morning, and played. We had to play quiet, on her pallet, until father woke up and it was time to get breakfast. "Go and ask your maw to let me stay here tonight," Nancy said. "I wont need no pallet. We can play some more."

Caddy asked mother. Jason went too. "I cant have Negroes sleeping in the bedrooms," mother said. Jason

нам больше не стряпает, потому что Дилси выздоровела.

— Помолчи-ка, — сказала Дилси.

Нэнси держала чашку обеими руками, глядела на нас и издавала этот звук, словно было две Нэнси: одна глядела на нас, а другая издавала звук.

— Почему ты не хочешь, чтобы мистер Джейсон говорил по телефону с шерифом? — спросила Дилси.

Нэнси затихла, держа чашку в своих больших темных руках. Она попробовала отпить кофе, но кофе выплеснулся из чашки ей на руки и на колени, и она отставила чашку. Джейсон смотрел на нее.

— Не могу проглотить, — сказала Нэнси. — Я глотаю, а оно не проходит.

— Ступай ко мне, — сказала Дилси. — Фрони тебе постелет, и я тоже скоро приду.

— Думаешь, он побоится каких-то чернокожих? — сказала Нэнси.

— Я не чернокожий, — сказал Джейсон. — Дилси, я ведь не чернокожий?

— Пожалуй что и нет, — сказала Дилси. Она смотрела на Нэнси. — Пожалуй что и нет. Так что же ты будешь делать?

Нэнси глядела на нас. Она совсем не двигалась, но глаза у нее так быстро бегали, словно она боялась, что не успеет все осмотреть. Она глядела на нас, на всех троих сразу.

— Помните, как я ночевала у вас в детской? — сказала она.

Она начала рассказывать, как мы проснулись рано утром и стали играть. Мы играли у нее на матрасе, тихонько, пока не проснулся отец и Нэнси не пришлось идти вниз и готовить завтрак.

— Попросите маму, чтобы мне сегодня тоже с вами ночевать, — сказала Нэнси. — Мне и тюфяка не надо. И мы опять будем играть.

Кэдди пошла к маме, Джейсон тоже пошел.

— Я не могу позволить, чтобы всякие негры ночевали у нас в доме, — сказала мама.

cried. He cried until mother said he couldn't have any dessert for three days if he didn't stop. Then Jason said he would stop if Dilsey would make a chocolate cake. Father was there.

"Why dont you do something about it?" mother said. "What do we have officers for?"

"Why is Nancy afraid of Jesus?" Caddy said. "Are you afraid of father, mother?"

"What could the officers do?" father said. "If Nancy hasn't seen him, how could the officers find him?"

"Then why is she afraid?" mother said.

"She says he is there. She says she knows he is there tonight."

"Yet we pay taxes," mother said. "I must wait here alone in this big house while you take a Negro woman home."

"You know that I am not lying outside with a razor," father said.

"I'll stop if Dilsey will make a chocolate cake," Jason said. Mother told us to go out and father said he didn't know if Jason would get a chocolate cake or not, but he knew what Jason was going to get in about a minute. We went back to the kitchen and told Nancy.

"Father said for you to go home and lock the door, and you'll be all right," Caddy said. "All right from what, Nancy? Is Jesus mad at you?" Nancy was holding the coffee cup in her hands again, her elbows on her knees and her hands holding the cup between her knees. She was looking into the cup. "What have you done that made Jesus mad?" Caddy said. Nancy let the cup go. It didn't break on the floor, but the coffee spilled out, and Nancy sat there with her hands still making the shape of the cup. She began to make the sound again, not loud. Not singing and not unsinging. We watched her.

Джейсон заплакал. Он плакал до тех пор, пока мама не сказала, что если он не перестанет, то три дня будет без сладкого. Тогда Джейсон сказал, что перестанет, если Дилси сделает шоколадный торт. Папа тоже был там.

— Почему ты ничего не предпримешь? — сказала мама. — Для чего у нас существует полиция?

— Почему Нэнси боится Иисуса? — спросила Кэddie. — А ты, мама, тоже боишься папы?

— Что же полиция может сделать? — возразил отец. — Где его искать, если Нэнси его даже не видела?

— Так чего она боится?

— Она говорит, что он тут, и она это знает. Говорит, что и сегодня он тут.

— Для чего-нибудь мы же платим налоги, — сказала мама. — А ты вот провожаешь всяких негритянок, а что я остаюсь одна в пустом доме, это ничего?

— Так я-то ведь тебя не подкарауливаю с бритвой за пазухой, — сказал отец.

— Я перестану, если Дилси сделает шоколадный торт, — сказал Джейсон.

Мама велела нам уйти, а отец сказал, что не знает, получит ли Джейсон шоколадный торт, но зато очень хорошо знает, что Джейсон получит, если не уберется сию же минуту из комнаты. Мы пошли в кухню, и Кэddie сказала Нэнси:

— Папа говорит, чтоб ты шла домой и заперла дверь, и никто тебя не тронет. Кто не тронет, Нэнси? Иисус, да? Он на тебя рассердился?

Нэнси все держала чашку обеими руками, опершись локтями о колени, опустив чашку между колен. Она глядела в чашку.

— Что ты сделала, что Иисус на тебя рассердился? — спросила Кэddie.

Нэнси выронила чашку. Чашка не разбилась, только кофе пролился, а Нэнси продолжала держать руки горсточкой, словно в них все еще была чашка. И опять она начала издавать этот звук, негромко. Как будто пение, а как будто и не пение. Мы смотрели на нее.

"Here," Dilsey said. "You quit that, now. You get ahold of yourself. You wait here. I going to get Versh to walk home with you." Dilsey went out.

We looked at Nancy. Her shoulders kept shaking, but she quit making the sound. We watched her. "What's Jesus going to do to you?" Caddy said. "He went away."

Nancy looked at us. "We had fun that night I stayed in yawls' room, didn't we?"

"I didn't," Jason said. "I didn't have any fun."

"You were asleep in mother's room," Caddy said. "You were not there."

"Let's go down to my house and have some more fun," Nancy said.

"Mother wont let us," I said. "It's too late now."

"Dont bother her," Nancy said. "We can tell her in the morning. She wont mind."

"She wouldn't let us," I said.

"Dont ask her now," Nancy said. "Don't bother her now."

"She didn't say we couldn't go," Caddy said.

"We didn't ask," I said.

"If you go, I'll tell," Jason said.

"We'll have fun," Nancy said. "They won't mind, just to my house. I been working for yawl a long time. They won't mind."

"I'm not afraid to go," Caddy said. "Jason is the one that's afraid. He'll tell."

"I'm not," Jason said.

"Yes, you are," Caddy said. "You'll tell."

"I won't tell," Jason said. "I'm not afraid."

"Jason ain't afraid to go with me," Nancy said. "Is you, Jason?"

"Jason is going to tell," Caddy said. The lane was dark.

— Ну, будет! — сказала Дилси. — Довольно уже. Нечего так распускаться. Посиди тут, а я пойду попрошу Верша, чтоб он тебя проводил.

Дилси вышла. Мы смотрели на Нэнси. Плечи у нее тряслись, но она замолчала. Мы смотрели на нее.

— Что тебе хочет сделать Иисус? — спросила Кэдди. — Ведь он уехал.

Нэнси взглянула на нас.

— Правда, как было весело, когда я у вас ночевала?

— Вовсе нет, — сказал Джейсон. — Мне совсем не было весело.

— Ты спал, — сказала Кэдди. — Тебя с нами не было.

— Пойдем сейчас ко мне и опять будем играть, — сказала Нэнси.

— Мама не позволит, — сказал я. — Поздно уже.

— А вы ей не говорите, — сказала Нэнси. — Скажете завтра. Она не рассердится.

— Мама не позволит, — сказал я.

— Не говорите ей сейчас, — сказала Нэнси. — Не надоедайте ей.

— Мама не говорила, что нельзя пойти, — сказала Кэдди.

— Мы ведь не спрашивали, — сказал я.

— Если вы пойдете, я расскажу, — сказал Джейсон.

— Мы станем играть, — сказала Нэнси. — Пойдем только до моего дома. Мама не рассердится. Я же сколько времени на вас работаю. Папа с мамой не рассердятся.

— Я пойду, я не боюсь, — сказала Кэдди. — Это Джейсон боится. Он расскажет маме.

— Я не боюсь, — сказал Джейсон.

— Нет, ты боишься. Ты маме расскажешь.

— Не расскажу, — сказал Джейсон. — Я не боюсь.

— Со мной Джейсон не будет бояться, — сказала Нэнси. — Правда, Джейсон?

— Джейсон маме расскажет, — сказала Кэдди.

В переулке было темно. Мы вышли на луг через калитку.

We passed the pasture gate. "I bet if something was to jump out from behind that gate, Jason would holler."

"I wouldn't," Jason said. We walked down the lane. Nancy was talking loud.

"What are you talking so loud for, Nancy?" Caddy said.

"Who; me?" Nancy said. "Listen at Quentin and Caddy and Jason saying I'm talking loud."

"You talk like there was five of us here," Caddy said. "You talk like father was here too."

"Who; me talking loud, Mr. Jason?" Nancy said.

"Nancy called Jason 'Mister,' " Caddy said.

"Listen how Caddy and Quentin and Jason talk," Nancy said.

"We're not talking loud," Caddy said. "You're the one that's talking like father—"

"Hush," Nancy said; "hush, Mr. Jason."

"Nancy called Jason 'Mister' aguh—"

"Hush," Nancy said. She was talking loud when we crossed the ditch and stooped through the fence where she used to stoop through with the clothes on her head. Then we came to her house. We were going fast then. She opened the door. The smell of the house was like the lamp and the smell of Nancy was like the wick, like they were waiting for one another to begin to smell. She lit the lamp and closed the door and put bar up. Then she quit talking loud, looking at us.

"What're we going to do?" Caddy said.

"What do yawl want to do?" Nancy said.

"You said we would have some fun," Caddy said.

There was something about Nancy's house; something you could smell besides Nancy and the house. Jason

— Если б из-за калитки что-нибудь выскочило, Джейсон бы заревел.

— Вовсе бы я не заревел! — сказал Джейсон.

Мы пошли дальше. Нэнси говорила очень громко.

— Почему ты так громко разговариваешь, Нэнси? — спросила Кэдди.

— Кто? Я? — спросила Нэнси. — Послушайте-ка, что они говорят, Квентин, Кэдди и Джейсон, будто я громко разговариваю.

— Ты так говоришь, словно тут еще кто-то есть пятый, — сказала Кэдди. — Словно папа тоже с нами.

— Кто громко говорит? Я, мистер Джейсон? — сказала Нэнси.

— Нэнси назвала Джейсона «мистер», — сказала Кэдди.

— Послушайте, как они разговаривают, Кэдди, Квентин и Джейсон, — сказала Нэнси.

— Мы вовсе не разговариваем, — сказала Кэдди. — Это ты одна разговариваешь, как будто папа...

— Тише, — сказала Нэнси. — Тише, мистер Джейсон.

— Нэнси опять назвала Джейсона «мистер»...

— Тише! — сказала Нэнси.

Она все время громко говорила, пока мы переходили через ров и пролезали сквозь изгородь, под которой она всегда пробиралась с узлом на голове. Наконец мы подошли к дому. Мы очень быстро шли. Она открыла дверь. Запах в доме был как будто лампа, а запах от самой Нэнси как будто фитиль, как будто они ждали друг друга, чтобы запахнуть еще сильнее. Нэнси зажгла лампу, закрыла дверь и задвинула засов. После этого она перестала громко разговаривать и посмотрела на нас.

— Что мы будем делать? — спросила Кэдди.

— А вы что хотите? — сказала Нэнси.

— Ты сказала, что мы будем играть.

Что-то нехорошее было в доме Нэнси, это чувствовалось, как запах. Даже Джейсон почувствовал.

smelled it, even. "I don't want to stay here," he said. "I want to go home."

"Go home, then," Caddy said.

"I don't want to go by myself," Jason said.

"We're going to have some fun," Nancy said.

"How?" Caddy said.

Nancy stood by the door. She was looking at us, only it was like she had emptied her eyes, like she had quit using them. "What do you want to do?" she said.

"Tell us a story," Caddy said. "Can you tell a story?"

"Yes," Nancy said.

"Tell it," Caddy said. We looked at Nancy. "You don't know any stories."

"Yes," Nancy said. "Yes, I do."

She came and sat in a chair before the hearth. There was a little fire there. Nancy built it up, when it was already hot inside. She built a good blaze. She told a story. She talked like her eyes looked, like her eyes watching us and her voice talking to us did not belong to her. Like she was living somewhere else, waiting somewhere else. She was outside the cabin. Her voice was inside and the shape of her, the Nancy that could stoop under a barbed wire fence with a bundle of clothes balanced on her head as though without weight, like a balloon, was there. But that was all. "And so this here queen come walking up to the ditch, where that bad man was hiding. She was walking up to the ditch, and she say, 'If I can just get past this here ditch,' was what she say..."

"What ditch?" Caddy said. "A ditch like that one out there? Why did a queen want to go into a ditch?"

"To get to her house," Nancy said. She looked at us. "She had to cross the ditch to get into her house quick and bar the door."

"Why did she want to go home and bar the door?" Caddy said.

— Я не хочу тут оставаться, — сказал он. — Я хочу домой.

— Ну и иди, пожалуйста, — сказала Кэдди.

— Я один не пойду, — сказал Джейсон.

— Вот мы сейчас будем играть, — сказала Нэнси.

— Во что? — спросила Кэдди.

Нэнси стояла возле двери. Она смотрела на нас, но глаза у нее были пустые, словно она ничего не видела.

— А вы во что хотите? — спросила она.

— Расскажи нам сказку, — сказала Кэдди. — Ты умеешь рассказывать сказки?

— Умею, — сказала Нэнси.

— Ну расскажи, — сказала Кэдди.

Мы смотрели на Нэнси.

— Да ты не знаешь никаких сказок, — сказала Кэдди.

— Нет, знаю, — сказала Нэнси. — Вот я вам сейчас расскажу.

Она пошла и села на стул возле очага. В очаге еще были горячие угли; она их раздула, и пламя вспыхнуло. Не пришлось даже зажигать. Нэнси развела большой огонь. Потом стала рассказывать сказку. Она говорила и смотрела так, как будто и голос и глаза были не ее, а чьи-то чужие, а ее самой тут не было. Она была где-то снаружи, в темноте. Ее голос был тут и ее тело — та Нэнси, которая умела проползти под изгородью с узлом на голове, плывшим над ней, как воздушный шар, словно он ничего не весил. Но только это и было тут.

— ...И вот пришла королева ко рву, где спрятался злой человек. Она опустилась в ров и сказала: «Если бы мне только перебраться через ров...»

— Какой ров? — спросила Кэдди. — Как у нас? Зачем она спустилась в ров?

— Чтоб добраться домой, — сказала Нэнси. — Надо было перейти ров, чтобы добраться домой.

— А зачем ей нужно было домой? — спросила Кэдди.

IV

Nancy looked at us. She quit talking. She looked at us. Jason's legs stuck straight out of his pants where he sat on Nancy's lap. "I don't think that's a good story," he said. "I want to go home."

"Maybe we had better," Caddy said. She got up from the floor. "I bet they are looking for us right now." She went toward the door.

"No," Nancy said. "Don't open it." She got up quick and passed Caddy. She didn't touch the door, the wooden bar.

"Why not?" Caddy said.

"Come back to the lamp," Nancy said. "We'll have fun. You don't have to go."

"We ought to go," Caddy said. "Unless we have a lot of fun." She and Nancy came back to the fire, the lamp.

"I want to go home," Jason said. "I'm going to tell."

"I know another story," Nancy said. She stood close to the lamp. She looked at Caddy, like when your eyes look up at a stick balanced on your nose. She had to look down to see Caddy, but her eyes looked like that, like when you are balancing a stick.

"I won't listen to it," Jason said. "I'll bang on the floor."

"It's a good one," Nancy said. "It's better than the other one."

"What's it about?" Caddy said. Nancy was standing by the lamp. Her hand was on the lamp, against the light, long and brown.

"Your hand is on that hot globe," Caddy said. "Don't it feel hot to your hand?"

Nancy looked at her hand on the lamp chimney. She took her hand away, slow. She stood there, looking at Caddy, wringing her long hand as though it were tied to her wrist with a string.

IV

Нэнси смотрела на нас. Она перестала рассказывать. Она смотрела на нас. У Джейсона ноги торчали из штанишек. Он носил короткие штанишки, потому что был маленький.

— Это плохая сказка, — сказал он. — Я хочу домой.

— Правда, пойдем домой, — сказала Кэдди и встала с полу. — Нас уже, наверно, ищут. — Она пошла к двери.

— Нет, — сказала Нэнси. — Не открывай.

Она вскочила и забежала вперед. К двери, к деревянному засову она не притронулась.

— Почему? — спросила Кэдди.

— Пойдем посидим еще возле лампы, — сказала Нэнси. — Будем играть. Рано еще уходить.

— Нам нельзя оставаться, — сказала Кэдди. — Разве что будет очень весело.

Они вместе с Нэнси вернулись к очагу.

— Я хочу домой, — сказал Джейсон. — Я все расскажу.

— Я знаю другую сказку, — сказала Нэнси. Она стояла у лампы, смотрела на Кэдди, но глаза у нее закатывались, как бывает, когда стараешься удержать палочку на кончике носа и смотришь на нее снизу вверх. Нэнси приходилось смотреть на Кэдди сверху вниз, а все-таки глаза у нее были такие.

— Я не хочу слушать, — сказал Джейсон. — Я буду топтать ногами.

— Это хорошая сказка, — сказала Нэнси. — Гораздо лучше той.

— О чем она? — спросила Кэдди.

Нэнси стояла возле лампы. Рукой она взялась за стекло, и рука против света была длинная и черная.

— Ты прямо за стекло взялась, — сказала Кэдди. — Разве тебе не горячо?

Нэнси посмотрела на свою руку. Она медленно отняла ее от стекла. Она стояла, глядя на Кэдди, и так вертела рукой, словно она у нее была привешена на веревочке.

"Let's do something else," Caddy said.

"I want to go home," Jason said.

"I got some popcorn," Nancy said. She looked at Caddy and then at Jason and then at me and then at Caddy again. "I got some popcorn."

"I don't like popcorn," Jason said. "I'd rather have candy."

Nancy looked at Jason. "You can hold the popper." She was still wringing her hand; it was long and limp and brown.

"All right," Jason said. "I'll stay a while if I can do that. Caddy can't hold it. I'll want to go home again if Caddy holds the popper."

Nancy built up the fire. "Look at Nancy putting her hands in the fire," Caddy said. "What's the matter with you, Nancy?"

"I got popcorn," Nancy said. "I got some." She took the popper from under the bed. It was broken. Jason began to cry.

"Now we can't have any popcorn," he said.

"We ought to go home, anyway," Caddy said. "Come on, Quentin."

"Wait," Nancy said; "wait. I can fix it. Don't you want to help me fix it?"

"I don't think I want any," Caddy said. "It's too late now."

"You help me, Jason," Nancy said. "Don't you want to help me?"

"No," Jason said. "I want to go home."

"Hush," Nancy said; "hush. Watch. Watch me. I can fix it so Jason can hold it and pop the corn." She got a piece of wire and fixed the popper.

"It won't hold good," Caddy said.

— Лучше что-нибудь другое будем делать, — сказала Кэдди.

— Я хочу домой, — сказал Джейсон.

— У меня есть кукуруза, — сказала Нэнси. Она посмотрела на Кэдди, потом на меня, потом на Джейсона, потом опять на Кэдди. — Давай поджарим кукурузу.

— Я не люблю кукурузу, — сказал Джейсон. — Я люблю конфеты.

Нэнси посмотрела на Джейсона.

— Я дам тебе подержать сковородку.

Она все еще вертела рукой. Рука была длинная и темная и как будто без костей.

— Хорошо, — сказал Джейсон. — Если я буду держать сковородку, я останусь. Кэдди не умеет держать сковородку. Если Кэдди будет держать сковородку, я уйду домой.

Нэнси раздула огонь.

— Смотри, Нэнси беретса прямо за огонь, — сказала Кэдди. — Что с тобой, Нэнси?

— У меня есть кукуруза, — сказала Нэнси. — Немножко есть.

Она достала сковородку из-под кровати. У сковородки была сломана ручка. Джейсон заплакал.

— Ну и не выйдет ничего, — сказал он.

— Все равно пора идти домой, — сказала Кэдди. — Квентин, пойдем.

— Подождите, — сказала Нэнси. — Подождите. Я ее сейчас почию. Ты разве не хочешь мне помочь?

— Мне расхотелось кукурузы, — сказала Кэдди. — Уже очень поздно.

— Ну ты мне помоги, Джейсон, — сказала Нэнси. — Ты мне поможешь, правда?

— Нет, — сказал Джейсон. — Я хочу домой.

— Не надо, — сказала Нэнси, — не надо. Смотри, что я буду делать. Я сейчас ее почию, и Джейсон будет ее держать и жарить кукурузу.

Она достала кусок проволоки и прикрепила ручку.

— Не будет держаться, — сказала Кэдди.

"Yes, it will," Nancy said. "Yawl watch. Yawl help me shell some corn."

The popcorn was under the bed too. We shelled it into the popper, and Nancy helped Jason hold the popper over the fire.

"It's not popping," Jason said. "I want to go home."

"You wait," Nancy said. "It'll begin to pop. We'll have fun then." She was sitting close to the fire. The lamp was turned up so high it was beginning to smoke.

"Why don't you turn it down some?" I said.

"It's all right," Nancy said. "I'll clean it. Yawl wait. The popcorn will start in a minute."

"I don't believe it's going to start," Caddy said. "We ought to start home, anyway. They'll be worried."

"No," Nancy said. "It's going to pop. Dilsey will tell um yawl with me. I been working for yawl long time. They won't mind if yawl at my house. You wait, now. It'll start popping any minute now."

Then Jason got some smoke in his eyes and he began to cry. He dropped the popper into the fire. Nancy got a wet rag and wiped Jason's face, but he didn't stop crying.

"Hush," she said. "Hush." But he didn't hush. Caddy took the popper out of the fire.

"It's burned up," she said. "You'll have to get some more popcorn, Nancy."

"Did you put all of it in?" Nancy said.

"Yes," Caddy said. Nancy looked at Caddy. Then she took the popper and opened it and poured the cinders into her apron and began to sort the grains, her hands long and brown, and we watching her.

"Haven't you got any more?" Caddy said.

"Yes," Nancy said; "yes. Look. This here ain't burnt. All we need to do is—"

"I want to go home," Jason said. "I'm going to tell."

— Отлично будет, — сказала Нэнси. — Вот увидишь. Ну, теперь помогите мне лущить кукурузу.

Кукуруза тоже была под кроватью. Мы стали лущить ее и класть на сковородку, а Нэнси помогала Джейсону держать сковородку над огнем.

— Она не лопается, — сказал Джейсон. — Я хочу домой.

— Подожди, — сказала Нэнси. — Сейчас начнет. Вот будет весело!

Она сидела у самого огня. Фитиль в лампе был выпущен слишком сильно, и лампа начала коптить.

— Почему ты ее не прикрутишь? — спросил я.

— Ничего, — сказала Нэнси. — Я потом смахну сажу. Смотри: сейчас начнет лопаться.

— И не думает даже, — сказала Кэдди. — И все равно надо идти домой. Наши будут беспокоиться.

— Нет, — сказала Нэнси. — Сейчас начнет лопаться. Дилси им скажет, что вы пошли со мной. Я столько времени у вас работала. Они не рассердятся, что вы пошли ко мне. Подождите. Сию минуту начнет лопаться.

Тут Джейсону попал дым в глаза, и он заплакал. Он уронил сковородку в огонь. Нэнси взяла мокрую тряпку и вытерла Джейсону лицо, а он все плакал.

— Ну, перестань, — сказала Нэнси, — перестань же. Но он не переставал.

Кэдди вытащила сковородку из огня.

— Все сгорело, — сказала она. — Надо еще кукурузы, Нэнси.

— А ты всю положила? — спросила Нэнси.

— Да, — сказала Кэдди.

Нэнси посмотрела на нее. Потом взяла сковородку, высыпала обгорелую кукурузу себе в фартук и стала отбирать зерна длинными темными пальцами. Мы смотрели на нее.

— Больше у тебя нет кукурузы? — спросила Кэдди.

— Есть, — сказала Нэнси. — Есть. Смотри, тут не вся сгорела. Нужно только...

— Я хочу домой, — сказал Джейсон. — Я все расскажу.

"Hush," Caddy said. We all listened. Nancy's head was already turned toward the barred door, her eyes filled with red lamplight. "Somebody is coming," Caddy said.

Then Nancy began to make that sound again, not loud, sitting there above the fire, her long hands dangling between her knees; all of a sudden water began to come out on her face in big drops, running down her face, carrying in each one a little turning ball of firelight like a spark until it dropped off her chin. "She's not crying," I said.

"I ain't crying," Nancy said. Her eyes were closed. "I ain't crying. Who is it?"

"I don't know," Caddy said. She went to the door and looked out. "We've got to go now," she said. "Here comes father."

"I'm going to tell," Jason said. "Yawl made me come."

The water still ran down Nancy's face. She turned in her chair. "Listen. Tell him. Tell him we going to have fun. Tell him I take good care of yawl until in the morning. Tell him to let me come home with yawl and sleep on the floor. Tell him I won't need no pallet. We'll have fun. You member last time how we had so much fun?"

"I didn't have fun," Jason said. "You hurt me. You put smoke in my eyes. I'm going to tell."

V

Father came in. He looked at us. Nancy did not get up. "Tell him," she said.

"Caddy made us come down here," Jason said. "I didn't want to."

Father came to the fire. Nancy looked up at him. "Can't you go to Aunt Rachel's and stay?" he said. Nancy looked

— Тсс! — сказала Кэдди.

Мы прислушались. Голова Нэнси была уже повернута к двери, глаза ее наполнились красным отблеском от лампы.

— Кто-то идет, — сказала Кэдди.

И тогда Нэнси опять начала издавать этот звук, негромко, сидя у огня, свесив длинные руки между колен; и вдруг по всему лицу у нее выступили крупные капли; они бежали по лицу и скатывались на подбородок, и в каждой капле крутился огненный шарик от огня в очаге.

— Она не плачет, — сказал я.

— Я не плачу, — сказала Нэнси; глаза у нее были закрыты. — Я не плачу. Кто это идет?

— Не знаю, — сказала Кэдди; она пошла к двери и выглянула. — Ну, теперь придется идти домой. Это папа.

— Я все расскажу, — сказал Джейсон. — Я не хотел идти, а вы меня заставили.

У Нэнси по лицу все еще бежали капли. Она повернулась на стуле.

— Послушайте, скажите ему... Скажите, что мы будем играть. Скажите, что я за вами присмотрю до утра. Попросите, чтоб он позволил мне пойти с вами и переночевать на полу. Скажите, что мне и тюфяка не нужно. Мы будем играть. Помните, как в тот раз было весело?

— Мне вовсе не было весело, — сказал Джейсон. — Ты мне сделала больно. Ты мне дыму в глаза напустила. Я все расскажу.

V

Вошел отец. Он посмотрел на нас. Нэнси не встала со стула.

— Скажите ему, — попросила она.

— Я не хотел идти, — сказал Джейсон, — а Кэдди меня заставила.

Отец подошел к очагу. Нэнси подняла глаза.

— Разве ты не можешь пойти к тетушке Рэйчел и у

up at father, her hands between her knees. "He's not here," father said. "I would have seen him. There's not a soul in sight."

"He in the ditch," Nancy said. "He waiting in the ditch yonder."

"Nonsense," father said. He looked at Nancy. "Do you know he's there?"

"I got the sign," Nancy said.

"What sign?"

"I got it. It was on the table when I come in. It was a hogbone, with blood meat still on it, laying by the lamp. He's out there. When yawl walk out that door, I gone."

"Gone where, Nancy?" Caddy said.

"I'm not a tattletale," Jason said.

"Nonsense," father said.

"He out there," Nancy said. "He looking through that window this minute, waiting for yawl to go. Then I gone."

"Nonsense," father said. "Lock up your house and we'll take you on to Aunt Rachel's."

"'T wont do no good," Nancy said. She didn't look at father now, but he looked down at her, at her long, limp, moving hands. "Putting it off wont do no good."

"Then what do you want to do?" father said.

"I don't know," Nancy said. "I can't do nothing. Just put it off. And that don't do no good. I reckon it belong to me. I reckon what I going to get ain't no more than mine."

"Get what?" Caddy said. "What's yours?"

"Nothing," father said. "You all must get to bed."

"Caddy made me come," Jason said.

"Go on to Aunt Rachel's," father said.

"It won't do no good," Nancy said. She sat before the fire, her elbows on her knees, her long hands between her knees. "When even your own kitchen wouldn't do no good. When even if I was sleeping on the floor in the room with your chillen, and the next morning there I am, and blood—"

нее переночевать? — спросил он. Нэнси смотрела на него, свесив руки между колен. — Его тут нет, — сказал отец. — Я бы увидел. Никого тут нет, ни живой души.

— Он во рву, — сказала Нэнси. — Спрятался во рву.

— Чепуха, — сказал отец. Он посмотрел на Нэнси. — Откуда ты знаешь, что он там?

— Мне был знак, — сказала Нэнси.

— Какой знак?

— Такой. На столе, когда я вошла. Свиная кость с окровавленным мясом. На столе лежала, возле лампы. Он там. Когда вы уйдете, вот в эту дверь, тут мне и конец.

— Какой конец, Нэнси? — спросила Кэдди.

— Я не ябеда, — сказал Джейсон.

— Чепуха! — сказал отец.

— Он там, — сказала Нэнси. — Смотрит сейчас в окно, ждет, когда вы уйдете. Тогда мне конец.

— Вздор! — сказал отец. — Запри дом, и мы тебя проводим к тетушке Рэйчел.

— Что толку! — сказала Нэнси. Она больше не смотрела на отца, но отец смотрел на нее сверху вниз, на ее длинные темные обмякшие руки. — Что толку тянуть?

— Что же ты думаешь делать? — спросил отец.

— Не знаю, — сказала Нэнси. — Что я могу сделать? Оттянуть еще немного. Да что толку? Так уж, видно, мне на роду написано. Что мне полагается, то и получу.

— Что получишь? — спросила Кэдди. — Что тебе полагается?

— Все это вздор, — сказал отец. — А вам всем надо спать.

— Я не хотел, а Кэдди меня заставила, — сказал Джейсон.

— Пойди к тетушке Рэйчел, — сказал отец.

— А что толку! — сказала Нэнси. Она сидела у очага, опершись локтями о колени, свесив длинные руки между колен. — Когда у вас, в собственной вашей кухне, и то нет защиты. И если бы я даже спала у вас в детской на полу, вместе с вашими детьми, все равно меня найдут утром в крови и...

"Hush," father said. "Lock the door and put out the lamp and go to bed."

"I scared of the dark," Nancy said. "I scared for it to happen in the dark."

"You mean you're going to sit right here with the lamp lighted?" father said. Then Nancy began to make the sound again, sitting before the fire, her long hands between her knees. "Ah, damnation," father said. "Come along, chillen. It's past bedtime."

"When yawl go home, I gone," Nancy said. She talked quieter now, and her face looked quiet, like her hands. "Anyway, I got my coffin money saved up with Mr. Lovelady." Mr. Lovelady was a short, dirty man who collected the Negro insurance, coming around to the cabins or the kitchens every Saturday morning, to collect fifteen cents. He and his wife lived at the hotel. One morning his wife committed suicide. They had a child, a little girl. He and the child went away. After a week or two he came back alone. We would see him going along the lanes and the back streets on Saturday mornings.

"Nonsense," father said. "You'll be the first thing I'll see in the kitchen tomorrow morning."

"You'll see what you'll see, I reckon," Nancy said. "But it will take the Lord to say what that will be."

VI

We left her sitting before the fire.

"Come and put the bar up," father said. But she didn't move. She didn't look at us again, sitting quietly there between the lamp and the fire. From some distance down the lane we could look back and see her through the open door.

"What, Father?" Caddy said. "What's going to happen?"

"Nothing," father said. Jason was on father's back, so Jason was the tallest of all of us. We went down into the

— Тсс! — сказал отец. — Запри дверь, погаси свет и ложись спать.

— Я боюсь темноты, — сказала Нэнси. — Я не хочу, чтоб это случилось в темноте.

— Что же, ты так с лампой и будешь сидеть всю ночь? — спросил отец.

И вдруг Нэнси опять начала издавать этот звук, сидя у очага, свесив длинные руки между колен.

— А, к черту, — сказал отец. — Марш домой, ребятишки! Пора спать.

— Когда вы уйдете, тут мне и конец, — сказала Нэнси. — Завтра я буду мертвая. Я уже скопила себе на гроб, я вносила мистеру Лавледи...

Мистер Лавледи был вечно грязный, невысокого роста человек, собиравший у негров страховые взносы; утром по субботам он обходил все хижины, и негры вносили ему по пятнадцать центов. Он с женой жил в гостинице. Однажды утром его жена покончила самоубийством. У них был ребенок, девочка. После того как его жена покончила с собой, мистер Лавледи уехал и увез ребенка. Через некоторое время он вернулся. По утрам в субботу мы часто видели, как он ходит по переулкам.

— Вздор, — сказал отец. — Завтра же утром увижу тебя у нас на кухне.

— Что увидите, то увидите. А что оно будет, про то один только господь бог знает.

VI

Мы вышли из дома Нэнси; она все сидела у очага.

— Запри дверь, — сказал отец, — задвинь засов.

Нэнси не шевельнулась. Она не взглянула на нас. Мы ушли, а она осталась у очага; дверь была открыта, и лампа горела.

— О чем она, папа? — сказала Кэдди. — Что должно случиться?

— Ничего, — сказал отец. Джейсон сидел у него на плечах и поэтому был самый высокий из всех нас. Мы спустились в ров; я молча во все всматривался. Но там,

ditch. I looked at it, quiet. I couldn't see much where the moonlight and the shadows tangled.

"If Jesus is hid here, he can see us, cant he?" Caddy said.

"He's not there," father said. "He went away a long time ago."

"You made me come," Jason said, high; against the sky it looked like father had two heads, a little one and a big one. "I didn't want to."

We went up out of the ditch. We could still see Nancy's house and the open door, but we couldn't see Nancy now, sitting before the fire with the door open, because she was tired. "I just done got tired," she said. "I just a nigger. It ain't no fault of mine."

But we could hear her, because she began just after we came up out of the ditch, the sound that was not singing and not unsinging. "Who will do our washing now, Father?" I said.

"I'm not a nigger," Jason said, high and close above father's head.

"You're worse," Caddy said, "you are a tattletale. If something was to jump out, you'd be scairder than a nigger."

"I wouldn't," Jason said.

"You'd cry," Caddy said.

"Caddy," father said.

"I wouldn't!" Jason said.

"Scairy cat," Caddy said.

"Candace," father said.

где лунный свет переплетался с тенями, трудно было что-нибудь разглядеть.

— Если Иисус спрятался здесь, он нас видит, правда? — сказала Кэдди.

— Его здесь нет, — сказал отец. — Он давно уехал.

— Ты меня заставила, — сказал Джейсон со своей вышки; на фоне неба казалось, что у отца две головы — одна маленькая, другая большая. — А я не хотел идти.

Мы поднялись изо рва по тропинке. Отсюда все еще был виден дом Нэнси с растворенной дверью, но самой Нэнси уже не было видно — как она сидит там у очага, распахнув дверь настежь, так как устала ждать.

— Устала я, — сказала она нам напоследок, когда мы уходили. — Ох как устала. Я всего только негритянка. Это же не моя вина.

Но ее еще было слышно, потому что как раз после того, как мы вышли изо рва, она опять начала издавать этот звук — как будто пение, а как будто и совсем не пение.

— Кто теперь будет нам стирать? — спросил я.

— Я не черномазый, — сказал Джейсон со своей вышки, где он маячил у самой папиной головы.

— Ты хуже, — сказала Кэдди, — ты ябеда. А если бы что-нибудь выскочило, ты бы испугался хуже всякого черномазого.

— И вовсе нет, — сказал Джейсон.

— Ты бы заревел, — сказала Кэдди.

— Кэдди! — сказал отец.

— Вовсе я бы не заревел, — сказал Джейсон.

— Трусишка, — сказала Кэдди.

— Кэндейси! — сказал отец.



ERNEST HEMINGWAY

Indian Camp

At the lake shore there was another rowboat drawn up. The two Indians stood waiting.

Nick and his father got in the stern of the boat and the Indians shoved it off and one of them got in to row. Uncle George sat in the stern of the camp rowboat. The young Indian shoved the camp boat off and got in to row Uncle George.

The two boats started off in the dark, Nick heard the oarlocks of the other boat quite a way ahead of them in the mist. The Indians rowed with quick choppy strokes. Nick lay back with his father's arm around him. It was cold on the water. The Indian who was rowing them was working very hard, but the other boat moved further ahead in the mist all the time.

"Where are we going, Dad?" Nick asked.

"Over to the Indian camp. There is an Indian lady very sick."

"Oh," said Nick.

Across the bay they found the other boat beached. Uncle George was smoking a cigar in the dark. The young Indian pulled the boat way up on the beach. Uncle George gave both the Indians cigars.

They walked up from the beach through a meadow that



ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

Индийский поселок

На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая.

Ник с отцом перешли на корму, индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индеец толкнул ее в воду и тоже сел на весла.

Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип уключин другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими, резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индеец греб изо всех сил, но другая лодка все время шла впереди в тумане.

— Куда мы едем, папа? — спросил Ник.

— На ту сторону, в индийский поселок. Там одна индианка тяжело больна.

— А... — сказал Ник.

Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индеец вытащил их лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре.

От берега они пошли лугом по траве, насквозь про-

was soaking wet with dew, following the young Indian who carried a lantern. Then they went into the woods and followed a trail that led to the logging road that ran back into the hills. It was much lighter on the logging road as the timber was cut away on both sides. The young Indian stopped and blew out his lantern and they all walked on along the road.

They came around a bend and a dog came out barking. Ahead were the lights of the shanties where the Indian bark-peelers lived. More dogs rushed out at them. The two Indians sent them back to the shanties. In the shanty nearest the road there was a light in the window. An old woman stood in the doorway holding a lamp.

Inside on a wooden bunk lay a young Indian woman. She had been trying to have her baby for two days. All the old women in the camp had been helping her. The men had moved off up the road to sit in the dark and smoke out of range of the noise she made. She screamed just as Nick and the two Indians followed his father and Uncle George into the shanty. She lay in the lower bunk, very big under a quilt. Her head was turned to one side. In the upper bunk was her husband. He had cut his foot very badly with an ax three days before. He was smoking a pipe. The room smelled very bad.

Nick's father ordered some water to be put on the stove, and while it was heating he spoke to Nick.

"This lady is going to have a baby, Nick," he said.

"I know," said Nick.

"You don't know," said his father. "Listen to me. What she is going through is called being in labor. The baby wants to be born and she wants it to be born. All her muscles are trying to get the baby born. That is what is happening when she screams."

"I see," Nick said.

Just then the woman cried out.

"Oh, Daddy, can't you give her something to make her stop screaming?" asked Nick.

"No. I haven't any anæsthetic," his father said. "But

мокшей от росы; впереди молодой индеец нес фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль, к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индеец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге.

За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьевщики. Еще несколько собак кинулось на них. Индейцы прогнали собак назад, к лачугам. В окне ближней лачуги светился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу.

Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьи сутки. Все старухи поселка собрались возле нее. Мужчины ушли подальше; они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно ее криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник вслед за отцом и дядей Джорджем вошли в барак. Она лежала на нижних нарах, живот ее горой поднимался под одеялом. Голова была повернута набок. На верхних нарах лежал ее муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло.

Отец Ника велел поставить воды на очаг и, пока она нагревалась, говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник, — сказал он, — у этой женщины должен родиться ребенок.

— Я знаю, — сказал Ник.

— Ничего ты не знаешь, — сказал отец. — Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребенок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все ее мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что происходит, когда она кричит.

— Понимаю, — сказал Ник.

В эту минуту женщина опять закричала.

— Ох, папа, — сказал Ник, — разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала?

— Со мной нет анестезирующих средств, — ответил

her screams are not important. I don't hear them because they are not important."

The husband in the upper bunk rolled over against the wall.

The woman in the kitchen motioned to the doctor that the water was hot. Nick's father went into the kitchen and poured about half of the water out of the big kettle into a basin. Into the water left in the kettle he put several things he unwrapped from a handkerchief.

"Those must boil," he said, and began to scrub his hands in the basin of hot water with a cake of soap he had brought from the camp. Nick watched his father's hands scrubbing each other with the soap. While his father washed his hands very carefully and thoroughly, he talked.

"You see, Nick, babies are supposed to be born head first but sometimes they're not. When they're not they make a lot of trouble for everybody. Maybe I'll have to operate on this lady. We'll know in a little while."

When he was satisfied with his hands he went in and went to work.

"Pull back that quilt, will you, George?" he said. "I'd rather not touch it."

Later when he started to operate Uncle George and three Indian men held the woman still. She bit Uncle George on the arm and Uncle George said, "Damn squaw bitch!" and the young Indian who had rowed Uncle George over laughed at him. Nick held the basin for his father. It all took a long time.

His father picked the baby up and slapped it to make it breathe and handed it to the old woman.

"See, it's a boy, Nick," he said. "How do you like being an interne?"

Nick said, "All right." He was looking away so as not to see what his father was doing.

"There. That gets it," said his father and put something into the basin.

Nick didn't look at it.

"Now," his father said, "there's some stitches to put in. You can watch this or not, Nick, just as you like. I'm going

отец. — Но ее крики не имеют значения. Я не слышу ее криков, потому что они не имеют значения.

На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене.

Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошел на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котел он положил какие-то инструменты, которые принес с собой завернутыми в носовой платок.

— Это должно прокипеть, — сказал он и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесенным с собой из лагеря.

Ник смотрел, как отец трет мылом то одну, то другую руку. Прodelывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником.

— Видишь ли, Ник, ребенку полагается идти головой вперед, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим.

Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошел обратно в комнату и приступил к делу.

— Отверни одеяло, Джордж, — сказал он, — я не хочу к нему прикасаться.

Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал: «Ах, сукина дочь!» — и молодой индеец, который вез его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Все это тянулось очень долго.

Отец Ника подхватил ребенка, шлепнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе.

— Видишь, Ник, это мальчик, — сказал он. — Ну, как тебе нравится быть моим ассистентом?

— Ничего, — сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец.

— Так. Ну, теперь все, — сказал отец и бросил что-то в таз. Ник не смотрел туда.

— Ну, — сказал отец, — теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я

to sew up the incision I made.”

Nick did not watch. His curiosity had been gone for a long time.

His father finished and stood up. Uncle George and the three Indian men stood up. Nick put the basin out in the kitchen.

Uncle George looked at his arm. The young Indian smiled reminiscently.

“I’ll put some peroxide on that, George,” the doctor said.

He bent over the Indian woman. She was quiet now and her eyes were closed. She looked very pale. She did not know what had become of the baby or anything.

“I’ll be back in the morning,” the doctor said, standing up. “The nurse should be here from St. Ignace by noon and she’ll bring everything we need.”

He was feeling exalted and talkative as football players are in the dressing room after a game.

“That’s one for the medical journal, George,” he said. “Doing a Cæsarian with a jack-knife and sewing it up with nine-foot, tapered gut leaders.”

Uncle George was standing against the wall, looking at his arm.

“Oh, you’re a great man, all right,” he said.

“Ought to have a look at the proud father. They’re usually the worst sufferers in these little affairs,” the doctor said. “I must say he took it all pretty quietly.”

He pulled back the blanket from the Indian’s head. His hand came away wet. He mounted on the edge of the lower bunk with the lamp in one hand and looked in. The Indian lay with his face toward the wall. His throat had been cut from ear to ear. The blood had flowed down into a pool where his body sagged the bunk. His head rested on his left arm. The open razor lay, edge up, in the blankets.

“Take Nick out of the shanty, George,” the doctor said.

сейчас буду зашивать разрез.

Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало.

Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнес таз на кухню.

Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индеец усмехнулся.

— Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж, — сказал доктор.

Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно, с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала, ни что с ее ребенком, ни что делается вокруг.

— Я приеду завтра, — сказал доктор. — Сиделка из Сент-Игнеса, наверно, будет здесь в полдень и привезет все, что нужно.

Он был возбужден и разговорчив, как футболист после удачного матча.

— Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж, — сказал он. — Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифутовой вяленой жилы.

Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку.

— Ну, еще бы, ты у нас знаменитый хирург, — сказал он.

— Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже приходится при этих маленьких семейных событиях, — сказал отец Ника. — Хотя, должен сказать, он это перенес на редкость спокойно.

Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он стал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова его лежала на левой руке. Открытая бритва, лезвием вверх, валялась среди одеяла.

— Уведи Ника, Джордж, — сказал доктор.

There was no need of that. Nick, standing in the door of the kitchen, had a good view of the upper bunk when his father, the lamp in one hand, tipped the Indian's head back.

It was just beginning to be daylight when they walked along the logging road back toward the lake.

"I'm terribly sorry I brought you along, Nickie," said his father, all his post-operative exhilaration gone. "It was an awful mess to put you through."

"Do ladies always have such a hard time having babies?" Nick asked.

"No, that was very, very exceptional."

"Why did he kill himself, Daddy?"

"I don't know Nick. He couldn't stand things, I guess."

"Do many men kill themselves, Daddy?"

"Not very many, Nick."

"Do many women?"

"Hardly ever."

"Don't they ever?"

"Oh, yes. They do sometimes."

"Daddy?"

"Yes."

"Where did Uncle George go?"

"He'll turn up all right."

"Is dying hard, Daddy?"

"No, I think it's pretty easy, Nick. It all depends."

They were seated in the boat, Nick in the stern, his father rowing. The sun was coming up over the hills. A bass jumped, making a circle in the water. Nick trailed his hand in the water. It felt warm in the sharp chill of the morning.

In the early morning on the lake sitting in the stern of the boat with his father rowing, he felt quite sure that he would never die.

Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни от-лично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца.

Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру.

— Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник, — сказал отец. Все его недавнее возбуждение прошло. — Надо ж было случиться такой истории.

— Что, женщинам всегда так трудно, когда у них ро-дятся дети? — спросил Ник.

— Нет, это был совершенно исключительный слу-чай.

— Почему он убил себя, папа?

— Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть.

— А часто мужчины себя убивают?

— Нет, Ник. Не очень.

— А женщины?

— Еще реже.

— Никогда?

— Ну, иногда случается.

— Папа!

— Да?

— Куда пошел дядя Джордж?

— Он сейчас придет.

— Трудно умирать, папа?

— Нет. Я думаю, это совсем нетрудно, Ник. Все зави-сит от обстоятельств.

Они сидели в лодке, Ник — на корме, отец — на ве-слах. Солнце вставало над холмами. Плеснулся окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой.

В этот ранний час на озере, в лодке, возле отца, си-девшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что ни-когда не умрет.

The Killers

The door of Henry's lunch-room opened and two men came in. They sat down at the counter.

"What's yours?" George asked them.

"I don't know," one of the men said. "What do you want to eat, Al?"

"I don't know," said Al. "I don't know what I want to eat."

Outside it was getting dark. The street-light came on outside the window. The two men at the counter read the menu. From the other end of the counter Nick Adams watched them. He had been talking to George when they came in.

"I'll have a roast pork tenderloin with apple sauce and mashed potatoes," the first man said.

"It isn't ready yet."

"What the hell do you put it on the card for?"

"That's the dinner," George explained. "You can get that at six o'clock."

George looked at the clock on the wall behind the counter.

"It's five o'clock."

"The clock says twenty minutes past five," the second man said.

"It's twenty minutes fast."

"Oh, to hell with the clock," the first man said. "What have you got to eat?"

"I can give you any kind of sandwiches," George said. "You can have ham and eggs, bacon and eggs, liver and bacon, or a steak."

"Give me chicken croquettes with green peas and cream sauce and mashed potatoes."

"That's the dinner."

"Everything we want's the dinner, eh? That's the way you work it."

"I can give you ham and eggs, bacon and eggs, liver—"

"I'll take ham and eggs," the man called Al said. He wore a derby hat and a black overcoat buttoned across the

Убийцы

Дверь закуской Генри отворилась. Вошли двое и сели у стойки.

— Что для вас? — спросил Джордж.

— Сам не знаю, — сказал один. — Ты что возьмешь, Эл?

— Не знаю, — ответил Эл. — Не знаю, что взять.

На улице уже темнело. За окном зажегся фонарь. Вошедшие просматривали меню. Ник Адамс глядел на них из-за угла стойки. Он там стоял и разговаривал с Джорджем, когда они вошли.

— Дай мне свиное филе под яблочным соусом и картофельное пюре, — сказал первый.

— Филе еще не готово.

— Какого же черта оно стоит в меню?

— Это из обеда, — пояснил Джордж. — Обеды с шести часов.

Джордж взглянул на стенные часы над стойкой.

— А сейчас пять.

— На часах двадцать минут шестого, — сказал второй.

— Они спешат на двадцать минут.

— Черт с ними, с часами, — сказал первый. — Что же у тебя есть?

— Могу предложить разные сэндвичи, — сказал Джордж. — Яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку с салом, бифштекс.

— Дай мне куриные крокеты под белым соусом с зеленым горошком и картофельным пюре.

— Это из обеда.

— Что ни спросишь — все из обеда. Порядки, нечего сказать.

— Возьмите яичницу с ветчиной, яичницу с салом, печенку...

— Давай яичницу с ветчиной, — сказал тот, которого звали Эл. На нем был котелок и наглухо застегнутое

chest. His face was small and white and he had tight lips. He wore a silk muffler and gloves.

"Give me bacon and eggs," said the other man. He was about the same size as Al. Their faces were different, but they were dressed like twins. Both wore overcoats too tight for them. They sat leaning forward, their elbows on the counter.

"Got anything to drink?" Al asked.

"Silver beer, bevo, ginger-ale," George said.

"I mean you got anything to *drink*?"

"Just those I said."

"This is a hot town," said the other. "What do they call it?"

"Summit."

"Ever hear of it?" Al asked his friend.

"No," said the friend.

"What do you do here nights?" Al asked.

"They eat the dinner," his friend said. "They all come here and eat the big dinner."

"That's right," George said.

"So you think that's right?" Al asked George.

"Sure."

"You're a pretty bright boy, aren't you?"

"Sure," said George.

"Well, you're not," said the other little man. "Is he, Al?"

"He's dumb," said Al. He turned to Nick. "What's your name?"

"Adams."

"Another bright boy," Al said. "Ain't he a bright boy, Max?"

"The town's full of bright boys," Max said.

George put the two platters, one of ham and eggs, the other of bacon and eggs, on the counter. He set down two side-dishes of fried potatoes and closed the wicket into the kitchen.

"Which is yours?" he asked Al.

"Don't you remember?"

"Ham and eggs."

"Just a bright boy," Max said. He leaned forward and

черное пальто. Лицо у него было маленькое и бледное, губы плотно сжаты. Он был в перчатках и шелковом кашне.

— А мне яичницу с салом, — сказал другой. Они были почти одного роста, лицом непохожи, но одеты одинаково, оба в слишком узких пальто. Они сидели, наклонясь вперед, положив локти на стойку.

— Есть что-нибудь выпить? — спросил Эл.

— Лимонад, морс, шипучка.

— *Выпить*, я спрашиваю.

— Только то, что я сказал.

— Веселый городок, — сказал другой. — Кстати, как он называется?

— Сэммит.

— Слыхал когда-нибудь, Макс? — спросил Эл.

— Нет.

— Что тут делают по вечерам? — спросил Эл.

— Обедают, — сказал Макс. — Все приходят сюда и едят этот знаменитый обед.

— Угадали, — сказал Джордж.

— По-твоему, я угадал? — переспросил Эл.

— Точно.

— А ты, я вижу, умница.

— Точно.

— Ну и врешь, — сказал Макс. — Ведь он врет, Эл?

— Балда он, — ответил Эл. Он повернулся к Нику. — Тебя как зовут?

— Адамс.

— Тоже умница хоть куда, — сказал Эл. — Верно, Макс?

— В этом городе все как на подбор, — ответил Макс.

Джордж подал две тарелки, яичницу с салом и яичницу с ветчиной. Потом он поставил рядом две порции жареного картофеля и захлопнул окошечко в кухню.

— Вы что заказывали? — спросил он Эла.

— А ты сам не помнишь?

— Яичницу с ветчиной.

— Ну разве не умница? — сказал Макс. Он протянул

took the ham and eggs. Both men ate with their gloves on. George watched them eat.

"What are *you* looking at?" Max looked at George.

"Nothing."

"The hell you were. You were looking at me."

"Maybe the boy meant it for a joke, Max," Al said.

George laughed.

"You don't have to laugh," Max said to him. "You don't have to laugh at all, see?"

"All right," said George.

"So he thinks it's all right." Max turned to Al. "He thinks it's all right. That's a good one."

"Oh, he's a thinker," Al said. They went on eating.

"What's the bright boy's name down the counter?" Al asked Max.

"Hey, bright boy," Max said to Nick. "You go around on the other side of the counter with your boy friend."

"What's the idea?" Nick asked.

"There isn't any idea."

"You better go around, bright boy," Al said. Nick went around behind the counter.

"What's the idea?" George asked.

"None of your damn business," Al said. "Who's out in the kitchen?"

"The nigger."

"What do you mean the nigger?"

"The nigger that cooks."

"Tell him to come in."

"What's the idea?"

"Tell him to come in."

"Where do you think you are?"

"We know damn well where we are," the man called Max said. "Do we look silly?"

"You talk silly," Al said to him. "What the hell do you argue with this kid for? Listen," he said to George, "tell the nigger to come out here."

"What are you going to do to him?"

"Nothing. Use your head, bright boy. What would we do to a nigger?"

руку и взял тарелку. Оба ели, не снимая перчаток. Джордж смотрел, как они едят.

— Ты чего смотришь? — обернулся Макс к Джорджу.

— Просто так.

— Да, как же, рассказывай. На меня смотришь.

— Это он сострил, Макс, — сказал Эл.

Джордж рассмеялся.

— Нечего смеяться, — сказал ему Макс. — Тебе нечего смеяться, понял?

— Ладно, пусть будет по-вашему, — сказал Джордж.

— Слышишь, Эл? Он согласен, пусть будет по-нашему. — Макс взглянул на Эла. — Ловко, а?

— Голова у него работает, — сказал Эл. Они продолжали есть.

— Как зовут того, второго? — спросил Эл Макса.

— Эй, умница, — позвал Макс. — Ну-ка, ступай к своему приятелю за стойку.

— А в чем дело? — спросил Ник.

— Да ни в чем.

— Ну, ну, поворачивайся, — сказал Эл. Ник зашел за стойку.

— В чем дело? — спросил Джордж.

— Не твоя забота, — ответил Эл. — Кто у вас там на кухне?

— Негр.

— Что еще за негр?

— Повар.

— Позови его сюда.

— А в чем дело?

— Позови его сюда.

— Да вы знаете, куда пришли?

— Не беспокойся, знаем, — сказал тот, которого звали Макс. — Дураки мы, что ли?

— Тебя послушать, так похоже на то, — сказал Эл. — Чего ты канителишься с этим младенцем? Эй, ты, — сказал он Джорджу. — Позови сюда негра. Живо.

— А что вам от него нужно?

— Ничего. Пошевели мозгами, умница. Что нам может быть нужно от негра?

George opened the slit that opened back into the kitchen. "Sam," he called. "Come in here a minute."

The door to the kitchen opened and the nigger came in. "What was it?" he asked. The two men at the counter took a look at him.

"All right, nigger. You stand right there," Al said.

Sam, the nigger, standing in his apron, looked at the two men sitting at the counter. "Yes, sir," he said. Al got down from his stool.

"I'm going back to the kitchen with the nigger and bright boy," he said. "Go on back to the kitchen, nigger. You go with him, bright boy." The little man walked after Nick and Sam, the cook, back into the kitchen. The door shut after them. The man called Max sat at the counter opposite George. He didn't look at George but looked in the mirror that ran along back of the counter. Henry's had been made over from a saloon into a lunch-counter.

"Well, bright boy," Max said, looking into the mirror, "why don't you say something?"

"What's it all about?"

"Hey, Al," Max called, "bright boy wants to know what it's all about."

"Why don't you tell him?" Al's voice came from the kitchen.

"What do you think it's all about?"

"I don't know."

"What do you think?"

Max looked into the mirror all the time he was talking.

"I wouldn't say."

"Hey, Al, bright boy says he wouldn't say what he thinks it's all about."

"I can hear you, all right," Al said from the kitchen. He had propped open the slit that dishes passed through into the kitchen with a catsup bottle. "Listen, bright boy," he said from the kitchen to George. "Stand a little further along the bar. You move a little to the left, Max." He was like a photographer arranging for a group picture.

Джордж открыл окошечко в кухню.

— Сэм, — позвал он. — Выйди сюда на минутку.

Кухонная дверь отворилась, и вошел негр.

— Что случилось? — спросил он.

Сидевшие у стойки оглядели его.

— Ладно, черномазый, стань тут, — сказал Эл.

Повар, теребя фартук, смотрел на незнакомых людей у стойки.

— Слушаю, сэр, — сказал он.

Эл слез с табурета.

— Я пойду на кухню с этими двумя, — сказал он. — Ступай к себе на кухню, черномазый. И ты тоже, умница.

Пропустив вперед Ника и повара, Эл прошел на кухню. Дверь за ним закрылась. Макс остался у стойки, напротив Джорджа. Он смотрел не на Джорджа, а в длинное зеркало над стойкой. В этом помещении раньше был салун.

— Ну-с, — сказал Макс, глядя в зеркало. — Что же ты молчишь, умница?

— Что все это значит?

— Слышишь, Эл, — крикнул Макс. — Он хочет знать, что все это значит.

— Что же ты ему не скажешь? — отозвался голос Эла из кухни.

— Ну, как ты думаешь, что все это значит?

— Не знаю.

— А все-таки?

Разговаривая, Макс все время смотрел в зеркало.

— Не могу догадаться.

— Слышишь, Эл, он не может догадаться, что все это значит.

— Не кричи, я и так слышу, — ответил Эл из кухни. Он поднял окошечко, через которое передавали блюда, и подпер его бутылкой из-под томатного соуса. — Послушай-ка, ты, — обратился он к Джорджу, — подвинься немного вправо. А ты, Макс, немного влево. — Он расставлял их, точно фотограф перед съемкой.

"Talk to me, bright boy," Max said. "What do you think's going to happen?"

George did not say anything.

"I'll tell you," Max said. "We're going to kill a Swede. Do you know a big Swede named Ole Andreson?"

"Yes."

"He comes here to eat every night, don't he?"

"Sometimes he comes here."

"He comes here at six o'clock, don't he?"

"If he comes."

"We know all that, bright boy," Max said. "Talk about something else. Ever go to the movies?"

"Once in a while."

"You ought to go to the movies more. The movies are fine for a bright boy like you."

"What are you going to kill Ole Andreson for? What did he ever do to you?"

"He never had a chance to do anything to us. He never even seen us."

"And he's only going to see us once," Al said from the kitchen.

"What are you going to kill him for, then?" George asked.

"We're killing him for a friend. Just to oblige a friend, bright boy."

"Shut up," said Al from the kitchen. "You talk too goddam much."

"Well, I got to keep bright boy amused. Don't I, bright boy?"

"You talk too damn much," Al said. "The nigger and my bright boy are amused by themselves. I got them tied up like a couple of girl friends in the convent."

"I suppose you were in a convent?"

"You never know."

"You were in a kosher convent. That's where you were."

George looked up at the clock.

"If anybody comes in you tell them the cook is off, and if they keep after it, you tell them you'll go back and cook yourself. Do you get that, bright boy?"

— Побеседуем, умница, — сказал Макс. — Так как, по-твоему, что мы собираемся сделать?

Джордж ничего не ответил.

— Ну, я тебе скажу: мы собираемся убить одного шведа. Знаешь ты длинного шведа, Оле Андресона?

— Да.

— Он тут обедает каждый вечер?

— Иногда обедает.

— Приходит ровно в шесть?

— Если вообще приходит.

— Так. Это нам все известно, — сказал Макс. — Поговорим о чем-нибудь другом. В кино бываешь?

— Изредка.

— Тебе бы надо ходить почаще. Кино — это как раз для таких, как ты.

— За что вы хотите убить Оле Андресона? Что он вам сделал?

— Пока что ничего не сделал. Он нас в глаза не видал.

— И увидит только раз в жизни, — добавил Эл из кухни.

— Так за что же вы хотите убить его? — спросил Джордж.

— Нас попросил один знакомый. Просто дружеская услуга, понимаешь?

— Заткнись, — сказал Эл из кухни. — Слишком ты много болтаешь.

— Должен же я развлекать собеседника. Верно, умница?

— Много болтаешь, — повторил Эл. — Вот мои тут сами развлекаются. Лежат, связанные, рядышком, как подружки в монастырской школе.

— А ты был в монастырской школе?

— Может, и был.

— В хедере ты был, вот где.

Джордж взглянул на часы.

— Если кто войдет, скажешь, что повар ушел, а если это не поможет, пойдешь на кухню и сам что-нибудь сготовишь, понятно? Ты ведь умница.

"All right," George said. "What you going to do with us afterward?"

"That'll depend," Max said. "That's one of those things you never know at the time."

George looked up at the clock. It was a quarter past six. The door from the street opened. A street-car motorman came in.

"Hello, George," he said. "Can I get supper?"

"Sam's gone out," George said. "He'll be back in about half an hour."

"I'd better go up the street," the motorman said. George looked at the clock. It was twenty minutes past six.

"That was nice, bright boy," Max said. "You're a regular little gentleman."

"He knew I'd blow his head off," Al said from the kitchen.

"No," said Max. "It ain't that. Bright boy is nice. He's a nice boy. I like him."

At six-fifty-five George said: "He's not coming."

Two other people had been in the lunch-room. Once George had gone out to the kitchen and made a ham-and-egg sandwich "to go" that a man wanted to take with him. Inside the kitchen he saw Al, his derby hat tipped back, sitting on a stool beside the wicket with the muzzle of a sawed-off shotgun resting on the ledge. Nick and the cook were back to back in the corner, a towel tied in each of their mouths. George had cooked the sandwich, wrapped it up in oiled paper, put it in a bag, brought it in, and the man had paid for it and gone out.

"Bright boy can do everything," Max said. "He can cook and everything. You'd make some girl a nice wife, bright boy."

"Yes?" George said. "Your friend, Ole Andreson, isn't going to come."

"We'll give him ten minutes," Max said.

Max watched the mirror and the clock. The hands of the clock marked seven o'clock, and then five minutes past seven.

— Понятно, — ответил Джордж. — А что вы с нами после сделаете?

— А это смотря по обстоятельствам, — ответил Макс. — Этого, видишь ли, наперед нельзя сказать.

Джордж взглянул на часы. Было четверть седьмого. Дверь с улицы открылась. Вошел вагоновожатый.

— Здорово, Джордж, — сказал он. — Пообедать можно?

— Сэм ушел, — сказал Джордж. — Будет через полчаса.

— Ну, я пойду еще куда-нибудь, — сказал вагоновожатый. Джордж взглянул на часы. Было уже двадцать минут седьмого.

— Вот молодец, — сказал Макс. — Одно слово — умница.

— Он знал, что я ему голову прострелю, — сказал Эл из кухни.

— Нет, — сказал Макс, — это не потому. Он славный мальй. Он мне нравится.

Без пяти семь Джордж сказал:

— Он не придет.

За это время в закусочную заходили еще двое. Один спросил сэндвич «навынос», и Джордж пошел на кухню поджарить для сэндвича яичницу с салом. В кухне он увидел Эла; сдвинув котелок на затылок, тот сидел на табурете, перед окошечком, положив на подоконник ствол обреза. Ник и повар лежали в углу, связанные спина к спине. Рты у обоих были заткнуты полотенцами. Джордж приготовил сэндвич, завернул в пергаментную бумагу, положил в пакет и вынес из кухни. Посетитель заплатил и ушел.

— Ну как же не умница — ведь все умеет, — сказал Макс. — И стряпать, и все, что угодно. Хозяйственный будет муженек у твоей жены.

— Может быть, — сказал Джордж. — А ваш приятель Оле Андресон не придет.

— Дадим ему еще десять минут, — сказал Макс.

Макс поглядывал то в зеркало, то на часы. Стрелки показывали семь часов, потом пять минут восьмого.

"Come on, Al," said Max. "We better go. He's not coming."

"Better give him five minutes," Al said from the kitchen.

In the five minutes a man came in, and George explained that the cook was sick.

"Why the hell don't you get another cook?" the man asked.

"Aren't you running a lunch-counter?" He went out.

"Come on, Al," Max said.

"What about the two bright boys and the nigger?"

"They're all right."

"You think so?"

"Sure. We're through with it."

"I don't like it," said Al. "It's sloppy. You talk too much."

"Oh, what the hell," said Max. "We got to keep amused, haven't we?"

"You talk too much, all the same," Al said. He came out from the kitchen. The cut-off barrels of the shotgun made a slight bulge under the waist of his too tight-fitting overcoat. He straightened his coat with his gloved hands.

"So long, bright boy," he said to George. "You got a lot of luck."

"That's the truth," Max said. "You ought to play the races, bright boy."

The two of them went out the door. George watched them, through the window, pass under the arc-light and cross the street. In their tight overcoats and derby hats they looked like a vaudeville team. George went back through the swinging-door into the kitchen and untied Nick and the cook.

"I don't want any more of that," said Sam, the cook. "I don't want any more of that."

Nick stood up. He had never had a towel in his mouth before.

"Say," he said. "What the hell?" He was trying to swagger it off.

"They were going to kill Ole Andreson," George said.

— Пойдем, Эл, — сказал Макс, — нечего нам ждать. Он уже не придет.

— Дадим ему еще пять минут, — ответил Эл из кухни.

За эти пять минут вошел еще один посетитель, и Джордж сказал ему, что повар заболел.

— Какого же черта вы не наймете другого? — сказал вошедший. — Закусочная это или нет?

Он вышел.

— Идем, Эл, — сказал Макс.

— А как быть с этими двумя и негром?

— Ничего, пусть их.

— Ты думаешь — ничего?

— Ну конечно. Тут больше нечего делать.

— Не нравится мне это, — сказал Эл. — Нечистая работа. И ты наболтал много лишнего.

— А, пустяки, — сказал Макс. — Надо же хоть немного поразвлечься.

— Все-таки ты слишком много наболтал, — сказал Эл. Он вышел из кухни. Обрез слегка оттопыривал на боку его узкое пальто. Он одернул полу затянутыми в перчатки руками.

— Ну, прощай, умница, — сказал он Джорджу. — Везет тебе.

— Что верно, то верно, — сказал Макс. — Тебе бы на скачках играть.

Они вышли на улицу. Джордж видел в окно, как они прошли мимо фонаря и свернули за угол. В своих черных костюмах и пальто в обтяжку они похожи были на эстрадную пару.

Джордж пошел на кухню и развязал Ника и повара.

— Ну, с меня довольно, — сказал Сэм. — С меня довольно.

Ник встал. Ему еще никогда не затыкали рта полотенцем.

— Послушай, — сказал он. — Какого черта, в самом деле? — Он старался делать вид, что ему все нипочем.

— Они хотели убить Оле Андресона, — сказал

"They were going to shoot him when he came in to eat."

"Ole Andreson?"

"Sure."

The cook felt the corners of his mouth with his thumbs.

"They all gone?" he asked.

"Yeah," said George. "They're gone now."

"I don't like it," said the cook. "I don't like any of it at all."

"Listen," George said to Nick. "You better go see Ole Andreson."

"All right."

"You better not have anything to do with it at all," Sam, the cook, said. "You better stay way out of it."

"Don't go if you don't want to," George said.

"Mixing up in this ain't going to get you anywhere," the cook said. "You stay out of it."

"I'll go see him," Nick said to George. "Where does he live?"

The cook turned away.

"Little boys always know what they want to do," he said.

"He lives up at Hirsch's rooming-house," George said to Nick.

"I'll go up there."

Outside the arc-light shone through the bare branches of a tree. Nick walked up the street beside the car-tracks and turned at the next arc-light down a side-street. Three houses up the street was Hirsch's rooming-house. Nick walked up the two steps and pushed the bell. A woman came to the door.

"Is Ole Andreson here?"

"Do you want to see him?"

"Yes, if he's in."

Nick followed the woman up a flight of stairs and back to the end of a corridor. She knocked on the door.

"Who is it?"

"It's somebody to see you, Mr. Andreson," the woman said.

"It's Nick Adams."

Джордж. — Застрелить его, когда он придет обедать.

— Оле Андресона?

— Да.

Негр потрогал углы рта большими пальцами.

— Ушли они? — спросил он.

— Да, — сказал Джордж. — Ушли.

— Не нравится мне это, — сказал негр. — Совсем мне это не нравится.

— Слушай, — сказал Джордж Нику. — Ты бы сходил к Оле Андресону.

— Ладно.

— Лучше не впутывайся в это дело, — сказал Сэм. — Лучше держись в сторонке.

— Если не хочешь, не ходи, — сказал Джордж.

— Ничего хорошего из этого не выйдет, — сказал Сэм. — Держись в сторонке.

— Я пойду, — сказал Ник Джорджу. — Где он живет?

Повар отвернулся.

— Толкуй с мальчишками, — проворчал он.

— Он живет в меблированных комнатах Гирш, — ответил Джордж Нику.

— Ну, я пошел.

На улице дуговой фонарь светил сквозь голые ветки. Ник пошел вдоль трамвайных путей и у следующего фонаря свернул в переулок. В четвертом доме от угла помещались меблированные комнаты Гирш. Ник поднялся на две ступеньки и надавил кнопку звонка.

Дверь открыла женщина.

— Здесь живет Оле Андресон?

— Вы к нему?

— Да, если он дома.

Вслед за женщиной Ник поднялся по лестнице и прошел в конец длинного коридора. Женщина постучала в дверь.

— Кто там?

— Тут вас спрашивают, мистер Андресон, — сказала женщина.

— Это я — Ник Адамс.

"Come in."

Nick opened the door and went into the room. Ole Andreson was lying on the bed with all his clothes on. He had been a heavyweight prize-fighter and he was too long for the bed. He lay with his head on two pillows. He did not look at Nick.

"What was it?" he asked.

"I was up at Henry's," Nick said, "and two fellows came in and tied up me and the cook, and they said they were going to kill you."

It sounded silly when he said it. Ole Andreson said nothing.

"They put us out in the kitchen," Nick went on. "They were going to shoot you when you came in to supper."

Ole Andreson looked at the wall and did not say anything.

"George thought I better come and tell you about it."

"There isn't anything I can do about it," Ole Andreson said.

"I'll tell you what they were like."

"I don't want to know what they were like," Ole Andreson said. He looked at the wall. "Thanks for coming to tell me about it."

"That's all right."

Nick looked at the big man lying on the bed.

"Don't you want me to go and see the police?"

"No," Ole Andreson said. "That wouldn't do any good."

"Isn't there something I could do?"

"No. There ain't anything to do."

"Maybe it was just a bluff."

"No. It ain't just a bluff."

Ole Andreson rolled over toward the wall.

"The only thing is," he said, talking toward the wall, "I just can't make up my mind to go out. I been in here all day."

"Couldn't you get out of town?"

"No," Ole Andreson said. "I'm through with all that running around."

He looked at the wall.

— Войдите.

Ник толкнул дверь и вошел в комнату. Оле Андресон, одетый, лежал на кровати. Когда-то он был боксером тяжелого веса, кровать была слишком коротка для него. Под головой у него были две подушки. Он не взглянул на Ника.

— В чем дело? — спросил он.

— Я был в закусочной Генри, — сказал Ник. — Пришли двое, связали меня и повара и говорили, что хотят вас убить.

На словах это выходило глупо. Оле Андресон ничего не ответил.

— Они выставили нас на кухню, — продолжал Ник. — Они собирались вас застрелить, когда вы придете обедать.

Оле Андресон глядел в стену и молчал.

— Джордж послал меня предупредить вас.

— Все равно тут ничего не поделаешь, — сказал Оле Андресон.

— Хотите, я вам опишу, какие они?

— Я не хочу знать, какие они, — сказал Оле Андресон. Он смотрел в стену. — Спасибо, что пришел предупредить.

— Не стоит.

Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.

— Может быть, пойти заявить в полицию?

— Нет, — сказал Оле Андресон. — Это бесполезно.

— А я не могу помочь чем-нибудь?

— Нет. Тут ничего не поделаешь.

— Может быть, это просто шутка?

— Нет. Это не просто шутка.

Оле Андресон повернулся на бок.

— Беда в том, — сказал он, глядя в стену, — что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.

— Вы бы уехали из города.

— Нет, — сказал Оле Андресон. — Мне надоело бе-

"There ain't anything to do now."

"Couldn't you fix it up some way?"

"No. I got in wrong." He talked in the same flat voice. "There ain't anything to do. After a while I'll make up my mind to go out."

"I better go back and see George," Nick said.

"So long," said Ole Andreson. He did not look toward Nick. "Thanks for coming around."

Nick went out. As he shut the door he saw Ole Andreson with all his clothes on, lying on the bed looking at the wall.

"He's been in his room all day," the landlady said downstairs. "I guess he don't feel well. I said to him: 'Mr. Andreson, you ought to go out and take a walk on a nice fall day like this,' but he didn't feel like it."

"He doesn't want to go out."

"I'm sorry he don't feel well," the woman said. "He's an awfully nice man. He was in the ring, you know."

"I know it."

"You'd never know it except from the way his face is," the woman said. They stood talking just inside the street door. "He's just as gentle."

"Well, good-night, Mrs. Hirsch," Nick said.

"I'm not Mrs. Hirsch," the woman said. "She owns the place. I just look after it for her. I'm Mrs. Bell."

"Well, good-night, Mrs. Bell," Nick said.

"Good-night," the woman said.

Nick walked up the dark street to the corner under the arc-light, and then along the car-tracks to Henry's eating-house. George was inside, back of the counter.

"Did you see Ole?"

"Yes," said Nick. "He's in his room and he won't go out."

The cook opened the door from the kitchen when he heard Nick's voice.

"I don't even listen to it," he said and shut the door.

"Did you tell him about it?" George asked.

"Sure. I told him but he knows what it's all about."

гать от них. — Он все глядел в стену. — Теперь уже ничего не поделаешь.

— А нельзя это как-нибудь уладить?

— Нет, теперь уже поздно. — Он говорил все тем же тусклым голосом. — Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду.

— Так я пойду обратно, к Джорджу, — сказал Ник.

— Прощай, — сказал Оле Андресон. Он не смотрел на Ника. — Спасибо, что пришел.

Ник вышел. Затворяя дверь, он видел Оле Андресона, лежащего одетым на кровати, лицом к стене.

— Вот с утра сидит в комнате, — сказала женщина, когда он спустился вниз. — Боюсь, не захворал ли. Я ему говорю: «Мистер Андресон, вы бы пошли прогулялись, день-то какой хороший», — а он упрямится.

— Он не хочет выходить из дому.

— Видно, захворал, — сказала женщина. — А жалко, такой славный. Знаете, он ведь был боксером.

— Знаю.

— Только по лицу и можно догадаться, — сказала женщина. Они разговаривали, стоя в дверях. — Такой обходительный.

— Прощайте, миссис Гирш, — сказал Ник.

— Я не миссис Гирш, — сказала женщина. — Миссис Гирш — это хозяйка. Я только прислуживаю здесь. Меня зовут миссис Белл.

— Прощайте, миссис Белл, — сказал Ник.

— Прощайте, — сказала женщина.

Ник прошел темным переулком до фонаря на углу, потом повернул вдоль трамвайных путей к закусочной. Джордж стоял за стойкой.

— Видел Оле?

— Да, — сказал Ник. — Он сидит у себя в комнате и не хочет выходить.

На голос Ника повар приоткрыл дверь из кухни.

— И слушать об этом не желаю, — сказал он и хлопнул дверь.

— Ты ему рассказал?

— Рассказал, конечно. Да он и сам все знает.

"What's he going to do?"

"Nothing."

"They'll kill him."

"I guess they will."

"He must have got mixed up in something in Chicago."

"I guess so," said Nick.

"It's a hell of a thing."

"It's an awful thing," Nick said.

They did not say anything. George reached down for a towel and wiped the counter.

"I wonder what he did?" Nick said.

"Double-crossed somebody. That's what they kill them for."

"I'm going to get out of this town," Nick said.

"Yes," said George. "That's a good thing to do."

"I can't stand to think about him waiting in the room and knowing he's going to get it. It's too damned awful."

"Well," said George, "you better not think about it."

A Way You'll Never Be

The attack had gone across the field, been held up by machine-gun fire from the sunken road and from the group of farm-houses, encountered no resistance in the town, and reached the bank of the river. Coming along the road on a bicycle, getting off to push the machine when the surface of the road became too broken, Nicholas Adams saw what had happened by the position of the dead.

They lay alone or in clumps in the high grass of the field and along the road, their pockets out, and over them were flies and around each body or group of bodies were the scattered papers.

In the grass and the grain, beside the road, and in some places scattered over the road, there was much material: a field kitchen, it must have come over when things were going well; many of the calf-skin-covered haversacks, stick

— А что он думает делать?

— Ничего.

— Они его убьют.

— Наверно, убьют.

— Должно быть, впутался в какую-нибудь историю в Чикаго.

— Должно быть, — сказал Ник.

— Скверное дело.

— Паршивое дело, — сказал Ник.

Они помолчали. Джордж достал полотенце и вытер стойку.

— Что он такое сделал, как ты думаешь?

— Нарушил какой-нибудь уговор. У них за это убивают.

— Уеду я из этого города, — сказал Ник.

— Да, — сказал Джордж. — Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай, — сказал Джордж.

Какими вы не будете

Атака разворачивалась по лугу, была приостановлена пулеметным огнем с дорожной выемки и с прилегающих строений, не встретила отпора в городе и закончилась на берегу реки. Проезжая по дороге на велосипеде и временами соскакивая, когда полотно было слишком изрыто, Николас Адамс понял, что происходило здесь, по тому, как лежали трупы.

Они лежали поодиночке и вповалку, в высокой траве луга и вдоль дороги, над ними вились мухи, карманы у них были вывернуты, и вокруг каждого тела или группы тел были раскиданы бумаги.

В траве и в хлебах вдоль дороги, а местами и на самой дороге было брошено много всякого снаряжения: походная кухня — видимо, ее подвезли сюда, когда дела шли хорошо; множество ранцев телячьей кожи; ручные

bombs, helmets, rifles, sometimes one butt-up, the bayonet stuck in the dirt, they had bug quite a little at the last; stick bombs, helmets, rifles, intrenching tools, ammunition boxes, starshell pistols, their shells scattered about, medical kits, gas masks, empty gasmask cans, a squat, tripodded machine-gun in a nest of empty shells, full belts protruding from the boxes, the water-cooling can empty and on its side, the breach block gone, the crew in odd positions, and around them, in the grass, more of the typical papers.

There were mass prayer books, group postcards showing the machine-gun and standing in ranked and ruddy cheerfulness as in a football picture for a college annual; now they were humped and swollen in the grass; propaganda postcards showing a soldier in Austrian uniform bending a woman backward over a bed; the figures were impressionistically drawn; very attractively depicted and had nothing in common with actual rape in which the woman's skirts are pulled over her head to smother her, one comrade sometimes sitting upon the head. There were many of these inciting cards which had evidently been issued just before the offensive. Now they were scattered with the smutty postcards, photographic; the small photographs of village girls by village photographers, the occasional pictures of children, and the letters, letters, letters. There was always much paper about the dead and the debris of this attack was no exception.

These were new dead and no one had bothered with anything but their pockets. Our own dead, or what he thought of, still, as one own dead, were surprisingly few, Nick noticed. Their coats had been opened too and their pockets were out, and they showed, by their positions, the manner and the skill of the attack. The hot weather had swollen them all alike regardless of nationality.

The town had evidently been defended, at the last, from the line of the sunken road and there had been few or no

гранаты, каски, винтовки — кое-где прикладом вверх, а штык воткнут в грязь: в конце концов здесь принялись, должно быть, окапываться; ручные гранаты, каски, винтовки, шанцевый инструмент, патронные ящики, ракетные пистолеты с рассыпанными вокруг патронами, санитарные сумки, противогазы, пустые коробки от противогазов; посреди кучи пустых гильз приземистый трехногий пулемет, с выкипевшим пустым кожухом, с исковерканной казенной частью и торчащими из ящиков концами лент, трупы пулеметчиков в неестественных позах, и вокруг в траве все те же бумаги.

Повсюду молитвенники, групповые фотографии, на которых пулеметный расчет стоит навтыжку и осклабясь, как футбольная команда на снимке для школьного ежегодника; теперь, скорчившиеся и раздувшиеся, они лежали в траве; агитационные открытки, на которых солдат в австрийской форме опрокидывал на кровать женщину: рисунки были весьма экспрессивные и приукрашенные, и все на них было не так, как бывает на самом деле, когда женщине закидывают на голову юбки, чтобы заглушить ее крик, а кто-нибудь из приятелей сидит у нее на голове. Такого рода открыток, выпущенных, должно быть, накануне наступления, было множество. Теперь они валялись вперемешку с порнографическими открытками; и тут же были маленькие снимки деревенских девушек работы деревенского фотографа; изредка карточка детей и письма, письма, письма. Вокруг мертвых всегда бывает много бумаги, так было и здесь, после этой атаки.

Эти были убиты недавно, и никто еще ничего не тронул, кроме карманов. Наших убитых, отметил Ник, или тех, о ком он все еще думал как о наших убитых, было до странности мало. У них тоже мундиры были расстегнуты и карманы вывернуты, и по их положению можно было судить, как и насколько умело велась атака. От жары все одинаково раздулись, независимо от национальности.

Ясно было, что в конце боя город обороняли только огнем с дорожной выемки и почти некому из австрийцев

Austrians to fall back into it. There were only three bodies in the street and they looked to have been killed running. The houses of the town broken by the shelling and the street had much rubble of plaster and mortar and there were broken beams, broken tiles, and many holes, some of them yellow-edged from the mustard gas. There were many pieces of shell, and shrapnel balls were scattered in the rubble. There was no one in the town at all.

Nick Adams had seen no one since he had left Fornaci, although, riding along the road through the over-foliaged country, he had seen guns hidden under screens of mulberry leaves to the left of the road, noticing them by the heatwaves in the air above the leaves where the sun hit the metal. Now he went on through the town, surprised to find it deserted, and came out on the low road beneath the bank of the river. Leaving the town there was a bare open space where the road slanted down and he could see the placid reach of the river and the low curve of the opposite bank and the whitened, sun-baked mud where the Austrians had dug. It was all very lush and over-green since he had seen it last and becoming historical had made no change in this, the lower river.

The battalion was along the bank to the left. There was a series of holes in the top of the bank with a few men in them. Nick noticed where the machine-guns were posted and the signal rockets in their racks. The men in the holes in the side of the bank were sleeping. No one challenged. He went on and as he came around a turn in the mud bank a young second lieutenant with a stubble of beard and red-rimmed, very bloodshot eyes pointed a pistol at him.

"Who are you?"

Nick told him.

"How do I know this?"

Nick showed him the tessera with photograph and identification and the seal of the third army. He took hold of it.

"I will keep this."

"You will not," Nick said. "Give me back the card and

было отступать в город. На улице лежало только три австрийца, видимо подстреленных на бегу. Дома вокруг были разрушены снарядами, и улица вся завалена штукатуркой и мусором, и повсюду исковерканные балки, битая черепица и много пробоин, некоторые с желтой каемкой от горчичного газа. Земля была вся в осколках, а щебень усеян шрапнелью. В городе не было ни души.

Ник Адамс не встретил никого от самого Форначи, хотя, проезжая по густо заросшей низине и заметив, как струится воздух над листьями, там, где солнце накаляло металл, он понял, что слева от дороги орудия, скрытые тутовой листвой. Потом он проехал улицей, удивляясь тому, что город пуст, и выбрался на нижнюю дорогу, проходившую под откосом берега, у самой воды. На окраине был большой открытый пустырь, по которому дорога шла под гору, и Нику видна была спокойная поверхность реки, широкий изгиб противоположного низкого берега и белая полоска высохшего ила перед линией австрийских окопов. С тех пор как он был здесь в последний раз, все стало очень сочным и чрезмерно зеленым, и то, что место это вошло в историю, ничуть его не изменило: все то же низовье реки.

Батальон расположился вдоль берега влево. В откосе высокого берега были вырыты ямы, и в них были люди. Ник заметил, где находятся пулеметные гнезда и где стоят в своих станках сигнальные ракеты. Люди в ямах на береговом склоне спали. Никто его не окликнул. Ник пошел дальше, но, когда он обогнул высокий илистый намыв, на него навел пистолет молодой лейтенант с многодневной щетиной и налитыми кровью, воспаленными глазами.

— Кто такой?

Ник ответил.

— А чем вы это докажете?

Ник показал ему свою тессеру; удостоверение было с фотографией и печатью Третьей армии. Лейтенант взял ее.

— Это останется у меня.

— Ну, нет, — сказал Ник. — Отдайте пропуск и убе-

put your gun away. There. In the holster."

"How am I to know who you are?"

"The tessera tells you."

"And if the tessera is false? Give me that card."

"Don't be a fool," Nick said cheerfully. "Take me to your company commander."

"I should send you to battalion headquarters."

"All right," said Nick. "Listen, do you know the Captain Paravicini? The tall one with the small mustache who was an architect and speaks English?"

"You know him?"

"A little."

"What company does he command?"

"The second."

"He is commanding the battalion."

"Good," said Nick. He was relieved to know that Para was all right. "Let us go to the battalion."

As Nick had left the edge of the town three shrapnel had burst high and to the right over one of the wrecked houses and since then there had been no shelling. But the face of this officer looked like the face of a man during a bombardment. There was the same tightness and the voice did not sound natural. His pistol made Nick nervous.

"Put it away," he said. "There's the whole river between them and you."

"If I thought you were a spy I would shoot you now," the second lieutenant said.

"Come on," said Nick. "Let us go to the battalion." This officer made him very nervous.

The Captain Paravicini, acting major, thinner and more English-looking than ever, rose when Nick saluted from behind the table in the dugout that was battalion headquarters.

"Hello," he said. "I didn't know you. What are you doing in that uniform?"

"They've put me in it."

рите вашу пушку. Туда. В кобуру.

— Но чем вы мне докажете, кто вы такой?

— Мало вам тессеры?

— А вдруг она подложная? Дайте ее сюда.

— Не валяйте дурака, — весело сказал Ник. — Ответьте меня к вашему ротному.

— Я должен отправить вас в штаб батальона.

— Очень хорошо, — сказал Ник. — Послушайте, знаете вы капитана Паравичини? Такой высокий, с маленькими усиками, он был архитектором и говорит по-английски?

— А вы его знаете?

— Немного.

— Какой ротой он командует?

— Второй.

— Он командует батальоном.

— Превосходно, — сказал Ник. Он с облегчением услышал, что Пара невредим. — Пойдемте к батальонному.

Когда Ник выходил из города, он видел три высоких шрапнельных разрыва справа над одним из разрушенных зданий, и с тех пор обстрела не было. Но у лейтенанта было такое лицо, какое бывает у человека под ураганным огнем. Та же напряженность, и голос звучал неестественно. Его пистолет раздражал Ника.

— Уберите это, — сказал он. — Противник ведь за рекой.

— Если б я думал, что вы шпион, я пристрелил бы вас на месте, — сказал лейтенант.

— Да будет вам, — сказал Ник. — Пойдемте к батальонному. — Этот лейтенант все сильнее раздражал его.

В штабном блиндаже батальона в ответ на приветствие Ника из-за стола поднялся капитан Паравичини, замещавший майора, еще более сухощавый и англизированный, чем обычно.

— Привет, — сказал он. — Я вас не узнал. Что это вы в такой форме?

— Да вот, нарядили.

"I am very glad to see you, Nicolo."

"Right. You look well. How was the show?"

"We made a very fine attack. Truly. A very fine attack. I will show you. Look."

He showed on the map how the attack had gone.

"I came from Fornaci," Nick said. "I could see how it had been. It was very good."

"It was extraordinary. Altogether extraordinary. Are you attached to the regiment?"

"No, I am supposed to move around and let them see the uniform."

"How odd."

"If they see one American uniform that is supposed to make them believe others are coming."

"But how will they know it is an American uniform?"

"You will tell them."

"Oh. Yes, I see. I will send a corporal with you to show you about and you will make a tour of the lines."

"Like a bloody politician," Nick said.

"You would be much more distinguished in civilian clothes. They are what is really distinguished."

"With a homburg hat," said Nick.

"Or with a very furry fedora."

"I'm supposed to have my pockets full of cigarettes and postal cards and such things," Nick said. "I should have a musette full of chocolate. These I should distribute with a kind word and a pat on the back. But there weren't any cigarettes and postcards and no chocolate. So they said to circulate around anyway."

"I'm sure your appearance will be very heartening to the troops."

"I wish you wouldn't," Nick said. "I feel badly enough about it as it is. In principle, I would have brought you a bottle of brandy."

"In principle," Para said and smiled, for the first time, showing yellowed teeth. "Such a beautiful expression. Would you like some Grappa?"

— Рад вас видеть, Николо.

— Я тоже. У вас прекрасный вид. Как воюете?

— Атака была на славу. Честное слово. Превосходная атака. Я вам сейчас покажу. Смотрите.

Он показал по карте ход атаки.

— Я сейчас из Форначи, — сказал Ник. — По дороге видел, как все это было. Атаковали хорошо.

— Атаковали изумительно. Совершенно изумительно. Вы что же, прикомандированы к полку?

— Нет. Мне поручено разъезжать по передовой линии и демонстрировать форму.

— Вот еще выдумали.

— Воображают, что, увидев одного американца в форме, все поверят, что недолго ждать и остальных.

— А как они узнают, что это американская форма?

— Вы скажете.

— А! Понимаю. Я дам вам капрала в провожатые, и вы с ним пройдете по линии.

— Словно какой-нибудь пустобрех-министр, — сказал Ник.

— А вы были бы гораздо элегантней в штатском. Только в штатском выглядишь по-настоящему элегантным.

— В котелке, — сказал Ник.

— Или в мягкой шляпе.

— Собственно, полагалось бы набить карманы сигаретами, открытками и всякой чепухой, — сказал Ник. — А сумку шоколадом. И раздавать все это с шуточками и дружеским похлопываньем по спине. Ни сигарет, ни открыток, ни шоколада не оказалось. Но меня все-таки послали проследовать по линии.

— Ну конечно, стоит вам показаться, и это сразу водошевит войска.

— Не надо, — сказал Ник. — И без того тошно. В принципе я бы охотно прихватил для вас бутылочку бренди.

— В принципе, — сказал Пара и в первый раз улыбнулся, показывая пожелтевшие зубы. — Какое прекрасное выражение. Хотите граппы?

"No, thank you," Nick said.

"It hasn't any ether in it."

"I can taste that still," Nick remembered suddenly and completely.

"You know I never knew you were drunk until you started talking coming back in the camions."

"I was stinking in every attack," Nick said.

"I can't do it," Para said. "I took it in the first show, the very first show, and it only made me very upset and then frightfully thirsty."

"You don't need it."

"You're much braver in an attack than I am."

"No," Nick said. "I know how I am and I prefer to get stinking. I'm not ashamed of it."

"I've never seen you drunk."

"No?" said Nick. "Never? Not when we rode from Mestre to Portogrande that night and I wanted to go to sleep and used the bicycle for a blanket and pulled it up under my chin?"

"That wasn't in the lines."

"Let's not talk about how I am," Nick said. "It's a subject I know too much about to want to think about it any more."

"You might as well stay here a while," Paravicini said. "You can take a nap if you like. They didn't do much to this in the bombardment. It's too hot to go out yet."

"I suppose there is no hurry."

"Now are you really?"

"I'm fine. I'm perfectly all right."

"No, I mean really."

"I'm all right. I can't sleep without a light of some sort. That's all I have now."

"I said it should have been trepanned. I'm no doctor but I know that."

"Well, they thought it was better to have it absorb, and that's what I got. What's the matter? I don't seem crazy to you, do I?"

"You seem in top-hole shape."

"It's a hell of a nuisance once they've had you certified

— Нет, спасибо, — сказал Ник.

— Она совсем без эфира.

— Этот вкус у меня до сих пор во рту, — вспомнил Ник внезапно с полной ясностью.

— Знаете, я и не подозревал, что вы пьяны, пока вы не начали болтать в грузовике на обратном пути.

— Я накачивался перед каждой атакой, — сказал Ник.

— А я вот не могу, — сказал Пара. — Я пробовал в первом деле, в самом первом деле, но меня от этого вернуло, а потом зверски пить хотелось.

— Ну, значит, вам не надо.

— Вы же гораздо храбрее меня во время атаки.

— Нет, — сказал Ник. — Я себя знаю и предпочитаю накачиваться. Я этого ни капли не стыжусь.

— Я никогда не видел вас пьяным.

— Не видели? — сказал Ник. — Никогда? А в ту ночь, когда мы ехали из Местре в Портогранде, и я улегся спать, и укрылся велосипедом вместо одеяла, и все старался натянуть его до самого подбородка?

— Так это же не на позиции.

— Не будем говорить о том, какой я, — сказал Ник. — По этому вопросу я знаю слишком много и не хочу больше об этом думать.

— Вы пока побудьте здесь, — сказал Паравичини. — Можете прилечь, если вздумается. Эта нора прекрасно выдержала обстрел. А выходить еще слишком жарко.

— Да, торопиться некуда.

— Ну, а как вы на самом-то деле?

— Превосходно. Я в полном порядке.

— Да нет, я спрашиваю, на самом деле?

— В полном порядке. Не могу спать в темноте. Вот и все, что осталось.

— Я говорил, что нужна трепанация. Я не врач, но я знаю.

— Ну, а они решили — пусть лучше рассосется. А что? Вам кажется, что я не в своем уме?

— Почему. Вид у вас превосходный.

— Нет хуже, когда тебя признали полоумным, —

as nutty," Nick said. "No one ever has any confidence in you again."

"I would take a nap, Nicolo," Paravicini said. "This isn't battalion headquarters as we used to know it. We're just waiting to be pulled out. You oughtn't to go out in the heat now—it's silly. Use that bunk."

"I might just lie down," Nick said.

Nick lay on the bunk. He was very disappointed that he felt this way and more disappointed, even, that it was so obvious to Captain Paravicini. This was not as large a dugout as the one where that platoon of the class of 1899, just out at the front, got hysterics during the bombardment before the attack, and Para had had him walk them two at a time outside to show them nothing would happen, he wearing his own chin strap tight across his mouth to keep his lips quiet. Knowing they could not hold it when they took it. Knowing it was all a bloody balls—If he can't stop crying, break his nose to give him something else to think about. I'd shoot one but it's too late now. They'd all be worse. Break his nose. They've put it back to five-twenty. We've only got four minutes more. Break that other silly bugger's nose and kick his silly ass out of here. Do you think they'll go over? If they don't, shoot two and try to scoop the others out some way. Keep behind them, sergeant. It's no use to walk ahead and find there's nothing coming behind you. Bail them out as you go. What a bloody balls. All right. That's right. Then, looking at the watch, in that quiet tone, that valuable quiet tone, "Savois". Making it cold, no time to get it, he couldn't find his own after the cave-in, one whole end had caved in; it was that started them; making it cold up that slope the only time he hadn't done it stinking. And after they came back the teleferica house burned, it seemed, and some of the wounded got down four days later and some did not get down, but we went up and we went back and we came down—we always

сказал Ник. — Никто тебе больше не доверяет.

— Вы бы вздремнули, Николо, — сказал Паравичини. — Это вам, конечно, не тот батальонный блиндаж, к какому мы привыкли, но мы ждем, что нас отсюда скоро перебросят. Вам не следует выходить в такую жару, — это просто глупо. Ложитесь вот сюда, на койку.

— Пожалуй, прилягу, — сказал Ник.

Ник лег на койку. Он был очень огорчен тем, что ему плохо, и еще больше тем, что это так ясно капитану Паравичини. Блиндаж был меньше того, где его взвод 1899 года рождения, только что прибывший на фронт, записывал во время артиллерийской подготовки, и Пара приказал ему выводить их наверх по двое, чтобы показать, что ничего с ними не случится, и сам он туго подтянул губы подбородным ремнем, чтобы не дрожали. Зная, что не удержаться, если бы атака не удалась. Зная, что все это просто чертова каша. Если он не перестанет нюнить, расквасьте ему нос, чтобы его малость встряхнуло. Я бы пристрелил одного для примера, но теперь поздно. Их еще пуще развезет. Расквасьте ему нос. Да, перенесено на пять двадцать. В нашем распоряжении только четыре минуты. Расквасьте нос и тому сопляку и вытолкайте его коленкой под задницу. Как вы думаете, поднимутся они? Если нет, пристрелите двоих-троих и постарайтесь так или иначе выкурить их отсюда. Держитесь сзади, сержант. Совершенно бесполезно шагать впереди, когда никто за тобой не идет. Волоките их отсюда за шиворот, когда пойдете сами. Что за чертова каша. Так. Ну, ладно. Потом, поглядев на часы, спокойным тоном, этим веским, спокойным тоном: «Савойя». Пошел, не накачавшись, не успел глотнуть, а потом где было ее искать, когда завалило, завалился весь угол, тут оно и началось; и он пошел, не глотнув, туда, вверх по склону, единственный раз, когда шел, не накачавшись. А когда вернулись обратно, оказалось, что головной госпиталь горит и кое-кого из раненых через четыре дня отправили в тыл, а некоторых так и не отправили, и мы снова ходили в атаку, и возвращались обратно, и отступали, — неизменно отступали. И, как ни

came down. And there was Gaby Delys, oddly enough, with feathers on; you called me baby doll a year ago tadada you said that I was rather nice to know tadada with feathers on, with feathers off, the great Gaby, and my name's Harry Pilcer, too, we used to step out of the far side of the taxis when it got steep going up the hill and he could see that hill every night when he dreamed with Sacré Cœur, blown white, like a soap bubble. Sometimes his girl was there and sometimes she was with some one else and he could not understand that, but those were the nights the river ran so much wider and stiller than it should and outside of Fossalta there was a low house painted yellow with willows all around it and a low stable and there was a canal, and he had been there a thousand times and never seen it, but there it was every night as plain as the hill, only it frightened him. That house meant more than anything and every night he had it. That was what he needed but it frightened him especially when the boat lay there quietly in the willows on the canal, but the banks weren't like the river. It was all lower, as it was at Portogrande, where they had seen them come wallowing across the flooded ground holding the rifles high until they fell with them in the water. Who ordered that one? If it didn't get so damned mixed up he could follow it all right. That was why he noticed everything in such detail to keep it all straight so he would know just where he was, but suddenly it confused without reason as now, he lying in a bunk at battalion headquarters with Para commanding a battalion and he in a bloody American uniform. He sat up and looked around; they all watching him. Para was gone out. He lay down again.

The Paris part came earlier and he was not frightened of it except when she had gone off with some one else and the fear that they might take the same driver twice. That was what frightened about that. Never about the front. He never dreamed about the front now any more but what frightened him so that he could not get rid of it was that

странно, там была Габи Делис, вся в перьях, ты называл меня своею год назад, та-ра-ра-ра, ты говорил, меня обнять всегда ты рад, та-ра-ра-ра, и в перышках, да и без них, Габи всегда прекрасна; а меня зовут Гарри Пилцер, мы с вами, бывало, вылезали из такси на крутом подъеме на холм; и каждую ночь снился этот холм и еще снилась Сакре-Кёр, вздутая и белая, словно мыльный пузырь. Иногда с ним была его девушка, а иногда она была с кем-нибудь другим, и это трудно было понять, но вспоминалось это ночами, когда река текла неузнаваемо широкая и спокойная, и там, за Фоссальтой, на берегу канала был низкий, выкрашенный в желтое дом, окруженный ивами, с длинной низкой конюшней; он бывал там тысячу раз и никогда не замечал этого, а теперь каждую ночь все это было так же четко, как и холм, только это пугало его. Этот дом был важнее всего, и каждую ночь он ему снился. Именно этого он и хотел, но это пугало его, особенно когда лодка спокойно стояла там между ивами, у берега канала, но берега были не такие, как у этой реки. Они были еще ниже, как у Портогранде, там, где те переправлялись через затопленную луговину, барахтаясь и держа над головой винтовки, да так и ушли под воду вместе с винтовками. Кто отдал такой приказ? Если бы не эта чертова путаница в голове, он прекрасно бы во всем разобрался. Вот почему он пробовал запомнить все до последней черточки и держать все в строгом порядке, так, чтобы всегда знать, что к чему, но вдруг, безо всякой причины, все спутывалось, вот как сейчас, когда сам он лежит на койке в батальонном блиндаже и Пара — командир батальона, а тут еще на нем эта проклятая американская форма. Он привстал и огляделся; все на него смотрели. Пара куда-то вышел. Он снова лег.

Начиналось всегда с Парижа, и это не пугало его, разве только когда она уходила с кем-нибудь другим или когда было страшно, что им два раза попадется один и тот же шофер. Только это его и пугало. А фронта нет. Теперь он никогда больше не видел фронта; но что пугало его, от чего он никак не мог избавиться, —

low-yellow house and the different width of the river. Now he was back here all the river, he had gone through that same town, and there was no house. Nor was the river that way. Then where did he go each night and what was the peril, and why would he wake, soaking wet, more frightened than he had ever been in a bombardment, because of a house and a long stable and a canal?

He sat up, swung his legs carefully down; they stiffened any time they were out straight for long; returned the stares of the adjutant, the signallers and the two runners by the door and put on his cloth-covered trench helmet.

"I regret the absence of the chocolate, the postal-cards and cigarettes," he said. "I am, however, wearing the uniform."

"The major is coming back at once," the adjutant said. In that army an adjutant is not a commissioned officer.

"The uniform is not very correct," Nick told them. "But it gives you the idea. There will be several millions of Americans here shortly."

"Do you think they will send Americans down here?" asked the adjutant.

"Oh, absolutely. Americans twice as large as myself, healthy, with clean hearts, sleep at night, never been wounded, never been blown up, never had their heads caved in, never been scared, don't drink, faithful to the girls they left behind them, many of them never had crabs, wonderful chaps. You'll see."

"Are you an Italian?" asked the adjutant.

"No, American. Look at the uniform. Spagnolini made it but it's not quite correct."

"A North or South American?"

"North," said Nick. He felt it coming on now. He would quiet down.

"But you speak Italian."

"Why not? Do you mind if I speak Italian? Haven't I a right to speak Italian?"

"You have Italian medals."

"Just the ribbons and the papers. The medals come

это желтый длинный дом и не та ширина реки. Вот он опять здесь, у реки, он проехал через тот самый город, а дома этого не было. И река другая. Так где же он бывает каждую ночь, и в чем опасность, и почему он каждый раз просыпается весь в поту, испуганный больше, чем под любым обстрелом, все из-за этого дома и низкой конюшни и канала?

Он привстал, осторожно спустил ноги; они деревене-ли, если он долго держал их вытянутыми; посмотрел на глядевших на него сержанта, и сигнальщиков, и двух ординарцев у двери и надел свою каску в матерчатом чехле.

— Очень сожалею, что у меня нет с собой шоколада, открыток, сигарет, — сказал он. — Но форма-то все-таки на мне.

— Майор сейчас вернется, — сказал сержант.

— Форма не совсем точная, — сказал им Ник. — Но представление она дает. Скоро здесь будет несколько миллионов американцев.

— Вы думаете, что к нам придут американцы? — спросил сержант.

— Несомненно. И какие американцы — вдвое выше меня ростом, здоровые, приветливые, спят по ночам, никогда не были ни ранены, ни контужены, ни завалены землей; не трусят, не пьют, верны своим девушкам, многие даже не знают, что такое вошь, — замечательные ребята, вот увидите.

— А вы итальянец? — спросил сержант.

— Нет, американец. Взгляните на форму. Шил ее Спаньолини, но только она не совсем точная.

— Северо- или южноамериканец?

— Северо, — сказал Ник. Он чувствовал, что опять начинается. Надо поменьше говорить.

— Но вы говорите по-итальянски.

— Ну так что же? Вам не нравится, что я говорю по-итальянски? Разве я не имею права говорить по-итальянски?

— У вас итальянские медали.

— Только ленточки и документы. Медали присы-

later. Or you give them to people to keep and the people go away; or they are lost with your baggage. You can purchase others in Milan. It is the papers that are of importance. You must not feel badly about them. You will have some yourself if you stay at the front long enough."

"I am a veteran of the Iritrea campaign," said the adjutant stiffly. "I fought in Tripoli."

"It's quite something to have met you," Nick put out his hand. "Those must have been trying days. I noticed the ribbons. Were you, by any chance, on the Carso?"

"I have just been called up for this war. My class was too old."

"At one time I was under the age limit," Nick said. "But now I am reformed out of the war."

"But why are you here now?"

"I am demonstrating the American uniform," Nick said. "Don't you think it is very significant? It is a little tight in the collar but soon you will see untold millions wearing this uniform swarming like locusts. The grasshopper, you know, what we call the grasshopper in America, is really a locust. The true grasshopper is small and green and comparatively feeble. You must not, however, make a confusion with the seven-year locust or cicada which emits a peculiar sustained sound which at the moment I cannot recall. I try to recall it but I cannot. I can almost hear it and then it is quite gone. You will pardon me if I break off our conversation?"

"See if you can find the major," the adjutant said to one of the two runners. "I can see you have been wounded," he said to Nick.

"In various places," Nick said. "If you are interested in scars I can show you some very interesting ones but I would rather talk about grasshoppers. What we call grasshoppers that is, and what are, really, locusts. These insects at one time played a very important part in my life. It might interest you and you can look at the uniform while I am talking." The adjutant made a motion with his hand to the second runner who went out.

лают потом. Или дашь их кому-нибудь на сохранение, а тот уедет, или они пропадут вместе со всеми вещами. Впрочем, можно купить новые в Милане. Важно, чтобы были документы. И вы не расстраивайтесь. Вам тоже дадут медали, когда вы подольше побудете на фронте.

— Я ветеран Эритрейской кампании, — сухо сказал сержант. — Я сражался в Триполи.

— Очень рад с вами познакомиться. — Ник протянул руку. — Должно быть, нелегкая была кампания. Я сразу заметил нашивки. Вы, может быть, и на Карсо были?

— Меня только что призвали в эту войну. Мой ряд слишком стар.

— Еще не так давно я был слишком молод, — сказал Ник. — А теперь я уже готов, не боюсь больше.

— А что же вы здесь делаете?

— Демонстрирую американскую форму, — сказал Ник. — Что, по-вашему, это не дело? Она немного жмет в ворота, но вы увидите, скоро миллионы одетых в эту форму налетят сюда, как саранча. Кузнечик, — вы знаете, то, что мы в Америке называем кузнечиком, — маленький, зеленый и довольно слабенький. Его не надо смешивать с саранчой или цикадой, которая издает характерный, непрерывный звук, сейчас только я не могу вспомнить какой. Стараюсь вспомнить и не могу. Мне уже кажется, что я его слышу, а потом он ускользает. Вы меня извините, но я прерву наш разговор.

— Поди-ка отыщи майора, — сказал сержант одному из ординарцев. — Видно, вы были серьезно ранены, — сказал он Нику.

— В разные места, — сказал Ник. — Если вас интересуют шрамы, я могу показать вам очень интересные, но я предпочитаю поговорить о кузнечиках. То есть о том, что мы называем кузнечиками, а на самом деле это саранча. Это насекомое одно время занимало большое место в моей жизни. Возможно, вам это тоже будет интересно, а пока я говорю, вы можете изучать мою форму.

Сержант сделал знак второму ординарцу, и тот вышел.

"Fix your eyes on the uniform. Spagnolini made it, you know. You might as well look, too," Nick said to the signallers. "I really have no rank. We're under the American consul. It's perfectly all right for you to look. You can stare, if you like. I will tell you about the American locust. We always preferred one that we called the medium-brown. They last the best in the water and fish prefer them. The larger ones that fly making a noise somewhat similar to that produced by a rattlesnake rattling his rattlers, a very dry sound, have vivid colored wings, some are bright red, others yellow barred with black, but their wings go to pieces in the water and they make a very blowsy bait, while the medium-brown is a plump, compact, succulent hopper that I can recommend as far as one may well recommend something you gentlemen will probably never encounter. But I must insist that you will never gather a sufficient supply of these insects for a day's fishing by pursuing them with your hands or trying to hit them with a bat. That is sheer nonsense and a useless waste of time. I repeat, gentlemen, that you will get nowhere at it. The correct procedure, and one which should be taught all young officers at every small-arms course if I had anything to say about it, and who knows but what I will have, is the employment of a seine or net made of common mosquito netting. Two officers holding this length of netting at alternate ends, or let us say one at each end, stoop, hold the bottom extremity of the net in one hand and the top extremity in the other and run into the wind. The hoppers, flying with the wind, fly against the length of netting and are imprisoned in its folds. It is no trick at all to catch a very great quantity indeed, and no officer, in my opinion, should be without a length of mosquito netting suitable for the improvisation of one of these grasshopper

— Смотрите внимательней на форму. Ее, знаете, шил Спаньолини. И вы тоже можете любоваться, — сказал Ник сигнальщикам. — У меня, видите ли, нет никакого чина. Мы состоим в ведении американского консула. Глазейте, не стесняйтесь. А я вам расскажу об американской саранче. Мы всегда предпочитали один вид, который мы называли коричневая средняя, она меньше всех размокает в воде, и рыба лучше всего идет на нее. А у тех, что побольше, которые летают и производят при этом звук, несколько напоминающий гремучую змею, когда она гремит своими гремучками, — очень сухой звук, — у них крылья ярко окрашены, иногда красные, иногда желтые с черными полосами, но их крылья совсем расползаются в воде, и наживка из них плохая, а вот коричневые средние — это плотные, жирные, восхитительные кузнецы, которых я могу рекомендовать вашему вниманию, джентльмены, если только возможно рекомендовать вниманию джентльменов то, что они, по всей вероятности, никогда не встретят. Но я со всей настоятельностью должен подчеркнуть, что вы никогда не соберете запаса этих насекомых, достаточного для дневной ловли, если будете хватать их руками или сшибать битой. Это суцая чепуха и пустая трата времени. Повторяю вам, джентльмены, так у вас ровно ничего не получится. Единственный правильный способ, способ, которому следовало бы обучать всех молодых офицеров во всех стрелковых школах, это, — если бы меня спросили об этом, а очень возможно, что меня об этом и спросят, — это применение сети или невода из обыкновенной комариной сетки. Два офицера, держа кусок сети такой вот длины за противоположные концы или, скажем, стоя по одному у каждого конца, наклоняются, берут нижний край сети в одну руку, а верхний в другую и бегут против ветра. Кузнецы, летя по ветру, натываются на этот кусок сети и застревают в ней. Таким способом каждый может наловить огромное количество кузнецов, и, по моему мнению, каждый офицер должен быть снабжен куском комариной сетки достаточной длины, пригодным для изготовления подобной саранчовой се-

seines. I hope I have made myself clear, gentlemen. Are there any questions? If there is anything in the course you do not understand please ask questions. Speak up. None? Then I would like to close on this note. In the words of that great soldier and gentleman, Sir Henry Wilson: Gentlemen, either you must govern or you must be governed. Let me repeat it. Gentlemen, there is one thing I would like to have you remember. One thing I would like you to take with you as you leave this room. Gentlemen, either you must govern—or you must be governed. That is all, gentlemen. Good-day.”

He removed his cloth-covered helmet, put it on again and, stooping, went out the low entrance of the dugout. Para, accompanied by the two runners, was coming down the line of the sunken road. It was very hot in the sun and Nick removed the helmet.

“There ought to be a system for wetting these things,” he said. “I shall wet this one in the river.” He started up the bank.

“Nicolo,” Paravicini called. “Nicolo. Where are you going?”

“I don’t really have to go.” Nick came down the slope, holding the helmet in his hands. “They’re a damned nuisance wet or dry. Do you wear yours all the time?”

“All the time,” said Para. “It’s making me bald. Come inside.”

Inside Para told him to sit down.

“You know they’re absolutely no damned good,” Nick said. “I remember when they were a comfort when we first had them, but I’ve seen them full of brains too many times.”

“Nicolo,” Para said. “I think you should go back. I think it would be better if you didn’t come up to the line until you had those supplies. There’s nothing here for you to do. If you move around, even with something worth giving away, the men will group and that invites shelling. I won’t have it.”

ти. Надеюсь, я понятно изложил этот способ, джентльмены? Есть вопросы? Если что-нибудь в моем изложении вам представляется неясным, пожалуйста, задавайте вопросы. Я слушаю. Нет вопросов? Тогда я хотел бы прибавить в заключение следующее. Говоря словами великого полководца и джентльмена сэра Генри Уилсона: джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Разрешите мне повторить. Джентльмены, мне хотелось бы, чтобы вы твердо это запомнили. Твердо запомнили и унесли с собой, уходя из этого зала. Джентльмены, одно из двух: повелевать будете вы или повелевать будут вами. Я кончил, джентльмены. Позвольте пожелать вам всего хорошего.

Он снял каску в матерчатом чехле, снова надел ее и, пригнувшись, вышел в низкую дверь блиндажа. Паравичини в сопровождении обоих ординарцев приближался со стороны дорожной выемки. На солнце было очень жарко, и Ник снял каску.

— Надо бы придумать систему водяного охлаждения для этих уродин, — сказал он. — Ну, а свою я испупаю в реке. — Он стал взбираться на парাপет.

— Николо, — окликнул его Паравичини. — Николо! Куда вы идете?

— Да, собственно, и не стоит ходить. — Ник спустился обратно, держа каску в руках. — Что сухая, что мокрая, один черт. Неужели вы свою никогда не снимаете?

— Никогда, — сказал Пара. — Я уже начинаю от нее лысеть. Пойдем в блиндаж.

В блиндаже Пара усадил его.

— От них ведь никакого проку, — сказал Ник. — Помню, как мы были рады, когда их только что выдали, но с тех пор я слишком часто видел их полными мозгов.

— Николо, — сказал Пара, — по-моему, вам бы надо отправляться обратно. По-моему, пока вас не снабдят всем, что нужно, вам незачем сюда ездить. Вам здесь нечего делать. Если вы будете ходить по линии, даже раздавая что-нибудь стоящее, неизбежно скопление, которое вызовет обстрел. Этого я не могу допустить.

"I know it's silly," Nick said. "It wasn't my idea. I heard the brigade was here so I thought I would see you or some one else I knew. I could have gone to Zenzon or to San Dona. I'd like to go to San Dona to see the bridge again."

"I won't have you circulating around to no purpose," Captain Paravicini said.

"All right," said Nick. He felt it coming on again.

"You understand?"

"Of course," said Nick. He was trying to hold it in.

"Anything of that sort should be done at night."

"Naturally," said Nick. He knew he could not stop it now.

"You see, I am commanding the battalion," Para said.

"And why shouldn't you be?" Nick said. Here it came. "You can read and write, can't you?"

"Yes," said Para gently.

"The trouble is you have a damned small battalion to command. As soon as it gets to strength again they'll give you back your company. Why don't they bury the dead? I've seen them now. I don't care about seeing them again. They can bury them any time as far as I'm concerned and it would be much better for you. You'll all get bloody sick."

"Where did you leave your bicycle?"

"Inside the last house."

"Do you think it will be all right?"

"Don't worry," Nick said. "I'll go in a little while."

"Lie down a little while, Nicolo."

"All right."

He shut his eyes, and in place of the man with the beard who looked at him over the sights of the rifle, quite calmly before squeezing off, the white flash and clublike impact, on his knees, hot-sweet choking, coughing it onto the rock while they went past him, he saw a long, yellow house with

— Я знаю, что это глупо, — сказал Ник. — Это не моя выдумка. Я услышал, что здесь наша бригада, ну и подумал, хорошо бы повидать вас или еще кого-нибудь из прежних. Я мог бы отправиться в Зензон или в Сан-Дона. Мне бы хотелось пробраться в Сан-Дона и поглядеть мост.

— Я не могу разрешить вам разгуливать здесь без толку, — сказал капитан Паравичини.

— Ну, ладно, — сказал Ник. Он чувствовал, что это снова начинается.

— Вы меня понимаете?

— Конечно, — сказал Ник. Он старался подавить это.

— Такие обходы надо делать ночью.

— Без сомнения, — сказал Ник. Он чувствовал, что не сможет удержаться.

— Я ведь теперь батальоном командую, — сказал Пара.

— А почему бы вам и не командовать? — сказал Ник. Вот оно. — Читать, писать умеете?

— Разумеется, — мягко сказал Пара.

— Только вот батальон-то у вас невелик. Как только его пополнят, вам опять дадут вашу роту. Почему не хоронят убитых? Я только что видел их. Мне вовсе не хочется опять на них глядеть. Хоронить их можно в любое время, я не возражаю, и чем скорее, тем лучше для вас же. А то потом намаетесь.

— Где вы оставили велосипед?

— В последнем доме.

— Думаете, он там уцелеет?

— Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Я скоро пойду.

— Вы прилягте, Николо.

— Спасибо.

Он закрыл глаза, и вместо бородатого человека, который смотрел на него сквозь прицельную рамку винтовки, придерживая дыхание, перед тем как нажать спуск, и белой вспышки и удара как будто дубиной, когда на коленях, давясь сладким горячим клубком, который он выхаркнул на камень, он понял, что они про-

a low stable and the river much wider than it was and stiller.

"Christ," he said, "I might as well go."

He stood up.

"I'm going, Para," he said. "I'll ride back now in the afternoon. If any supplies have come I'll bring them down tonight. If not I'll come at night when I have something to bring."

"It is still hot to ride," Captain Paravicini said.

"You don't need to worry," Nick said, "I'm all right now for quite a while. I had one then but it was easy. They're getting much better. I can tell when I'm going to have one because I talk so much."

"I'll send a runner with you."

"I'd rather you didn't. I know the way."

"You'll be back soon?"

"Absolutely."

"Let me send—"

"No," said Nick. "As a mark of confidence."

"Well, Ciaou then."

"Ciaou," said Nick. He started back along the sunken road toward where he had left the bicycle. In the afternoon the road would be shady once he had passed the canal. Beyond that there were trees on both sides that had not been shelled at all. It was on that stretch that, marching, they had once passed the Terza Savoia cavalry regiment riding in the snow with their lances. The horses' breath made plumes in the cold air. No, that was somewhere else. Where was that?

"I'd better get to that damned bicycle," Nick said to himself. "I don't want to lose the way to Fornaci."

бежали мимо, — он увидел желтый низкий дом с длинной конюшней и реку, гораздо шире и спокойнее, чем на самом деле.

— Ах, черт, — сказал он. — Пожалуй, надо идти.

Он встал.

— Я пойду, Пара, — сказал он. — Поеду назад. Если там подвезли чего-нибудь, я захвачу и привезу вам сегодня вечером. Если нет, приеду ночью, когда будет что везти.

— Еще жарко вам ехать, — сказал капитан Паравичини.

— Не беспокойтесь, — сказал Ник. — Теперь на некоторое время я застрахован. Меня тут у вас скрутило, но это быстро прошло. Теперь с каждым разом все легче. Я уже знаю, когда это начинается, я тогда становлюсь болтлив.

— Я пошлю с вами ординарца.

— Нет, не надо. Я знаю дорогу.

— Так, значит, скоро опять к нам?

— Непременно.

— Давайте, я все-таки...

— Нет, — сказал Ник. — В знак доверия.

— Ну, как хотите.

— Сiao, — сказал Ник. Он пошел назад по дорожной выемке, туда, где он оставил велосипед. К вечеру, как только он минует канал, дорога будет в тени. За каналом по обеим сторонам дороги деревья совсем не тронуты снарядами. Именно на этом участке как-то раз им встретились на походе кавалеристы Третьего савойского полка. С пиками, по снегу. Дыхание лошадей поднималось султанами в морозном воздухе. Нет, это было не здесь. Где же это было?

— Только бы мне добраться до этого чертова велосипеда, — сказал себе Ник. — А то еще заблудишься и не попадешь в Форначи.

The Short Happy Life of Francis Macomber

It was now lunch time and they were all sitting under the double green fly of the dining tent pretending that nothing had happened.

"Will you have lime juice or lemon squash?" Macomber asked.

"I'll have a gimlet," Robert Wilson told him.

"I'll have a gimlet too. I need something," Macomber's wife said.

"I suppose it's the thing to do," Macomber agreed. "Tell him to make three gimlets."

The mess boy had started them already, lifting the bottles out of the canvas cooling bags that sweated wet in the wind that blew through the trees that shaded the tents.

"What had I ought to give them?" Macomber asked.

"A quid would be plenty," Wilson told him. "You don't want to spoil them."

"Will the headman distribute it?"

"Absolutely."

Francis Macomber had, half an hour before, been carried to his tent from the edge of the camp in triumph on the arms and shoulders of the cook, the personal boys, the skinner and the porters. The gun bearers had taken no part in the demonstration. When the native boys put him down at the door of his tent, he had shaken all their hands, received their congratulations, and then gone into the tent and sat on the bed until his wife came in. She did not speak to him when she came in and he left the tent at once to wash his face and hands in the portable wash basin outside and go over to the dining tent to sit in a comfortable canvas chair in the breeze and the shade.

"You've got your lion," Robert Wilson said to him, "and a damned fine one too."

Mrs. Macomber looked at Wilson quickly. She was an extremely handsome and well-kept woman of the beauty and social position which had, five years before, commanded five thousand dollars as the price of endorsing, with photographs, a beauty product which she had never used.

Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера

Пора было завтракать, и они сидели все вместе под двойным зеленым навесом обеденной палатки, делая вид, будто ничего не случилось.

— Вам лимонного соку или лимонаду? — спросил Макомбер.

— Мне коктейль, — ответил Роберт Уилсон.

— Мне тоже коктейль. Хочется чего-нибудь крепкого, — сказала жена Макомбера.

— Да, это, пожалуй, будет лучше всего, — согласился Макомбер. — Велите ему смешать три коктейля.

Бой уже приступил к делу, вынимал бутылки из мешков со льдом, вспотевшие на ветру, который дул сквозь затенявшие палатку деревья.

— Сколько им дать? — спросил Макомбер.

— Фунта будет вполне достаточно, — ответил Уилсон. — Нечего их баловать.

— Дать старшему, а он разделит?

— Совершенно верно.

Полчаса назад Фрэнсис Макомбер был с торжеством доставлен от границы лагеря в свою палатку на руках повара, боев, свежевальщика и носильщиков. Ружьеносцы в процессии не участвовали. Когда туземцы опустили его на землю перед палаткой, он пожал им все руки, выслушал их поздравления, а потом, войдя в палатку, сидел там на койке, пока не вошла его жена. Она ничего не сказала ему, и он сейчас же вышел, умылся в складном дорожном тазу и, пройдя к обеденной палатке, сел в удобное парусиновое кресло в тени, на ветру.

— Вот вы и убили льва, — сказал ему Роберт Уилсон, — да еще какого замечательного.

Миссис Макомбер быстро взглянула на Уилсона. Это была очень красивая и очень холеная женщина; пять лет назад ее красота и положение в обществе принесли ей пять тысяч долларов, — плата за отзыв (с приложением фотографии) о косметическом средстве, которого она никогда не употребляла. За Фрэнсиса Макомбера

She had been married to Francis Macomber for eleven years.

"He is a good lion, isn't he?" Macomber said. His wife looked at him now. She looked at both these men as though she had never seen them before.

One, Wilson, the white hunter, she knew she had never truly seen before. He was about middle height with sandy hair, a stubby mustache, a very red face and extremely cold blue eyes with faint white wrinkles at the corners that grooved merrily when he smiled. He smiled at her now and she looked away from his face at the way his shoulders sloped in the loose tunic he wore with the four big cartridges held in loops where the left breast pocket should have been, at his big brown hands, his old slacks, his very dirty boots and back to his red face again. She noticed where the baked red of his face stopped in a white line that marked the circle left by his Stetson hat that hung now from one of the pegs of the tent pole.

"Well, here's to the lion," Robert Wilson said. He smiled at her again and, not smiling, she looked curiously at her husband.

Francis Macomber was very tall, very well built if you did not mind that length of bone, bark, his hair cropped like an oarsman, rather thin-lipped, and was considered handsome. He was dressed in the same sort of safari clothes that Wilson wore except that his were new, he was thirty-five years old, kept himself very fit, was good at court games, had a number of big-game fishing records, and had just shown himself, very publicly, to be a coward.

"Here's to the lion," he said. "I can't ever thank you for what you did."

Margaret, his wife, looked away from him and back to Wilson.

"Let's not talk about the lion," she said.

Wilson looked over at her without smiling and now she smiled at him.

"It's been a very strange day," she said. "Hadn't you

она вышла замуж одиннадцать лет назад.

— А верно ведь, хороший лев? — сказал Макомбер. Теперь его жена взглянула на него. Она смотрела на обоих мужчин так, словно видела их впервые.

Одного из них, белого охотника Уилсона, она и правда видела по-настоящему в первый раз. Он был среднего роста, рыжеватый, с жесткими усами, красным лицом и очень холодными голубыми глазами, от которых, когда он улыбался, разбегались веселые белые морщинки. Сейчас он улыбался ей, и она отвела взгляд от его лица и поглядела на его покатые плечи в свободном френче и на четыре патрона, закрепленных там, где полагалось быть левому нагрудному карману, на его большие загорелые руки, старые бриджи, очень грязные башмаки, а потом опять на его красное лицо. Она заметила, что красный загар кончался белой полоской — след от его широкополой шляпы, которая сейчас висела на одном из гвоздей, вбитых в шест палатки.

— Ну, выпьем за льва, — сказал Роберт Уилсон. Он опять улыбнулся ей, а она, не улыбаясь, с любопытством посмотрела на мужа.

Фрэнсис Макомбер был очень высокого роста, очень хорошо сложен, — если не считать недостатком такой длинный костяк, — с темными волосами, коротко подстриженными, как у гребца, и довольно тонкими губами. Его считали красивым. На нем был такой же охотничий костюм, как и на Уилсоне, только новый, ему было тридцать пять лет, он был очень подтянутый, отличный теннисист, несколько раз занимал первое место в рыболовных состязаниях и только что, на глазах у всех, проявил себя трусом.

— Выпьем за льва, — сказал он. — Не знаю, как благодарить вас за то, что вы сделали.

Маргарет, его жена, опять перевела глаза на Уилсона.

— Не будем говорить про льва, — сказала она.

Уилсон посмотрел на нее без улыбки, и теперь она сама улыбнулась ему.

— Очень странный сегодня день, — сказала она. — А

ought to put your hat on even under the canvas at noon? You told me that, you know."

"Might put it on," said Wilson.

"You know you have a very red face, Mr. Wilson," she told him and smiled again.

"Drink," said Wilson.

"I don't think so," she said. "Francis drinks a great deal, but his face is never red."

"It's red today," Macomber tried a joke.

"No," said Margaret. "It's mine that's red today. But Mr. Wilson's always red."

"Must be racial," said Wilson. "I say, you wouldn't like to drop my beauty as a topic, would you?"

"I've just started on it."

"Let's chuck it," said Wilson.

"Conversation is going to be so difficult," Margaret said.

"Don't be silly, Margot," her husband said.

"No difficulty," Wilson said. "Got a damn fine lion."

Margot looked at them both and they both saw that she was going to cry. Wilson had seen it coming for a long time and he dreaded it. Macomber was past dreading it.

"I wish it hadn't happened. Oh, I wish it hadn't happened," she said and started for her tent. She made no noise of crying but they could see that her shoulders were shaking under the rose-colored, sun-proofed shirt she wore.

"Woman upset," said Wilson to the tall man. "Amounts to nothing. Strain on the nerves and one thing 'n another."

"No," said Macomber. "I suppose that I rate that for the rest of my life now."

"Nonsense. Let's have a spot of the giant killer," said Wilson. "Forget the whole thing. Nothing to it anyway."

"We might try," said Macomber. "I won't forget what you did for me though."

"Nothing," said Wilson. "All nonsense."

вам бы лучше надеть шляпу, в полдень ведь печет и под навесом. Вы мне сами говорили.

— Можно и надеть, — сказал Уилсон.

— Знаете, мистер Уилсон, у вас очень красное лицо, — сказала она и опять улыбнулась.

— Пью много, — сказал Уилсон.

— Нет, я думаю, это не оттого, — сказала она. — Фрэнсис тоже много пьет, но у него лицо никогда не краснеет.

— Сегодня покраснело, — попробовал пошутить Макомбер.

— Нет, — сказала Маргарет. — Это я сегодня краснею. А у мистера Уилсона лицо всегда красное.

— Должно быть, национальная особенность, — сказал Уилсон. — А в общем, может быть, хватит говорить о моей красоте, как вы скажете?

— Я еще только начала.

— Ну, и давайте кончим, — сказал Уилсон.

— Тогда совсем не о чем будет разговаривать, — сказала Маргарет.

— Не дури, Марго, — сказал ее муж.

— Как же не о чем, — сказал Уилсон. — Вот убили замечательного льва.

Марго посмотрела на них, и они увидели, что она сейчас расплечется. Уилсон ждал этого и очень боялся. Макомбер давно перестал бояться таких вещей.

— И зачем это случилось. Ах, зачем только это случилось, — сказала она и пошла к своей палатке. Они не слышали плача, но было видно, как вздрагивают ее плечи под розовой полотняной блузкой.

— Женская блажь, — сказал Уилсон. — Это пустяки. Нервы, ну и так далее.

— Нет, — сказал Макомбер. — Мне это теперь до самой смерти не простится.

— Ерунда. Давайте-ка лучше выпьем, — сказал Уилсон. — Забудьте всю эту историю. Есть о чем говорить.

— Попробую, — сказал Макомбер. — Впрочем, того, что вы для меня сделали, я не забуду.

— Бросьте, — сказал Уилсон. — Все это ерунда.

So they sat there in the shade where the camp was pitched under some wide-topped acacia trees with a boulder-strewn cliff behind them, and a stretch of grass that ran to the bank of a boulder-filled stream in front with forest beyond it, and drank their just-cool lime drinks and avoided one another's eyes while the boys set the table for lunch. Wilson could tell that the boys all knew about it now and when he saw Macomber's personal boy looking curiously at his master while he was putting dishes on the table he snapped at him in Swahili. The boy turned away with his face blank.

"What were you telling him?" Macomber asked.

"Nothing. Told him to look alive or I'd see he got about fifteen of the best."

"What's that? Lashes?"

"It's quite illegal," Wilson said. "You're supposed to fine them."

"Do you still have them whipped?"

"Oh, yes. They could raise a row if they chose to complain. But they don't. They prefer it to the fines."

"How strange!" said Macomber.

"Not strange, really," Wilson said. "Which would you rather do? Take a good birching or lose your pay?"

Then he felt embarrassed at asking it and before Macomber could answer he went on, "We all take a beating every day, you know, one way or another."

This was no better. "Good God," he thought. "I am a diplomat, aren't I?"

"Yes, we take a beating," said Macomber, still not looking at him. "I'm awfully sorry about that lion business. It doesn't have to go any further, does it? I mean no one will hear about it, will they?"

"You mean will I tell it at the Mathaiga Club?" Wilson looked at him now coldly. He had not expected this. So he's a bloody four-letter man as well as a bloody coward, he

Так они сидели в тени, в своем лагере, разбитом под широкими кронами акаций, между каменистой осыпью и зеленой лужайкой, сбегавшей к берегу засыпанного камнями ручья, за которым тянулся лес, и пили тепловатый лимонный сок, и старались не смотреть друг на друга, пока бои накрывали стол к завтраку. Уилсон не сомневался, что боям уже все известно, и, заметив, что бой Макомбера, расставлявший на столе тарелки, с любопытством поглядывает на своего хозяина, ругнул его на суахили. Бой отвернулся, лицо его выражало полное безразличие.

— Что вы ему сказали? — спросил Макомбер.

— Ничего. Сказал, чтоб пошевеливался, не то я велю закатить ему пятнадцать горячих.

— Как так? Плетей?

— Это, конечно, незаконно, — сказал Уилсон. — Полагается их штрафовать.

— У вас их и теперь еще бьют?

— Сколько угодно. Вздумай они пожаловаться, вышел бы крупный скандал. Но они не жалуются. Считают, что штраф хуже.

— Как странно, — сказал Макомбер.

— Не так уж странно, — сказал Уилсон. — А вы бы что предпочли? Хорошую порку или вычет из жалованья?

Но ему стало неловко, что он задал такой вопрос, и, не дав Макомберу ответить, он продолжал:

— Так ли, этак ли, всех нас бьют, изо дня в день.

Еще того хуже. О, черт, подумал он. В дипломаты я не годюсь.

— Да, всех нас бьют, — сказал Макомбер, по-прежнему не глядя на него. — Мне ужасно неприятна эта история со львом. Дальше она не пойдет, правда? Я хочу сказать — никто о ней не узнает?

— Вы хотите спросить, расскажу ли я о ней в «Матайга-клубе»?

Уилсон холодно посмотрел на него. Этого он не ожидал. Так он, значит, не только трус, но еще и дурак, подумал он. А сначала он мне даже понравился. Но кто их

thought. I rather liked him too until today. But how is one to know about an American?

"No," said Wilson. "I'm a professional hunter. We never talk about our clients. You can be quite easy on that. It's supposed to be bad form to ask us not to talk though."

He had decided now that to break would be much easier. He would eat, then, by himself and could read a book with his meals. They would eat by themselves. He would see them through the safari on a very formal basis—what was it the French called it? Distinguished consideration—and it would be a damn sight easier than having to go through this emotional trash. He'd insult him and make a good clear break. Then he could read a book with his meals and he'd still be drinking their whisky. That was the phrase for it when a safari went bad. You ran into another white hunter and you asked, "How is everything going?" and he answered. "Oh, I'm still drinking their whisky," and you knew everything had gone to pot.

"I'm sorry," Macomber said and looked at him with his American face that would stay adolescent until it became middle-aged, and Wilson noted his crew-cropped hair, fine eyes only faintly shifty, good nose, thin lips and handsome jaw. "I'm sorry I didn't realize that. There are lots of things I don't know."

So what could he do, Wilson thought. He was all ready to break it off quickly and neatly and here the beggar was apologizing after he had just insulted him. He made one more attempt. "Don't worry about me talking," he said. "I have a living to make. You know in Africa no woman ever misses her lion and no white man ever bolts."

"I bolted like a rabbit," Macomber said.

Now what in hell were you going to do about a man who talked like that, Wilson wondered.

Wilson looked at Macomber with his flat, blue, machine-gunner's eyes and the other smiled back at him. He had a pleasant smile if you did not notice how his eyes showed when he was hurt.

разберет, этих американцев.

— Нет, — сказал Уилсон. — Я профессионал. Мы никогда не говорим о своих клиентах. На этот счет можете быть спокойны. Но просить нас об этом не принято.

Теперь он решил, что гораздо лучше было бы поссориться. Тогда он будет есть отдельно и за едой читать. И они тоже будут есть отдельно. Он останется с ними до конца охоты, но отношения у них будут самые официальные. Как это французы говорят — *considération distinguée*?. В тысячу раз лучше, чем участвовать в их дурацких переживаниях. Он оскорбит Макомбера, и они рассорятся. Тогда он сможет читать за едой, а их виски будет пить по-прежнему. Так всегда говорят, если на охоте выйдут неприятности. Встречаешь другого белого охотника и спрашиваешь: «Ну, как у вас?» — а он отвечает: «Да ничего, по-прежнему пью их виски», — и сразу понимаешь, что дело дрянь.

— Простите, — сказал Макомбер, повернув к нему свое американское лицо, лицо, которое до старости останется мальчишеским, и Уилсон отметил его коротко стриженные волосы, красивые, только чуть-чуть бегающие глаза, правильный нос, тонкие губы и складный подбородок. — Простите, я не сообразил. Я ведь очень многого не знаю.

Ну что тут поделаешь? — думал Уилсон. Он хотел поссориться быстро и окончательно, а этот болван, которого он только что оскорбил, вздумал просить прощения. Он сделал еще одну попытку.

— Не беспокойтесь, я болтать не буду, — сказал он. — Мне не хочется терять заработок. Здесь, в Африке, знаете ли, женщина никогда не дает промаха по льву, а белый мужчина никогда не удирает.

— Я удрал, как заяц, — сказал Макомбер.

Тьфу, подумал Уилсон, ну что поделаешь с человеком, который говорит такие вещи?

Уилсон посмотрел на Макомбера своими равнодушными голубыми глазами, глазами пулеметчика, и тот улыбнулся ему. Хорошая улыбка, если не замечать, какие у него несчастные глаза.

"Maybe I can fix it up on buffalo," he said. "We're after them next, aren't we?"

"In the morning if you like," Wilson told him. Perhaps he had been wrong. This was certainly the way to take it. You most certainly could not tell a damned thing about an American. He was all for Macomber again. If you could forget the morning. But, of course, you couldn't. The morning had been about as bad as they come.

"Here comes the Memsahib," he said. She was walking over from her tent looking refreshed and cheerful and quite lovely. She had a very perfect oval face, so perfect that you expected her to be stupid. But she wasn't stupid, Wilson thought, no, not stupid.

"How is the beautiful red-faced Mr. Wilson? Are you feeling better, Francis, my pearl?"

"Oh, much," said Macomber.

"I've dropped the whole thing," she said, sitting down at the table. "What importance is there to whether Francis is any good at killing lions? That's not his trade. That's Mr. Wilson's trade. Mr. Wilson is really very impressive killing anything. You do kill anything, don't you?"

"Oh, anything," said Wilson. "Simply anything." They are, he thought, the hardest in the world; the hardest, the cruelest, the most predatory and the most attractive and their men have softened or gone to pieces nervously as they have hardened. Or is it that they pick men they can handle? They can't know that much at the age they marry, he thought. He was grateful he had gone through his education on American women before now because this was a very attractive one.

"We're going after buff in the morning," he told her.

"I'm coming," she said.

"No, you're not."

"Oh, yes, I am. Mayn't I, Francis?"

— Может быть, я еще отыграюсь на буйволах, — сказал Макомбер. — Ведь, кажется, теперь они у нас на очереди?

— Хоть завтра, если хотите, — ответил Уилсон. Может быть, он напрасно разозлился. Макомбер прав, так и надо держаться. Не поймешь этих американцев, хоть ты тресни. Он опять проникся симпатией к Макомберу. Если б только забыть сегодняшнее утро. Но разве забудешь. Утро вышло такое, что хуже не выдумать.

— Вот и мемсаиб идет, — сказал он. Она шла к ним от своей палатки, отдохнувшая, веселая, очаровательная. У нее был безукоризненный овал лица, такой безукоризненный, что ее можно было заподозрить в глупости. Но она не глупа, думал Уилсон, нет, что угодно — только не глупа.

— Как чувствует себя прекрасный краснолицый мистер Уилсон? Ну что, Фрэнсис, сокровище мое, тебе лучше?

— Гораздо лучше, — сказал Макомбер.

— Я решила забыть об этой истории, — сказала она, садясь к столу. — Не все ли равно, хорошо или плохо Фрэнсис убивает львов? Это не его профессия. Это профессия мистера Уилсона. Мистер Уилсон, тот действительно интересен, когда убивает. Ведь вы всё убиваете, правда?

— Да, всё, — сказал Уилсон. — Всё, что угодно.

Такие вот, думал он, самые черствые на свете; самые черствые, самые жестокие, самые хищные и самые обольстительные; они такие черствые, что их мужчины стали слишком мягкими или просто неврастениками. Или они нарочно выбирают таких мужчин, с которыми могут сладить? Но откуда им знать, ведь они выходят замуж рано, думал он. Да, хорошо, что американки ему уже не внове; потому что эта, безусловно, очень обольстительна.

— Завтра едем бить буйволов, — сказал он ей.

— И я с вами.

— Вы не поедете.

— Поеду. Разве нельзя, Фрэнсис?

"Why not stay in camp?"

"Not for anything," she said. "I wouldn't miss something like today for anything."

When she left, Wilson was thinking, when she went off to cry, she seemed a hell of a fine woman. She seemed to understand, to realize, to be hurt for him and for herself and to know how things really stood. She is away for twenty minutes and now she is back, simply enamelled in that American female cruelty. They are the damnedest women. Really the damnedest.

"We'll put on another show for you tomorrow," Francis Macomber said.

"You're not coming," Wilson said.

"You're very mistaken," she told him. "And I want so to see you perform again. You were lovely this morning. This is if blowing things' heads off is lovely."

"Here's the lunch," said Wilson. "You're very merry, aren't you?"

"Why not? I didn't come out here to be dull."

"Well, it hasn't been dull," Wilson said. He could see the boulders in the river and the high bank beyond with the trees and he remembered the morning.

"Oh, no," she said. "It's been charming. And tomorrow. You don't know how I look forward to tomorrow."

"That's eland he's offering you," Wilson said.

"They're the big cowy things that jump like hares, aren't they?"

"I suppose that describes them," Wilson said.

"It's very good meat," Macomber said.

"Did you shoot it, Francis?" she asked.

"Yes."

"They're not dangerous, are they?"

"Only if they fall on you," Wilson told her.

— А может, тебе лучше остаться в лагере?

— Ни за что, — сказала она. — Такого, как сегодня было, я ни за что не пропущу.

Когда она ушла, думал Уилсон, когда она ушла, чтобы выплакаться, мне показалось, что она чудесная женщина. Казалось, что она понимает, сочувствует, обижена за него и за себя, ясно видит, как обстоит дело. А через двадцать минут она возвращается вся закованная в свою женскую американскую жестокость. Ужасные они женщины. Просто ужасные.

— Завтра мы опять устроим для тебя представление, — сказал Фрэнсис Макомбер.

— Вы не поедете, — сказал Уилсон.

— Ошибаетесь, — возразила она. — Я хочу еще полюбоваться вами. Сегодня утром вы были очень милы. То есть, конечно, если может быть мило, когда кому-нибудь снесут череп.

— Вот и завтрак, — сказал Уилсон. — Вам, кажется, очень весело?

— А почему бы и нет? Я не затем сюда приехала, чтобы скучать.

— Да, скучать пока не приходилось, — сказал Уилсон. Он посмотрел на камни в ручье, на высокий дальний берег, на деревья в том месте, где это случилось, и вспомнил утро.

— Еще бы, — сказала она. — Замечательно было. А завтра. Вы не можете себе представить, как я жду завтрашнего дня.

— Попробуйте бифштекс из антилопы куду, — сказал Уилсон.

— Это такие большие звери вроде коров и прыгают, как зайцы, да?

— Описано довольно точно, — сказал Уилсон.

— Очень вкусное мясо, — сказал Макомбер.

— Это ты ее убил, Фрэнсис? — спросила она.

— Да.

— А они не опасные?

— Нет, разве что свалятся вам на голову, — ответил ей Уилсон.

"I'm so glad."

"Why not let up on the bitchery just a little, Margot," Macomber said, cutting the eland steak and putting some mashed potato, gravy and carrot on the down-turned fork that tined through the piece of meat.

"I suppose I could," she said, "since you put it so prettily."

"Tonight we'll have champagne for the lion," Wilson said. "It's a bit too hot at noon."

"Oh, the lion," Margot said. "I'd forgotten the lion!"

So, Robert Wilson thought to himself, she is giving him a ride, isn't she? Or do you suppose that's her idea of putting up a good show? How should a woman act when she discovers her husband is a bloody coward? She's damn cruel but they're all cruel. They govern, of course, and to govern one has to be cruel sometimes. Still, I've seen enough of their damn terrorism.

"Have some more eland," he said to her politely.

That afternoon, late, Wilson and Macomber went out in the motor car with the native driver and the two gun-bearers. Mrs. Macomber stayed in the camp. It was too hot to go out, she said, and she was going with them in the early morning. As they drove off Wilson saw her standing under the big tree, looking pretty rather than beautiful in her faintly rosy khaki, her dark hair drawn back off her forehead and gathered in a knot low on her neck, her face as fresh, he thought, as though she were in England. She waved to them as the car went off through the swale of high grass and curved around through the trees into the small hills of orchard bush.

In the orchard bush they found a herd of impala, and leaving the car they stalked one old ram with long, wide-spread horns and Macomber killed it with a very creditable shot that knocked the buck down at a good two hundred yards and sent the herd off bounding wildly and leaping

— Это утешительно.

— Нельзя ли без гадостей, Марго, — сказал Макомбер; он отрезал кусок бифштекса и, проткнув его вилок, набрал на нее картофельного пюре, моркови и соуса.

— Хорошо, милый, — сказала она, — раз ты так любезно об этом просишь.

— Вечером спрыснем льва шампанским, — сказал Уилсон. — Сейчас слишком жарко.

— Ах да, лев, — сказала Марго. — Я и забыла про льва.

Ну вот, подумал Роберт Уилсон, теперь она над ним издевается. Или она воображает, что так нужно держать себя, когда на душе кошки скребут? Как должна поступить женщина, обнаружив, что ее муж — последний трус? Жестока она до черта, — впрочем, все они жестокие. Они ведь властвуют, а когда властвуешь, приходится иногда быть жестоким. А в общем, хватит с меня их тиранства.

— Возьмите еще жаркого, — вежливо сказал он ей.

Ближе к вечеру Уилсон и Макомбер уехали в автомобиле с шофером-туземцем и обоими ружьеносцами. Миссис Макомбер осталась в лагере. Очень жарко, ехать не хочется, сказала она, к тому же она поедет с ними завтра утром. Когда они отъезжали, она стояла под большим деревом, скорее хорошенькая, чем красивая, в розово-коричневом полотняном костюме, темные волосы зачесаны со лба и собраны узлом на затылке, лицо такое свежее, подумал Уилсон, точно она в Англии. Она помахала им рукой, и автомобиль по высокой траве пересек ложбинку и зигзагами стал пробираться среди деревьев к небольшим холмам, поросшим кустами терновника.

В кустах они подняли стадо водяных антилоп и, выйдя из машины, высмотрели старого самца с длинными изогнутыми рогами, и Макомбер убил его очень метким выстрелом, который свалил животное на расстоянии добрых двухсот ярдов, в то время как остальные в испуге умчались, отчаянно подскакивая и пере-

over one another's backs in long, leg-drawn-up leaps as unbelievable and as floating as those one makes sometimes in dreams.

"That was a good shot," Wilson said. "They're a small target."

"Is it a worth-while head?" Macomber asked.

"It's excellent," Wilson told him. "You shoot like that and you'll have no trouble."

"Do you think we'll find buffalo tomorrow?"

"There's a good chance of it. They feed out early in the morning and with luck we may catch them in the open."

"I'd like to clear away that lion business," Macomber said. "It's not very pleasant to have your wife see you do something like that."

I should think it would be even more unpleasant to do it, Wilson thought, wife or no wife, or to talk about it having done it. But he said, "I wouldn't think about that any more. Any one could be upset by his first lion. That's all over."

But that night after dinner and a whisky and soda by the fire before going to bed, as Francis Macomber lay on his cot with the mosquito bar over him and listened to the night noises it was not all over. It was neither all over nor was it beginning. It was there exactly as it happened with some parts of it indelibly emphasized and he was miserably ashamed at it. But more than shame he felt cold, hollow fear in him. The fear was still there like a cold slimy hollow in all the emptiness where once his confidence had been and it made him feel sick. It was still there with him now.

It had started the night before when he had wakened and heard the lion roaring somewhere up along the river. It was a deep sound and at the end there were sort of coughing grunts that made him seem just outside the tent, and when Francis Macomber woke in the night to hear it he was afraid. He could hear his wife breathing quietly,

прыгивая друг через друга, поджимая ноги, длинными скачками, такими же плавными и немыслимыми, как те, что делаешь иногда во сне.

— Хороший выстрел, — сказал Уилсон. — В них попасть не легко.

— Ну как, стоящая голова? — спросил Макомбер.

— Голова превосходная, — ответил Уилсон. — Всегда так стреляйте, и все будет хорошо.

— Как думаете, найдем мы завтра буйволов?

— По всей вероятности, найдем. Они рано утром выходят пастись, и, если посчастливится, мы застанем их на поляне.

— Мне хотелось бы как-то загладить эту историю со львом, — сказал Макомбер. — Не очень-то приятно оказаться в таком положении на глазах у собственной жены.

По-моему, это само по себе достаточно неприятно, подумал Уилсон, все равно, видит вас жена или нет, и уж совсем глупо говорить об этом. Но он сказал:

— Бросьте вы об этом думать. Первый лев хоть кого может смутить. Это все кончилось.

Но вечером, после обеда и стакана виски с содовой у костра, когда Фрэнсис Макомбер лежал на своей койке, под сеткой от москитов, и прислушивался к ночным звукам, это не кончилось. Не кончилось и не начиналось. Это стояло у него перед глазами точно так, как произошло, только некоторые подробности выступили особенно ярко, и ему было нестерпимо стыдно. Но сильнее, чем стыд, он ощущал в себе холодный сосущий страх. Страх был в нем, как холодный, скользкий провал в той пустоте, которую некогда заполняла его уверенность, и ему было очень скверно. Страх был в нем и не покидал его.

Началось это предыдущей ночью, когда он проснулся и услышал рычание льва где-то вверх по ручью. Это был низкий рев, и кончался он ворчанием и кашлем, отчего казалось, что лев у самой палатки, и когда Фрэнсис Макомбер, проснувшись ночью, услышал его, он испугался. Он слышал ровное дыхание жены, она

asleep. There was no one to tell he was afraid, nor to be afraid with him, and, lying alone, he did not know the Somali proverb that says a brave man is always frightened three times by a lion; when he first sees his track, when he first hears him roar and when he first confronts him. Then while they were eating breakfast by lantern light out in the dining tent, before the sun was up, the lion roared again and Francis thought he was just at the edge of camp.

"Sounds like an old-timer," Robert Wilson said, looking up from his kippers and coffee. "Listen to him cough."

"Is he very close?"

"A mile or so up the stream."

"Will we see him?"

"We'll have a look."

"Does his roaring carry that far? It sounds as though he were right in camp."

"Carries a hell of a long way," said Robert Wilson. "It's strange the way it carries. Hope he's a shootable cat. The boys said there was a very big one about here."

"If I get a shot, where should I hit him," Macomber asked, "to stop him?"

"In the shoulders," Wilson said. "In the neck if you can make it. Shoot for bone. Break him down."

"I hope I can place it properly," Macomber said.

"You shoot very well," Wilson told him. "Take your time. Make sure of him. The first one in is the one that counts."

"What range will it be?"

"Can't tell. Lion has something to say about that. Won't shoot unless it's close enough so you can make sure."

"At under a hundred yards?" Macomber asked.

Wilson looked at him quickly.

"Hundred's about right. Might have to take him a bit under. Shouldn't chance a shot at much over that. A hundred's a decent range. You can hit him wherever you

спала. Некому было рассказать, что ему страшно, некому разделить его страх, он лежал один и не знал сомалийской поговорки, которая гласит, что храбрый человек три раза в жизни пугается льва: когда впервые увидит его след, когда впервые услышит его рычание и когда впервые встретится с ним. Позже, пока они закусывали в обеденной палатке при свете фонаря, еще до восхода солнца, лев опять зарычал, и Фрэнсису почудилось, что он совсем рядом с лагерем.

— Похоже, что старый, — сказал Роберт Уилсон, поднимая голову от кофе и копченой рыбы. — Слышите, как кашляет.

— Он очень близко отсюда?

— Около мили вверх по ручью.

— Мы увидим его?

— Постараемся.

— Разве его всегда так далеко слышно? Как будто он в самом лагере.

— Слышно очень далеко, — сказал Роберт Уилсон. — Даже удивительно. Будем надеяться, что он даст себя застрелить. Туземцы говорили, что тут есть один очень большой.

— Если придется стрелять, куда нужно целиться, чтобы остановить его? — спросил Макомбер.

— В лопатку, — сказал Уилсон. — Если сможете, в шею. Цельте в кость. Старайтесь убить наповал.

— Надеюсь, что я попаду, — сказал Макомбер.

— Вы прекрасно стреляете, — сказал Уилсон. — Не торопитесь. Стреляйте наверняка. Первый выстрел решающий.

— С какого расстояния надо стрелять?

— Трудно сказать. На этот счет у льва может быть свое мнение. Если будет слишком далеко, не стреляйте, надо бить наверняка.

— Ближе чем со ста ярдов? — спросил Макомбер.

Уилсон бросил на него быстрый взгляд.

— Сто, пожалуй, будет как раз. Может быть, чуть-чуть ближе. Если дальше, то лучше и не пробовать. Сто — хорошая дистанция. С нее можно бить куда угод-

want at that. Here comes the Memsahib."

"Good morning," she said. "Are we going after that lion?"

"As soon as you deal with your breakfast," Wilson said.

"How are you feeling?"

"Marvellous," she said. "I'm very excited."

"I'll just go and see that everything is ready," Wilson went off. As he left the lion roared again.

"Noisy beggar," Wilson said. "We'll put a stop to that."

"What's the matter, Francis?" his wife asked him.

"Nothing," Macomber said.

"Yes, there is," she said. "What are you upset about?"

"Nothing," he said.

"Tell me," she looked at him. "Don't you feel well?"

"It's that damned roaring," he said. "It's been going on all night, you know."

"Why didn't you wake me," she said. "I'd love to have heard it."

"I've got to kill the damned thing," Macomber said, miserably.

"Well, that's what you're out here for, isn't it?"

"Yes. But I'm nervous. Hearing the thing roar gets on my nerves."

"Well then, as Wilson said, kill him and stop his roaring."

"Yes, darling," said Francis Macomber. "It sounds easy, doesn't it?"

"You're not afraid, are you?"

"Of course not. But I'm nervous from hearing him roar all night."

"You'll kill him marvellously," she said. "I know you will. I'm awfully anxious to see it."

"Finish your breakfast and we'll be starting."

"It's not light yet," she said. "This is a ridiculous hour."

Just then the lion roared in a deep-chested moaning, suddenly guttural, ascending vibration that seemed to

но, на выбор. А вот и мемсаиб.

— С добрым утром, — сказала она. — Ну что, едем?

— Как только вы позавтракаете, — сказал Уилсон. — Чувствуете себя хорошо?

— Превосходно, — сказала она. — Я очень волнуюсь.

— Пойду посмотрю, все ли готово. — Уилсон встал. Когда он уходил, лев зарычал снова. — Вот расшумелся, — сказал Уилсон. — Мы эту музыку прекратим.

— Что с тобой, Фрэнсис? — спросила его жена.

— Ничего, — сказал Макомбер.

— Нет, в самом деле. Чем ты расстроен?

— Ничем.

— Скажи. — Она пристально посмотрела на него. — Ты плохо себя чувствуешь?

— Этот рев, черт бы его побрал, — сказал он. — Ведь он не смолкал всю ночь.

— Что же ты меня не разбудил? Я бы с удовольствием послушала.

— И мне нужно убить эту гадину, — жалобно сказал Макомбер.

— Так ведь ты для этого сюда и приехал?

— Да. Но я что-то нервничаю. Так раздражает это рычание.

— Так убей его и прекрати эту музыку, как говорит Уилсон.

— Хорошо, дорогая, — сказал Фрэнсис Макомбер. — На словах это очень легко, правда?

— Ты уж не боишься ли?

— Конечно, нет. Но я слышал его всю ночь и теперь нервничаю.

— Ты убьешь его, и все будет чудесно, — сказала она. — Я знаю. Мне просто не терпится посмотреть, как это будет.

— Кончай завтракать, и поедем.

— Куда в такую рань, — сказала она. — Еще даже не рассвело.

В эту минуту лев опять зарычал, — низкий рев неожиданно перешел в гортанный, вибрирующий, нарас-

shake the air and ended in a sigh and a heavy, deep-chested grunt.

"He sounds almost here," Macomber's wife said.

"My God," said Macomber. "I hate that damned noise."

"It's very impressive."

"Impressive. It's frightful."

Robert Wilson came up then carrying his short, ugly, shockingly big-bored .505 Gibbs and grinning.

"Come on," he said. "Your gun-bearer has your Springfield and the big gun. Everything's in the car. Have you solids?"

"Yes."

"I'm ready," Mrs. Macomber said.

"Must make him stop that racket," Wilson said. "You get in front. The Memsahib can sit back here with me."

They climbed into the motor car and, in the gray first day-light, moved off up the river through the trees. Macomber opened the breech of his rifle and saw he had metal-cased bullets, shut the bolt and put the rifle on safety. He saw his hand was trembling. He felt in his pocket for more cartridges and moved his fingers over the cartridges in the loops of his tunic front. He turned back to where Wilson sat in the rear seat of the doorless, box-bodied motor car beside his wife, them both grinning with excitement, and Wilson leaned forward and whispered.

"See the birds dropping. Means the old boy has left his kill."

On the far bank of the stream Macomber could see, above the trees, vultures circling and plummeting down.

"Chances are he'll come to drink along here," Wilson whispered. "Before he goes to lay up. Keep an eye out."

They were driving slowly along the high bank of the stream which here cut deeply to its boulder-filled bed, and they wound in and out through big trees as they drove.

тающий звук, который словно всколыхнул воздух и окончился вздохом и глухим, низким ворчанием.

— Можно подумать, что он здесь, рядом, — сказала жена Макомбера.

— Черт, — сказал Макомбер, — просто не выношу этого рева.

— Звучит внушительно.

— Внушительно! Просто ужасно.

К ним подошел Роберт Уилсон, держа в руке свою короткую, неуклюжую, с непомерно толстым стволом винтовку Гиббса калибра 0,505 и весело улыбаясь.

— Едем, — сказал он. — Ваш спрингфилд и второе ружье взял ваш ружьеносец. Все уже в машине. Патроны у вас?

— Да.

— Я готова, — сказала миссис Макомбер.

— Надо его утихомирить, — сказал Уилсон. — Садитесь к шоферу. Мемсаиб может сесть сзади, со мной.

Они сели в машину и в сером утреннем свете двинулись лесом вверх по реке. Макомбер открыл затвор своего ружья и, убедившись, что оно заряжено пулями в металлической оболочке, закрыл затвор и поставил на предохранитель. Он видел, что рука у него дрожит. Он нащупал в кармане еще патроны и провел пальцами по патронам, закрепленным на груди. Он обернулся к Уилсону, сидевшему рядом с его женой на заднем сиденье — машина была без дверей, вроде ящика на колесах, — и увидел, что оба они взволнованно улыбаются. Уилсон наклонился вперед и прошептал:

— Смотрите, птицы садятся. Это наш старикан отошел от своей добычи.

Макомбер увидел, что на другом берегу ручья, над деревьями, кружат и отвесно падают грифы.

— Вероятно, он, прежде чем залечь, придет сюда пить, — прошептал Уилсон. — Смотрите в оба.

Они медленно ехали по высокому берегу ручья, который в этом месте глубоко врезался в каменистое русло, автомобиль зигзагами вилял между старых деревьев. Вглядываясь в противоположный берег, Макомбер

Macomber was watching the opposite bank when he felt Wilson take hold of his arm. The car stopped.

"There he is," he heard the whisper. "Ahead and to the right. Get out and take him. He's a marvellous lion."

Macomber saw the lion now. He was standing almost broadside, his great head up and turned toward them. The early morning breeze that blew toward them was just stirring his dark mane, and the lion looked huge, silhouetted on the rise of bank in the gray morning light, his shoulders heavy, his barrel of a body bulking smoothly.

"How far is he?" asked Macomber, raising his rifle.

"About seventy-five. Get out and take him."

"Why not shoot from where I am?"

"You don't shoot them from cars," he heard Wilson saying in his ear. "Get out. He's not going to stay there all day."

Macomber stepped out of the curved opening at the side of the front seat, onto the step and down onto the ground. The lion still stood looking majestically and coolly toward this object that his eyes only showed in silhouette, bulking like some super-rhino. There was no man smell carried toward him and he watched the object, moving his great head a little from side to side. Then watching the object, not afraid, but hesitating before going down the bank to drink with such a thing opposite him, he saw a man figure detach itself from it and he turned his heavy head and swung away toward the cover of the trees as he heard a cracking crash and felt the slam of a .30-06 220-grain solid bullet that bit his flank and ripped in sudden hot scalding nausea through his stomach. He trotted, heavy, big-footed, swinging wounded full-bellied, through the trees toward the tall grass and cover, and the crash came again to go past him ripping the air apart. Then it crashed again and he felt the blow as it hit his lower ribs and ripped on through, blood sudden hot and frothy in his mouth, and he galloped toward the high grass where he could crouch and not be

вдруг почувствовал, что Уилсон схватил его за плечо. Машина остановилась.

— Вот он, — слышал он шепот Уилсона. — Вперед, справа. Выходите и стреляйте. Лев замечательный.

Теперь и Макомбер увидел льва. Он стоял боком, подняв и повернув к ним массивную голову. Утренний ветерок, дувший в их сторону, чуть шевелил его темную гриву, и в сером свете утра, резко выделяясь на склоне берега, лев казался огромным; с невероятно широкой грудью и гладким, лоснящимся туловищем.

— Сколько до него? — спросил Макомбер, вскидывая ружье.

— Ярдов семьдесят пять. Выходите и стреляйте.

— А отсюда нельзя?

— По льву из автомобиля не стреляют, — слышал он голос Уилсона у себя над ухом. — Вылезайте. Не целый же день он будет так стоять.

Макомбер перешагнул через круглую выемку в борту машины около переднего сиденья, ступил на подножку, а с нее — на землю. Лев все стоял, горделиво и спокойно глядя на незнакомый предмет, который его глаза воспринимали лишь как силуэт какого-то сверхносорога. Человеческий запах к нему не доносился, и он смотрел на странный предмет, поводя из стороны в сторону массивной головой. Он всматривался, не чувствуя страха, но не решаясь спуститься к ручью, пока на том берегу стоит «это», — и вдруг увидел, что от предмета отделилась фигура человека, и тогда, повернув тяжелую голову, он двинулся под защиту деревьев в тот самый миг, как услышал оглушительный треск и почувствовал удар сплошной двухсотдвадцатиградовой пули калибра 0,30—0,6, которая впиалась ему в бок и внезапной, горячей, обжигающей тошнотой прошла сквозь желудок. Он затрусил, грузный, большелапый, отяжелевший от раны и сытости, к высокой траве и деревьям, и опять раздался треск и прошел мимо него, разрывая воздух. Потом опять затрещало, и он почувствовал удар, — пуля попала ему в нижние ребра и прошла навывлет, — и кровь на языке, горячую и пенистую, и он поскакал к

seen and make them bring the crashing thing close enough so he could make a rush and get the man that held it.

Macomber had not thought how the lion felt as he got out of the car. He only knew his hands were shaking and as he walked away from the car it was almost impossible for him to make his legs move. They were stiff in the thighs, but he could feel the muscles fluttering. He raised the rifle, sighted on the junction of the lion's head and shoulders and pulled the trigger. Nothing happened though he pulled until he thought his finger would break. Then he knew he had the safety on and as he lowered the rifle to move the safety over he moved another frozen pace forward, and the lion seeing his silhouette now clear of the silhouette of the car, turned and started off at a trot, and, as Macomber fired, he heard a whunk that meant that the bullet was home; but the lion kept on going. Macomber shot again and every one saw the bullet throw a spout of dirt beyond the trotting lion. He shot again, remembering to lower his aim, and they all heard the bullet hit, and the lion went into a gallop and was in the tall grass before he had the bolt pushed forward.

Macomber stood there feeling sick at his stomach, his hands that held the Springfield still cocked, shaking, and his wife and Robert Wilson were standing by him. Beside him too were the two gun-bearers shattering in Wakamba.

"I hit him," Macomber said. "I hit him twice."

"You gut-shot him and you hit him somewhere forward," Wilson said without enthusiasm. The gun-bearers looked very grave. They were silent now.

"You may have killed him," Wilson went on. "We'll have to wait a while before we go in to find out."

"What do you mean?"

"Let him get sick before we follow him up."

"Oh," said Macomber.

"He's a hell of a fine lion," Wilson said cheerfully. "He's gotten into a bad place though."

"Why is it bad?"

высокой траве, где можно залечь и притаиться, заставить их принести трещащую штуку поближе, а тогда он кинется и убьет человека, который ее держит.

Макомбер, когда вылезал из машины, не думал о том, каково сейчас льву. Он знал только, что руки у него дрожат, и, отходя от машины, едва мог заставить себя передвигать ноги. Ляжки словно онемели, хоть он чувствовал, как подрагивают мускулы. Он вскинул ружье, прицелился льву в загривок и спустил курок. Выстрела не последовало, хотя он так нажимал на спуск, что чуть не сломал себе палец. Тогда он вспомнил, что поставил на предохранитель, и, опуская ружье, чтобы открыть его, он сделал еще один неуверенный шаг, и лев, увидев, как его силуэт отделился от силуэта автомобиля, повернулся и затрусил прочь. Макомбер выстрелил и, услышав характерное «уонк», понял, что не промахнулся; но лев уходил все дальше. Макомбер выстрелил еще раз, и все увидели, как пуля взметнула фонтан грязи впереди бегущего льва. Он выстрелил еще раз, помня, что нужно целиться ниже, и все услышали, как чмокнула пуля, но лев пустился вскачь и скрылся в высокой траве, прежде чем он успел толкнуть вперед рукоятку затвора.

Макомбер стоял неподвижно, его тошнило, руки, все не опускавшие ружья, тряслись, возле него стояли его жена и Роберт Уилсон. И тут же, рядом, оба туземца тараторили что-то на вакамба.

— Я попал в него, — сказал Макомбер. — Два раза попал.

— Вы пробили ему кишки и еще, кажется, попали в грудь, — сказал Уилсон без всякого воодушевления. У туземцев были очень серьезные лица. Теперь они молчали. — Может, вы его и убили, — продолжал Уилсон. — Переждем немного, а потом пойдем посмотрим.

— То есть как?

— Когда он ослабеет, пойдем за ним по следу.

— А-а, — сказал Макомбер.

— Замечательный лев, черт побери, — весело сказал Уилсон. — Только вот спрятался в скверном месте.

— Чем оно скверное?

"Can't see him until you're on him."

"Oh," said Macomber.

"Come on," said Wilson. "The Memsahib can stay here in the car. We'll go to have a look at the blood spoor."

"Stay here, Margot," Macomber said to his wife. His mouth was very dry and it was hard for him to talk.

"Why?" she asked.

"Wilson says so."

"We're going to have a look," Wilson said. "You stay here. You can see even better from here."

"All right."

Wilson spoke in Swahili to the driver. He nodded and said, "Yes, Bwana."

Then they went down the steep bank and across the stream, climbing over and around the boulders and up the other bank, pulling up by some projecting roots, and along it until they found where the lion had been trotting when Macomber first shot. There was dark blood on the short grass that the gun-bearers pointed out with grass stems, and that ran away behind the river bank trees.

"What do we do?" asked Macomber.

"Not much choice," said Wilson. "We can't bring the car over. Bank's too steep. We'll let him stiffen up a bit and then you and I'll go in and have a look for him."

"Can't we set the grass on fire?" Macomber asked.

"Too green."

"Can't we send beaters?"

Wilson looked at him appraisingly. "Of course we can," he said. "But it's just a touch murderous. You see we know the lion's wounded. You can drive an unwounded lion—he'll move on ahead of a noise—but a wounded lion's going to charge. You can't see him until you're right on him. He'll make himself perfectly flat in cover you wouldn't think

— Не увидать его там, пока не подойдешь к нему вплотную.

— А-а, — сказал Макомбер.

— Ну, пошли, — сказал Уилсон. — Мемсаиб пусть лучше побудет здесь, в машине. Надо взглянуть на кровавой след.

— Побудь здесь, Марго, — сказал Макомбер жене. Во рту у него пересохло, и он говорил с трудом.

— Почему? — спросила она.

— Уилсон велел.

— Мы сходим посмотреть, как там дела, — сказал Уилсон. — Вы побудьте здесь. Отсюда даже лучше видно.

— Хорошо.

Уилсон сказал что-то на суахили шоферу. Тот кивнул и ответил:

— Да, бвана.

Потом они спустились по крутому берегу к ручью, перешли его по камням, поднялись на другой берег, цепляясь за торчащие из земли корни, и прошли по берегу до того места, где бежал лев, когда Макомбер выстрелил в первый раз. На низкой траве были пятна темной крови; туземцы указали на них длинными стеблями, — они вели за прибрежные деревья.

— Что будем делать? — спросил Макомбер.

— Выбирать не приходится, — сказал Уилсон. — Автомобиль сюда не переправишь. Берег крут. Пусть немножко ослабеет, а потом мы с вами пойдем и поищем его.

— А нельзя поджечь траву? — спросил Макомбер.

— Слишком свежая, не загорится.

— А нельзя послать загонщиков?

Уилсон смерил его глазами.

— Конечно, можно, — сказал он. — Но это будет вроде убийства. Мы же знаем, что лев ранен. Когда лев не ранен, его можно гнать, — он будет уходить от шума, — но раненый лев нападает. Его не видно, пока не подойдешь к нему вплотную. Он распластывается на земле в таких местах, где, кажется, и зайцу не укрыться.

would hide a hare. You can't very well send boys in there to that sort of a show. Somebody bound to get mauled."

"What about the gun-bearers?"

"Oh, they'll go with us. It's their *shauri*. You see, they signed on for it. They don't look too happy though, do they?"

"I don't want to go in there," said Macomber. It was out before he knew he'd said it.

"Neither do I," said Wilson very cheerily. "Really no choice though." Then, as an afterthought, he glanced at Macomber and saw suddenly how he was trembling and the pitiful look on his face.

"You don't have to go in, of course," he said. "That's what I'm hired for, you know. That's why I'm so expensive."

"You mean you'd go in by yourself? Why not leave him there?"

Robert Wilson, whose entire occupation had been with the lion and the problem he presented, and who had not been thinking about Macomber except to note that he was rather windy, suddenly felt as though he had opened the wrong door in a hotel and seen something shameful.

"What do you mean?"

"Why not just leave him?"

"You mean pretend to ourselves he hasn't been hit?"

"No. Just drop it."

"It isn't done."

"Why not?"

"For one thing, he's certain to be suffering. For another, some one else might run onto him."

"I see."

"But you don't have to have anything to do with it."

"I'd like to," Macomber said. "I'm just scared, you know."

"I'll go ahead when we go in," Wilson said, "with Kongoni tracking. You keep behind me and a little to one side. Chances are we'll hear him growl. If we see him we'll both shoot. Don't worry about anything. I'll keep you backed up. As a matter of fact, you know, perhaps you'd

Послать на такое дело туземцев рука не подыметься. Непременно кого-нибудь искалечит.

— А ружьеносцы?

— Ну, они-то пойдут с нами. Это из ш а у р и. Они ведь связаны контрактом. Но, по-видимому, это им не очень-то улыбается.

— Я не хочу туда идти, — сказал Макомбер. Слова вырвались раньше, чем он успел подумать, что говорит.

— Я тоже, — сказал Уилсон бодро. — Но ничего не поделаешь. — Потом, словно вспомнив что-то, он взглянул на Макомбера и вдруг увидел, как тот дрожит и какое у него несчастное лицо.

— Вы, конечно, можете не ходить, — сказал он. — Для этого меня и нанимают. Поэтому я и стою так дорого.

— То есть вы хотите пойти один? А может быть, оставить его там?

Роберт Уилсон, который до сих пор был занят исключительно львом и вовсе не думал о Макомбере, хотя и заметил, что тот нервничает, вдруг почувствовал себя так, точно по ошибке открыл чужую дверь в отеле и увидел что-то непристойное.

— То есть как это?

— Просто оставить его в покое.

— Сделать вид, что мы не попали в него?

— Нет. Просто уйти.

— Так не делают.

— Почему?

— Во-первых, он мучается. Во-вторых, кто-нибудь может на него наткнуться.

— Понимаю.

— Но вам совершенно не обязательно идти с нами.

— Я бы пошел, — сказал Макомбер. — Мне, понимаете, просто страшно.

— Я пойду вперед, — сказал Уилсон. — Старик Конгони будет искать следы. Вы держитесь за мной, немного сбоку. Очень возможно, что он заворчит, и мы услышим. Как только увидим его, будем оба стрелять. Вы не волнуйтесь. Я не отойду от вас. А может, вам и в

better not go. It might be much better. Why don't you go over and join the Memsahib while I just get it over with?"

"No, I want to go."

"All right," said Wilson. "But don't go in if you don't want to. This is my *shauri* now, you know."

"I want to go," said Macomber.

They sat under a tree and smoked.

"Want to go back and speak to the Memsahib while we're waiting?" Wilson asked.

"No."

"I'll just step back and tell her to be patient."

"Good," said Macomber. He sat there, sweating under his arms, his mouth dry, his stomach hollow feeling, wanting to find courage to tell Wilson to go on and finish off the lion without him. He could not know that Wilson was furious because he had not noticed the state he was in earlier and sent him back to his wife. While he sat there Wilson came up. "I have your big gun," he said. "Take it. We're given him time, I think. Come on."

Macomber took the big gun and Wilson said:

"Keep behind me and about five yards to the right and do exactly as I tell you." Then he spoke in Swahili to the two gun-bearers who looked the picture of gloom.

"Let's go," he said.

"Could I have a drink of water?" Macomber asked. Wilson spoke to the older gun-bearer, who wore a canteen on his belt, and the man unbuckled it, unscrewed the top and handed it to Macomber, who took it noticing how heavy it seemed and how hairy and shoddy the felt covering was in his hand. He raised it to drink and looked ahead at the high grass with the flat-topped trees behind it. A breeze was blowing toward them and the grass rippled gently in the wind. He looked at the gun-bearer and he could see the gun-bearer was suffering too with fear.

Thirty-five yards into the grass the big lion lay flattened out along the ground. His ears were back and his only movement was a slight twitching up and down of his

самом деле лучше не ходить? Право же, лучше. Пошли бы к мемсаиб, а я там с ним покончу.

— Нет, я пойду.

— Как знаете, — сказал Уилсон. — Но если не хочется, не ходите. Ведь это мой ш а у р и.

— Я пойду, — сказал Макомбер.

Они сидели под деревом и курили.

— Хотите пока поговорить с мемсаиб? — спросил Уилсон. — Успеете.

— Нет.

— Я пойду, скажу ей, чтоб запаслась терпением.

— Хорошо, — сказал Макомбер. Он сидел потный, во рту пересохло, сосало под ложечкой, и у него не хватало духу сказать Уилсону, чтобы тот пошел и покончил со львом без него. Он не мог знать, что Уилсон в ярости оттого, что не заметил раньше, в каком он состоянии, и не отослал его назад, к жене.

Уилсон скоро вернулся.

— Я захватил ваш штуцер, — сказал он. — Вот, возьмите. Мы дали ему достаточно времени. Идем.

Макомбер взял штуцер, и Уилсон сказал:

— Держитесь за мной, ярдов на пять правее, и делайте все, как я скажу. — Потом он поговорил на суахили с обоими туземцами, вид у них был мрачнее мрачного.

— Пошли, — сказал он.

— Мне бы глотнуть воды, — сказал Макомбер.

Уилсон сказал что-то старшему ружьеносцу, у которого на поясе была фляжка, тот отстегнул ее, отвинтил колпачок, протянул фляжку Макомберу, и Макомбер, взяв ее, почувствовал, какая она тяжелая и какой мохнатый и шершавый ее войлочный чехол. Он поднес ее к губам и посмотрел на высокую траву и дальше на деревья с плоскими кронами. Легкий ветерок дул в лицо, и по траве ходили мелкие волны. Он посмотрел на ружьеносца и понял, что его тоже мучит страх.

В тридцати пяти шагах от них большой лев лежал, распластавшись на земле. Он лежал неподвижно, прижав уши, подрагивал только его длинный хвост с чер-

long, black-tufted tail. He had turned at bay as soon as he had reached this cover and he was sick with the wound through his full belly, and weakening with the wound through his lungs that brought a thin foamy red to his mouth each time he breathed. His flanks were wet and hot and flies were on the little openings the solid bullets had made in his tawny hide, and his big yellow eyes, narrowed with hate, looked straight ahead, only blinking when the pain come as he breathed, and his claws dug in the soft baked earth. All of him, pain, sickness, hatred and all of his remaining strength, was tightening into an absolute concentration for a rush. He could hear the men talking and he waited, gathering all of himself into this preparation for a charge as soon as the men would come into the grass. As he heard their voices his tail stiffened to twitch up and down, and, as they came into the edge of the grass, he made a coughing grunt and charged.

Kongoni, the old gun-bearer, in the lead watching the blood spoor, Wilson watching the grass for any movement, his big gun ready, the second gun-bearer looking ahead and listening, Macomber close to Wilson, his rifle cocked, they had just moved into the grass when Macomber heard the blood-choked coughing grunt, and saw the swishing rush in the grass. The next thing he knew he was running; running wildly, in panic in the open, running toward the stream.

He heard the *ca-ra-wong!* of Wilson's big rifle, and again in a second crashing *carawong!* and turning saw the lion, horrible-looking now, with half his head seeming to be gone, crawling toward Wilson in the edge of the tall grass while the red-faced man worked the bolt on the short ugly rifle and aimed carefully as another blasting *carawong!* came from the muzzle, and the crawling, heavy, yellow bulk of the lion stiffened and the huge, mutilated head slid forward and Macomber, standing by himself in the clearing where he had run, holding a loaded rifle, while two black men and a white man looked back at him in contempt, knew the lion was dead. He came toward Wilson,

ной кисточкой. Он залег сразу после того, как достиг прикрытия; его тошнило от сквозной раны в набитое брюхо, он ослабел от сквозной раны в легкие, от которой с каждым вздохом к пасти поднималась жидкая красная пена. Бока его были потные и горячие, мухи облепили маленькие отверстия, пробитые пулями в его светло-рыжей шкуре, а его большие желтые глаза, суженные ненавистью и болью, смотрели прямо вперед, чуть моргая от боли при каждом вздохе, и когти его глубоко вонзились в мягкую землю. Все в нем — боль, тошнота, ненависть и остатки сил — напряглось до последней степени для прыжка. Он слышал голоса людей и ждал, собрав всего себя в одно желание — напасть, как только люди войдут в высокую траву. Когда он услышал, что голоса приближаются, хвост его перестал подрагивать, а когда они дошли до травы, он хрипло заворчал и кинулся.

Конгони, старый туземец, шел впереди, высматривая следы крови; Уилсон со штуцером на изготовке подстерегал каждое движение в траве; второй туземец смотрел вперед и прислушивался; Макомбер взвел курок и шел следом за Уилсоном; и не успели они вступить в траву, как Макомбер услышал захлебывающееся кровью ворчание и увидел, как со свистом разошлась трава. А сейчас же вслед за этим он осознал, что бежит, в безумном страхе бежит сломя голову прочь от зарослей, бежит к ручью.

Он слышал, как трахнул штуцер Уилсона — «ка-ра-уонг!» и еще раз «ка-ра-уонг!», и, обернувшись, увидел, что лев, безобразный и страшный, словно полголовы у него снесло, ползет на Уилсона у края высокой травы, а краснолицый человек переводит затвор своей короткой неуклюжей винтовки и внимательно целится, потом опять вспышка и «ка-ра-уонг!» из дула, и ползущее, грузное желтое тело льва застыло, а огромная изуродованная голова подалась вперед, и Макомбер, — стоя один посреди поляны, держа в руке заряженное ружье, в то время как двое черных людей и один белый с презрением глядели на него, — понял, что лев издох. Он по-

his tallness all seeming a naked reproach, and Wilson looked at him and said:

"Want to take pictures?"

"No," he said.

That was all any one had said until they reached the motor car. Then Wilson had said:

"Hell of a fine lion. Boys will skin him out. We might as well stay here in the shade."

Macomber's wife had not looked at him nor he at her and he had sat by her in the back seat with Wilson sitting in the front seat. Once he had reached over and taken his wife's hand without looking at her and she had removed her hand from his. Looking across the stream to where the gun-bearers were skinning out the lion he could see that she had been able to see the whole thing. While they sat there his wife had reached forward and put her hand on Wilson's shoulder. He turned and she had leaned forward over the low seat and kissed him on the mouth.

"Oh, I say," said Wilson, going redder than his natural baked color.

"Mr. Robert Wilson," she said. "The beautiful red-faced Mr. Robert Wilson."

Then she sat down beside Macomber again and looked away across the stream to where the lion lay, with uplifted, white-muscled, tendon-marked naked forearms, and white bloating belly, as the black men fleshed away the skin. Finally the gun-bearers brought the skin over, wet and heavy, and climbed in behind with it, rolling it up before they got in, and the motor car started. No one had said anything more until they were back in camp.

That was the story of the lion. Macomber did not know how the lion had felt before he started his rush, nor during it when the unbelievable smash of the .505 with a muzzle velocity of two tons had hit him in the mouth, nor what kept him coming after that, when the second ripping crash had smashed his hind quarters and he had come crawling on toward the crashing, blasting thing that had destroyed him. Wilson knew something about it and only expressed it by saying, "Damned fine lion," but Macomber did not

дошел к Уилсону, — самый рост его казался немым укором, — и Уилсон посмотрел на него и сказал:

— Снимки делать будете?

— Нет, — ответил он.

Больше ничего не было сказано, пока они не дошли до автомобиля. Тут Уилсон сказал:

— Замечательный лев. Сейчас они снимут шкуру. Мы можем пока посидеть здесь, в тени.

Жена ни разу не взглянула на Макомбера, а он на нее, хотя он сидел с ней рядом на заднем сиденье, а Уилсон — впереди. Раз он пошевелился и, не глядя на жену, взял ее за руку, но она отняла руку. Взглянув через ручей, туда, где туземцы свеживали льва, он понял, что она прекрасно все видела. Потом его жена подвинулась вперед и положила руку на плечо Уилсону. Тот повернул голову, и она перегнулась через низкую спинку сиденья и поцеловала его в губы.

— Ну-ну, — сказал Уилсон, и лицо его вспыхнуло даже под красным загаром.

— Мистер Роберт Уилсон, — сказала она. — Прекрасный краснолицый мистер Роберт Уилсон.

Потом она опять села рядом с Макомбером и, отвернувшись от него, стала смотреть через ручей, туда, где лежал лев; его освежаванные лапы с белыми мышцами и сеткой сухожилий были задраны кверху, белое брюхо вздулось, и черные люди снимали с него шкуру. Наконец туземцы принесли шкуру, сырую и тяжелую, и, скатав ее, влезли с ней сзади в автомобиль. Машина тронулась. Больше никто ничего не сказал до самого лагеря.

Так обстояло дело со львом. Макомбер не знал, каково было льву перед тем, как он прыгнул, и в момент прыжка, когда сокрушительный удар пули 0,505-го калибра с силой в две тонны разможил ему пасть; и что толкало его вперед после этого, когда вторым оглушительным ударом ему сломало крестец и он пополз к вспыхивающему, громыхающему предмету, который убил его. Уилсон кое-что знал обо всем этом и выразил словами «замечательный лев», но Макомбер не знал также, каково было Уилсону. Он не знал, каково его же-

know how Wilson felt about things either. He did not know how his wife felt except that she was through with him.

His wife had been through with him before but it never lasted. He was very wealthy, and would be much wealthier, and he knew she would not leave him ever now. That was one of the few things that he really knew. He knew about that, about motor cycles—that was earliest—about motor cars, about duck-shooting, about fishing, trout, salmon and big-sea, about sex in books, many books, too many books, about all court games, about dogs, not much about horses, about hanging on to his money, about most of the other things his world dealt in, and about his wife not leaving him. His wife had been a great beauty and she was still a great beauty in Africa, but she was not a great enough beauty any more at home to be able to leave him and better herself and she knew it and he knew it. She had missed the chance to leave him and he knew it. If he had been better with women she would probably have started to worry about him getting another new, beautiful wife: but she knew too much about him to worry about him either. Also, he had always had great tolerance which seemed the nicest thing about him if it were not the most sinister.

All in all they were known as a comparatively happily married couple, one of those whose disruption is often rumored but never occurs, and as the society columnist put it, they were adding more than a spice of *adventure* to their much envied and ever-enduring *Romance* by a *Safari* in what was known as *Darkest Africa* until the Martin Johnsons lighted it on so many silver screens where they were pursuing Old Simba the lion, the buffalo, *Tembo* the elephant and as well collecting specimens for the Museum of Natural History. This same columnist had reported them *on the verge* at least three times in the past and they had been. But they always made it up. They had a sound basis of union. Margot was too beautiful for Macomber to divorce her and Macomber had too much money for Margot ever to leave him.

It was now about three o'clock in the morning and

не, знал только, что она решила порвать с ним. Его жена уже не раз решала порвать с ним, но всегда ненадолго. Он был очень богат и должен был стать еще богаче, и он знал, что теперь уже она его не бросит. Что другое — а это он действительно знал; и еще мотоцикл, тот он узнал раньше всего; и автомобиль; и охоту на уток; и рыбную ловлю — форель, лососи и крупная морская рыба; и вопросы пола — по книгам, много книг, слишком много; и теннис; и собаки; и немножко о лошадях; и цену деньгам; и почти все остальное, чем жил его мир; и то, что жена никогда его не бросит. Жена его была в молодости красавицей, и в Африке она до сих пор была красавица, но в Штатах она уже не была такой красавицей, чтобы бросить его и устроиться получше; она это знала, и он тоже. Она упустила время, когда могла уйти от него, и он это знал. Умей он больше давать женщинам, ее, вероятно, беспокоила бы мысль, что он может найти себе новую красавицу жену; но и она его слишком хорошо знала и на этот счет не беспокоилась. К тому же он всегда был очень терпим, и это было его самой приятной чертой, если не самой опасной.

В общем, по мнению света, это была сравнительно счастливая пара, из тех, которые, по слухам, вот-вот разведутся, но никогда не разводятся, и теперь они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент *приключения* придаст остроту их поэтичному, пережившему года *роману*, отправились на *сафари* в страну, бывшую *Черной Африкой* до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва *Старого Симбо*, на буйволов и на слона *Тембо*, в то же время собирая материал для Музея естественных наук». Тот же репортер, по крайней мере, три раза уже сообщал публике, что они «на грани», и так оно и было. Но каждый раз они мирились. Их союз покоился на прочном основании. Красота Марго была залогом того, что Макомбер никогда с ней не разведется; а богатство Макомбера было залогом того, что Марго никогда его не бросит.

Было три часа ночи, и Фрэнсис Макомбер, который

Francis Macomber, who had been asleep a little while after he had stopped thinking about the lion, wakened and then slept again, woke suddenly, frightened in a dream of the bloody-headed lion standing over him, and listening while his heart pounded, he realized that his wife was not in the other cot in the tent. He lay awake with that knowledge for two hours.

At the end of that time his wife came into the tent, lifted her mosquito bar and crawled cozily into bed.

"Where have you been?" Macomber asked in the darkness.

"Hello," she said. "Are you awake?"

"Where have you been?"

"I just went out to get a breath of air."

"You did, like hell."

"What do you want me to say, darling?"

"Where have you been?"

"Out to get a breath of air."

"That's a new name for it. You *are* a bitch."

"Well, you're a coward."

"All right," he said. "What of it?"

"Nothing as far as I'm concerned. But please let's not talk, darling, because I'm very sleepy."

"You think that I'll take anything."

"I know you will, sweet."

"Well, I won't."

"Please, darling, let's not talk. I'm so very sleepy."

"There wasn't going to be any of that. You promised there wouldn't be."

"Well, there is now," she said sweetly.

"You said if we made this trip that there would be none of that. You promised."

"Yes, darling. That's the way I meant it to be. But the trip was spoiled yesterday. We don't have to talk about it, do we?"

"You don't wait long when you have an advantage, do you?"

"Please let's not talk, I'm so sleepy, darling."

"I'm going to talk."

заснул ненадолго, после того как перестал думать о леве, проснулся и опять заснул, вдруг проснулся от испуга — он видел во сне, что над ним стоит лев с окровавленной головой, — и, прислушавшись, чувствуя, как у него колотится сердце, понял, что койка его жены пуста. После этого открытия он пролежал без сна два часа.

Через два часа его жена вошла в палатку, приподняла полог и уютно улеглась в постель.

— Где ты была? — спросил Макомбер в темноте.

— Хэлло, — сказала она. — Ты не спишь?

— Где ты была?

— Просто выходила подышать воздухом.

— Черта с два.

— А что я должна сказать, милый?

— Где ты была?

— Выходила подышать воздухом.

— Это что, новый термин? Шлюха.

— А ты — трус.

— Пусть, — сказал он. — Что ж из этого?

— По мне — ничего. Но давай, милый, не будем сейчас разговаривать, мне очень хочется спать.

— Ты воображаешь, что я все стерплю.

— Я это знаю, дорогой.

— Так вот, не стерплю.

— Пожалуйста, милый, давай помолчим. Мне ужасно хочется спать.

— Мы ведь решили, что с этим покончено. Ты обещала, что этого больше не будет.

— Ну, а теперь есть, — сказала она ласково.

— Ты сказала, что, если мы поедем сюда, этого не будет. Ты обещала.

— Да, милый. Я и не собиралась. Но вчерашний день испортил путешествие. Только стоит ли об этом говорить?

— Ты не теряешь времени, когда у тебя в руках козырь, а?

— Пожалуйста, не будем говорить. Мне так хочется спать, милый.

— А я буду говорить.

"Don't mind me then, because I'm going to sleep." And she did.

At breakfast they were all three at the table before daylight and Francis Macomber found that, of all the many men that he had hated, he hated Robert Wilson the most.

"Sleep well?" Wilson asked in his throaty voice, filling a pipe.

"Did you?"

"Topping," the white hunter told him.

You bastard, thought Macomber, you insolent bastard.

So she woke him when she came in, Wilson thought, looking at them both with his flat, cold eyes. Well, why doesn't he keep his wife where she belongs? What does he think I am, a bloody plaster saint? Let him keep her where she belongs. It's his own fault.

"Do you think we'll find buffalo?" Margot asked, pushing away a dish of apricots.

"Chance of it," Wilson said and smiled at her. "Why don't you stay in camp?"

"Not for anything," she told him.

"Why not order her to stay in camp?" Wilson said to Macomber.

"You order her," said Macomber coldly.

"Let's not have any ordering, nor," turning to Macomber, "any silliness, Francis," Margot said quite pleasantly.

"Are you ready to start?" Macomber asked.

"Any time," Wilson told him. "Do you want the Memsahib to go?"

"Does it make any difference whether I do or not?"

The hell with it, thought Robert Wilson. The utter complete hell with it. So this is what it's going to be like. Well, this is what it's going to be like, then.

"Makes no difference," he said.

"You're sure you wouldn't like to stay in camp with her yourself and let me go out and hunt the buffalo?" Macomber asked.

— Ну, тогда прости, я буду спать. — И заснула.

Еще до рассвета все трое сидели за завтраком, и Фрэнсис Макомбер чувствовал, что из множества людей, которых он ненавидит, больше всех он ненавидит Роберта Уилсона.

— Как спали? — спросил Уилсон своим глуховатым голосом, набивая трубку.

— А вы?

— Отлично, — ответил белый охотник.

Сволочь, подумал Макомбер, наглая сволочь.

Значит, она его разбудила, когда вернулась, думал Уилсон, поглядывая на обоих своими равнодушными, холодными глазами. Ну и следил бы за женой получше. Что он воображает, что я святой? Следил бы за ней получше. Сам виноват.

— Как вы думаете, найдем мы буйволов? — спросила Марго, отодвигая тарелку с абрикосами.

— Вероятно, — сказал Уилсон и улыбнулся ей. — А вам не остаться ли в лагере?

— Ни за что, — ответила она.

— Прикажите ей остаться в лагере, — сказал Уилсон Макомберу.

— Сами прикажите, — ответил Макомбер холодно.

— Давайте лучше без приказаний и, — обращаясь к Макомберу, — без глупостей, Фрэнсис, — сказала Марго весело.

— Можно ехать? — спросил Макомбер.

— Я готов, — ответил Уилсон. — Вы хотите, чтобы мемсаиб поехала с нами?

— Не все ли равно, хочу я или нет.

Вот дьявольщина, подумал Роберт Уилсон. Вот уж правда, можно сказать, дьявольщина. Так, значит, вот оно как теперь будет. Ладно, значит, теперь будет именно так.

— Решительно все равно, — сказал он.

— Может, вы сами останетесь с ней в лагере и предоставите мне поохотиться на буйволов одному? — спросил Макомбер.

"Can't do that," said Wilson. "Wouldn't talk rot if I were you."

"I'm not talking rot. I'm disgusted."

"Bad word, disgusted."

"Francis, will you please try to speak sensibly!" his wife said.

"I speak too damned sensibly," Macomber said. "Did you ever eat such filthy food?"

"Something wrong with the food?" asked Wilson quietly.

"No more than with everything else."

"I'd pull yourself together, laddybuck," Wilson said very quietly. "There's a boy waits at table that understands a little English."

"The hell with him."

Wilson stood up and puffing on his pipe strolled away, speaking a few words in Swahili to one of the gun-bearers who was standing waiting for him. Macomber and his wife sat on at the table. He was staring at his coffee cup.

"If you make a scene I'll leave you, darling," Margot said quietly.

"No, you won't."

"You can try it and see."

"You won't leave me."

"No," she said. "I won't leave you and you'll behave yourself."

"Behave myself? That's a way to talk. Behave myself."

"Yes. Behave yourself."

"Why don't *you* try behaving?"

"I've tried it so long. So very long."

"I hate that red-faced swine," Macomber said. "I loathe the sight of him."

"He's really *very* nice."

"Oh, *shut up*," Macomber almost shouted. Just then the car came up and stopped in front of the dining tent and the driver and the two gun-bearers got out. Wilson walked over and looked at the husband and wife sitting there at the table.

"Going shooting?" he asked.

— Не имею права, — сказал Уилсон. — Бросьте вы вздор болтать.

— Это не вздор. Мне противно.

— Нехорошее слово — противно.

— Фрэнсис, будь добр, постарайся говорить разумно, — сказала его жена.

— Я и так, черт возьми, говорю разумно, — сказал Макомбер. — Ели вы когда-нибудь такую гадость?

— Вы недовольны едой? — спокойно спросил Уилсон.

— Не больше, чем всем остальным.

— Возьмите себя в руки, голубчик, — сказал Уилсон очень спокойно. — Один из боев немного понимает по-английски.

— Ну и черт с ним.

Уилсон встал и, попыхивая трубкой, пошел прочь, сказав на суахили несколько слов поджидавшему его ружьеносцу. Макомбер и его жена остались сидеть за столом. Он упорно смотрел на свою чашку.

— Если ты устроишь скандал, милый, я тебя брошу, — сказала Марго спокойно.

— Не бросишь.

— Попробуй — увидишь.

— Не бросишь ты меня.

— Да, — сказала она. — Я тебя не брошу, а ты будешь вести себя прилично.

— Прилично? Это мне нравится. Прилично.

— Да. Прилично.

— Ты бы сама постаралась вести себя прилично.

— Я долго старалась. Очень долго.

— Ненавижу эту краснорожую свинью, — сказал Макомбер. — От одного его вида тошно делается.

— А знаешь, он *очень* милый.

— *Замолчи!* — крикнул Макомбер.

В эту минуту к обеденной палатке подъехал автомобиль, шофер и оба ружьеносца соскочили на землю. Подошел Уилсон и посмотрел на мужа и жену, сидевших за столом.

— Едем охотиться? — спросил он.

"Yes," said Macomber, standing up. "Yes."

"Better bring a woolly. It will be cool in the car," Wilson said.

"I'll get my leather jacket," Margot said.

"The boy has it," Wilson told her. He climbed into the front with the driver and Francis Macomber and his wife sat, not speaking, in the back seat.

Hope the silly beggar doesn't take a notion to blow the back of my head off, Wilson thought to himself. Women *are* a nuisance on safari.

The car was grinding down to cross the river at a pebbly ford in the gray daylight and then climbed, angling up the steep bank, where Wilson had ordered a way shovelled out the day before so they could reach the parklike wooded rolling country on the far side.

It was a good morning, Wilson thought. There was a heavy dew and as the wheels went through the grass and low bushes he could smell the odor of the crushed fronds. It was an odor like verbena and he liked this early morning smell of the dew, the crushed bracken and the look of the tree trunks showing black through the early morning mist, as the car made its way through the untracked, parklike country. He had put the two in the back seat out of his mind now and was thinking about buffalo. The buffalo that he was after stayed in the daytime in a thick swamp where it was impossible to get a shot, but in the night they fed out into an open stretch of country and if he could come between them and their swamp with the car, Macomber would have a good chance at them in the open. He did not want to hunt buff with Macomber in thick cover. He did not want to hunt buff or anything else with Macomber at all, but he was a professional hunter and he had hunted with some rare ones in his time. If they got buff today there would only be rhino to come and the poor man would have gone through his dangerous game and things might pick up. He'd have nothing more to do with the woman and Macomber would get over that too. He must have gone through plenty of that before by the look of things. Poor beggar. He must have a way of getting over it. Well, it was

— Да, — сказал Макомбер, вставая. — Да.

— Захватите свитер. Ехать будет холодно, — сказал Уилсон.

— Я пойду возьму кожаную куртку, — сказала Марго.

— Она у боя, — сказал Уилсон. Он сел рядом с шофером, а Фрэнсис Макомбер с женой молча уселись на заднем сиденье.

С этого болвана еще станется выстрелить мне в затылок, думал Уилсон. И зачем только берут на охоту женщин?

Спустившись к ручью, автомобиль переехал его вброд там, где камни были мелкие, а потом, в сером свете утра зигзагами поднялся на высокий берег, по дороге, которую Уилсон накануне велел прорыть, чтобы можно было добраться в машине до редкого леса и больших полей.

Хорошее утро, думал Уилсон. Было очень росисто, колеса шли по траве и низкому кустарнику, и он чувствовал запах раздавленных листьев. От них пахло вербеной, а он любил этот утренний запах росы, раздавленные папоротники и черные стволы деревьев, выступавшие из утреннего тумана, когда машина катилась без дорог, в редком, как парк, лесу. Те двое, на заднем сиденье, больше не интересовали его, он думал о буйволах. Буйволы, до которых он хотел добраться, днем отдыхали на заросшем кустами болоте, где охота на них была невозможна; но по ночам они выходили пастись на большую поляну, и если бы удалось так подвести автомобиль, чтобы отрезать их от болота, Макомбер, вероятно, смог бы пострелять их на открытом месте. Ему не хотелось охотиться с Макомбером на буйволов в чаще. Ему не хотелось охотиться с Макомбером ни на буйволов, ни на какого другого зверя, но он был охотник-профессионал, и ему еще не с такими типами приходилось иметь дело. Если они сегодня найдут буйволов, останутся только носороги, на этом бедняга закончит свою опасную забаву, и, может быть, все обойдется. С этой женщиной он больше не будет связываться, а вчераш-

the poor sod's own bloody fault.

He, Robert Wilson, carried a double size cot on safari to accommodate any windfalls he might receive. He had hunted for a certain clientele, the international, fast, sporting set, where the women did not feel they were getting their money's worth unless they had shared that cot with the white hunter. He despised them when he was away from them although he liked some of them well enough at the time, but he made his living by them; and their standards were his standards as long as they were hiring him.

They were his standards in all except the shooting. He had his own standards about the killing and they could live up to them or get some one else to hunt them. He knew, too, that they all respected him for this. This Macomber was an odd one though. Damned if he wasn't. Now the wife. Well, the wife. Yes, the wife. Hm, the wife. Well he'd dropped all that. He looked around at them. Macomber sat grim and furious. Margot smiled at him. She looked younger today, more innocent and fresher and not so professionally beautiful. What's in her heart God knows, Wilson thought. She hadn't talked much last night. At that it was a pleasure to see her.

The motor car climbed up a slight rise and went on through the trees and then out into a grassy prairie-like opening and kept in the shelter of the trees along the edge, the driver going slowly and Wilson looking carefully out across the prairie and all along its far side. He stopped the car and studied the opening with his field glasses. Then he motioned to the driver to go on and the car moved slowly along, the driver avoiding wart-hog holes and driving around the mud castles ants had built. Then, looking across the opening, Wilson suddenly turned and said, "By God, there they are!"

And looking where he pointed, while the car jumped forward and Wilson spoke in rapid Swahili to the driver, Macomber saw three huge, black animals looking almost

нее Макомбер тоже переварит. Ему, надо полагать, не впервой. Бедняга. Он, наверно, уже научился переваривать такие вещи. Сам виноват, растяпа несчастный.

Он, Роберт Уилсон, всегда возил с собой на охоту койку пошире — мало ли какой подвернется случай. Он знал свою клиентуру — веселящаяся верхушка общества, спортсмены-любители из всех стран, женщины, которым кажется, что им недодали чего-то за их деньги, если они не переспят на этой койке с белым охотником. Он презирал их, когда они были далеко, но пока он был с ними, многие из них ему очень нравились. Так или иначе, они давали ему кусок хлеба, и пока они его нанимали, их мерки были его мерками.

Они были его мерками во всем, кроме самой охоты. Тут у него были свои мерки, и этим людям оставалось либо подчиняться ему, либо нанимать себе другого охотника. Он знал, что все они уважают его за это. А вот Макомбер этот — какой-то чудак. Право, чудак. Да еще жена. Ну, что ж, жена. Да, жена. Гм, жена. Ладно, с этим покончено. Он оглянулся на них. Макомбер сидел угрюмый и злой. Марго улыбнулась. Сегодня она казалась моложе, более невинной и свежей, и не такой профессиональной красавицей. Что у нее на уме — одному богу известно, подумал Уилсон. Ночью она не много разговаривала. А смотреть на нее все-таки приятно.

Автомобиль взял небольшой подъем и покатил дальше между деревьями, а потом по краю большой, поросшей травой поляны, держась все время у опушки в тени деревьев; ехали медленно, и Уилсон внимательно следил глазами за дальним концом поляны. Он велел шоферу остановиться и оглядел ее в бинокль. Потом махнул шоферу, и тот медленно поехал дальше, стараясь не попадать в кабаньи ямы и объезжая высокие муравейники. Потом Уилсон, не сводивший глаз с того края поляны, вдруг обернулся и сказал:

— Смотрите, вот они.

Машина рванулась вперед, Уилсон быстро заговорил с шофером на суахили, и, взглянув, куда он указывал, Макомбер увидел трех огромных черных живот-

cylindrical in their long heaviness, like big black tank cars, moving at a gallop across the far edge of the open prairie. They moved at a stiff-necked, stiff bodied gallop and he could see the upswept wide black horns on their heads as they galloped heads out; the heads not moving.

"They're three old bulls," Wilson said. "We'll cut them off before they get to the swamp."

The car was going a wild forty-five miles an hour across the open and as Macomber watched, the buffalo got bigger and bigger until he could see the gray, hairless, scabby look of one huge bull and how his neck was a part of his shoulders and the shiny black of his horns as he galloped a little behind the others that were strung out in that steady plunging gait; and then, the car swaying as though it had just jumped a road, they drew up close and he could see the plunging hugeness of the bull, and the dust in his sparsely haired hide, the wide boss of horn and his outstretched, wide-nostrilled muzzle, and he was raising his rifle when Wilson shouted, "Not from the car, you fool!" and he had no fear, only hatred of Wilson, while the brakes clamped on and the car skidded, plowing sideways to an almost stop and Wilson was out on one side and he on the other, stumbling as his feet hit the still speeding-by of the earth, and then he was shouting at the bull as he moved away, hearing the bullets whunk into him, emptying his rifle at him as he moved steadily away, finally remembering to get his shots forward into the shoulder, and as he fumbled to re-load, he saw the bull was down. Down on his knees, his big head tossing, and seeing the other two still galloping he shot at the leader and hit him. He shot again and missed and he heard the *carawonging* roar as Wilson shot and saw the leading bull slide forward onto his nose.

"Get that other," Wilson said. "Now you're shooting!"

But the other bull was moving steadily at the same

ных, почти цилиндрических, длинных и грузных, как большие черные танки, вскачь пересекавших поляну. Их шеи и туловища напряженно вытянулись на скаку, и он видел их загнутые кверху, широко раскинутые черные рога, когда они так скакали, вытянув головы, совершенно неподвижные головы.

— Три старых самца, — сказал Уилсон. — Мы успеем отрезать им путь к болоту.

Автомобиль летел по кочкам со скоростью сорока пяти миль в час, и на глазах у Макомбера буйволы все росли и росли; так что он мог уже разглядеть серое, безволосое, покрытое струпьями туловище одного из огромных животных, и как шея у него сливается с плечами, и черный блеск его рогов, когда он скакал, немного отстав от двух других, уходивших вперед ровным, тяжелым галопом. А потом автомобиль качнуло, словно он наскочил на что-то, они подъехали совсем близко, и он ясно видел скачущую глыбу и пыль, насеившую на шкуре между редкими волосами, широкое основание рогов и вытянутую, с широкими ноздрями морду, и он уже вскинул ружье, но Уилсон крикнул: «Не с машины, идиот вы этакий!» И в нем не было страха, только ненависть к Уилсону, а тут шофер дал тормоз, и машину так занесло, что она взрыла землю и почти остановилась, и Уилсон соскочил на одну сторону, а он на другую и споткнулся, коснувшись ногами все еще убегавшей назад земли, а потом он стрелял в удалявшегося буйвола, слышал, как пули попадают в него, выпустил в него все заряды, а он все уходил; вспомнил наконец, что надо целить ближе к голове, в плечо, и, уже перезаряжая ружье, увидел, что буйвол упал. Упал на колени, мотнув тяжелой головой, и Макомбер, заметив, что те два все скачут, выстрелил в вожака и попал. Он выстрелил еще раз, промахнулся, услышал оглушительное «ка-ра-уонг!» винтовки Уилсона и увидел, как передний бык ткнулся мордой в землю.

— Теперь третьего, — сказал Уилсон. — Вот это стрельба!

Но последний буйвол упорно уходил все тем же ров-

gallop and he missed, throwing a spout of dirt, and Wilson missed and the dust rose in a cloud and Wilson shouted, "Come on. He's too far!" and grabbed his arm and they were in the car again, Macomber and Wilson hanging on the sides and rocketing swayingly over the uneven ground, drawing up on the steady, plunging, heavy-necked, straight-moving gallop of the bull.

They were behind him and Macomber was filling his rifle, dropping shells onto the ground, jamming it, clearing the jam, then they were almost up with the bull when Wilson yelled "Stop," and the car skidded so that it almost swung over and Macomber fell forward onto his feet, slammed his bolt forward and fired as far forward as he could aim into the galloping, rounded black back, aimed and shot again, then again, then again, and the bullets, all of them hitting, had no effect on the buffalo that he could see. Then Wilson shot, the roar deafening him, and he could see the bull stagger. Macomber shot again, aiming carefully, and down he came, onto his knees.

"All right," Wilson said. "Nice work. That's the three."

Macomber felt a drunken elation.

"How many times did you shoot?" he asked.

"Just three," Wilson said. "You killed the first bull.

The biggest one. I helped you finish the other two. Afraid they might have got into cover. You had them killed. I was just mopping up a little. You shot damn well."

"Let's go to the car," said Macomber. "I want a drink."

"Got to finish off that buff first," Wilson told him. The buffalo was on his knees and he jerked his head furiously and bellowed in pig-eyed, roaring rage as they came toward him.

"Watch he doesn't get up," Wilson said. Then, "Get a little broadside and take him in the neck just behind the ear."

Macomber aimed carefully at the center of the huge,

ным галопом, и Макомбер промазал, грязь взметнулась фонтаном, а потом и Уилсон промазал, только поднял облако пыли, и Уилсон крикнул: «Едем! Так не достать!» — и схватил его за руку, и они снова вскочили на подножку, Макомбер с одной стороны, а Уилсон с другой, и понеслись по бугристой земле, нагоняя буйвола, скакавшего ровно и грузно, прямо вперед.

Они быстро нагоняли его, и Макомбер заряжал ружье, роняя патроны: затвор зашалил, он выправил его; и когда они почти поравнялись с буйволом, Уилсон заорал: «Стой!» И машину так занесло, что она чуть не опрокинулась, а Макомбера столкнуло вперед на землю, но он не упал, рванул вперед затвор и выстрелил в скачущую круглую черную спину, прицелился и выстрелил еще раз, потом еще и еще, и пули, хоть и попали все до одной, казалось, не причиняли буйволу никакого вреда. Потом выстрелил Уилсон, треск оглушил Макомбера, и он увидел, что буйвол зашатался. Он выстрелил еще раз, старательно прицелившись, и бык рухнул, подогнув колени.

— Здорово, — сказал Уилсон. — Чисто сработано. Теперь все три.

Макомбера охватил пьяный восторг.

— Сколько раз вы стреляли? — спросил он.

— Только три, — сказал Уилсон. — Первого убили вы. самого большого. Двух других я вам помог прикончить. Боялся, как бы они не ушли в чащу. Они, собственно, тоже ваши. Я только чуть подправил. Отлично стреляли.

— Пойдемте к машине, — сказал Макомбер. — Я хочу выпить.

— Сначала нужно прикончить вот этого, — сказал Уилсон.

Буйвол стоял на коленях и, когда они двинулись к нему, яростно вздернул голову и заревел от бешенства, мотая головой, тараща свиные глазки.

— Смотрите, как бы не встал, — сказал Уилсон. И еще: — Отойдите немного вбок и бейте в шею, за ухом.

Макомбер старательно прицелился в середину

jerking rage-driven neck and shot. At the shot the head dropped forward.

"That does it," said Wilson. "Got the spine. They're a hell of a looking thing, aren't they?"

"Let's get the drink," said Macomber. In his life he had never felt so good.

In the car Macomber's wife sat very white faced. "You were marvellous, darling," she said to Macomber. "What a ride."

"Was it rough?" Wilson asked.

"It was frightful. I've never been more frightened in my life."

"Let's all have a drink," Macomber said.

"By all means," said Wilson. "Give it to the Memsahib." She drank the neat whisky from the flask and shuddered a little when she swallowed. She handed the flask to Macomber who handed it to Wilson.

"It was frightfully exciting," she said. "It's given me a dreadful headache. I didn't know you were allowed to shoot them from cars though."

"No one shot from cars," said Wilson coldly.

"I mean chase them from cars."

"Wouldn't ordinarily," Wilson said. "Seemed sporting enough to me though while we were doing it. Taking more chance driving that way across the plain full of holes and one thing and another than hunting on foot. Buffalo could have charged us each time we shot if he liked. Gave him every chance. Wouldn't mention it to any one though. It's illegal if that's what you mean."

"It seemed very unfair to me," Margot said, "chasing those big helpless things in a motor car."

"Did it?" said Wilson.

"What would happen if they heard about it in Nairobi?"

"I'd lose my licence for one thing. Other unpleasantnesses," Wilson said, taking a drink from the flask. "I'd be out of business."

огромной, дергающейся, разъяренной шеи и выстрелил. Голова упала вперед.

— Правильно, — сказал Уилсон. — В позвонок. Ну и страшилища, черт их дери, а?

— Пойдем выпьем, — сказал Макомбер. Никогда в жизни ему еще не было так хорошо.

В автомобиле сидела жена Макомбера, очень бледная.

— Ты был изумителен, милый, — сказала она Макомберу. — Ну и гонка!

— Очень трясло? — спросил Уилсон.

— Очень страшно было. Я в жизни еще не испытывала такого страха.

— Давайте все выпьем, — сказал Макомбер.

— Обязательно, — сказал Уилсон. — Мемсаиб первая. — Она отпила из фляжки чистого виски и слегка передернулась, глотая. Потом передала фляжку Макомберу, а тот Уилсону.

— Это так волнует, — сказала она. — У меня голова разболелась отчаянно. А я не знала, что разрешается стрелять буйволов из автомобилей.

— Никто и не стрелял из автомобилей, — сказал Уилсон холодно.

— Ну, гнаться за ними в автомобиле.

— Вообще-то это не принято, — сказал Уилсон. — Но сегодня мне понравилось. Такая езда без дорог по кочкам и ямам рискованнее, чем охотиться пешком. Буйвол, если б захотел, мог броситься на нас после любого выстрела. Сколько угодно. А все-таки никому не рассказывайте. Штука незаконная, если вы *это* имели в виду.

— По-моему, — сказала Марго, — нечестно гнаться за этими толстыми, беззащитными зверями в автомобиле.

— В самом деле?

— Что, если бы об этом узнали в Найроби?

— Первым делом у меня отобрали бы свидетельство. Ну и так далее, всякие неприятности, — сказал Уилсон, отпивая из фляжки. — Остался бы без работы.

"Really?"

"Yes, really."

"Well," said Macomber, and he smiled for the first time all day. "Now she had something on you."

"You have such a pretty way of putting things, Francis," Margot Macomber said. Wilson looked at them both. If a four-letter man marries a five-letter woman, he was thinking, what number of letters would their children be? What he said was, "We lost a gun-bearer. Did you notice it?"

"My God, no," Macomber said.

"Here he comes," Wilson said. "He's all right. He must have fallen off when we left the first bull."

Approaching them was the middle-aged gun-bearer, limping along in his knitted cap, khaki tunic, shorts and rubber sandals, gloomy-faced and disgusted looking. As he came up he called out to Wilson in Swahili and they all saw the change in the white hunter's face.

"What does he say?" asked Margot.

"He says the first bull got up and went into the bush," Wilson said with no expression in his voice.

"Oh," said Macomber blankly.

"Then it's going to be just like the lion," said Margot, full of anticipation.

"It's not going to be a damned bit like the lion," Wilson told her. "Did you want another drink, Macomber?"

"Thanks, yes," Macomber said. He expected the feeling he had had about the lion to come back but it did not. For the first time in his life he really felt wholly without fear. Instead of fear he had a feeling of definite elation.

"We'll go and have a look at the second bull," Wilson said. "I'll tell the driver to put the car in the shade."

"What are you going to do?" asked Margaret Macomber.

"Take a look at the buff," Wilson said.

"I'll come."

"Come along."

— Правда?

— Да, правда.

— Ну вот, — сказал Макомбер и улыбнулся в первый раз за весь день. — Теперь она и к вам прицепилась.

— Как ты изящно выражаешься, Фрэнсис, — сказала Марго Макомбер.

Уилсон посмотрел на них. Если муж дурак, думал он, а жена дрянь, какие у них могут быть дети? Но сказал он другое:

— Мы потеряли одного ружьеносца, вы заметили?

— О, господи, нет, — сказал Макомбер.

— Вот он идет, — сказал Уилсон. — Живехонек. Наверное, свалился с машины, когда мы отъезжали от первого буйвола.

Старик Конгони, прихрамывая, шел к ним в своем вязаном колпаке, защитной куртке, коротких штанах и резиновых сандалиях; лицо его было мрачно и презрительно. Подойдя ближе, он крикнул что-то Уилсону на суахили, и все увидели, как белый охотник изменился в лице.

— Что он говорит? — спросила Марго.

— Говорит, что первый буйвол встал и ушел в чащу, — сказал Уилсон без всякого выражения.

— Вот как, — сказал Макомбер рассеянно.

— Значит, теперь будет точь-в-точь как со львом, — сказала Марго, оживляясь.

— Будет, черт побери, совсем не так, как со львом, — сказал Уилсон. — Пить еще будете, Макомбер?

— Да, спасибо, — сказал Макомбер. Он ждал, что вернется ощущение, которое он испытал накануне, но оно не вернулось. В первый раз в жизни он действительно не испытывал ни малейшего страха. Вместо страха было четкое ощущение восторга.

— Пойдем взглянем на второго буйвола, — сказал Уилсон. — Я велю шоферу отвести машину в тень.

— Куда вы? — спросила Марго Макомбер.

— Взглянуть на буйвола, — сказал Уилсон.

— И я с вами.

— Пойдемте.

The three of them walked over to where the second buffalo bulked blackly in the open, head forward on the grass, the massive horns swung wide.

"He's a very good head," Wilson said. "That's close to a fifty-inch spread."

Macomber was looking at him with delight.

"He's hateful looking," said Margot. "Can't we go into the shade?"

"Of course," Wilson said. "Look," he said to Macomber, and pointed. "See that patch of bush?"

"Yes."

"That's where the first bull went in. The gun-bearer said when he fell off the bull was down. He was watching us helling along and the other two buff galloping. When he looked up there was the bull up and looking at him. Gun-bearer ran like hell and the bull went off slowly into that bush."

"Can we go in after him now?" asked Macomber eagerly.

Wilson looked at him appraisingly. Damned if this isn't a strange one, he thought. Yesterday he's scared sick and today he's a ruddy fire eater.

"No, we'll give him a while."

"Let's please go into the shade," Margot said. Her face was white and she looked ill.

They made their way to the car where it stood under a single, wide-spreading tree and all climbed in.

"Chances are he's dead in there," Wilson remarked. "After a little we'll have a look."

Macomber felt a wild unreasonable happiness that he had never known before.

"By God, that was a chase," he said. "I've never felt any such feeling. Wasn't it marvellous, Margot?"

"I hated it."

"Why?"

"I hated it," she said bitterly. "I loathed it."

"You know I don't think I'd ever be afraid of anything

Все трое пошли туда, где второй буйвол черной глыбой лежал на траве, вытянув голову, широко раскинув тяжелые рога.

— Очень хорошая голова, — сказал Уилсон. — Между рогами дюймов пятьдесят.

Макомбер восхищенно смотрел на буйвола.

— Отвратительное зрелище, — сказала Марго. — Может быть, пойдем в тень?

— Конечно, — сказал Уилсон. — Смотрите, — сказал он Макомберу и протянул руку. — Видите вон те заросли?

— Да.

— Вот туда и ушел первый буйвол. Конгони говорит, что, когда он свалился с машины, бык лежал на земле. Он следил, как мы гоним и как скачут два других буйвола. А когда он поднял голову, буйвол был на ногах и смотрел на него. Конгони пустился наутек, а бык потихоньку ушел в заросли.

— Пойдем за ним сейчас? — нетерпеливо спросил Макомбер.

Уилсон смерил его глазами. Ну и чудак, подумал он. Вчера трясся от страха, а сегодня так и рвется в бой.

— Нет, переждем немного.

— Пожалуйста, пойдемте в тень, — сказала Марго. Лицо у нее побелело, вид был совсем больной.

Они прошли к развесистому дереву, под которым стоял автомобиль, и сели.

— Очень возможно, что он уже издох, — заметил Уилсон. — Подождем немножко и посмотрим.

Макомбер ощущал огромное, безотчетное счастье, никогда еще не испытанное.

— Да, вот это была скачка! — сказал он. — Я в жизни не испытывал ничего подобного. Правда, чудесно было, Марго?

— Отвратительно, — сказала она.

— Чем?

— Отвратительно, — сказала она горько. — Мерзость.

— Знаете, теперь я, наверно, никогда больше ничего

again," Macomber said to Wilson. "Something happened in me after we first saw the buff and started after him. Like a dam bursting. It was pure excitement."

"Cleans out your liver," said Wilson. "Damn funny things happen to people."

Macomber's face was shining. "You know something did happen to me," he said. "I feel absolutely different."

His wife said nothing and eyed him strangely. She was sitting far back in the seat and Macomber was sitting forward talking to Wilson who turned sideways talking over the back of the front seat.

"You know, I'd like to try another lion," Macomber said. "I'm really not afraid of them now. After all, what can they do to you?"

"That's it," said Wilson. "Worst one can do is kill you. How does it go? Shakespeare. Damned good. See if I can remember. Oh, damned good. Used to quote it to myself at one time. Let's see. 'By my troth, I care not; a man can die but once; we owe God a death and let it go which way it will he that dies this year is quit for the next.' Damned fine, eh?"

He was very embarrassed, having brought out this thing he had lived by, but he had seen men come of age before and it always moved him. It was not a matter of their twenty-first birthday.

It had taken a strange chance of hunting, a sudden precipitation into action without opportunity for worrying beforehand, to bring this about with Macomber, but regardless of how it had happened it had most certainly happened. Look at the beggar now, Wilson thought. It's that some of them stay little boys so long, Wilson thought. Sometimes all their lives. Their figures stay boyish when they're fifty. The great American boy-men. Damned

не испугаюсь, — сказал Макомбер Уилсону. — Что-то во мне произошло, когда мы увидели буйволов и погнались за ними. Точно плотина прорвалась. Огромное наслаждение.

— Полезно для печени, — сказал Уилсон. — Чего только с людьми не бывает.

Лицо Макомбера сияло.

— Право же, во мне что-то изменилось, — сказал он. — Я чувствую себя совершенно другим человеком.

Его жена ничего не сказала и посмотрела на него как-то странно. Она сидела, прижавшись к спинке, а Макомбер наклонился вперед и говорил с Уилсоном, который отвечал, повернувшись боком на переднем сиденье.

— Знаете, я бы с удовольствием еще раз поохотился на льва, — сказал Макомбер. — Я их теперь совсем не боюсь. В конце концов, что они могут сделать?

— Правильно, — сказал Уилсон. — В худшем случае убьют вас. Как это у Шекспира? Очень хорошее место. Сейчас вспомню. Ах, очень хорошее место. Одно время я постоянно его повторял. Ну-ка, попробую. «Мне, честное слово, все равно; смерти не миновать, нужно же заплатить дань смерти. И, во всяком случае, тот, кто умер в этом году, избавлен от смерти в следующем». Хорошо, а?

Он очень смутился, когда произнес эти слова, так много значившие в его жизни, но не в первый раз люди на его глазах достигали совершеннолетия, и это всегда волновало его. Не в том дело, что им исполняется двадцать один год.

Случайное стечение обстоятельств на охоте, когда вдруг стало необходимо действовать и не было времени поволноваться заранее, вот что понадобилось для этого Макомберу; но все равно, как бы это ни случилось, случилось это несомненно. Ведь вот какой стал, думал Уилсон. Дело в том, что многие из них долго остаются мальчишками. Некоторые так на всю жизнь. Пятьдесят лет человеку, а фигура мальчишеская. Пресловутые американские мужчины-мальчики. Чудной народ, ей-богу. Но

strange people. But he liked this Macomber now. Damned strange fellow. Probably meant the end of cuckoldry too. Well, that would be a damned good thing. Damned good thing. Beggar had probably been afraid all his life. Don't know what started it. But over now. Hadn't had time to be afraid with the buff. That and being angry too. Motor car too. Motor cars made it familiar. Be a damn fire eater now. He'd seen it in the war work the same way. More of a change than any loss of virginity. Fear gone like an operation. Something else grew in its place. Main thing a man had. Made him into a man. Women knew it too. No bloody fear.

From the far corner of the seat Margaret Macomber looked at the two of them. There was no change in Wilson. She saw Wilson as she had seen him the day before when she had first realized what his great talent was. But she saw the change in Francis Macomber now.

"Do you have that feeling of happiness about what's going to happen?" Macomber asked, still exploring his new wealth.

"You're not supposed to mention it," Wilson said, looking in the other's face. "Much more fashionable to say you're scared. Mind you, you'll be scared too, plenty of times."

"But you *have* a feeling of happiness about action to come?"

"Yes," said Wilson. "There's that. Doesn't do to talk too much about all this. Talk the whole thing away. No pleasure in anything if you mouth it up too much."

"You're both talking rot," said Margot. "Just because you've chased some helpless animals in a motor car you talk like heroes."

"Sorry," said Wilson. "I have been gassing too much." She's worried about it already, he thought.

"If you don't know what we're talking about why not keep out of it?" Macomber asked his wife.

"You've gotten awfully brave, awfully suddenly," his wife said contemptuously, but her contempt was not

сейчас этот Макомбер ему нравится. Чудак, право, чудак. И наставлять себе рога он, наверно, тоже больше не даст. Что ж, хорошее дело. Хорошее дело, черт возьми! Бедняга, наверно, боялся всю жизнь. Неизвестно, с чего это началось. Но теперь кончено. Буйвола он не успел испугаться. К тому же был зол. И к тому же автомобиль. С автомобилем все кажется проще. Теперь его не удержишь. Точно так же бывало на войне. Посерьезней событие, чем невинность потерять. Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной. И женщины это чувствуют. Нет больше страха.

Забившись в угол автомобиля, Маргарет Макомбер поглядывала на них обоих. Уилсон не изменился. Уилсона она видела таким же, каким увидала накануне, когда впервые поняла, в чем его сила. Но Фрэнсис Макомбер изменился, и она это видела.

— Вам знакомо это ощущение счастья, когда ждешь чего-нибудь? — спросил Макомбер, продолжая обследовать свои новые владения.

— Об этом, как правило, молчат, — сказал Уилсон, глядя на лицо Макомбера. — Скорее принято говорить, что вам страшно. А вам, имейте в виду, еще не раз будет страшно.

— Но вам знакомо это ощущение счастья, когда предстоит действовать?

— Да, — сказал Уилсон. — И точка. Нечего об этом распространяться. А то все можно испортить. Когда слишком много говоришь о чем-нибудь, всякое удовольствие пропадает.

— Оба вы болтаете вздор, — сказала Марго. — Погонялись в машине за тремя беззащитными животными и вообразили себя героями.

— Прошу прощения, — сказал Уилсон. — Я и правда наболтал лишнего. — Уже встревожилась, подумал он.

— Если ты не понимаешь, о чем мы говорим, так зачем вмешиваешься? — сказал Макомбер жене.

— Ты что-то вдруг стал ужасно храбрый, — презрительно сказала она, но в ее презрении не было уверенно-

secure. She was very afraid of something.

Macomber laughed, a very natural hearty laugh. "You know I *have*," he said. "I really have."

"Isn't it sort of late?" Margot said bitterly. Because she had done the best she could for many years back and the way they were together now was no one person's fault.

"Not for me," said Macomber.

Margot said nothing but sat back in the corner of the seat.

"Do you think we've given him time enough?" Macomber asked Wilson cheerfully.

"We might have a look," Wilson said. "Have you any solids left?"

"The gun-bearer has some."

Wilson called in Swahili and the older gun-bearer, who was skinning out one of the heads, straightened up, pulled a box of solids out of his pocket and brought them over to Macomber, who filled his magazine and put the remaining shells in his pocket.

"You might as well shoot the Springfield," Wilson said. "You're used to it. We'll leave the Mannlicher in the car with the Memsahib. Your gun-bearer can carry your heavy gun. I've this damned cannon. Now let me tell you about them." He had saved this until the last because he did not want to worry Macomber. "When a buff comes he comes with his head high and thrust straight out. The boss of the horns covers any sort of a brain shot. The only shot is straight into the nose. The only other shot is into his chest or, if you're to one side, into the neck or the shoulders. After they've been hit once they take a hell of a lot of killing. Don't try anything fancy. Take the easiest shot there is. They've finished skinning out that head now. Should we get started?"

He called to the gun-bearers, who came up wiping their hands, and the older one got into the back.

"I'll only take Kongoni," Wilson said. "The other can watch to keep the birds away."

сти. Ей было очень страшно.

Макомбер рассмеялся непринужденным, веселым смехом.

— Представь себе, — сказал он. — Действительно стал.

— Не поздно ли? — горько сказала Марго. Потому что она очень старалась, чтобы все было хорошо, много лет старалась, а в том, как они жили сейчас, винить было некого.

— Для меня — нет, — сказал Макомбер.

Марго ничего не сказала, только еще дальше отодвинулась в угол машины.

— Как вы думаете, теперь пора? — бодро спросил Макомбер.

— Можно попробовать, — сказал Уилсон. — У вас патроны остались?

— Есть немного у ружьеносца.

Уилсон крикнул что-то на суахили, и старый туземец, свежавший одну из голов, выпрямился, вытащил из кармана коробку с патронами и принес ее Макомберу; тот наполнил магазин своей винтовки, а остальные патроны положил в карман.

— Вы стреляйте из спрингфилда, — сказал Уилсон. — Вы к нему привыкли. Маннлихер оставим в машине у мемсаиб. Штуцер может взять Конгони. Я беру свою пушку. Теперь послушайте, что я вам скажу. — Он оставил это напоследок, чтобы не встревожить Макомбера. — Когда буйвол нападает, голова у него не опущена, а вытянута вперед. Основания рогов прикрывают весь лоб, так что стрелять в череп бесполезно. Единственно возможный выстрел — прямо в морду. И еще возможен выстрел в грудь или, если вы стоите сбоку, в шею или плечо. Когда они ранены, добить их очень трудно. Не пробуйте никаких фокусов. Выбирайте самый легкий выстрел. Ну так, с головой они покончили. Едем?

Он позвал туземцев, они подошли, вытирая руки, и старший залез сзади в машину.

— Я беру только Конгони, — сказал Уилсон. — Второй останется здесь, будет отгонять птиц.

As the car moved slowly across the open space toward the island of brushy trees that ran in a tongue of foliage along a dry water course that cut the open swale, Macomber felt his heart pounding and his mouth was dry again, but it was excitement, not fear.

"Here's where he went in," Wilson said. Then to the gun-bearer in Swahili, "Take the blood spoor."

The car was parallel to the patch of bush. Macomber, Wilson and the gun-bearer got down. Macomber, looking back, saw his wife, with the rifle by her side, looking at him. He waved to her and she did not wave back.

The brush was very thick ahead and the ground was dry. The middle-aged gun-bearer was sweating heavily and Wilson had his hat down over his eyes and his red neck showed just ahead of Macomber. Suddenly the gun-bearer said something in Swahili to Wilson and ran forward.

"He's dead in there," Wilson said. "Good work," and he turned to grip Macomber's hand and as they shook hands, grinning at each other, the gun-bearer shouted wildly and they saw him coming out of the bush sideways, fast as a crab, and the bull coming, nose out, mouth tight closed, blood dripping, massive head straight out, coming in a charge, his little pig eyes bloodshot as he looked at them. Wilson, who was ahead was kneeling shooting, and Macomber, as he fired, unhearing his shot in the roaring of Wilson's gun, saw fragments like slate burst from the huge boss of the horns, and the head jerked, he shot again at the wide nostrils and saw the horns jolt again and fragments fly, and he did not see Wilson now and, aiming carefully, shot again with the buffalo's huge bulk almost on him and his rifle almost level with the on-coming head, nose out, and he could see the little wicked eyes and the head started to lower and he felt a sudden white-hot, blinding flash explode inside his head and that was all he ever felt.

Когда автомобиль медленно поехал по траве к лесистому островку, который тянулся зеленым языком вдоль сухого русла, пересекавшего поляну, Макомбер чувствовал, как у него колотится сердце и во рту опять пересохло, но это было возбуждение, а не страх.

— Вот здесь он вошел в заросли, — сказал Уилсон. И приказал ружьеносцу на суахили: — Найди след.

Автомобиль поравнялся с островком зелени. Макомбер, Уилсон и ружьеносец слезли. Оглянувшись, Макомбер увидел, что жена смотрит на него и ружье лежит с ней рядом. Он помахал ей рукой, она не ответила.

Заросли впереди были очень густые, под ногами было сухо. Старый туземец весь вспотел, а Уилсон нагнул шляпу на глаза, и Макомбер видел прямо перед собой его красную шею. Вдруг Конгони сказал что-то Уилсону и побежал вперед.

— Он там издох, — сказал Уилсон. — Чистая работа.

Он повернулся и схватил Макомбера за руку, и в ту минуту, как они, блаженно улыбаясь, жали друг другу руки, Конгони пронзительно вскрикнул, и они увидели, что он бежит из зарослей боком, быстро, как краб, а за ним буйвол — ноздри раздулись, губы сжаты, кровь каплет, огромная голова вытянута вперед, — нападает, устремив прямо на них свои маленькие, налитые кровью свиные глазки. Уилсон, стоявший ближе, стрелял с колена, и Макомбер, не услышав своего собственного выстрела, заглушенного грохотом штуцера, увидел, что от огромных оснований рогов посыпались похожие на шифер осколки и голова буйвола дернулась. Он снова выстрелил, прямо в широкие ноздри, и снова увидел, как вскинулись кверху рога и полетели осколки. Теперь он не видел Уилсона и, старательно прицелившись, снова выстрелил, а буйвол громоздился уже над ним, и его ружье было почти на одном уровне с бодающей, вытянутой вперед головой; он увидел маленькие злые глазки, и голова начала опускаться, и он почувствовал, как внезапная, жаркая, ослепительная вспышка взорвалась у него в мозгу, и больше он никогда ничего не чувствовал.

Wilson had ducked to one side to get in a shoulder shot. Macomber had stood solid and shot for the nose, shooting a touch high each time and hitting the heavy horns, splintering and chipping them like hitting a slate roof, and Mrs. Macomber, in the car, had shot at the buffalo with the 6.5 Mannlicher as it seemed about to gore Macomber and had hit her husband about two inches up and a little to one side of the base of his skull.

Francis Macomber lay now, face down, not two yards from where the buffalo lay on his side and his wife knelt over him with Wilson beside her.

"I wouldn't turn him over," Wilson said.

The woman was crying hysterically.

"I'd get back in the car," Wilson said. "Where's the rifle?"

She shook her head, her face contorted. The gun-bearer picked up the rifle.

"Leave it as it is," said Wilson. Then, "Go get Abdulla so that he may witness the manner of the accident."

He knelt down, took a handkerchief from his pocket, and spread it over Francis Macomber's crew-cropped head where it lay. The blood sank into the dry, loose earth.

Wilson stood up and saw the buffalo on his side, his legs out, his thinly-haired belly crawling with ticks. "Hell of a good bull," his brain registered automatically. "A good fifty inches, or better. Better." He called to the driver and told him to spread a blanket over the body and stay by it. Then he walked over to the motor car where the woman sat crying in the corner.

"That was a pretty thing to do," he said in a toneless voice. "He *would* have left you too."

"Stop it," she said.

"Of course it's an accident," he said. "I know that."

"Stop it," she said.

"Don't worry," he said. "There will be a certain amount

Уилсон только что отступил в сторону, чтобы выстрелить буйволу в плечо. Макомбер стоял на месте и стрелял в морду, каждый раз попадая чуть-чуть выше, чем нужно, — в тяжелые рога, которые крошились и раскалывались, как шиферная крыша, а миссис Макомбер с автомобиля выстрелила из маннлихера калибра 6,5 в буйвола, когда казалось, что он вот-вот подденет Макомбера на рога, и попала своему мужу в череп, дюйма на два выше основания, немного сбоку.

Фрэнсис Макомбер лежал ничком всего в двух ярдах от того места, где лежал на боку буйвол, его жена стояла над ним на коленях, а рядом с ней был Уилсон.

— Не нужно его переворачивать, — сказал Уилсон.

Женщина истерически плакала.

— Подите, сядьте в автомобиль, — сказал Уилсон. — Где ружье?

Она покачала головой, на лице ее застыла гримаса. Туземец поднял с земли ружье.

— Положи на место, — сказал Уилсон. И прибавил: — Сходи за Абдуллой, пусть будет свидетелем, как произошло несчастье.

Он опустился на колени, достал из кармана платок и накрыл им коротко остриженную голову Фрэнсиса Макомбера. Кровь впитывалась в сухую, рыхлую землю.

Уилсон встал и увидел лежащего на боку буйвола: ноги его были вытянуты, по брюху между редкими волосами ползали клещи. «А хорош, черт его дери, — автоматически отметил его мозг. — Никак не меньше пятидесяти дюймов». Он крикнул шофера и велел ему накрыть мертвого пледом и остаться возле него. Потом пошел к автомобилю, где женщина плакала, забившись в угол.

— Ну и натворили вы дел, — сказал он совершенно безучастно. — А он бы вас непременно бросил.

— Перестаньте, — сказала она.

— Конечно, это несчастный случай, — сказал он. — Я-то знаю.

— Перестаньте, — сказала она.

— Не тревожьтесь, — сказал он. — Предстоят кое-

of unpleasantness but I will have some photographs taken that will be very useful at the inquest. There's the testimony of the gun-bearers and the driver too. You're perfectly all right."

"Stop it," she said.

"There's a hell of a lot to be done," he said. "And I'll have to send a truck off to the lake to wireless for a plane to take the three of us into Nairobi. Why didn't you poison him? That's what they do in England."

"Stop it. Stop it. Stop it," the woman cried.

Wilson looked at her with his flat blue eyes.

"I'm through now," he said. "I was a little angry. I'd begun to like your husband."

"Oh, please stop it," she said. "Please, please stop it."

"That's better," Wilson said. "Please is much better. Now I'll stop."

какие неприятности, но я распоряжусь, чтобы сделали несколько снимков, которые очень пригодятся на дознании. Ружьеносцы и шофер тоже выступают как свидетели. Вам решительно нечего бояться.

— Перестаньте, — сказала она.

— Будет много возни, — сказал он. — Придется отправить грузовик на озеро, чтобы оттуда по радио вызвали самолет, который заберет нас всех троих в Найроби. Почему вы его не отравили? В Англии это делается именно так.

— Перестаньте! Перестаньте! Перестаньте! — крикнула женщина.

Уилсон посмотрел на нее своими равнодушными голубыми глазами.

— Больше не буду, — сказал он. — Я немножко рассердился. Ваш муж только-только начинал мне нравиться.

— О, пожалуйста, перестаньте, — сказала она. — Пожалуйста, пожалуйста, перестаньте.

— Так-то лучше, — сказал Уилсон. — Пожалуйста — это много лучше. Теперь я перестану



BERNARD MALAMUD

The Magic Barrel

Not long ago there lived in uptown New York, in a small, almost meager room, though crowded with books, Leo Finkle, a rabbinical student in the Yeshivah University. Finkle, after six years of study, was to be ordained in June and had been advised by an acquaintance that he might find it easier to win himself a congregation if he were married. Since he had no present prospects of marriage, after two tormented days of turning it over in his mind, he called in Pinye Salzman, a marriage broker whose two-line advertisement he had read in the *Forward*.

The matchmaker appeared one night out of the dark fourth-floor hallway of the graystone rooming house where Finkle lived, grasping a black, strapped portfolio that had been worn thin with use. Salzman, who had been long in the business, was of slight but dignified build, wearing an old hat, and an overcoat too short and tight for him. He smelled frankly of fish, which he loved to eat, and although he was missing a few teeth, his presence was not displeasing, because of an amiable manner curiously contrasted with mournful eyes. His voice, his lips, his wisp



БЕРНАРД МАЛАМУД

Волшебный бочонок

В недавние времена жил-был в Нью-Йорке, в маленькой, почти нищенской, хотя и полной книг, комнатке, Лео Финкель, студент Йешивского университета, где готовят раввинов. Этот Лео Финкель после шести лет обучения в июне должен был быть посвящен в сан раввина, и один знакомый посоветовал ему жениться, потому что женатому человеку легче завоевать доверие прихожан. Так как никаких видов на невесту у него не было, то, промучившись два дня этой мыслью, он вызвал к себе Пиню Зальцмана, свата, чье объявление в две строки он прочитал в газете «Форвард».

Сват появился из глубины коридора на четвертом этаже серого каменного дома, где Финкель жил на пансионе, судорожно сжимая черный, истертый до неузнаваемости портфель, перетянутый ремешками. Зальцман, занимавшийся сватовством много лет, был невысокий, но полный достоинства человек, в старой шляпе и не по росту узком и коротком пальтишке. От него откровенно пахло рыбой — видно, он ее часто ел, и хотя у него не хватало нескольких зубов, он производил скорее приятное впечатление своей приветливостью, странно противоречащей тоскливому выражению глаз. Он весь был как на пружинках — голос, губы, жидень-

of beard, his bony fingers were animated, but give him a moment of repose and his mild blue eyes revealed a depth of sadness, a characteristic that put Leo a little at ease although the situation, for him, was inherently tense.

He at once informed Salzman why he had asked him to come, explaining that his home was in Cleveland, and that but for his parents, who had married comparatively late in life, he was alone in the world. He had for six years devoted himself almost entirely to his studies, as a result of which, understandably, he had found himself without time for a social life and the company of young women. Therefore he thought it the better part of trial and error—of embarrassing fumbling—to call in an experienced person to advise him on these matters. He remarked in passing that the function of the marriage broker was ancient and honorable, highly approved in the Jewish community, because it made practical the necessary without hindering joy. Moreover, his own parents had been brought together by a matchmaker. They had made, if not a financially profitable marriage—since neither had possessed any worldly goods to speak of—at least a successful one in the sense of their everlasting devotion to each other. Salzman listened in embarrassed surprise, sensing a sort of apology. Later, however, he experienced a glow of pride in his work, an emotion that had left him years ago, and he heartily approved of Finkle.

The two went to their business. Leo had led Salzman to the only clear place in the room, a table near a window that overlooked the lamp-lit city. He seated himself at the matchmaker's side but facing him, attempting by an act of will to suppress the unpleasant tickle in his throat. Salzman eagerly unstrapped his portfolio and removed a loose rubber band from a thin packet of much-handled cards. As he flipped through them, a gesture and sound that physically hurt Leo, the student pretended not to see and gazed steadfastly out the window. Although it was still February, winter was on its last legs, signs of which he had

кая бородка, костлявые пальцы, но стоило ему на минуту уgomониться, как в его кротких голубых глазах появлялась такая глубокая скорбь, что Лео сразу успокоился, хотя для него вся эта ситуация была невероятно тягостна.

Он тут же сообщил Зальцману, зачем он его позвал, объяснил, что сам он родом из Кливленда и что, кроме родителей, вступивших в брак уже на склоне лет, у него нет никого на свете. Шесть лет он почти всецело посвятил себя науке, вследствие чего он, понятно, не имел возможности вращаться в обществе и встречаться с молодыми особами. Поэтому он считал, что не стоит искать вслепую, разочаровываться, а лучше позвать человека, опытного в таких делах, и посоветоваться с ним. Мимоходом он отметил, что профессия свата исстари пользовалась почетом и весьма ценилась в еврейской общине, ибо, оказывая необходимую практическую помощь, сватовство отнюдь не лишает людей счастья. Более того, собственные его родители тоже познакомились через свата. И брак их был не то чтобы очень выгодным в финансовом отношении, потому что оба они никакими особенными земными благами не владели, но зато оказался чрезвычайно удачным, так как они были безгранично преданы друг другу. Сначала Зальцман слушал растерянно и удивленно, чувствуя, что перед ним в чем-то оправдываются. Но потом в нем зажглась гордость за свою работу — чувство, которого он не ощущал уже много лет, да и Финкель явно пришелся ему по душе.

Они занялись делом. Лео усадил Зальцмана на единственное свободное место в комнате за стол у окна, выходящего на залитый светом город. Сам он сел рядом со сватом, повернувшись к нему и стараясь усилием воли сдерживать неловкое щекотание в горле. Зальцман торопливо расстегнул ремешки и, вынув из портфеля тонкую пачку затрепанных карточек, снял с них растянутую резинку. Он с треском перелистал их, от этого звука Лео ощутил почти физическую боль и, сделав равнодушное лицо, уставился в окно. Хотя стоял февраль, но зима уже доживала последние часы, и он впервые за

for the first time in years begun to notice. He now observed the round white moon, moving high in the sky through a cloud menagerie, and watched with half-open mouth as it penetrated a huge hen, and dropped out of her like an egg laying itself. Salzman, though pretending through eyeglasses he had just slipped on, to be engaged in scanning the writing on the cards, stole occasional glances at the young man's distinguished face, noting with pleasure the long, severe scholar's nose, brown eyes heavy with learning, sensitive yet ascetic lips, and a certain, almost hollow quality of the dark cheeks. He gazed around at shelves upon shelves of books and let out a soft, contented sigh.

When Leo's eyes fell upon the cards, he counted six spread out in Salzman's hand.

"So few?" he asked in disappointment.

"You wouldn't believe me how much cards I got in my office," Salzman replied. "The drawers are already filled to the top, so I keep them now in a barrel, but is every girl good for a new rabbi?"

Leo blushed at this, regretting all he had revealed of himself in a curriculum vitae he had sent to Salzman. He had thought it best to acquaint him with his strict standards and specifications, but in having done so, felt he had told the marriage broker more than was absolutely necessary.

He hesitantly inquired, "Do you keep photographs of your clients on file?"

"First comes family, amount of dowry, also what kind promises," Salzman replied, unbuttoning his tight coat and settling himself in the chair. "After comes pictures, rabbi."

"Call me Mr. Finkle. I'm not yet a rabbi."

Salzman said he would, but instead called him doctor, which he changed to rabbi when Leo was not listening too attentively.

Salzman adjusted his horn-rimmed spectacles, gently

многие годы заметил это. Он смотрел, как круглый месяц высоко плывет сквозь облачный зверинец, и, приоткрыв рот, следил, как он проникает в гигантскую курицу и выпадает из нее, словно само собой снесенное яйцо. Притворяясь, что он изучает надписи на карточках сквозь только что нацепленные очки, Зальцман украдкой поглядывал на благородное лицо юноши, одобрительно отмечая длинную строгую линию носа — как у настоящего ученого! — карие глаза с потяжелевшими от занятий веками, живые и вместе с тем аскетические губы, почти болезненную впалость смуглых щек. Зальцман перевел взгляд на бесконечные полки с книгами и вздохнул с тихим удовлетворением.

Когда Лео взглянул на карточки, он увидел, что Зальцман отобрал и держит веером шесть штук.

— Так мало? — спросил он разочарованно.

— Их у меня в конторе столько, что вы не поверите! — ответил Зальцман. — Все ящики набиты битком — я их теперь уже держу в бочонке. Но разве для нового ребе каждая девушка подходит?

Лео покраснел, жалея, что так подробно рассказал о себе в письме, посланном Зальцману. Ему тогда казалось, что необходимо ознакомить свата со всеми своими требованиями и пожеланиями, но сейчас он чувствовал, что сообщил о себе много лишнего.

Он нерешительно спросил:

— А у вас заведена картотека фотографий всех ваших клиентов?

— Сначала я записываю про всю семью, ну, и сколько приданого и что можно ожидать впереди. — Зальцман расстегнул тесное пальто и уселся поудобнее. — А после уже беру фотографии, ребе!

— Называйте меня мистер Финкель. Я же еще не раввин.

Зальцман согласился и стал называть его «доктор», но, когда ему казалось, что Лео слушает не слишком внимательно, он снова называл его «ребе».

Поправив роговые очки, Зальцман деликатно от-

cleared his throat and read in an eager voice the contents of the top card:

"Sophie P. Twenty four years. Widow one year. No children. Educated high school and two years college. Father promises eight thousand dollars. Has wonderful wholesale business. Also real estate. On the mother's side comes teachers, also one actor. Well known on Second Avenue."

Leo gazed up in surprise. "Did you say a widow?"

"A widow don't mean spoiled, rabbi. She lived with her husband maybe four months. He was a sick boy, she made a mistake to marry him."

"Marrying a widow has never entered my mind."

"This is because you have no experience. A widow, especially if she is young and healthy like this girl, is a wonderful person to marry. She will be thankful to you the rest of her life. Believe me, if I was looking now for a bride, I would marry a widow."

Leo reflected, then shook his head.

Salzman hunched his shoulders in an almost imperceptible gesture of disappointment. He placed the card down on the wooden table and began to read another:

"Lily H. High school teacher. Regular. Not a substitute. Has savings and new Dodge car. Lived in Paris one year. Father is successful dentist thirty-five years. Interested in professional man. Well Americanized family. Wonderful opportunity."

"I knew her personally," said Salzman. "I wish you could see this girl. She is a doll. Also very intelligent. All day you could talk to her about books and theater and what not. She also knows current events."

"I don't believe you mentioned her age?"

"Her age?" Salzman said, raising his brows. "Her age is thirty-two years."

Leo said after a while, "I'm afraid that seems a little too old."

кашлялся и проникновенным голосом прочел надпись на первой карточке:

«Софи П. Двадцать четыре года. Вдовец один год. Бездетная. Образование — средняя школа, два года в колледже. Отец обещает восемь тысяч долларов. Чудная оптовая торговля. Также недвижимое имущество. С материнской стороны в родне учителя, также один актер, известный всем на всей Второй авеню».

Лео посмотрел на него с удивлением:

— Вы сказали — вдова?

— Вдова — это еще не значит порченная, ребе! Она и с мужем прожила всего каких-то там четыре месяца. Он же был больной, она зря вышла за него, такая ошибка!

— Но я не собирался жениться на вдове.

— Это потому, что вы такой неопытный. Если вдова, да еще здоровая, молодая, так лучшей жены и не надо. Всю жизнь она будет вам благодарна. Я вам скажу, что если бы мне сейчас надо было жениться, так я женился бы только на вдовушке, честное слово!

Лео подумал, потом покачал головой.

Зальцман слегка пожал плечами — он был явно разочарован. Положив фото на стол, он стал читать надпись на другой карточке:

«Лили Г. Учительница средней школы. Служба постоянная. Не замещает. Есть сбережения, новая машина «додж». Год жила в Париже. Отец — видный зубной врач, стаж тридцать пять лет. Интересуется человеком интеллигентной профессии. Семья уже американизировалась. Прекрасные перспективы».

— Я с ней знаком, — сказал Зальцман. — Вы бы посмотрели на эту девочку. Одно слово — кукла. А умница какая! Сутки вы с ней можете говорить про книжки, про театры, я знаю про что! Ей все на свете известно.

— Вы, кажется, не упомянули о ее возрасте?

— Ее возраст? — Зальцман высоко поднял брови. — Какой там возраст — тридцать два года!

Подумав, Лео сказал:

— Нет, боюсь, это слишком много.

Зальцман хихикнул.

Salzman let out a laugh. "So how old are you, rabbi?"

"Twenty-seven."

"So what is the difference, tell me, between twenty-seven and thirty-two? My own wife is seven years older than me. So what did I suffer? — Nothing. If Rothschild's daughter wants to marry you, would you say on account her age, no?"

"Yes," Leo said dryly.

Salzman shook off the no in the yes. "Five years don't mean a thing. I give you my word that when you will live with her for one week you will forget her age. What does it mean five years—that she lived more and knows more than somebody who is younger? On this girl, God bless her, years are not wasted. Each one that it comes makes better the bargain."

"What subject does she teach in high school?"

"Languages. If you heard the way she speaks French, you will think it is music. I am in the business twenty-five years, and I recommend her with my whole heart. Believe me, I know what I'm talking, rabbi."

"What's on the next card?" Leo said abruptly.

Salzman reluctantly turned up the third card:

"Ruth K. Nineteen years. Honor student. Father offers thirteen thousand cash to the right bridegroom. He is a medical doctor. Stomach specialist with marvelous practice. Brother in law owns own garment business. Particular people."

Salzman looked as if he had read his trump card.

"Did you say nineteen?" Leo asked with interest.

"On the dot."

"Is she attractive?" He blushed. "Pretty?"

Salzman kissed his finger tips. "A little doll. On this I give you my word. Let me call the father tonight and you will see what means pretty."

But Leo was troubled. "You're sure she's that young?"

— А сколько же вам, ребе?

— Двадцать семь.

— Ну скажите мне, какая разница — или двадцать семь, или тридцать два? Моя собственная жена старше меня ровно на семь лет. Ну и что, разве я страдал? Ни чуточки! А если за вас захочет выйти дочка Ротшильда, так вы тоже откажетесь из-за ее возраста, да?

— Откажусь, — сухо сказал Лео.

Зальцман не принял отказа:

— Что такое пять лет? Клянусь жизнью, вы с ней проживете неделю и уже забудете про возраст. Ну что такое пять лет — это только значит, что она прожила дольше и знает больше всяких девчонок. У этой барышни, дай ей бог здоровья, ни один год не пропал. С каждым годом она подымается в цене.

— А что она преподает в школе?

— Иностранные языки. Вы бы послушали, как она говорит по-французски, так это чистая музыка. Двадцать пять лет я при этом деле, и я ее рекомендую от всей души. Верьте, я уж знаю, о чем я говорю, ребе!

— А кто у вас еще? — отрывисто спросил Лео.

— «Руфь К. Девятнадцать лет. Студентка-отличница. Отец предлагает тринадцать тысяч, если жених подойдет. Он сам доктор. Специалист по желудку, чудная практика. У деверя своя собственная торговля готовым платьем. Вся семья — это что-то особенное».

У Зальцмана был такой вид, будто он выложил свой лучший козырь.

— Вы сказали — девятнадцать? — заинтересовался Лео.

— Точно, как в аптеке!

— И она привлекательна? — спросил Лео, краснея. — Хорошенькая?

Зальцман поцеловал кончики пальцев.

— Куколка! Даю вам честное слово. Позвольте мне сегодня позвонить ее папе, и вы увидите, что значит хорошенькая.

Но Лео все беспокоился:

— А вы уверены, что она так молода?

"This I am positive. The father will show you the birth certificate."

"Are you positive there isn't something wrong with her?" Leo insisted.

"Who says there is wrong?"

"I don't understand why an American girl her age should go to a marriage broker."

A smile spread over Salzman's face.

"So for the same reason you went, she comes."

Leo flushed. "I am pressed for time."

Salzman, realizing he had been tactless, quickly explained. "The father came, not her. He wants she should have the best, so he looks around himself. When we will locate the right boy he will introduce him and encourage. This makes a better marriage than if a young girl without experience takes for herself. I don't have to tell you this."

"But don't you think this young girl believes in love?" Leo spoke uneasily.

Salzman was about to guffaw but caught himself and said soberly, "Love comes with the right person, not before."

Leo parted dry lips but did not speak. Noticing that Salzman had snatched a glance at the next card, he cleverly asked, "How is her health?"

"Perfect," Salzman said, breathing with difficulty. "Of course, she is a little lame on her right foot from an auto accident that it happened to her when she was twelve years, but nobody notices on account she is so brilliant and also beautiful."

Leo got up heavily and went to the window. He felt curiously bitter and upbraided himself for having called in the marriage broker. Finally, he shook his head.

"Why not?" Salzman persisted, the pitch of his voice rising.

— Что значит — уверен? Отец вам покажет ее метрику.

— А вы точно знаете, что там нет никакого подвоха? — настаивал Лео.

— Какой тут может быть подвох?

— Тогда я не понимаю, зачем девушка, американка, в таком возрасте, вдруг обращается к свату?

Зальцман расплылся в улыбке:

— Как вы обратились, так и она тоже.

Лео покраснел.

— У меня же время ограничено.

Зальцман понял, что совершил бестактность:

— Не она пришла, пришел ее отец, — объяснил он быстро. — Он хочет, чтобы доченьке достался лучший из лучших, вот он сам и ищет. А когда мы с ним нащупаем подходящего жениха, так он их познакомит, он их подтолкнет. Это же куда лучше, чем если такая девочка, такая неопытная, сама себе будет кого-то искать. Зачем мне вам это говорить?

— Но разве, по-вашему, эта молодая девушка не влюбится в любовь? — неловко спросил Лео.

Зальцман чуть не прыснул, но удержался и строго сказал:

— Любовь приходит, когда найдется подходящий человек, а вовсе не сама по себе!

Лео приоткрыл пересохшие губы, но ничего не сказал. Но, заметив, что Зальцман украдкой поглядывает на следующую карточку, он лукаво спросил:

— А как у нее со здоровьем?

— Превосходно. — Зальцман запыхтел. — Ну, немножко хромает на правую ножку, в двенадцать лет попала в автомобильную катастрофу, но разве кто это замечает, когда она такая умница, такая красавица!

Лео тяжело поднялся со стула, подошел к окну. В нем зашевелилась странная горечь, он бранил себя за то, что позвал свата. Наконец он покачал головой.

— Ну, а почему нет? — спросил Зальцман, повышая голос.

"Because I detest stomach specialists."

"So what do you care what is his business? After you marry her do you need him? Who says he must come every Friday night in your house?"

Ashamed of the way the talk was going, Leo dismissed Salzman, who went home with heavy, melancholy eyes.

Though he had felt only relief at the marriage broker's departure, Leo was in low spirits the next day. He explained it as arising from Salzman's failure to produce a suitable bride for him. He did not care for his type of clientele. But when Leo found himself hesitating whether to seek out another matchmaker, one more polished than Pinye, he wondered if it could be—his protestations to the contrary, and although he honored his father and mother—that he did not, in essence, care for the matchmaking institution? This thought he quickly put out of mind yet found himself still upset. All day he ran around in the woods—missed an important appointment, forgot to give out his laundry, walked out of a Broadway cafeteria without paying and had to run back with the ticket in his hand; had even not recognized his landlady in the street when she passed with a friend and courteously called out, "A good evening to you, Doctor Finkle." By nightfall, however, he had regained sufficient calm to sink his nose into a book and there found peace from his thoughts.

Almost at once there came a knock on the door. Before Leo could say enter, Salzman, commercial cupid, was standing in the room. His face was gray and meager, his expression hungry, and he looked as if he would expire on his feet. Yet the marriage broker managed, by some trick of the muscles, to display a broad smile.

"So good evening. I am invited?"

Leo nodded, disturbed to see him again, yet unwilling to ask the man to leave.

Beaming still, Salzman laid his portfolio on the table.

— Потому, что я ненавижу специалистов по желудочным болезням.

— А что вам за дело до его специальности? Вы поженились — а тогда зачем он вам сдался? Кто сказал, что он каждую пятницу должен ходить к вам в дом?

Лео стало стыдно — уж очень неприятный оборот принял разговор. Он попрощался с Зальцманом, и тот ушел домой, печально моргая тяжелыми веками.

Хотя на душе у Лео стало легче, когда сват ушел, он был в плохом настроении весь следующий день. Он объяснял это тем, что Зальцман не сумел предложить ему подходящую невесту. Не нравились ему зальцмановские клиентки. Но когда Лео стал подумывать, не найти ли ему другого свата, более обходительного, чем Пиня, он спросил себя: не в том ли дело, что он внутренне против самого обычая, против сватов вообще, хотя и утверждает обратное и чтит своих родителей. И хотя он сразу отбросил эту мысль, но расстроился еще больше. Весь день он бегал по парку, пропустил важное деловое свидание, забыл отдать белье в прачечную, вышел из кафе на Бродвее, не заплатив, — пришлось бежать назад, с чеком в руке, и даже не узнал свою квартирную хозяйку, когда та прошла мимо по улице с приятельницей, приветливо окликнув его: «Добрый вечер, доктор Финкель!» Лишь поздно вечером он настолько успокоился, чтобы снова засесть за книгу и уйти от своих мыслей.

Но почти что сразу в дверь постучали. Лео не успел еще сказать «войдите!», как Зальцман, купидон от коммерции, уже появился на пороге. Лицо у него посерело, щеки впали, глаза были голодные — казалось, он вот-вот испустит дух. Но каким-то сверхъестественным усилием он задвигал скулами, и на его лице появилась широкая улыбка.

— Ну, доброго вам вечера! Так меня примут или нет?

Лео кивнул, и хотя его расстроил приход свата, но прогнать его он не решился.

С застывшей улыбкой Зальцман положил портфель на стол.

"Rabbi, I got for you tonight good news."

"I've asked you not to call me rabbi. I'm still a student."

"Your worries are finished. I have for you a first-class bride."

"Leave me in peace concerning this subject." Leo pretended lack of interest.

"The world will dance at your wedding."

"Please, Mr. Salzman, no more."

"But first must come back my strength," Salzman said weakly. He fumbled with the portfolio straps and took out of the leather case an oily paper bag, from which he extracted a hard, seeded roll and a small, smoked white fish. With a quick motion of his hand he stripped the fish out of its skin and began ravenously to chew. "All day in a rush," he muttered.

Leo watched him eat.

"A sliced tomato you have maybe?" Salzman hesitantly inquired.

"No."

The marriage broker shut his eyes and ate. When he had finished he carefully cleaned up the crumbs and rolled up the remains of the fish, in the paper bag. His spectacled eyes roamed the room until he discovered, amid some piles of books, a one-burner gas stove. Lifting his hat he humbly asked, "A glass of tea you got, rabbi?"

Conscience-stricken, Leo rose and brewed the tea. He served it with a chunk of lemon and two cubes of lump sugar, delighting Salzman.

After he had drunk his tea, Salzman's strength and good spirits were restored.

"So tell me, rabbi," he said amiably, "you considered some more the three clients I mentioned yesterday?"

"There was no need to consider."

"Why not?"

"None of them suits me."

"What then suits you?"

— Ой, какие у меня хорошие новости сегодня, ребе!

— Я просил бы вас не называть меня «ребе», я еще только студент.

— Кончились все ваши заботы. У меня есть для вас невеста — первый сорт!

— Не будем затрагивать этот вопрос, — сказал Лео с притворным равнодушием.

— На вашей свадьбе будет танцевать весь свет!

— Прошу вас, мистер Зальцман, не надо.

— Мне бы нужно немножко подкрепиться, — сказал Зальцман слабым голосом. Он расстегнул ремни на портфеле и, вынув промасленный бумажный мешочек, достал из него твердую булочку с маком и небольшую копченую рыбку. Быстрыми пальцами он снял с рыбы кожицу и стал жадно жевать. — Целый день одна беготня, — пробормотал он.

Лео смотрел, как он ест.

— А кусочка помидора у вас случайно нет? — спросил Зальцман робко.

— Нет.

Сват закрыл глаза и опять зажевал. Поев, он тщательно собрал крошки и завернул остатки рыбы в мешочек. Блестя очками, он оглядел комнату, пока среди груды книг не углядел газовую плитку с одним рожком. Приподняв шляпу, он смиренно спросил:

— Так, может, найдется стаканчик чаю, ребе?

Лео встал и заварил чай — в нем заговорила совесть. Он подал Зальцману стакан чаю с ломтиком лимона и двумя кусками сахара, и тот выразил полный восторг.

Попивая чай, Зальцман пришел в отличное настроение, к нему вернулись силы.

— Ну, так скажите мне, ребе, — приветливо начал он, — так вы хоть подумали про тех трех клиентов, вчерашних, или как?

— Мне и думать было не о чем.

— Почему нет?

— Ни одна мне не подходит.

— А что вам подходит, что?

Leo let it pass because he could give only a confused answer.

Without waiting for a reply, Salzman asked, "You remember this girl I talked to you—the high school teacher?"

"Age thirty-two?"

But, surprisingly, Salzman's face lit in a smile. "Age twenty-nine."

Leo shot him a look. "Reduced from thirty-two?"

"A mistake," Salzman avowed. "I talked today with the dentist. He took me to his safety deposit box and showed me the birth certificate. She was twenty-nine years last August. They made her a party in the mountains where she went for her vacation. When her father spoke to me the first time I forgot to write the age and I told you thirty-two, but now I remember this was a different client, a widow."

"The same one you told me about? I thought she was twenty-four?"

"A different. Am I responsible that the world is filled with widows?"

"No, but I'm not interested in them, nor for that matter, in school teachers."

Salzman pulled his clasped hands to his breast. Looking at the ceiling he devoutly exclaimed, "Yiddishe kinder, what can I say to somebody that he is not interested in high school teachers? So what then you are interested?"

Leo flushed but controlled himself.

"In what else will you be interested," Salzman went on, "if you not interested in this fine girl that she speaks four languages and has personally in the bank ten thousand dollars? Also her father guarantees further twelve thousand. Also she has a new car, wonderful clothes, talks on all subjects, and she will give you a first-class home and children. How near do we come in our life to paradise?"

Лео пропустил вопрос мимо ушей, потому что точного ответа сам не знал.

Не дожидаясь, Зальцман спросил:

— Помните ту девушку, я про нее говорил, ну, ту учительницу?

— Которой тридцать два года?

Зальцман неожиданно просиял:

— Ей же двадцать девять!

Лео покосился на него:

— Вычли из тридцати двух?

— Ошибка, — признался Зальцман. — Сегодня говорил с ее папашей. Он подвел меня к сейфу и показал ее метрику. В августе ей исполнилось двадцать девять лет. Они ей устроили такие именины, понимаете, в горах, она там отдыхала, на каникулах. В первый раз, как я говорил с ее отцом, я забыл записать ее возраст, ну, я и сказал вам — тридцать два, а теперь вспомнил — так то была вовсе другая клиентка, вдова.

— Вы и про нее мне говорили. Я думал — той двадцать четыре.

— Это опять другая. Разве я виноват, что на свете полным-полно вдов?

— Нет, я вас не виню, но меня вдовы не интересуют. Да и школьные учительницы тоже.

Зальцман прижал сложенные ладони к груди. Возведя глаза к потолку, он воскликнул:

— Ой, евреи, ну что я могу сказать человеку, когда он не интересуется даже учительницами из средней школы? Так чем вы интересуетесь, чем?

Лео покраснел, но сдержался.

— Чем же это вы интересуетесь? — продолжал Зальцман. — Когда такая девушка говорит на четырех языках и в банке имеет личный счет — десять тысяч долларов, так она вас не интересует? И еще отец обещает целых двенадцать тысяч! И еще у нее новая машина, роскошные туалеты, может поговорить про что угодно, дом вам устроит — первый класс, дети будут — лучше не надо. Разве в нашей жизни часто можно себе заработать такой рай?

"If she's so wonderful, why wasn't she married ten years ago?"

"Why?" said Salzman with a heavy laugh. "—Why? Because she is *partikiler*. This is why. She wants the *best*."

Leo was silent, amused at how he had entangled himself. But Salzman had aroused his interest in Lily H., and he began seriously to consider calling on her. When the marriage broker observed how intently Leo's mind was at work on the facts he had supplied, he felt certain they would soon come to an agreement.

Late Saturday afternoon, conscious of Salzman, Leo Finkle walked with Lily Hirschorn along Riverside Drive. He walked briskly and erectly, wearing with distinction the black fedora he had that morning taken with trepidation out of the dusty hat box on his closet shelf, and the heavy black Saturday coat he had thoroughly whisked clean. Leo also owned a walking stick, a present from a distant relative, but quickly put temptation aside and did not use it. Lily, petite and not unpretty, had on something signifying the approach of spring. She was au courant, animatedly, with all sorts of subjects, and he weighed her words and found her surprisingly sound—score another for Salzman, whom he uneasily sensed to be somewhere around, hiding perhaps high in a tree along the street, flashing the lady signals with a pocket mirror; or perhaps a cloven-hoofed Pan, piping nuptial ditties as he danced his invisible way before them, strewing wild buds on the walk and purple grapes in their path, symbolizing fruit of a union, though there was of course still none.

Lily startled Leo by remarking, "I was thinking of Mr. Salzman, a curious figure, wouldn't you say?"

Not certain what to answer, he nodded.

— Если она такая замечательная, почему она не вышла замуж десять лет назад?

— Почему? — Зальцман ядовито засмеялся. — Потому что у нее такие требования! Понятно? Она хочет только самое что ни на есть лучшее!

Лео молчал, ему даже было забавно — куда он впутался. Но Зальцман пробудил в нем какой-то интерес к Лили Г., и он всерьез подумал, не познакомиться ли с ней. И когда сват увидал, что Лео задумался над его словами, в нем укрепилась уверенность, что вскоре они придут к соглашению.

В субботу, уже к вечеру, Лео Финкель, думая о Зальцмане, гулял с Лили Гиршгорн по Риверсайддрайв. Он шел выпрямившись, с достоинством выступая во всем параде — в черной шляпе, которую он с замиранием сердца достал с утра из пыльной картонки, стоявшей в шкафу, в плотном черном праздничном пальто, вычищенном до блеска. Была у Лео и палка, подарок дальнего родственника, но он преодолел искушение и палку не взял. На Лили, миниатюрной и совсем недурненькой, было что-то возвещающее о близости весны. Ей действительно было известно все на свете, она оживленно болтала, и, слушая ее, Лео нашел, что она удивительно разумно рассуждает, — очко в пользу Зальцмана, чье присутствие он со стеснением ощущал где-то рядом — как будто он прятался на дереве у обочины, подавая его спутнице сигналы карманным зеркальцем, а может быть, козлоногим Паном наигрывал ей свадебные мелодии, невидимо кружась перед ними в танце, и усыпал их путь розами и лиловыми гроздьями винограда — символом их союза, хотя пока что о союзе и речи не было.

И Лео вздрогнул от неожиданности, когда Лили вдруг сказала:

— А я думала сейчас о мистере Зальцмане. Занятный он человек, правда?

Не зная, что ответить, он только кивнул.

She bravely went on, blushing, "I for one am grateful for his introducing us. Aren't you?"

He courteously replied, "I am."

"I mean," she said with a little laugh—and it was all in good taste, or at least gave the effect of being not in bad—"do you mind that we came together so?"

He was not displeased with her honesty, recognizing that she meant to set the relationship aright, and understanding that it took a certain amount of experience in life, and courage, to want to do it quite that way. One had to have some sort of past to make that kind of beginning.

He said that he did not mind. Salzman's function was traditional and honorable—valuable for what it might achieve, which, he pointed out, was frequently nothing.

Lily agreed with a sigh. They walked on for a while and she said after a long silence, again with a nervous laugh, "Would you mind if I asked you something a little bit personal? Frankly, I find the subject fascinating." Although Leo shrugged, she went on half embarrassedly, "How was it that you came to your calling? I mean was it a sudden passionate inspiration?"

Leo, after a time, slowly replied, "I was always interested in the Law."

"You saw revealed in it the presence of the Highest?"

He nodded and changed the subject. "I understand that you spent a little time in Paris, Miss Hirschorn?"

"Oh, did Mr. Salzman tell you, Rabbi Finkle?" Leo winced but she went on, "It was ages ago and almost forgotten. I remember I had to return for my sister's wedding."

Но она храбро продолжала, слегка краснея:

— В общем я ему благодарна, ведь это он нас познакомил. А вы?

— И я тоже.

— Я хочу сказать... — Она рассмеялась, и то, что она сказала, было сказано вполне по-светски, во всяком случае, ничего вульгарного в этом не было. — Я хочу сказать — ведь вы не против, что мы с вами так познакомились?

Ему была скорее приятна ее честность: значит, она хотела сразу наладить их отношения, и он понимал, что для такого подхода требуется какой-то жизненный опыт и смелость. Видно, у нее было прошлое, раз она так прямо могла выяснить отношения.

Он сказал, что ничего не имеет против такого способа знакомства. Профессия Зальцмана освящена традицией и вполне почтенна, она может оказать ценные услуги, хотя, подчеркнул он, может и ничего не выйти.

Лили со вздохом согласилась. Они шли рядом, и после довольно долгого молчания она спросила с нервным смешком:

— Вы не обидитесь, если я вам задам несколько личный вопрос? Откровенно говоря, эта тема мне кажется безумно увлекательной.

И хотя Лео только пожал плечами, она несколько смущенно спросила:

— Как вы пришли к своему призванию? Я хочу сказать — наверно, вас осенила благодать?

Помолчав, Лео медленно сказал:

— Меня всегда интересовало Священное писание.

— Вы чувствовали в нем присутствие всевышнего?

Он кивнул и переменял тему:

— Я слышал, что вы побывали в Париже, мисс Гиршгорн?

— Ах, это вам Зальцман сказал, рабби Финкель? — Лео поморщился, но она продолжала: — Это было так давно, уже все позабылось. Помню, мне пришлось вернуться на свадьбу сестры.

And Lily would not be put off. "When," she asked in a trembly voice, "did you become enamored of God?"

He stared at her. Then it came to him that she was talking not about Leo Finkle, but of a total stranger, some mystical figure, perhaps even passionate prophet that Salzman had dreamed up for her—no relation to the living or dead. Leo trembled with rage and weakness. The trickster had obviously sold her a bill of goods, just as he had him, who'd expected to become acquainted with a young lady of twenty-nine, only to behold, the moment he laid eyes upon her strained and anxious face, a woman past thirty-five and aging rapidly. Only his self control had kept him this long in her presence.

"I am not," he said gravely, "a talented religious person," and in seeking words to go on, found himself possessed by shame and fear. "I think," he said in a strained manner, "that I came to God not because I loved Him, but because I did not."

This confession he spoke harshly because its unexpectedness shook him.

Lily wilted. Leo saw a profusion of loaves of bread go flying like ducks high his head, not unlike the winged loaves by which he had counted himself to sleep last night. Mercifully, then, it snowed, which he would not put past Salzman's machinations.

He was infuriated with the marriage broker and swore he would throw him out of the room the minute he reappeared. But Salzman did not come that night, and when Leo's anger had subsided, an unaccountable despair grew in its place. At first he thought this was caused by his disappointment in Lily, but before long it became evident that he had involved himself with Salzman without a true knowledge of his own intent. He gradually realized—with an emptiness that seized him with six hands—that he had

Нет, эту Лили ничем не остановить. С дрожью в голосе она спросила:

— Так когда же в вас вспыхнула любовь к богу?

Он посмотрел на нее, широко открыв глаза. И вдруг понял, что она говорит не о нем, Лео Финкеле, а о совершенно другом человеке, о каком-то мистическом чуде, может быть даже о вдохновенном пророке, которого выдумал для нее Зальцман, какого и на свете нет. Лео задрожал от гнева и унижения. Наговорил ей с три короба, старый врун, и ему тоже — обещал познакомить с девушкой двадцати девяти лет, а он по ее напряженному, тревожному лицу сразу понял, что перед ним женщина лет за тридцать пять, и притом очень быстро стареющая. Только выдержка заставила его потерять с ней столько времени.

— Я вовсе не религиозный человек, — сурово произнес он, — и никаких талантов у меня нет. — Он чувствовал, что стыд и страх охватывают его, когда он подыскивает слова. — Я думаю, — сказал он напряженным голосом, — что я пришел к богу не потому, что любил его, а потому, что я его не любил.

Лили сразу завяла. Лео увидал, как вереница румяных буханок хлеба уносится от него, словно стая уток в высоком полете, совсем как те крылатые хлеба, которые он мысленно считал вчера вечером, пытаясь уснуть. К счастью, внезапно пошел снег, и он подумал — уж не Зальцман ли это подстроил.

Он так взъярился на свата, что поклялся выкинуть его из комнаты, как только появится. Но Зальцман в тот вечер не пришел, и гнев Лео приутих, сменившись необъяснимой тоской. Сначала он решил, что виновато разочарование от встречи с Лили, но потом ему стало ясно, что он связался с Зальцманом, не отдавая себе отчета. И словно шесть рук вырвали из него душу, оставив внутри сплошную пустоту, когда он, наконец, понял, что просил свата найти ему невесту, потому что сам на это не способен. Страшное откровение пришло к нему после

called in the broker to find him a bride because he was incapable of doing it himself. This terrifying insight he had derived as a result of his meeting and conversation with Lily Hirschorn. Her probing questions had somehow irritated him into revealing—to himself more than her—the true nature of his relationship to God, and from that it had come upon him, with shocking force, that apart from his parents, he had never loved anyone. Or perhaps it went the other way, that he did not love God so well as he might, because he had not loved man. It seemed to Leo that his whole life stood starkly revealed and he saw himself for the first time as he truly was—unloved and loveless. This bitter but somehow not fully unexpected revelation brought him to a point of panic, controlled only by extraordinary effort. He covered his face with his hands and cried.

The week that followed was the worst of his life. He did not eat and lost weight. His beard darkened and grew ragged. He stopped attending seminars and almost never opened a book. He seriously considered leaving the Yeshivah, although he was deeply troubled at the thought of the loss of all his years of study—saw them like pages torn from a book, strewn over the city—and at the devastating effect of this decision upon his parents. But he had lived without knowledge of himself, and never in the Five Books and all the Commentaries—*mea culpa*—had the truth been revealed to him. He did not know where to turn, and in all this desolating loneliness there was no *to whom*, although he often thought of Lily but not once could bring himself to go downstairs and make the call. He became touchy and irritable, especially with his landlady, who asked him all manner of personal questions; on the other hand, sensing his own disagreeableness, he waylaid her on the stairs and apologized abjectly, until mortified, she ran from him. Out of this, however, he drew the consolation that he was a Jew and that a Jew suffered. But gradually, as the long and terrible week drew to a close, he regained his composure and some idea of purpose in life: to go on as planned. Although he was imperfect, the ideal was not. As for his quest of a bride, the thought of continuing afflicted

встречи и разговора с Лили Гиршгорн. Ее настойчивые вопросы довели его до того, что он — больше себе, чем ей, — открыл свое истинное отношение к богу и при этом с убийственной ясностью осознал, что, кроме своих родителей, он никогда никого не любил. А может быть, все было наоборот: он не любил бога, как мог бы любить, именно потому, что не любил людей. Казалось, вся его жизнь обнажилась перед ним, и Лео впервые увидел себя таким, каким он был на самом деле — нелюбящим и нелюбимым. И от этого горького, хотя и не совсем неожиданного, открытия он пришел в такой ужас, что только страшным усилием воли сдержал крик. Закрыв лицо руками, он тихо заплакал.

Хуже следующей недели он ничего в жизни не знал. Он перестал есть, исхудал. Борода у него потемнела, растрепалась. Он не посещал семинары и почти не открывал книг. Он всерьез думал, не уйти ли ему из Йешивского университета, хотя его глубоко тревожила мысль о потерянных годах учения (они представлялись ему как сотни страниц, вырванных из книг и рассыпанных над городом), уж не говоря о том, что это убьет родителей. Но прежде он жил, не зная себя, и ни в Пятикнижии, ни в комментариях — *mea culpa* — не сумел открыть истину. Он не знал, куда деваться, и в этом отчаянном одиночестве обратиться было не к кому, и хотя он часто думал о Лили, но ни разу не мог заставить себя сойти вниз и позвонить ей по телефону. Он стал обидчив и раздражителен, особенно с хозяйкой квартиры, которая приставала к нему с разными расспросами, но, с другой стороны, чувствуя, каким он становится противным, он останавливал ее на лестнице и униженно извинялся, пока она в обиде не убегала от него. Во всем этом он находил одно утешение: он был еврей, а евреи обречены на страдания. Но к концу этой жуткой недели он снова обрел силы и цель в жизни: надо продолжать то, что намечено. Пусть он сам не совершенен, зато его идеал — совершенство. И хотя при одной мысли о поисках невесты у него начинались изжога и тоска, но, быть может, теперь, узнав себя заново, он мог добиться боль-

him with anxiety and heartburn, yet perhaps with this new knowledge of himself he would be more successful than in the past. Perhaps love would now come to him and a bride to that love. And for this sanctified seeking who needed a Salzman?

The marriage broker, a skeleton with haunted eyes, returned that very night. He looked, withal, the picture of frustrated expectancy—as if he had steadfastly waited the week at Miss Lily Hirschorn's side for a telephone call that never came.

Casually coughing, Salzman came immediately to the point: "So how did you like her?"

Leo's anger rose and he could not refrain from chiding the matchmaker: "Why did you lie to me, Salzman?"

Salzman's pale face went dead white, the world had snowed on him.

"Did you not state that she was twenty-nine?" Leo insisted.

"I give you my word—"

"She was thirty-five, if a day. *At least* thirty-five."

"Of this don't be too sure. Her father told me—"

"Never mind. The worst of it was that you lied to her."

"How did I lie to her, tell me?"

"You told her things about me that weren't true. You made me out to be more, consequently less than I am. She had in mind a totally different person, a sort of semi-mystical Wonder Rabbi."

"All I said, you was a religious man."

"I can imagine."

Salzman sighed. "This is my weakness that I have," he confessed. "My wife says to me I shouldn't be a salesman, but when I have two fine people that they would be wonderful to be married, I am so happy that I talk too much." He smiled wanly. "This is why Salzman is a poor man."

шего успеха. Может быть, именно теперь к нему придет любовь, а с ней и желанная невеста. Неужто для этого священного поиска ему нужен был какой-то Зальцман?

И в тот же вечер сват, похожий на скелет с загнанными глазами, появился в его доме. Он являл собой картину обманутого ожидания, словно всю неделю вместе с Лили Гиршгорн терпеливо ждал телефонного звонка и не дождался.

Робко откашлявшись, он сразу приступил к делу:

— Ну и как она вам понравилась?

Лео рассердился и не мог удержаться, чтобы не отругать свата.

— Зачем вы наврали мне, Зальцман?

Бледное лицо Зальцмана побелело, словно он окоченел от лютого мороза.

— Вы же сказали, что ей всего двадцать девять? — настаивал Лео.

— Даю вам слово...

— А ей все тридцать пять, если не больше. По меньшей мере тридцать пять!

— Что вы заладили одно и то же! Ее отец сам мне сказал.

— Ну ладно. Гораздо хуже, что вы и ей наврали.

— А как это я ей наврал, как?

— Вы рассказали ей обо мне неправду. Вы все преувеличили и тем самым унизили меня. Она вообразила, что я совсем другой человек, какой-то полумистический чудо-раввин.

— Я же только сказал, что вы религиозный человек.

— Воображаю.

Зальцман вздохнул.

— Что делать, такая у меня слабость, — сознался он. — Моя жена всегда говорит: ну зачем тебе все хочется продать? Но когда я вижу двух хороших людей и знаю, что им бы только пожениться на здоровье, так я до того радуюсь, что на меня удержу нет, все говорю, говорю. — Он смущенно ухмыльнулся. — Потому Зальцман и нищий.

Leo's anger left him. "Well, Salzman, I'm afraid that's all."

The marriage broker fastened hungry eyes on him.

"You don't want any more a bride?"

"I do," said Leo, "but I have decided to seek her in a different way. I am no longer interested in an arranged marriage. To be frank, I now admit the necessity of premarital love. That is, I want to be in love with the one I marry."

"Love?" said Salzman, astounded. After a moment he remarked, "For us, our love is our life, not for the ladies. In the ghetto they—"

"I know, I know," said Leo. "I've thought of it often. Love, I have said to myself, should be a by-product of living and worship rather than its own end. Yet for myself I find it necessary to establish the level of my need and fulfill it."

Salzman shrugged but answered, "Listen, rabbi, if you want love, this I can find for you also. I have such beautiful clients that you will love them the minute your eyes will see them."

Leo smiled unhappily. "I'm afraid you don't understand."

But Salzman hastily unstrapped his portfolio and withdrew a manila packet from it.

"Pictures," he said, quickly laying the envelope on the table.

Leo called after him to take the pictures away, but as if on the wings of the wind, Salzman had disappeared.

March came. Leo had returned to his regular routine. Although he felt not quite himself yet—lacked energy—he was making plans for a more active social life. Of course it would cost something, but he was an expert in cutting corners; and when there were no corners left he would make circles rounder. All the while Salzman's pictures had lain on the table, gathering dust. Occasionally as Leo sat

Лео уже не сердился:

— Что ж, Зальцман, больше нам говорить не о чем. Сват вперил в него голодный взгляд.

— Вы что, не хотите больше искать невесту или как?

— Нет, хочу, — сказал Лео. — Но я решил искать ее по-другому. Больше я на сватовство не пойду. Откровенно говоря, я теперь считаю необходимым полюбить до брака. Понимаете, я хочу влюбиться в ту, на которой я женюсь.

— Влюбиться? — сказал Зальцман с удивлением. Помолчав, он добавил: — Может, для нас любовь — это наша жизнь, но уж для женщин — нет. Там, в гетто, они...

— Знаю, знаю, — перебил его Лео. — Я часто об этом думал. Любовь, говорил я себе, должна быть побочным продуктом главного: жизни, религии, а не самоцелью. Но для себя я считаю необходимым поставить себе цель и достичь ее.

Зальцман пожал плечами, но сказал:

— Слушайте, ребѣ, хотите любовь, так я вам устрою любовь. У меня есть такие клиентки, такие красавицы, что не успеют ваши глаза их увидеть, как вы уже влюблены.

Лео невесело усмехнулся.

— Боюсь, что вы ничего не понимаете.

Но Зальцман уже торопливо расстегивал портфель и вынимал из него толстый конверт.

— Карточки, — сказал он, кладя конверт на стол и уходя.

Лео закричал ему вслед, чтобы он забрал свой конверт, но Зальцмана словно ветром сдуло.

Наступил март. Лео вернулся к своим обычным занятиям. Хотя ему все еще было не по себе — одолевала усталость, он задумал как-нибудь расширить знакомства. Конечно, не обойтись без расходов, но он умеет сводить концы с концами, а когда они не сводятся, он их связывает. Зальцмановские карточки пылились на столе. Иногда, сидя за книгами или за стаканом чаю, Лео

studying, or enjoying a cup of tea, his eyes fell on the manila envelope, but he never opened it.

The days went by and no social life to speak of developed with a member of the opposite sex—it was difficult, given the circumstances of his situation. One morning Leo toiled up the stairs to his room and stared out the window at the city. Although the day was bright his view of it was dark. For some time he watched the people in the street below hurrying along and then turned with a heavy heart to his little room. On the table was the packet. With a sudden relentless gesture he tore it open. For a half-hour he stood by the table in a state of excitement, examining the photographs of the ladies Salzman had included. Finally, with a deep sigh he put them down. There were six, of varying degrees of attractiveness, but look at them long enough and they all became Lily Hirschorn: all past their prime, all starved behind bright smiles, not a true personality in the lot. Life, despite their frantic yoo-hooings, had passed them by; they were pictures in a brief case that stank of fish. After a while, however, as Leo attempted to return the photographs into the envelope, he found in it another, a snapshot of the type taken by a machine for a quarter. He gazed at it a moment and let out a cry.

Her face deeply moved him. Why, he could at first not say. It gave him the impression of youth—spring flowers, yet age—a sense of having been used to the bone, wasted; this came from the eyes, which were hauntingly familiar, yet absolutely strange. He had a vivid impression that he had met her before, but try as he might he could not place her although he could almost recall her name, as if he had read it in her own handwriting. No, this couldn't be; he would have remembered her. It was not, he affirmed, that she had an extraordinary beauty—no, though her face was attractive enough; it was that *something* about her moved him. Feature for feature, even some of the ladies of the photographs could do better; but she leaped forth to his heart—had *lived*, or wanted to—more than just wanted, perhaps regretted how she had lived—had somehow deeply

поглядывал на конверт, но ни разу до него не дотронулся.

Время шло, но никаких новых знакомств с лицами прекрасного пола Лео не завел, слишком это было сложно в его положении. Как-то утром Лео поднялся в свою комнату и, стоя у окна, посмотрел на город. И хотя день был ясный, ему все казалось мрачным. Он долго смотрел, как люди куда-то спешат, потом с тяжелым сердцем отвернулся от окна и оглядел свою каморку. Конверт все еще лежал на столе. Внезапно он схватил его и открыл рывком. Полчаса он стоял у стола в каком-то возбуждении, рассматривая фотографии, оставленные Зальцманом. Наконец он отложил их с глубоким вздохом. Девушек было шесть, все были по-своему привлекательны, но стоило на них посмотреть подольше, и они превращались в Лили Гиршгорн: все не первой молодости, у всех голодные глаза при веселых улыбках — ничего настоящего, подлинного. Видно, жизнь прошла мимо них, несмотря на их страстные призывы. Они превратились в фотографии из черного портфеля, вонявшего рыбой. Но когда Лео стал втискивать фотографии в конверт, оттуда выпала еще одна — любительский снимок, так снимают на улице у фотографа-«пушкаря» за четвертак. Он только взглянул — и вскрикнул.

Это лицо проникало в самую душу. Он не сразу понял почему. В нем была юность — весеннее цветение и вместе с тем старость — какая-то растраченность, замученность — особенно в глазах, в них ему померещилось что-то знакомое до боли и в то же время совершенно чужое. Ему казалось, что они уже когда-то встречались, но, сколько он ни напрягал память, ничего вспомнить не мог, хотя чувствовал, что вот-вот всплывет ее имя, словно написанное ее рукой. Нет, не может быть, он бы запомнил ее. И не потому, сказал он себе, что в ней была особая красота, хотя ее лицо было очень привлекательно, а потому, что она чем-то бесконечно трогала его. Если пристально вглядываться в некоторых девиц с фотографий, то они, возможно, даже были красивее, но эта

suffered: it could be seen in the depths of those reluctant eyes, and from the way the light enclosed and shone from her, and within her, opening realms of possibility: this was her own. Her he desired. His head ached and eyes narrowed with the intensity of his gazing, then as if an obscure fog had blown up in the mind, he experienced fear of her and was aware that he had received an impression, somehow, of evil. He shuddered, saying softly, it is thus with us all. Leo brewed some tea in a small pot and sat sipping it without sugar, to calm himself. But before he had finished drinking, again with excitement he examined the face and found it good: good for Leo Finkle. Only such a one could understand him and help him seek whatever he was seeking. She might, perhaps, love him. How she had happened to be among the discards in Salzman's barrel he could never guess, but he knew he must urgently go find her.

Leo rushed downstairs, grabbed up the Bronx telephone book, and searched for Salzman's home address. He was not listed, nor was his office. Neither was he in the Manhattan book. But Leo remembered having written down the address on a slip of paper after he had read Salzman's advertisement in the "personals" column of the *Forward*. He ran up to his room and tore through his papers, without luck. It was exasperating. Just when he needed the matchmaker he was nowhere to be found. Fortunately Leo remembered to look in his wallet. There on a card he found his name written and a Bronx address. No phone number was listed, the reason—Leo now recalled—he had originally communicated with Salzman by letter. He got on his coat, put a hat on over his skull cap and hurried to the subway station. All the way to the far end of the Bronx he sat on the edge of his seat. He was more than once tempted to take out the picture and see if the girl's face was as he remembered it, but he refrained, allowing the snapshot to remain in his inside coat pocket, content to have her so close. When the train pulled into the station he

сразу запала ему в сердце тем, что жила или хотела жить, а может быть, и жалела, что так живет, и знала страдание — это видно по глубине непокорных глаз, по свету, одевавшему ее, отраженному от нее, в ней таилась неизведанная сила, было что-то особое, свое. И он возжелал ее. Голова у него раскалывалась, глаза горели от пристального вглядывания в это лицо, и вдруг словно туман рассеялся у него в мозгу, он почувствовал страх перед ней, понял, что столкнулся с чем-то недобрым. Он вздрогнул и тихо сказал себе: «Во всех нас есть зло...» Лео заварил чай в маленьком чайнике и сел, отпивая его небольшими глотками, без сахара, чтобы успокоиться. Но, не допив стакан, снова стал вглядываться в ее лицо и решил, что оно прекрасно — прекрасно и создано для Лео Финкеля. Только такая, как она, могла его понять, могла помочь ему найти то, чего он искал. А может быть, и она его полюбит. Он не понимал, как она попала в отбросы из зальцмановского бочонка, но знал одно: надо срочно ее найти.

Сбежав вниз, Лео схватил телефонную книгу и стал искать в районе Бронкса домашний адрес Зальцмана. Но там не было ни домашнего адреса, ни адреса конторы. Не было их и в районе Манхэттена. Тут Лео вспомнил, что записал адрес на клочке бумаги, прочитав объявление Зальцмана в газете «Форвард». Он бросился в свою комнату, перевернул бумаги — и все зря. Было отчего прийти в отчаяние. Теперь, когда сват понадобился ему до зарезу, он не мог его найти. К счастью, Лео догадался заглянуть в бумажник. Там, на карточке, была записана фамилия Зальцмана и адрес в Бронксе. Номера телефона не было, и Лео вспомнил, что именно поэтому он и написал Зальцману письмо. Он надел пальто, шляпу поверх ермолки и побежал к метро. Всю дорогу, в дальний конец Бронкса, он сидел на краешке скамьи. Несколько раз он испытывал искушение — вынуть фотографию, посмотреть, такая ли она, как он ее себе представлял, но каждый раз удерживался, и фото оставалось во внутреннем кармане пиджака и радовало его своей близостью. Когда поезд подходил к станции,

was waiting at the door and bolted out. He quickly located the street Salzman had advertised.

The building he sought was less than a block from the subway, but it was not an office building, nor even a loft, nor a store in which one could rent office space. It was a very old tenement house. Leo found Salzman's name in pencil on a soiled tag under the bell and climbed three dark flights to his apartment. When he knocked, the door was opened by a thin, asthmatic, gray-haired woman, in felt slippers.

"Yes?" she said, expecting nothing. She listened without listening. He could have sworn he had seen her, too, before but knew it was an illusion.

"Salzman—does he live here? Pinye Salzman," he said, "the matchmaker?"

She stared at him a long minute. "Of course."

He felt embarrassed. "Is he in?"

"No." Her mouth, though left open, offered nothing more.

"The matter is urgent. Can you tell me where his office is?"

"In the air." She pointed upward.

"You mean he has no office?" Leo asked.

"In his socks."

He peered into the apartment. It was sunless and dingy, one large room divided by a half-open curtain, beyond which he could see a sagging metal bed. The near side of a room was crowded with rickety chairs, old bureaus, a three-legged table, racks of cooking utensils, and all the apparatus of a kitchen. But there was no sign of Salzman or his magic barrel, probably also a figment of the imagination. An odor of frying fish made Leo weak to the knees.

"Where is he?" he insisted. "I've got to see your husband."

он уже стоял у дверей и выскочил первым. Улицу, где жил Зальцман, он нашел сразу.

Дом, который он искал, находился в полуквартале от станции метро, но это была не контора, даже не склад и не мансарда, где можно было бы устроить что-то вроде конторы. Это был просто старый многоквартирный дом. У входа на грязноватой карточке под звонком Лео нашел фамилию Зальцмана и поднялся по темной лестнице в его квартиру. Он постучал, и ему открыла худая, задыхающаяся от астмы, седая женщина в войлочных туфлях.

— Вам что? — спросила она, не интересуясь ответом. Она слушала, не слыша. Лео мог поклясться, что и ее он где-то видел, но потом понял, что это ошибка.

— Зальцман тут живет? Пиня Зальцман? — спросил он. — Брачный посредник?

Она удивленно посмотрела на него.

— А где же еще?

Он растерялся.

— А он дома?

— Нет. — И хотя она так и не закрыла рот, больше он от нее не дождался ни слова.

— У меня спешное дело. Скажите, а где его контора?

— В воздухе! — Она ткнула пальцем вверх.

— Вы хотите сказать — у него нет конторы? — спросил Лео.

— В дырявых носках у него контора, — сказала она.

Он заглянул внутрь квартиры. Там было темновато и грязно — одна большая комната, разделенная полуотдернутой занавеской, за которой виднелась кровать с металлическими шишками. В передней части комнаты стояли рахитичные стулья, старая конторка, трехногий стол, полки с кастрюлями и всякой кухонной утварью. Но нигде ни следа Зальцмана и его волшебного бочонка — видно, бочонок существовал только в его воображении. От запаха жарящейся рыбы у Лео ослабли колени.

— Но где же ваш муж? — настаивал он. — Мне необходимо его видеть.

At length she answered, "So who knows where he is? Every time he thinks a new thought he runs to a different place. Go home, he will find you."

"Tell him Leo Finkle."

She gave no sign she had heard.

He walked downstairs, depressed.

But Salzman, breathless, stood waiting at his door.

Leo was astounded and overjoyed. "How did you get here before me?"

"I rushed."

"Come inside."

They entered. Leo fixed tea, and a sardine sandwich for Salzman. As they were drinking he reached behind him for the packet of pictures and handed them to the marriage broker.

Salzman put down his glass and said expectantly, "You found somebody you like?"

"Not among these."

The marriage broker turned away.

"Here is the one I want." Leo held forth the snapshot.

Salzman slipped on his glasses and took the picture into his trembling hand. He turned ghastly and let out a groan.

"What's the matter?" cried Leo.

"Excuse me. Was an accident this picture. She isn't for you."

Salzman frantically shoved the manila packet into his portfolio. He thrust the snapshot into his pocket and fled down the stairs.

Leo, after momentary paralysis, gave chase and cornered the marriage broker in the vestibule. The landlady made hysterical outcries but neither of them listened.

"Give me back the picture, Salzman."

"No." The pain in his eyes was terrible.

"Tell me who she is then."

Наконец она ответила:

— А кто может знать, где он? Только ему что взбредет в голову, как он уже бежит. Идите домой, он сам вас найдет.

— Скажите, что приходил Лео Финкель.

Она даже не подала виду, что слышала.

Он ушел от нее совершенно подавленный.

Но Зальцман, тяжело пыхтя, уже ждал у его двери.

Лео удивился, обрадовался:

— Как это вы меня обогнали?

— Я торопился.

— Заходите.

Они вошли. Лео приготовил чай и сандвич с сардинкой для Зальцмана. Во время чаепития он протянул руку назад, взял конверт с фотографиями и передал их Зальцману.

Зальцман поставил стакан с чаем и с надеждой спросил:

— Ну что, нашли? Кто-то вам, наконец, понравился?

— Нашел, но не тут.

Зальцман отвернулся.

— Вот кто мне нужен, — сказал Лео и подал любительский снимок.

Зальцман напялил очки и взял фотографию дрожащими руками. Он стал похож на мертвеца и глухо застонал.

— Что с вами? — крикнул Лео.

— Извиняюсь! Это фото, оно тут случайно. Она совсем не для вас.

Зальцман лихорадочно запихивал толстый конверт в портфель. Сунув маленькое фото в карман, он вскочил и убежал из комнаты.

Лео на миг окоченел, но тут же очнулся, побежал за ним и настиг его в прихожей. Хозяйка что-то истерически причитала, но они ее не слушали.

— Отдайте карточку, Зальцман.

— Нет! — Страшно было смотреть на страдальческие глаза старика.

— Скажите хотя бы — кто она?

"This I can't tell you. Excuse me."

He made to depart, but Leo, forgetting himself, seized the matchmaker by his tight coat and shook him frenziedly.

"Please," sighed Salzman. "*Please.*"

Leo ashamedly let him go. "Tell me who she is," he begged. "It's very important for me to know."

"She is not for you. She is a wild one—wild, without shame. This is not a bride for a rabbi."

"What do you mean wild?"

"Like an animal. Like a dog. For her to be poor was a sin. This is why to me she is dead now."

"In God's name, what do you mean?"

"Her I can't introduce to you," Salzman cried.

"Why are you so excited?"

"Why, he asks," Salzman said, bursting into tears. "This is my baby, my Stella, she should burn in hell."

Leo hurried up to bed and hid under the covers. Under the covers he thought his life through. Although he soon fell asleep he could not sleep her out of his mind. He woke, beating his breast. Though he prayed to be rid of her, his prayers went unanswered. Through days of torment he endlessly struggled not to love her; fearing success, he escaped it. He then concluded to convert her to goodness, himself to God. The idea alternately nauseated and exalted him.

He perhaps did not know that he had come to a final decision until he encountered Salzman in a Broadway cafeteria. He was sitting alone at a rear table, sucking the bony remains of a fish. The marriage broker appeared haggard, and transparent to the point of vanishing.

Salzman looked up at first without recognizing him.

— Нет, нет, извиняюсь, это я сказать не могу.

Он дернулся к выходу, но Лео, совершенно забывшись, схватил его за лацканы тесного пальто и затряс изо всех сил.

— Пустите! — застонал Зальцман. — Пустите!

Лео стало стыдно, он выпустил его.

— Ну скажите же, кто она? — умолял он. — Мне очень важно знать.

— Она же не для вас. Она дикая, стыда в ней нет, дикая совсем. Это не жена для раввина.

— Как это — дикая?

— Ну, дикая, как звери дикие. Как собака. Для нее бедность — грех. Потому она теперь и умерла для меня!

— Ради бога, объясните мне, в чем дело?

— Таковую я с вами знакомить не могу! — закричал Зальцман.

— Да чего вы так волнуетесь?

— Он еще спрашивает, чего я волнуюсь! — крикнул Зальцман и вдруг заплакал. — Потому что это моя доченька, моя Стелла, гори она в аду!

Лео сразу лег в постель и глубоко зарылся в одеяло. Под одеялом он продумал всю свою жизнь. И хотя он вскоре заснул, но и во сне не мог отделаться от нее. Он проснулся, колотя себя в грудь кулаками. Напрасно он молился, чтобы избавиться от нее, — молитва оставалась без ответа. Много дней он мучился без конца, пытаясь разлюбить ее, но так боялся этого, что разлюбить не мог. И тут он решил обратить ее к добру, а самому обратиться к богу. При этой мысли в нем вспыхивали то отвращение, то восторг.

Может быть, он сам не осознавал, что пришел к окончательному решению, пока не встретил Зальцмана в кафе на Бродвее. Тот сидел один, за столиком в самой глубине, и обсасывал рыбы косточки. Он страшно исхудал и стал таким прозрачным, что казалось, вот-вот растает.

Сначала Зальцман смотрел на него, не узнавая. Лео

Leo had grown a pointed beard and his eyes were weighted with wisdom.

"Salzman," he said, "love has at last come to my heart."

"Who can love from a picture?" mocked the marriage broker.

"It is not impossible."

"If you can love her, then you can love anybody. Let me show you some new clients that they just sent me their photographs. One is a little doll."

"Just her I want," Leo murmured.

"Don't be a fool, doctor. Don't bother with her."

"Put me in touch with her, Salzman," Leo said humbly. "Perhaps I can be of service."

Salzman had stopped eating and Leo understood with emotion that it was now arranged.

Leaving the cafeteria, he was, however, afflicted by a tormenting suspicion that Salzman had planned it all to happen this way.

Leo was informed by letter that she would meet him on a certain corner, and she was there one spring night, waiting under a street lamp. He appeared, carrying a small bouquet of violets and rosebuds. Stella stood by the lamp post, smoking. She wore white with red shoes, which fitted his expectations, although in a troubled moment he had imagined the dress red, and only the shoes white. She waited uneasily and shyly. From afar he saw that her eyes—clearly her father's—were filled with desperate innocence. He pictured, in her, his own redemption. Violins and lit candles revolved in the sky. Leo ran forward with flowers outthrust.

Around the corner, Salzman, leaning against a wall, chanted prayers for the dead.

отрастил острую бородку, его взгляд стал тяжелым и мудрым.

— Зальцман, — сказал он, — наконец, в мое сердце вошла любовь.

— Ну кто это влюбляется по карточке? — насмешливо сказал сват.

— Что же тут невозможного?

— Уж если вы ее полюбили, так вы кого угодно полюбите. Дайте я вам покажу новых клиенток, сию минуту я получил свеженькие фотографии. Одна — так прямо куколка.

— Мне нужна только она, — пробормотал Лео.

— Ох, доктор, не валяйте дурака! Не связывайтесь вы с ней!

— Познакомьте меня с ней, Зальцман, — униженно попросил Лео. — Может быть, я ей помогу...

Зальцман перестал жевать, и Лео с волнением понял, что дело налаживается.

Однако, выйдя из кафе, он почувствовал мучительное подозрение: а вдруг Зальцман сам подстроил, чтобы все так случилось?

Лео известили письмом: она встретится с ним на углу такой-то улицы, и вот весенним вечером она ждала его под уличным фонарем. Он появился издали, с букетом фиалок и нераспустившихся роз. Стелла стояла у фонарного столба и курила. Она была в белом, в красных туфельках — он так и ожидал, хотя однажды ему представилось, что платье будет красное и только туфли белые. Она ждала, неловкая, застенчивая. Уже издали он увидел, что в ее глазах, похожих на глаза отца, была какая-то отчаянная невинность. Он почувствовал в ней свое искупление. Скрипки и зажженные свечи закружились в небе. Лео бросился к ней, протягивая цветы.

А за углом Зальцман, прислонясь к стене, тянул заупокойную молитву.

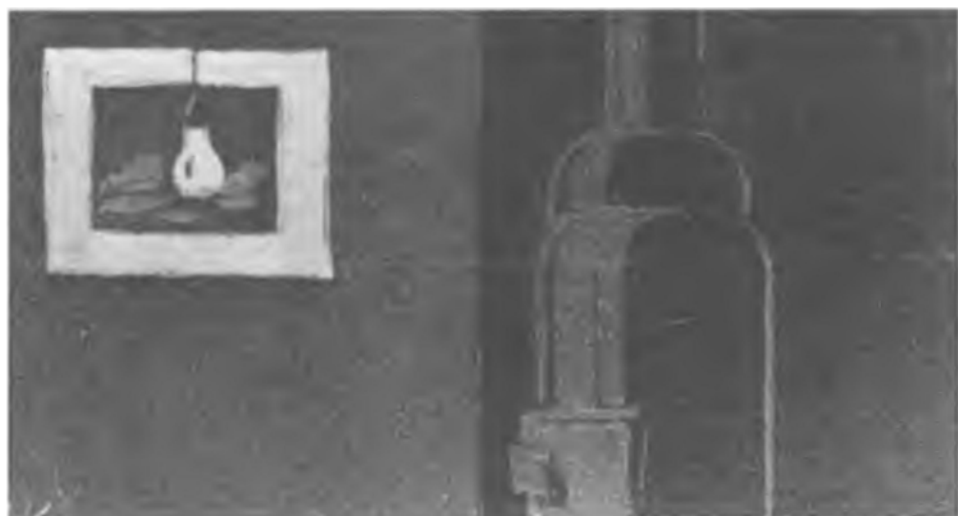


J. D. SALINGER

De Daumier-Smith's Blue Period

If it made any real sense—and it doesn't even begin to—I think I might be inclined to dedicate this account, for whatever it's worth, especially if it's the least bit ribald in parts, to the memory of my late, ribald stepfather, Robert Agadganian, Jr. Bobby—as everyone, even I, called him—died in 1947, surely with a few regrets, but without a single gripe, of thrombosis. He was an adventurous, extremely magnetic, and generous man. (After having spent so many years laboriously begrudging him those picaresque adjectives, I feel it's a matter of life and death to get them in here.)

My mother and father were divorced during the winter of 1928, when I was eight, and mother married Bobby Agadganian late that spring. A year later, in the Wall Street Crash, Bobby lost everything he and mother had, with the exception, apparently, of a magic wand. In any case, practically overnight, Bobby turned himself from a dead stockbroker and incapacitated *bon vivant* into a live, if somewhat unqualified, agent-appraiser for a society of independent American art galleries and fine arts museums.



ДЖЕРОМ Д. СЭЛИНДЖЕР

Голубой период де Домье-Смита

Если бы в этом был хоть малейший смысл — чего и в помине нету, — я был бы склонен посвятить мой неприхотливый рассказ, особенно если он получится хоть немного озорным, памяти моего покойного отчима, большого озорника, Роберта Агаджаняна. Бобби-младший, как его звали все, даже я, умер в 1947 году от закупорки сосудов, вероятно, с сожалением, но без единой жалобы. Это был человек безрассудный, необыкновенно обаятельный и щедрый. (Я так долго и упорно скупился на эти пышные эпитеты, что теперь считаю делом чести воздать ему должное.)

Мои родители развелись зимой 1928 года, когда мне было восемь лет, а весной мать вышла замуж за Бобби Агаджаняна. Через год, во время финансового кризиса на Уолл-стрите, Бобби потерял все свое и мамино состояние, но, по-видимому, сохранил умение колдовать. Так или иначе, не прошло и суток, как Бобби сам превратил себя из безработного маклера и обнищавшего бонвивана в деловитого, хотя и не очень опытного, агента-оценщика, обслуживающего объединение владельцев частных картинных галерей американской живописи, а

A few weeks later, early in 1930, our rather mixed threesome moved from New York to Paris, the better for Bobby to ply his new trade. Being a cool, not to say an ice-cold, ten at the time, I took the big move, so far as I know, untraumatically. It was the move back to New York, nine years later, three months after my mother died, that threw me, and threw me terribly.

I remember a significant incident that occurred just a day or two after Bobby and I arrived in New York. I was standing up in a very crowded Lexington Avenue bus, holding on to the enamel pole near the driver's seat, buttocks to buttocks with the chap behind me. For a number of blocks the driver had repeatedly given those of us bunched up near the front door a curt order to "step to the rear of the vehicle." Some of us had tried to oblige him. Some of us hadn't. At length, with a red light in his favor, the harassed man swung around in his seat and looked up at me, just behind him. At nineteen I was a hatless type, with a flat, black, not particularly clean, Continental-type pompadour over a badly broken-out inch of forehead. He addressed me in a lowered, an almost prudent tone of voice. "All right, buddy," he said, "let's move that ass." It was the "buddy," I think, that did it. Without even bothering to bend over a little—that is, to keep the conversation at least as private, as *de bon goût*, as *he'd* kept it—I informed him, in French, that he was a rude, stupid, overbearing imbecile, and that he'd never know how much I detested him. Then, rather elated, I stepped to the rear of the vehicle.

Things got much worse. One afternoon, a week or so later, as I was coming out of the Ritz Hotel, where Bobby and I were indefinitely stopping, it seemed to me that all the seats from all the buses in New York had been unscrewed and taken out and set up in the street, where a monstrous game of Musical Chairs was in full swing. I think I might have been willing to join the game if I had been granted a special dispensation from the Church of Manhattan guaranteeing that all the other players would

также музеи изящных искусств. Несколько недель спустя, в начале 1930 года, наша не совсем обычная троица переехала из Нью-Йорка в Париж, где Бобби мог легче заниматься своей профессией. Мне было десять лет — возраст равнодушия, если не сказать — полного безразличия, и эта серьезная перемена никакой особой травмы мне не нанесла. Пришибло меня возвращение в Нью-Йорк девять лет спустя, через три месяца после смерти матери, и пришибло со страшной силой.

Хорошо помню один случай — дня через два после нашего с Бобби приезда в Нью-Йорк. Я стоял в переполненном автобусе на Лексингтон-авеню, держась за эмалированный поручень около сиденья водителя, спиной к спине со стоявшим сзади человеком. Несколько раз водитель повторял тем, кто толпился около него: «Пройдите назад!» Кто послушался, кто — нет. Наконец, воспользовавшись красным светом, умученный водитель круто обернулся и посмотрел на меня — я стоял с ним рядом. Было мне тогда девятнадцать лет, шляпы я не носил, и гладкий, черный, не особенно чистый чуб на европейский манер спускался на прыщавый лоб. Водитель обратился ко мне негромким, даже, я бы сказал, осторожным голосом.

— Ну-ка, братец, — сказал он, — убери-ка зад! — Это «братец» и взбесило меня окончательно. Не потрудившись хотя бы наклониться к нему, то есть продолжать разговор таким же частным порядком, в таком же *bon goût*, как он, я сообщил ему по-французски, что он грубый, тупой, наглый тип и что он даже не представляет себе, как я его ненавижу. И только тогда, облегчив душу, я пробрался в конец автобуса.

Но бывало и куда хуже. Как-то через неделю-другую, выходя днем из отеля «Ритц», где мы с Бобби постоянно жили, я вдруг вообразил, что из всех нью-йоркских автобусов вытащили сиденья, расставили их на тротуарах и вся улица стала играть в «море волнуется». Я и сам согласился бы поиграть в эту игру, если бы только получил гарантию от манхэттенской церкви, что все остальные участвующие будут почтительно стоять и

remain respectfully standing till I was seated. When it became clear that nothing of the kind was forthcoming, I took more direct action. I prayed for the city to be cleared of people, for the gift of being alone—a-l-o-n-e: which is the one New York prayer that rarely gets lost or delayed in channels, and in no time at all everything I touched turned to solid loneliness. Mornings and early afternoons, I attended—bodily—an art school on Forty-eighth and Lexington Avenue, which I loathed. (The week before Bobby and I had left Paris, I had won three first-prize awards at the National Junior Exhibition, held at the Freiburg Galleries. Throughout the voyage to America, I used our stateroom mirror to note my uncanny physical resemblance to El Greco.) Three late afternoons a week I spent in a dentist's chair, where, within a period of a few months, I had eight teeth extracted, three of them front ones. The other two afternoons I usually spent wandering through art galleries, mostly on Fifty-seventh Street, where I did all but hiss at the American entries. Evenings, I generally read. I bought a complete set of the *Harvard Classics*—chiefly because Bobby said we didn't have room for them in our suite—and rather perversely read all fifty volumes. Nights, I almost invariably set up my easel between the twin beds in the room I shared with Bobby, and painted. In one month alone, according to my diary for 1939, I completed eighteen oil paintings. Noteworthy enough, seventeen of them were self-portraits. Sometimes, however, possibly when my Muse was being capricious, I set aside my paints and drew cartoons. One of them I still have. It shows a cavernous view of the mouth of a man being attended by his dentist. The man's tongue is a simple, U.S. Treasury hundred dollar bill, and the dentist is saying, sadly, in French, "I think we can save the molar, but I'm

ждать, пока я не займу свое место. Когда стало ясно, что никто мне места уступать не собирается, я принял более решительные меры. Я стал молиться, чтобы все люди исчезли из города, чтобы мне было подарено полное одиночество, да, о-д-и-н-о-ч-е-с-т-в-о. В Нью-Йорке это единственная мольба, которую не кладут под сукно и в небесных канцеляриях не задерживают; не успел я оглянуться, как все, что меня касалось, уже дышало беспросветным одиночеством. С утра до половины дня я присутствовал — не душой, а телом — на занятиях ненавистой мне художественной школы на углу Сорок восьмой улицы и Лексингтон-авеню. (За неделю до нашего с Бобби отъезда из Парижа я получил три первые премии на национальной выставке молодых художников, в галерее Фрейберг. И когда мы возвращались в Америку, я не раз смотрелся в большое зеркало нашей каюты, удивляясь своему необъяснимому сходству с Эль-Греко.) Три раза в неделю я проводил послеобеденные часы в зубо врачебном кресле — за несколько месяцев мне вырвали восемь зубов, причем три передних. Дважды в неделю я бродил по картинным галереям, большей частью на Пятьдесят седьмой улице, и еле удерживался, чтоб не освистать американских художников. Вечерами я обычно читал. Я купил полное гарвардское издание «Классиков литературы», главным образом наперекор Бобби — он сказал, что их некуда поставить, — и назло всем прочел эти пятьдесят томов от корки до корки. По вечерам я упрямо устанавливал мольберт между кроватями в номере, где жили мы с Бобби, и писал маслом. В один только месяц, если верить моему дневнику за 1939 год, я закончил восемнадцать картин. Примечательней всего то, что семнадцать из них были автопортретами. Только изредка, должно быть, в дни, когда моя муза капризничала, я откладывал краски и рисовал карикатуры. Одна из них сохранилась до сих пор. На ней изображена огромная человеческая пасть, над которой возится зубной врач. Вместо языка изо рта высовывается стодолларовая ассигнация, и зубной врач грустно говорит пациенту по-фран-

afraid that tongue will have to come out." It was an enormous favorite of mine.

As roommates, Bobby and I were neither more nor less compatible than would be, say, an exceptionally live-and-let-live Harvard senior, and an exceptionally unpleasant Cambridge newsboy. And when, as the weeks went by, we gradually discovered that we were both in love with the same deceased woman, it was no help at all. In fact, a ghastly little after-*you*-Alphonse relationship grew out of the discovery. We began to exchange vivacious smiles when we bumped into each other on the threshold of the bathroom.

One week in May of 1939, about ten months after Bobby and I checked into the Ritz, I saw in a Quebec newspaper (one of sixteen French-language newspapers and periodicals I had blown myself a subscription to) a quarter-column advertisement that had been placed by the direction of a Montreal correspondence art school. It advised all qualified instructors—it as much as said, in fact, that it couldn't advise them *fortement* enough—to apply immediately for employment at the newest, most progressive, correspondence art school in Canada. Candidate instructors, it stipulated, were to have a fluent knowledge of both the French and English languages, and only those of temperate habits and unquestionable character need apply. The summer session at Les Amis Des Vieux Maîtres was officially to open on 10 June. Samples of work, it said, should represent both the academic and commercial fields of art, and were to be submitted to Monsieur I. Yoshoto, *directeur*, formerly of the Imperial Academy of Fine Arts, Tokyo.

Instantly, feeling almost insupportably qualified, I got out Bobby Hermes-Baby typewriter from under his bed and wrote, in French, a long, intemperate letter to M.

цузски: «Думаю, что коренной зуб можно сохранить, а вот язык придется вырвать». Я обожал эту карикатуру.

Для совместного житья мы с Бобби подходили друг к другу примерно так же, как, скажем, исключительно воспитанный, уступчивый студент-старшекурсник Гарвардского университета и исключительно противный кэмбриджский мальчишка-газетчик. И когда с течением времени выяснилось, что мы оба до сих пор любим одну и ту же умершую женщину, нам от этого легче не стало. Наоборот, после этого открытия между нами установились невыносимо фальшивые, приторно-вежливые отношения. «После вас, Альфонс!» — словно говорили мы, бодро ухмыляясь друг другу при встрече на пороге ванной.

Как-то в начале мая 1939 года — мы прожили в отеле «Ритц» около десяти месяцев — в одной квебекской газете (я выписывал шестнадцать газет и журналов на французском языке) я прочел объявление на четверть колонки, помещенное дирекцией заочных курсов живописи в Монреале. Объявление призывало — и даже подчеркивало, что призывает оно весьма *fortement*, — всех квалифицированных преподавателей немедленно подать заявление на должность преподавателя на самых новых, самых прогрессивных художественных заочных курсах Канады. Кандидаты должны отлично владеть как английским, так и французским языком, и только лица с безукоризненной репутацией и примерным поведением могут принимать участие в конкурсе. Летний семестр на курсах «*Les Amis des Vieux Maîtres*» официально открывался десятого июня. Образцы работы как в области чистого искусства, так и рекламы надо было выслать на имя мосье Йошото, директора курсов, бывшего члена Императорской академии изящных искусств в Токио.

Меня тут же наполнила непреодолимая уверенность, что лучшего кандидата, чем я, не найти. Я вытащил портативную машинку Бобби из-под его кровати и на-

Yoshoto—cutting all my morning classes at the art school on Lexington Avenue to do it. My opening paragraph ran some three pages, and very nearly smoked. I said I was twenty-nine and a great-nephew of Honoré Daumier. I said I had just left my small estate in the South of France, following the death of my wife, to come to America to stay—temporarily, I made it clear—with an invalid relative. I had been painting, I said, since early childhood, but that, following the advice of Pablo Picasso, who was one of the oldest and dearest friends of my parents, I had never exhibited. However, a number of my oil paintings and water colors were now hanging in some of the finest, and by no means *nouveau riche*, homes in Paris, where they had gagné considerable attention from some of the most formidable critics of our day. Following, I said, my wife's untimely and tragic death, of an *ulcération cancéreuse*, I had earnestly thought I would never again set brush to canvas. But recent financial losses had led me to alter my earnest *résolution*. I said I would be most honored to submit samples of my work to Les Amis Des Vieux Maîtres, just as soon as they were sent to me by my agent in Paris, to whom I would write, of course, *très pressé*. I remained, most respectfully, *Jean de Daumier-Smith*.

It took me almost as long to select a pseudonym as it had taken me to write the whole letter.

I wrote the letter on overlay tissue paper. However, I sealed it in a Ritz envelope. Then, after applying a special-delivery stamp I'd found in Bobby's top drawer, I took the letter down to the main mail drop in the lobby. I stopped on the way to put the mail clerk (who unmistakably loathed me) on the alert for the Daumier-Smith's future incoming mail. Then, around two thirty, I slipped into my one-forty-five anatomy class at the art school on Forty-eighth Street. My classmates seemed, for the first time, like a fairly decent bunch.

писал по-французски длинейшее, неумеренно взволнованное письмо мосье Йошото; утренние занятия в своей школе я из-за этого, конечно, пропустил. От вступления — целых три страницы! — просто шел дым столбом. Я писал, что мне двадцать девять лет и что я внучатый племянник Онорэ Домье. Я писал, что только сейчас, после смерти жены, я покинул небольшое родовое поместье на юге Франции и временно — это я подчеркнул особо — гощу в Америке у престарелого родственника. Рисую я с раннего детства, но по совету Пабло Пикассо, старейшего и любимейшего друга нашей семьи, я никогда еще не выставлялся. Однако многие мои полотна — масло и акварель — в настоящее время украшают лучшие дома Парижа, притом отнюдь не дома каких-нибудь нуворишей, и уже gagné внимание самых выдающихся критиков нашего времени. После безвременной и трагической кончины моей супруги, последовавшей после *ulcération cancéreuse*, я был глубоко уверен, что никогда больше не коснусь кистью холста. Но недавно я почти разорился, и это заставило меня пересмотреть мое серьезнейшее *résolution*. Я написал, что сочту за честь представить «Любителям великих мастеров» образцы своих работ, как только мне их вышлет мой парижский агент, которому я, разумеется, напишу *très pressé*. И подпись: «С глубочайшим уважением Жан де Домье-Смит».

Этот псевдоним я придумывал чуть ли не дольше, чем писалось все письмо.

Письмо было написано на простой тонкой бумаге. Но запечатал я его в конверт, где стояло «Отель „Ритц“». Я наклеил марки для заказного письма, стащив их из ящика Бобби, и отнес конверт вниз, в вестибюль, в центральный почтовый ящик. По пути я остановился возле клерка, раздававшего почту (он явно меня ненавидел), и предупредил его о возможном поступлении писем на имя де Домье-Смита. Около половины третьего я проскользнул в свой класс: урок анатомии уже начался без четверти два. Впервые мои соученики показались мне довольно славными ребятами.

During the next four days, using all my spare time, plus some time that didn't quite belong to me, I drew a dozen or more samples of what I thought were typical examples of American commercial art. Working mostly in washes, but occasionally, to show off, in line, I drew people in evening clothes stepping out of limousines on opening nights—lean, erect, super-chic couples who had obviously never in their lives inflicted suffering as a result of underarm carelessness—couples, in fact, who perhaps didn't have any underarms. I drew suntanned young giants in white dinner jackets, seated at white tables alongside turquoise swimming pools, toasting each other, rather excitedly, with high-balls made from a cheap but ostensibly ultra-fashionable brand of rye whisky. I drew ruddy, billboard-genic children, beside themselves with delight and good health, holding up their empty bowls of breakfast food and pleading, good-naturedly, for more. I drew laughing, high-breasted girls aquaplaning without a care in the world, as a result of being amply protected against such national evils as bleeding gums, facial blemishes, unsightly hairs, and faulty or inadequate life insurance. I drew housewives who, until they reached for the right soap flakes, laid themselves wide open to straggly hair, poor posture, unruly children, disaffected husbands, rough (but slender) hands, untidy (but enormous) kitchens.

When the samples were finished, I mailed them immediately to M. Yoshoto, along with a half-dozen or so non-commercial paintings of mine that I'd brought with me from France. I also enclosed what I thought was a very casual note that only just began to tell the richly human little story of how, quite alone and variously handicapped, in the purest romantic tradition, I had reached the cold, white, isolating summits of my profession.

The next few days were horribly suspenseful, but before

Четыре дня подряд я тратил все свое свободное — да и не совсем свободное — время на рисование образцов, как мне казалось, типичных для американской рекламы. Работая по преимуществу акварелью, но иногда для вящего эффекта переходя на рисунок пером, я изображал сверхэлегантные пары в вечерних туалетах — они прибывали в лимузинах на театральные премьеры, сухопарые, стройные, никому в жизни не причинявшие страданий из-за небрежного отношения к гигиене подмышек, впрочем, у этих существ, наверно, и подмышек не было. Я рисовал загорелых юных великанов в белых смокингах — они сидели у белых столиков около лазоревых бассейнов и с преувеличенным энтузиазмом подымали за здоровье друг друга бокалы с коктейлями, куда входил дешевый, но явно сверхмодный сорт виски. Я рисовал краснощеких, очень «рекламогеничных» детей, пышущих здоровьем, — сияя от восторга, они протягивали пустые тарелки из-под каши и весело просили добавки. Я рисовал веселых высокогрудых девушек — они скользили на аквапланах, не зная забот, потому что были прочно защищены от таких всенародных бедствий, как кровоточащие десны, нечистая кожа лица, излишние волосы и незастрахованная жизнь. Я рисовал домашних хозяек, и если они не употребляли лучшую мыльную стружку, то им грозила страшная жизнь: нечесанные, сутулые, они будут маяться в своих запущенных, хотя и огромных кухнях, их тонкие руки огрубеют и дети перестанут их слушаться, а мужья разлюбят навсегда.

Наконец образцы были готовы, и я тут же отправил их мосье Йошото вместе с десятком произведений чистого искусства, которые я привез с собой из Франции. К ним я приложил небольшое письмо, где сжато, но душевно рассказывалось о том, как я без чьей бы то ни было помощи, следуя высоким романтическим традициям, преодолевал всяческие препятствия и в одиночестве достиг сияющих холодной белизной вершин мастерства.

Несколько дней я провел в напряженном ожидании,

the week was out, a letter came from M. Yoshoto accepting me as an instructor at Les Amis Des Vieux Maîtres. The letter was written in English, even though I had written in French. (I later gathered that M. Yoshoto, who knew French but not English, had, for some reason, assigned the writing of the letter to Mme. Yoshoto, who had some working knowledge of English.) M. Yoshoto said that the summer session would probably be the busiest session of the year, and that it started on 24 June. This gave me almost five weeks, he pointed out, to settle my affairs. He offered me his unlimited sympathy for, in effect, my recent emotional and financial setbacks. He hoped that I would arrange myself to report at Les Amis Des Vieux Maîtres on Sunday, 23 June, in order to learn of my duties and to become "firm friends" with the other instructors (who, I later learned, were two in number, and consisted of M. Yoshoto and Mme. Yoshoto). He deeply regretted that it was not the school's policy to advance transportation fare to new instructors. Starting salary was twenty-eight dollars a week—which was not, M. Yoshoto said he realized, a very large sum of funds, but since it included bed and nourishing food, and since he sensed in me the true vocationary spirit, he hoped I would not feel cast down with vigor. He awaited a telegram of formal acceptance from me with eagerness and my arrival with a spirit of pleasantness, and remained sincerely, my new friend and employer, I. Yoshoto, formerly of the Imperial Academy of Fine Arts, Tokyo.

My telegram of formal acceptance went out within five minutes. Oddly enough, in my excitement, or quite possibly from a feeling of guilt because I was using Bobby's phone to send the wire, I deliberately sat on my prose and kept the message down to ten words.

но к концу недели пришло письмо от мосье Йошото, где сообщалось, что я зачислен преподавателем курсов «Любители великих мастеров». Письмо было написано по-английски, хотя я писал по-французски. (Впоследствии я узнал, что мосье Йошото знал французский и не знал английского и почему-то поручил ответить мадам Йошото, немного знавшей английский.) Мосье Йошото писал, что летний триместр будет, пожалуй, самым загруженным и начнется двадцать четвертого июня. Он напоминал, что мне оставалось пять недель для устройства личных дел. Он высказывал безграничное сочувствие по поводу моих материальных и моральных потерь. Он надеялся, что я смогу явиться на курсы «Любители великих мастеров» в воскресенье двадцать третьего июня, чтобы ознакомиться со своими обязанностями, а также «завязать дружбу» с другими преподавателями. (Как я потом узнал, их оказалось всего двое — мосье и мадам Йошото.) Он глубоко сожалел, что не в обычаях курсов оплачивать дорожные расходы преподавателей. Мой оклад выражался в сумме двадцати восьми долларов в неделю, и мосье Йошото писал, что вполне отдает себе отчет, насколько эта сумма невелика, но так как при этом полагается квартира и хорошее питание, то он надеется, что я не буду разочарован, тем более что он чувствует во мне истинное призвание. Он с нетерпением ждет от меня телеграммы, подтверждающей согласие, и с чувством живейшего удовольствия предвкушает мой приезд. «Ваш новый друг, директор курсов И. Йошото, бывший член Императорской академии изящных искусств в Токио».

Телеграмма, подтверждающая мое согласие, была подана через пять минут. Может быть, от волнения, а вернее, из чувства вины перед Бобби (телеграмма была послана по телефону за его счет) я сдержал свой литературный пыл и, как ни странно, ограничился всего лишь десятью словами.

That evening when, as usual, I met Bobby for dinner at seven o'clock in the Oval Room, I was annoyed to see that he'd brought a guest along. I hadn't said or implied a word to him about my recent, extracurricular doings, and I was dying to make this final news-break—to scoop him thoroughly—when we were alone. The guest was a very attractive young lady, then only a few months divorced, whom Bobby had been seeing a lot of and whom I'd met on several occasions. She was an altogether charming person whose every attempt to be friendly to me, to gently persuade me to take off my armor, or at least my helmet, I chose to interpret as an implied invitation to join her in bed at my earliest convenience—that is, as soon as Bobby, who clearly was too old for her, could be given the slip. I was hostile and laconic throughout dinner. At length, while we were having coffee, I tersely outlined my new plans for the summer. When I'd finished, Bobby put a couple of quite intelligent questions to me. I answered them coolly, overly briefly, the unimpeachable crown prince of the situation.

"Oh, it sounds *very* exciting!" said Bobby's guest, and waited, wantonly, for me to slip her my Montreal address under the table.

"I thought you were going to Rhode Island with me," Bobby said.

"Oh, darling, don't be a horrible wet blanket," Mrs. X said to him.

"I'm not, but I wouldn't mind knowing a little more about it," Bobby said. But I thought I could tell from his manner that he was already mentally exchanging his train reservations for Rhode Island from a compartment to a lower berth.

"I think it's the sweetest, most *complimentary* thing I ever heard in my life," Mrs. X said warmly to me. Her eyes sparkled with depravity.

Вечером мы с Бобби, как всегда, встретились за обедом в Овальном зале, и я очень расстроился, увидев, что он привел с собой гостью. До сих пор я ничего не говорил ему о своих внешкольных занятиях, и мне до смерти хотелось выложить ему все новости, огорошить его, но только наедине. А тут эта гостья, очень привлекательная молодая особа, — она недавно развелась с мужем, и Бобби виделся с ней довольно часто, да и я не раз с ней сталкивался. Это была очень милая женщина, но любую ее попытку подружиться со мной, ласково уговорить меня снять свой панцирь или хотя бы поднять забрало я предвзято толковал как невысказанное приглашение лечь с ней в постель, как только подвернется удобный случай, то есть как только ей удастся отделаться от Бобби, который, безусловно, был для нее слишком стар. Весь обед я был настроен враждебно и ограничивался краткими репликами. Только за кофе я сжато изложил свои летние планы. Выслушав меня, Бобби задал несколько деловых вопросов. Я отвечал хладнокровно, отрывисто и кратко, как неоспоримый властитель своей судьбы.

— Ах, как интересно! — сказала гостья Бобби, явно выжидая с присущей ей ветреностью, чтобы я передал ей под столом свой монреальский адрес.

— Но я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд, — сказал Бобби.

— Ах, милый, не надо портить ему удовольствие! — сказала миссис Икс.

— А я и не собираюсь, — сказал Бобби, — но я бы не прочь узнать все более подробно.

Но по его тону мне показалось, что он мысленно уже обменивает два билета в отдельном купе на одно нижнее место.

— По-моему, это самое теплое, самое лестное приглашение, какое только может быть, — с горячностью сказала мне миссис Икс. Ее глаза сверкали порочным вожделением.

The Sunday that I stepped on to the platform at Windsor Station in Montreal, I was wearing a double-breasted, beige gabardine suit (that I had a damned high opinion of), a navy-blue flannel shirt, a solid yellow, cotton tie, brown-and-white shoes, a Panama hat (that belonged to Bobby and was rather too small for me), and a reddish-brown moustache, aged three weeks. M. Yoshoto was there to meet me. He was a tiny man, not more than five feet tall, wearing a rather soiled linen suit, black shoes, and a black felt hat with the brim turned up all around. He neither smiled, nor, as I remember, *said* anything to me as we shook hands. His expression—and my word for it came straight out of a French edition of Sax Rohmer's Fu Manchu books—was *inscrutable*. For some reason, I was smiling from ear to ear. I couldn't even turn it down, let alone off.

It was a bus ride of several miles from Windsor Station to the school. I doubt if M. Yoshoto said five words the whole way. Either in spite, or because, of his silence, I talked incessantly, with my legs crossed, ankle on knee, and constantly using my sock as an absorber for the perspiration on my palm. It seemed urgent to me not only to reiterate my earlier lies—about my kinship with Daumier, about my deceased wife, about my small estate in the South of France—but to elaborate on them. At length, in effect to spare myself from dwelling of these painful reminiscences (and they *were* beginning to feel a little painful), I swung over to the subject of my parents' oldest and dearest friend: Pablo Picasso. *Le pauvre Picasso*, as I referred to him. (I picked Picasso, I might mention, because he seemed to me the French painter who was best-known in America. I roundly considered Canada part of America.) For M. Yoshoto's benefit, I recalled, with a showy amount of natural compassion for a fallen giant, how many times I had said to him, "*M. Picasso, où allez-vous?*" and how, in response to this all-penetrating question, the master had never failed to walk slowly, leadenly, across his studio to

В то воскресенье, когда я вышел на перрон Уиндзорского вокзала в Монреале, на мне был двубортный габардиновый песочного цвета костюм (мне он казался верхом элегантности), темно-синяя фланелевая рубаша, плотный желтый бумажный галстук, коричневые с белым туфли, шляпа-панама (взятая у Бобби и слишком тесная), а также каштановые, с рыжинкой усики трех недель от роду. Меня встречал мистер Йошото — маленький человечек, футов пяти ростом, в довольно несвежем полотняном костюме, черных башмаках и черной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями. Без улыбки и, насколько мне помнится, без единого слова он пожал мне руку. Выражение лица у него было, как сказано во французском переводе книжечек Сакса Ромер про Фу Манчу, *inscrutable*. А я по неизвестной причине улыбался до ушей. Ни пригасить эту улыбку, ни тем более стереть ее я никак не мог.

От вокзала до курсов пришлось ехать несколько миль в автобусе. Сомневаюсь, чтобы за всю дорогу мосье Йошото сказал хоть пять слов. То ли из-за этого молчания, то ли наперекор ему я говорил без умолку, высоко задрав левую ногу на правое колено и непрерывно вытирая потную ладонь о носок. Мне казалось, что необходимо не только повторить все прежние выдумки про родство с Домье, про покойную супругу и небольшое поместье на юге Франции, но и разукрасить это вранье. Потом, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний (а они и на самом деле начинали меня мучить), я перешел на тему о старинной дружбе моих родителей с дорогим их сердцу Пабло Пикассо, *le pauvre Picasso*, как я его называл. (Кстати, выбрал я Пикассо потому, что считал, что из французских художников его лучше всех знают в США, а Канаду я тоже присоединил к США.) Исключительно ради просвещения мосье Йошото я припомнил с подчеркнутым состраданием к падшему гиганту, сколько раз я говорил нашему другу: «*Maitre Picasso, ou allez-vous?*» И как в ответ на этот проникновенный вопрос старый мастер медленным, тяжким шагом проходил по мастерской и неизменно

look at a small reproduction of his "Les Saltimbanques" and the glory, long forfeited, that had been his. The trouble with Picasso, I explained to M. Yoshoto as we got out of the bus, was that he never listened to anybody—even his closest friends.

In 1939, Les Amis Des Vieux Maîtres occupied the second floor of a small, highly unendowed-looking, three-story building—a tenement building, really—in the Verdun, or least attractive, section of Montreal. The school was directly over an orthopedic appliances shop. One large room and a tiny, boltless latrine were all there was to Les Amis Des Vieux Maîtres itself. Nonetheless, the moment I was inside, the place seemed wondrously presentable to me. There was a very good reason. The walls of the "instructors' room" were hung with many framed pictures—all water colors—done by M. Yoshoto. Occasionally, I still dream of a certain white goose flying through an extremely pale-blue sky, with—and it was one of the most daring and accomplished feats of craftsmanship I've ever seen—the blueness of the sky, or an ethos of the blueness of the sky, reflected in the bird's feathers. The picture was hung just behind Mme. Yoshoto's desk. It made the room—it and one or two other pictures close to it in quality.

Mme. Yoshoto, in a beautiful, black and cerise silk kimono, was sweeping the floor with a short-handed broom when M. Yoshoto and I entered the instructors' room. She was a gray-haired woman, surely a head taller than her husband, with features that looked rather more Malayan than Japanese. She left off sweeping and came forward, and M. Yoshoto briefly introduced us. She seemed to me every bit as *inscrutable* as M. Yoshoto, if not more so. M. Yoshoto then offered to show me to my room, which, he explained (in French) had recently been vacated by his son, who had gone to British Columbia to work on a farm. (After his long silence in the bus, I was grateful to hear him speak with any continuity, and I listened rather vivaciously.) He started to apologize for the fact that there were no chairs in

останавливался перед небольшой репродукцией своих «Акробатов», вспоминая о своей давно загубленной славе. Когда мы выходили из автобуса, я объяснил мосье Йошото, что беда Пикассо в том, что он никогда и никого не слушает, даже своих ближайших друзей.

В 1939 году «Любители великих мастеров» помещались на втором этаже небольшого, удивительно унылого с виду трехэтажного домика, как видно сдававшегося внаем, в самом неприглядном, верденском, районе Монреалья. Школа находилась прямо над ортопедической мастерской. «Любители великих мастеров» занимали одну большую комнату с крохотной незапиравшейся уборной. Но наперекор всему, когда я вошел в это помещение, мне оно сразу показалось удивительно приятным. И тому была причина: все стены этой «преподавательской» были увешаны картинами — главным образом акварелями работы мосье Йошото. Мне и сейчас иногда видится во сне белый гусь, летящий по невыразимо бледному, голубому небу, причем — и в этом главное достижение смелого и опытного мастера — голубизна неба, вернее, дух этой голубизны, отражен в оперении птицы. Картина висела над столом мадам Йошото. Это произведение и еще две-три картины, схожие по мастерству, придавали комнате свой особый характер.

Когда я вошел в преподавательскую, мадам Йошото в красивом, черном с вишневым, шелковом кимоно подметала пол коротенькой щеткой. Это была седовласая дама, чуть ли не на голову выше своего супруга, похожая скорее на малайку, чем на японку. Она поставила щетку и подошла к нам. Мосье Йошото представил меня. Пожалуй, она была еще более *inscrutable*, чем мосье Йошото. Затем мосье Йошото предложил показать мне мою комнату, объяснив по-французски, что это комната их сына, который уехал в Британскую Колумбию работать на ферме. (После его продолжительного молчания в автобусе я обрадовался, что он заговорил, и слушал его с преувеличенным воодушевлением.) Он начал было извиняться, что в комнате сына нет стульев — только

his son's room—only floor cushions—but I quickly gave him to believe that for me this was little short of a godsend. (In fact, I think I said I hated chairs. I was so nervous that if he had informed me that his son's room was flooded, night and day, with a foot of water, I probably would have let out a little cry of pleasure. I probably would have said I had a rare foot disease, one that required my keeping my feet wet eight hours daily.) Then he led me up a creaky wooden staircase to my room. I told him on the way, pointedly enough, that I was a student of Buddhism. I later found out that both he and Mme. Yoshoto were Presbyterians.

Late that night, as I lay awake in bed, with Mme. Yoshoto's Japanese-Malayan dinner still *en masse* and riding my sternum like an elevator, one or the other of the Yoshotos began to moan in his or her sleep, just the other side of my wall. It was a high, thin, broken moan, and it seemed to come less from an adult than from either a tragic, subnormal infant or a small malformed animal. (It became a regular nightly performance. I never did find out which of the Yoshotos it came from, let alone why.) When it became quite unendurable to listen to from a supine position, I got out of bed, put on my slippers, and went over in the dark and sat down on one of the floor cushions. I sat crosslegged for a couple of hours and smoked cigarettes, squashing them out on the instep of my slipper and putting the stubs in the breast pocket of my pyjamas. (The Yoshotos didn't smoke, and there were no ashtrays anywhere on the premises.) I got to sleep around five in the morning.

At six-thirty, M. Yoshoto knocked on my door and advised me that breakfast would be served at six-forty-five. He asked me, through the door, if I'd slept well, and I answered, "*Oui!*" I then dressed—putting on my blue suit, which I thought appropriate for an instructor on the opening day of school, and a red Sulka tie my mother had given me—and, without washing, hurried down the hall to the Yoshotos' kitchen. Mme. Yoshoto was at the stove, preparing a fish breakfast. M. Yoshoto, in his B.V.D.'s and trousers, was seated at the kitchen table, reading a

циновки на полу, но я сразу уверил его, что для меня это чуть ли не дар небес. (Кажется, я даже сказал, что ненавижу стулья. Я до того нервничал, что, скажи мне, будто в комнате его сына день и ночь стоит вода по колено, я завопил бы от восторга. Возможно, я даже сказал бы, что у меня редкая болезнь ног, требующая ежедневного и по крайней мере восьмичасового погружения их в воду.) Мы поднялись наверх по шаткой деревянной лестнице. Мимоходом я подчеркнул в разговоре, что изучаю буддизм. Впоследствии я узнал, что и он, и мадам Йошото пресвитерианцы.

До поздней ночи я не спал — малайско-японский обед мадам Йошото *en masse* то и дело подкатывался кверху, как лифт, распирая желудок, а тут еще за перегородкой кто-то из супругов Йошото застонал во сне. Стон был высокий, тонкий, жалобный; казалось, что стонет не взрослый человек, а несчастный недоношенный ребенок или мелкая искалеченная зверушка. (Ни одна ночь не проходила без концерта, но я так и не узнал, кто из них издавал эти звуки и по какой причине.) Когда мне стало совсем невыносимо слушать стоны в лежащем положении, я встал, сунул ноги в ночные туфли и в темноте уселся на пол, на одну из циновок. Просидел я так часа два и выкурил несколько сигарет — тушить их приходилось о подошву туфли, а окурки класть в карман пижамы. (Сами Йошото не курили, и в доме не было ни одной пепельницы.) Уснул я только часов в пять утра.

В шесть тридцать мосье Йошото постучал в мою дверь и сообщил, что завтрак будет подан без четверти семь. Он спросил через двери, хорошо ли я спал, и я ответил: «Oui». Я оделся, выбрав синий костюм как самый подходящий для преподавателя в день открытия курсов и к нему красный ручной работы галстук — мне его подарила мама, — и, не умываясь, побежал по коридору на кухню. Мадам стояла у плиты, готовя на завтрак рыбу. Мосье Йошото, в брюках и фуфайке, сидел у кухонного стола и читал японскую газету. Он молча кивнул мне. Никогда еще они не выглядели более

Japanese newspaper. He nodded to me, non-committally. Neither of them had ever looked more *inscrutable*. Presently, some sort of fish was served to me on a plate with a small but noticeable trace of coagulated catsup along the border. Mme. Yoshoto asked me, in English—and her accent was unexpectedly charming—if I would prefer an egg, but I said, “*Non, non, madame—merci!*” I said I never ate eggs. M. Yoshoto leaned his newspaper against my water glass, and the three of us ate in silence; that is, they ate and I systematically swallowed in silence.

After breakfast, without having to leave the kitchen, M. Yoshoto put on a collarless shirt and Mme. Yoshoto took off her apron, and the three of us filed rather awkwardly downstairs to the instructors’ room. There, in an untidy pile on M. Yoshoto’s broad desk, lay some dozen or more unopened, enormous, bulging, Manilla envelopes. To me, they had an almost freshly brushed-and-combed look, like new pupils. M. Yoshoto assigned me to my desk, which was on the far, isolated side of the room, and asked me to be seated. Then, with Mme. Yoshoto at his side, he broke open a few of the envelopes. He and Mme. Yoshoto seemed to examine the assorted contents with some sort of method, consulting each other, now and then, in Japanese, while I sat across the room, in my blue suit and Sulka tie, trying to look simultaneously alert and patient and, somehow, indispensable to the organization. I took out a handful of soft-lead drawing pencils, from my inside jacket pocket, that I’d brought from New York with me, and laid them out, as noiselessly as possible, on the surface of my desk. Once, M. Yoshoto glanced over at me for some reason, and I flashed him an excessively winning smile. Then, suddenly, without a word or a look in my direction, the two of them sat down at their respective desks and went to work. It was about seven-thirty.

Around nine, M. Yoshoto took off glasses, got up and padded over to my desk with a sheaf of papers in his hand.

inscrutable. Вскоре мне подали какую-то рыбу со смазанными, но довольно явными следами засохшего кетчупа на краю тарелки. Мадам Йошото спросила меня по-английски — выговор у нее был неожиданно приятный, — может быть, я предпочитаю яйца, но я сказал: «Non, non, merci, madame». Я добавил, что никогда не ем яиц. Мосье Йошото прислонил свою газету к моему стакану, и мы все трое молча стали есть, вернее, они оба ели, а я, также молча, с усилием глотал пищу.

После завтрака мосье Йошото тут же, на кухне, натянул рубашку без воротника, мадам Йошото сняла передник, и мы все трое гуськом, с некоторой неловкостью, проследовали вниз, в преподавательскую. Там, на широком столе мосье Йошото, были грудой навалены штук десять огромных, пухлых, нераспечатанных конвертов из плотной бумаги. Эти двое мне показались какими-то вымытыми, причесанными — совершенно как школьники-новички. Мосье Йошото указал мне место за столом, стоявшим в дальнем углу комнаты, и попросил сесть. Мадам Йошото под села к нему, и они стали вскрывать конверты. В том, как раскладывалось и рассматривалось содержимое, по-видимому, была какая-то система, они все время советовались по-японски, тогда как я, сидя в другом конце комнаты в своем синем костюме и красном галстуке, старался всем видом показать, как терпеливо и в то же время заинтересованно жду указаний, а главное — какой я тут незаменимый человек. Из внутреннего кармана я вынул несколько мягких карандашей, привезенных из Нью-Йорка, и, стараясь не шуметь, разложил их на столе. А когда мосье Йошото, должно быть случайно, взглянул в мою сторону, я одарил его сверхобаятельной улыбкой. Внезапно, не сказав мне ни слова и даже не взглянув в мою сторону, они оба разошлись к своим столам и взялись за работу. Было уже половина восьмого.

Около девяти мосье Йошото снял очки и, шаркая ногами, прошлепал к моему столу — в руках он держал

I'd spent an hour and a half doing absolutely nothing but trying to keep my stomach from growing audibly. I quickly stood up as he came into my vicinity, stooping a trifle in order not to look disrespectfully tall. He handed me the sheaf of papers he'd brought over and asked me if I would kindly translate his written corrections from French into English. I said, "*Oui, monsieur!*" He bowed slightly, and padded back to his own desk. I pushed my handful of soft-lead drawing pencils to one side of my desk, took out my fountain pen, and fell—very nearly heartbroken—to work.

Like many a really good artist, M. Yoshoto taught drawing not a whit better than it's taught by a so-so artist who has a nice flair for teaching. With his practical overlay work—that is to say, his tracing-paper drawings imposed over the student's drawings—along with his written comments on the backs of the drawings—he was quite able to show a reasonably talented student how to draw a recognizable pig in a recognizable sty, or even a picturesque pig in a picturesque sty. But he couldn't for the life of him show anyone how to draw a beautiful pig in a beautiful sty (which, of course, was the one little technical bit his better students most greedily wanted sent to them through the mail). It was not, need I add, that he was consciously or unconsciously being frugal of his talent, or deliberately unprodigal of it, but that it simply wasn't his to give away. For me, there was no real element of surprise in this ruthless truth, and so it didn't waylay me. But it had a certain cumulative effect, considering where I was sitting, and by the time lunch hour rolled around, I had to be very careful not to smudge my translations with the sweaty heels of my hands. As if to make things still more oppressive, M. Yoshoto's handwriting was just barely legible. At any rate, when it came time for lunch, I declined to join the Yoshotos. I said I had to go to the post office. Then I almost ran down the stairs to the street and began to walk very rapidly, with no direction at all, through a maze of strange, underprivileged-looking streets. When I came to

стопу рисунков. Полтора часа я просидел без всякого дела, с усилием сдерживая бурчание в животе. Когда он приблизился, я торопливо встал ему навстречу, слегка сутулясь, чтобы не смущать его своим высоким ростом. Он вручил мне принесенные рисунки и вежливо спросил, не буду ли я так добр перевести его замечания с французского на английский. Я сказал: «Oui, monsieur». С легким поклоном он прошаркал назад, к своему столу. Я отодвинул карандаши, вынул авторучку и с тоской в душе принялся за работу.

Как и многие другие по-настоящему хорошие художники, мосье Йошото как преподаватель стоял ничуть не выше любого посредственного живописца с кое-какими педагогическими способностями. Его практические поправки, то есть его рисунки, нанесенные на кальку, поверх рисунков учащихся, вместе с письменными замечаниями на обороте рисунков вполне могли показать мало-мальски способному ученику, как похоже изобразить свинью или даже как живописно изобразить свинью в живописном хлеву. Но никогда в жизни он не сумел бы научить кого-нибудь отлично написать свинью и так же отлично хлев, а ведь передачи, к тому же заочной, именно этого небольшого секрета мастерства и добывались от него так жадно наиболее способные ученики. И не в том, разумеется, было дело, что он сознательно или бессознательно скрывал свой талант или не расточал его из скупости, он просто не умел его передать. Сначала эта жесткая правда как-то не затронула и не поразила меня. Но представьте себе мое положение, когда доказательства его беспомощности все накапливались и накапливались. Ко второму завтраку я дошел до такого состояния, что должен был соблюдать величайшую осторожность, чтобы не размазать строчку перевода потными ладонями. В довершение всего у мосье Йошото оказался на редкость неразборчивый почерк. И когда настала пора идти завтракать, я решительно отверг приглашение четы Йошото. Я сказал, что мне надо на почту. Сбежав по лестнице, я наугад углубился в путаницу незнакомых, запущенных улочек.

a lunch bar, I went inside and bolted four "Coney Island Red-Hots" and three muddy cups of coffee.

On the way back to Les Amis Des Vieux Maîtres, I began to wonder, first in a familiar, faint-hearted way that I more or less knew from experience how to handle, then in an absolute panic, if there had been anything *personal* in M. Yoshoto's having used me exclusively as a translator all morning. Had old Fu Manchu known from the beginning that I was wearing, among other misleading attachments and effects, a nineteen-year-old boy's moustache? The possibility was almost unendurable to consider. It also tended to eat slowly away at my sense of justice. Here I was—a man who had won three first-prizes, a very close friend of Picasso's (which I actually was beginning to think I *was*)—being used as a translator. The punishment didn't begin to fit the crime. For one thing, my moustache, however sparse, was all mine; it hadn't been put on with spirit gum. I felt it reassuringly with my fingers as I hurried back to school. But the more I thought about the whole affair, the faster I walked, till finally I was almost trotting, as if any minute I half-expected to be stoned from all directions.

Though I'd taken only forty minutes or so for lunch, both the Yoshotos were at their desks and at work when I got back. They didn't look up or give any sign that they'd heard me come in. Perspiring and out of breath, I went over and sat down at my desk. I sat rigidly still for the next fifteen or twenty minutes, running all kinds of brand-new little Picasso anecdotes through my head, just in case M. Yoshoto suddenly got up and came over to unmask me. And, suddenly, he did get up and come over. I stood up to meet him—head on, if necessary—with a fresh little Picasso story, but, to my horror, by the time he reached me I was minus the plot. I chose the moment to express my admiration for the goose-in-flight picture hanging over Mme. Yoshoto. I praised it lavishly at some length. I said I

Увидев закусочную, я забежал туда, проглотил четыре «с пылу с жару» кони-айлендские колбаски и выпил три чашки мутного кофе.

Возвращаясь к «*Les Amis des Vieux Maîtres*», я ощутил сначала привычную смутную тревогу — правда, с ней я, по прошлому опыту, более или менее умел справляться, но тут она перешла в настоящий страх: неужели мои личные качества тому виной, что мосье Йошото не нашел для меня лучшего дела, чем эти переводы. Неужто старый Фу Манчу раскусил меня, понял, что я не только хотел сбить его с толку всякими выдумками, но что я, девятнадцатилетний мальчишка, и усы отрастил для этого? Думать об этом было невыносимо. Вера моя в справедливость медленно подтачивалась. В самом деле, меня, меня, получившего три первые премии, меня, личного друга Пикассо (я уже сам начал в это верить), меня использовать как переводчика! Мое преступление никак не заслужило такого наказания. Да и усики, пусть жидкие, зато мои собственные, а не наклеенные. Для успокоения я все время по дороге на курсы теребил их пальцами. Но чем больше я думал о своем положении, тем быстрее я шел и под конец уже бежал бегом, будто боясь, что меня со всех сторон вот-вот забросают камнями.

Хотя я потратил на завтрак всего минут сорок, чета Йошото уже сидела за столами и работала. Они не подняли глаз, не подали виду, что заметили, как я вошел. Потный, запыхавшийся, я сел за свой стол. Минут пятнадцать-двадцать я сидел, вытянувшись в струнку и придумывая новехонькие анекдотцы про старика Пикассо, на тот случай, если мосье Йошото вдруг поднимется и станет разоблачать меня. И тут он действительно поднялся и пошел ко мне. Я встал, готовый, если понадобится, встретить его в упор свеженькой сплетней про Пикассо, но, когда он подошел к столу, все, что я придумал, к моему ужасу, вылетело у меня из головы. Но я воспользовался моментом, чтобы выразить свой восторг по поводу изображения гуся в полете, висящего над столом мадам Йошото. Я рассыпался в самых щед-

knew a man in Paris—a very wealthy paralytic, I said—who would pay M. Yoshoto any price at all for the picture. I said I could get in touch with him immediately if M. Yoshoto was interested. Luckily, however, M. Yoshoto said the picture belonged to his cousin, who was away visiting relatives in Japan. Then, before I could express my regret, he asked me—addressing me as M. Daumier-Smith—if I would kindly correct a few lessons. He went over to his desk and returned with three enormous, bulging envelopes, and placed them on my desk. Then, while I stood dazed and incessantly nodding and feeling my jacket where my drawing pencils had been repocketed, M. Yoshoto explained to me the school's method of instruction (or, rather, its non-existent method of instruction). After he'd returned to his own desk, it took me several minutes to pull myself together.

All three students assigned to me were English-language students. The first was a twenty-three-year-old Toronto housewife, who said her professional name was Bambi Kramer, and advised the school to address her mail accordingly. All new students at Les Amis Des Vieux Maîtres were requested to fill out questionnaire forms and to enclose photographs of themselves. Miss Kramer had enclosed a glossy, eight by ten print of herself wearing an anklet, a strapless bathing suit, and a white-duck sailor's cap. On her questionnaire form she stated that her favorite artists were Rembrandt and Walt Disney. She said she only hoped that she could some day emulate them. Her sample drawings were clipped, rather subordinately, to her photograph. All of them were arresting. One of them was unforgettable. The unforgettable one was done in florid wash colors, with a caption that read: "Forgive Them Their Trespasses." It showed three small boys fishing in an odd-looking body of water, one of their jackets draped over a "No Fishing!" sign. The tallest boy, in the foreground of the picture, appeared to have rickets in one leg and

рых похвалах. Я сказал, что у меня в Париже есть знакомый богач — паралитик, как я объяснил, — который не пожалеет никаких денег за картину мосье Йошото. Я сказал, что, если мосье Йошото согласен, я могу немедленно связаться с Парижем. К счастью, мосье Йошото объяснил, что картина принадлежит его кузену, гостящему сейчас у родных в Японии. И тут же, прежде чем я успел выразить сожаление, он, назвав меня «мосье Домье-Смит», спросил, не буду ли я так добр исправить несколько заданий. Он пошел к своему столу и вернулся с тремя огромными, пухлыми конвертами. Я стоял обалделый, машинально кивая головой и ощупывая карман пиджака, куда я засунул все карандаши. Мосье Йошото объяснил мне метод преподавания на курсах (вернее было бы сказать, отсутствие всякого метода). Он вернулся к своему столу, а я все еще никак не мог прийти в себя.

Все три ученика писали нам по-английски. Первый конверт прислала двадцатитрехлетняя домохозяйка из Торонто — она выбрала себе псевдоним Бэмби Кремер, — так ей и надлежало адресовать письма. Все вновь поступающие на курсы «Любители великих мастеров» должны были заполнить анкету и приложить свою фотографию. Мисс Кремер приложила большую глянцевую фотокарточку, восемь на десять дюймов, где она была изображена с браслетом на щиколотке, в купальном костюме без бретелек и в белой морской бескозырке. В анкете она сообщала, что ее любимые художники Рембрандт и Уолт Дисней. Она писала, что надеется когда-нибудь достичь их славы. Образцы рисунков были несколько пренебрежительно подколоты снизу к ее портрету. Все они вызывали удивление. Но один был незабываем. Это незабываемое произведение было выполнено яркими акварельными красками, с подписью, гласившей: «И прости им прегрешения их». Оно изображало трех мальчуганов, ловивших рыбу в каком-то странном водоеме, причем чья-то курточка висела на доске с объявлением: «Ловля рыбы воспрещается». У самого высокого мальчишки на переднем плане одна

elephantiasis in the other—an effect, it was clear, that Miss Kramer had deliberately used to show that the boy was standing with his feet slightly apart.

My second student was a fifty-six-year-old “society photographer”, from Windsor, Ontario, named R. Howard Ridgefield, who said that his wife had been after him for years to branch over into the painting racket. His favorite artists were Rembrandt, Sargent, and “Titan,” but he added, advisedly, that he himself didn’t care to draw along those lines. He said he was mostly interested in the satiric rather than the arty side of painting. To support this credo, he submitted a goodly number of original drawings and oil paintings. One of his pictures—the one I think of as his major picture—has been as recallable to me, over the years, as, say, the lyrics of “Sweet Sue” or “Let Me Call You Sweetheart.” It satirized the familiar, everyday tragedy of a chaste young girl, with below-shoulder-length blond hair and udder-size breasts, being criminally assaulted in church, in the very shadow of the altar, by her minister. Both subjects’ clothes were graphically in disarray. Actually, I was much less struck by the satiric implications of the picture than I was by the quality of workmanship that had gone into it. If I hadn’t known they were living hundreds of miles apart, I might have sworn Ridgefield had had some purely technical help from Bambi Kramer.

Except under pretty rare circumstances, in any crisis, when I was nineteen, my funny bone invariably had the distinction of being the very first part of my body to assume partial or complete paralysis. Ridgefield and Miss Kramer did many things to me, but they didn’t come at all close to amusing me. Three or four times while I was going through their envelopes, I was tempted to get up and make a formal protest to M. Yoshoto. But I had no clear idea just what sort of form my protest might take. I think I was afraid I might

нога была поражена рахитом, другая — слоновой болезнью: очевидно, мисс Кремер таким способом старалась показать, что он стоит, слегка расставив ноги.

Вторым моим учеником оказался пятидесятишестилетний «светский фотограф» по имени Р. Говард Риджфилд, из города Уиндзор, штат Онтарио. Он писал, что его жена годами не дает ему покоя, требуя, чтобы он тоже «втерся в это выгодное дельце» — стал художником. Его любимые художники — Рембрандт, Сарджент и «Тицян», но он благоразумно добавлял, что сам он в их духе работать не собирается. Он писал, что интересуется скорее сатирической стороной живописи, чем художественной. В поддержку своего кредо он приложил изрядное количество оригинальных произведений — масло и карандаш. Одна из его картин — по-моему, главный его шедевр — навеки врезалась мне в память: так привязываются слова популярных песенок. Это была сатира на всем знакомую, будничную трагедию невинной девицы с длинными белокурыми локонами и вымеобразной грудью, которую преступно соблазнял в церкви, так сказать, прямо под сенью алтаря, ее духовник. Художник графически подчеркнул живописный беспорядок в одежде своих персонажей. Но гораздо больше, чем обличительный сатирический сюжет, меня потрясли стиль работы и характер исполнения. Если бы я не знал, что Риджфилд и Бэмби Кремер живут на расстоянии сотен миль друг от друга, я поклялся бы, что именно Бэмби Кремер помогала Риджфилду с чисто технической стороны.

Не считая исключительных случаев, у меня в 19 лет чувство юмора было самым уязвимым местом и при первых же неприятностях отмирало иногда частично, а иногда и полностью. Риджфилд и мисс Кремер вызвали во мне множество чувств, но не рассмешили ни на йоту. И когда я просматривал их работы, меня не раз так и подмывало вскочить и обратиться с официальным протестом к мосье Йошото. Но я не совсем представлял себе, в какой форме выразился бы этот протест. Должно быть, я боялся, что, подойдя к его столу, я закричу сры-

get over to his desk only to report, shrilly: "My mother's dead, and I have to live with her charming husband, and nobody in New York speaks French *and there aren't any chairs in your son's room*. How do you expect me to teach these two crazy people how to draw?" In the end, being long self-trained in taking despair sitting down, I managed very easily to keep my seat. I opened my third student's envelope.

My third student was a nun of the order of Sisters of St. Joseph, named Sister Irma, who taught "cooking and drawing" at a convent elementary school just outside Toronto. And I haven't any *good* ideas concerning where to start to describe the contents of her envelope. I might just first mention that, in place of a photograph of herself, Sister Irma had enclosed, without explanation, a snapshot of her convent. It occurs to me, too, that she left blank the line in her questionnaire where the student's age was to be filled in. Otherwise, her questionnaire was filled out as perhaps no questionnaire in *this* world deserves to be filled out. She had been born and raised in Detroit, Michigan, where her father had been a "checker for Ford automobiles." Her academic education consisted of one year of high school. She had had no formal instruction in drawing. She said the only reason she was teaching it was that Sister somebody had passed on and Father Zimmermann (a name that particularly caught my eye, because it was the name of the dentist who had pulled out eight of my teeth)—Father Zimmermann had picked her to fill in. She said she had "34 kittys in my cooking class and 18 kittys in my drawing class." Her hobbies were loving her Lord and the Word of her Lord and "collecting leaves but only when they are laying right on the ground." Her favorite painter was Douglas Bunting. (A name, I don't mind saying, I've tracked down to many a blind alley, over the years.) She said her kittys always liked to "draw people when they are running and that is the one thing I am terrible at." She said she would work very hard to learn to draw better, and hoped we would not be very impatient with her.

вающимся голосом: «У меня мать умерла, приходится жить у ее милейшего мужа, и в Нью-Йорке никто не говорит по-французски, а в комнате вашего сына даже стульев нет! Как же вы хотите, чтобы я учил этих двух идиотов рисовать?» Но я так и не встал с места — настолько я приучил себя сдерживать приступы отчаяния и не метаться зря. И я открыл третий конверт.

Третьей моей ученицей оказалась монахиня женского монастыря св. Иосифа, по имени сестра Ирма, преподававшая «кулинарию и рисование» в начальной монастырской школе неподалеку от Торонто. Не знаю, как бы лучше начать описание того, что было в ее конверте. Во-первых, надо сказать, что вместо своей фотографии сестра Ирма без всяких объяснений прислала вид своего монастыря. Помнится также, что она не заполнила графу «возраст». Но с другой стороны, ни одна анкета в мире не заслуживает, чтобы ее заполняли так, как заполнила ее сестра Ирма. Она родилась и выросла в Детройте, штат Мичиган, ее отец «в миру» служил «в отделе контроля автомашин». Кроме начальной школы, она еще год проучилась в средней. Рисованию нигде не обучалась. Она писала, что преподает рисование лишь потому, что сестра такая-то скончалась и отец Циммерман (я особенно запомнил эту фамилию, потому что так звали зубного врача, вырвавшего мне восемь зубов) — отец Циммерман выбрал ее в заместительницы покойной. Она писала, что у нее в классе кулинарии 34 крошки, а в классе рисования 18 крошек. Любит она больше всего «Господа и Слово божье» и еще любит «собирать листья, но только когда они уже сами опадают на землю». Любимым ее художником был Дуглас Бантинг (сознаюсь, что я много лет искал такого художника, но и следа не нашел). Она писала еще, что ее крошки «любят рисовать бегущих человечков, а я этого совсем не умею». Она писала, что будет очень стараться, чтобы научиться лучше рисовать, и надеется, что «мы будем к ней снисходительны».

There were, in all, only six samples of her work enclosed in the envelope. (All of her work was unsigned—a minor enough fact, but at the time, a disproportionately refreshing one. Bambi Kramer's and Ridgefield's pictures had all been either signed or—and it somehow seemed even more irritating—initialled.) After thirteen years, I not only distinctly remember all six of Sister Irma's samples, but four of them I sometimes think I remember a trifle too distinctly for my own peace of mind. Her best picture was done in water colors, on brown paper. (Brown paper, especially wrapping paper, is very pleasant, very cosy to paint on. Many an experienced artist has used it when he wasn't up to anything grand or grandiose.) The picture, despite its confining size (it was about ten by twelve inches), was a highly detailed depiction of Christ being carried to the sepulchre in Joseph of Arimathea's garden. In the far right foreground, two men who seemed to be Joseph's servants were rather awkwardly doing the carrying. Joseph of Arimathea followed directly behind them—bearing himself, under the circumstances, perhaps a trifle too erectly. At a respectably subordinate distance behind Joseph came the women of Galilee, mixed in with a motley, perhaps gate-crashing crowd of mourners, spectators, children, and no less than three frisky, impious mongrels. For me, the major figure in the picture was a woman in the left foreground, *facing* the viewer. With her right hand raised overhead, she was frantically signalling to someone—her child, perhaps, or her husband, or possibly the viewer—to drop everything and hurry over. Two of the women, in the front rank of the crowd, wore halos. Without a Bible handy, I could only make a rough guess at their identity. But I immediately spotted Mary Magdalene. At any rate, I was positive I had spotted her. She was in the middle foreground, walking apparently self-detached from the crowd, her arms down at her sides. She wore no part of her grief, so to speak, on her sleeve—in fact, there were no outward signs at all of her late, invisible connections with the Deceased. Her face, like all the other

В конверт были вложены всего шесть образцов ее работы. (Все они были без подписи — само по себе это мелочь, но в тот момент мне это необычайно понравилось.) И Бэмби Кремер, и Риджфилд ставили под картинами свою подпись или — что меня раздражало еще больше — свои инициалы. С тех пор прошло тринадцать лет, а я не только ясно помню все шесть рисунков сестры Ирмы, но четыре из них я вспоминаю настолько отчетливо, что это иногда нарушает мой душевный покой. Лучшая ее картина была написана акварелью на оберточной бумаге. (На коричневой оберточной бумаге, особенно на очень плотной, писать так удобно, так приятно. Многие серьезные мастера писали на ней, особенно когда у них не было какого-нибудь грандиозного замысла.) Несмотря на небольшой размер, примерно десять на двенадцать дюймов, на картине очень подробно и тщательно было изображено перенесение тела Христа в пещеру сада Иосифа Аримафейского. На переднем плане справа два человека, очевидно слуги Иосифа, довольно неловко несли тело. Иосиф (Аримафейский) шел за ними. В этой ситуации он, пожалуй, держался слишком прямо. За ним на почтительном расстоянии среди разношерстной, возможно, даже явившейся без приглашения толпы плакальщиц, зевак, детей шли жены галилейские, а около них безбожно резвилось не меньше трех дворняжек. Но больше всех привлекла мое внимание женская фигура на переднем плане слева, стоявшая лицом к зрителю. Вскинув правую руку, она отчаянно махала кому-то — может быть, ребенку или мужу, а может, и нам, зрителям, — бросай все и беги сюда. Сияние окружало головы двух женщин, идущих впереди толпы. Под рукой у меня не было Евангелия, поэтому я мог только догадываться, кто они. Но Марию Магдалину я узнал тотчас же. Во всяком случае, я был убежден, что это она. Она шла впереди, поодаль от толпы, уронив руки вдоль тела. Горе свое она, как говорится, напоказ не выставляла — по ней совсем не было видно, насколько близок ей был усопший в последние дни. Как все лица, и ее лицо было написано де-

faces in the picture, had been done in a cheap-priced, ready-made flesh-tint. It was painfully clear that Sister Irma herself had found the color unsatisfactory and had tried her unadvised, noble best to tone it down somehow. There were no other serious flaws in the picture. None, that is, worthy of anything but cavilling mention. It was, in any conclusive sense, an artist's picture, steeped in high, high, organized talent and God knows how many hours of hard work.

One of my first reactions, of course, was to run with Sister Irma's envelope over to M. Yoshoto. But, once again, I kept my seat. I didn't care to risk having Sister Irma taken away from me. At length, I just closed her envelope with care and placed it to one side of my desk, with the exciting plan to work on it that night, in my own time. Then, with far more tolerance than I'd thought I had in me, almost with good will, I spent the rest of the afternoon doing overlay corrections on some male and female nudes (*sans* sex organs) that R. Howard Ridgefield had genteelly and obscenely drawn.

Toward dinner time, I opened three buttons of my shirt and stashed away Sister Irma's envelope where neither thieves, nor, just to play safe, the Yoshotos, could break in.

A tacit but iron-bound procedure covered all evening meals at Les Amis Des Vieux Maîtres. Mme. Yoshoto got up from her desk promptly at five-thirty and went upstairs to prepare dinner, and Mr. Yoshoto and I followed—fell into single file, as it were—at six sharp. There were no side trips, however essential or hygienic. That evening, however, with Sister Irma's envelope warm against my chest, I had never felt more relaxed. In fact, all through dinner, I couldn't have been more outgoing. I gave away a lulu of a Picasso story that had just reached me, one that I might have put aside for a rainy day. M. Yoshoto scarcely lowered his Japanese newspaper to listen to it, but Mme. Yoshoto seemed responsive, or, at least, not unresponsive.

шевой краской телесного цвета. Но было до боли ясно, что сестра Ирма сама поняла, насколько не подходит эта готовая краска, и неумело, но от всей души попыталась как-то смягчить тон. Других серьезных недостатков в картине не было. Вернее сказать, всякая критика уже была бы придиркой. По моим понятиям, это было произведение истинного художника, с печатью высокого и в высшей степени самобытного таланта, хотя одному богу известно, сколько упорного труда было вложено в эту картину.

Первым моим побуждением было броситься с рисунками сестры Ирмы к мосье Йошото. Но я и тут не встал с места. Не хотелось рисковать — вдруг сестру Ирму отнимут у меня? Поэтому я аккуратно закрыл конверт и отложил в сторону, с удовольствием думая, как вечером, в свободное время, я поработаю над ее рисунками. Затем с терпимостью, которой я в себе и не подозревал, я великодушно и доброжелательно стал править обнаженную натуру — мужчин и женщин (*sans* признаков пола), жеманно и непристойно изображенных Р. Говардом Риджфилдом.

В обеденный перерыв я расстегнул три пуговицы на рубашке и засунул конверт сестры Ирмы туда, куда было не добраться ни вора, ни — тем более! — самим супругам Йошото.

Все вечерние трапезы в школе происходили по негласному, но нерушимому ритуалу. Ровно в половине шестого мадам Йошото вставала и уходила наверх готовить обед, а мы с мосье Йошото обычно гуськом приходили туда же ровно в шесть. Никаких отклонений с пути, хотя бы они были вызваны требованиями гигиены или неотложной необходимости, не полагалось. Но в тот вечер, согретый конвертом сестры Ирмы, лежавшим у меня на груди, я впервые чувствовал себя спокойным. Больше того, за этим обедом я был настоящей душой общества. Я рассказал про Пикассо такой анекдот — пальчики оближешь! — пожалуй, было бы нелишне приберечь его на черный день. Мосье Йошото только слегка опустил свою японскую газету, зато мадам как будто заинтересовалась; во всяком случае, полного от-

In any case, when I was finished with it, she spoke to me for the first time since she had asked me that morning if I would like an egg. She asked me if I were sure I wouldn't like a chair in my room. I said quickly, "*Non, non—merci, madame.*" I said that the way the floor cushions were set right up against the wall, it gave me a good chance to practice keeping my back straight. I stood up to show her how sway-backed I was.

After dinner, while the Yoshotos were discussing, in Japanese, some perhaps provocative topic, I asked to be excused from the table. M. Yoshoto looked at me as if he weren't quite sure how I'd got into his kitchen in the first place, but nodded, and I walked quickly down the hall to my room. When I had turned on the overhead light and closed the door behind me, I took my drawing pencils out of my pocket, then took off my jacket, unbuttoned my shirt, and sat down on a floor cushion with Sister Irma's envelope in my hands. Till past four in the morning, with everything I needed spread out before me on the floor, I attended to what I thought were Sister Irma's immediate, artistic wants.

The first thing I did was to make some ten or twelve pencil sketches. Rather than go downstairs to the instructors' room for drawing paper, I drew the sketches on my personal notepaper, using both sides of the sheet. When that was done, I wrote a long, almost an endless, letter.

I've been as saving as an exceptionally neurotic magpie all my life, and I still have the next-to-the-last draft of the letter I wrote to Sister Irma that June night in 1939. I could reproduce all of it here verbatim, but it isn't necessary. I used the bulk of the letter, and I mean bulk, to suggest where and how, in her major picture, she'd run into a little trouble, especially with her colors. I listed a few artist's supplies that I thought she couldn't do without, and included approximate costs. I asked her who Douglas Bunting was. I asked where I could see some of his work. I

сутствия интереса заметно не было. А когда я окончил, она впервые обратилась ко мне, если не считать утреннего вопроса, не хочу ли я съесть яйцо. Она спросила: может быть, мне все-таки поставить стул в комнату? Я торопливо ответил: «Non, non, merci, madame». Я объяснил, что придвигаю циновки к стене и таким образом приучаюсь держаться прямо, а мне это очень полезно. Я даже встал, чтобы продемонстрировать, до чего я сутуюсь.

После обеда, когда чета Йошото обсуждала по-японски какой-то, может быть и весьма увлекательный, вопрос, я попросил разрешения уйти из-за стола. Мосье Йошото взглянул на меня так, будто не совсем понимал, каким образом я очутился у них на кухне, но кивнул в знак согласия, и я быстро прошел по коридору к себе в комнату.

Включив полный свет и заперев двери, я вынул из кармана свои карандаши, потом снял пиджак, расстегнул рубашу и, не выпуская конверт сестры Ирмы из рук, сел на пол, на циновку. Почти до пяти утра, разложив все, что надо, на полу, я старался оказать сестре Ирме в ее художественных исканиях ту помощь, в какой она, по моему убеждению, нуждалась.

Первым делом я набросал штук десять-двенадцать эскизов карандашом. Не хотелось идти в преподавательскую за бумагой, и я рисовал на своей собственной почтовой бумаге с обеих сторон. Покончив с этим, я написал длинное, бесконечно длинное письмо.

Всю жизнь я коплю всякий хлам, не хуже какой-нибудь сороки-неврастенички, и у меня до сих пор сохранился предпоследний черновик письма, написанного сестре Ирме в ту июньскую ночь 1939 года. Я мог бы дословно воспроизвести все письмо, но это лишнее. Множество страниц — а их и вправду было множество — я посвятил разбору тех незначительных ошибок, которые она допустила в своей главной картине, особенно в выборе красок. Я перечислил все принадлежности, необходимые ей как художнику, с указанием их приблизительной стоимости. Я спросил, кто такой Ду-

asked her (and I knew what a long shot it was) if she had ever seen any reproductions of paintings by Antonello da Messina. I asked her to please tell me how old she was, and assured her, at great length, that the information, if given, wouldn't go beyond myself. I said the only reason that I was asking was that the information would help me to instruct her more efficiently. Virtually in the same breath, I asked if she were allowed to have visitors at her convent.

The last few lines (or cubic feet) of my letter should, I think, be reproduced here—syntax, punctuation, and all.

...Incidentally, if you have a command of the French language, I hope you will let me know as I am able to express myself very precisely in that language, having spent the greater part of my youth chiefly in Paris, France.

Since you are quite obviously concerned about drawing running figures, in order to convey the technique to your pupils at the Convent, I am enclosing a few sketches I have drawn myself that may be of use. You will see that I have drawn them rather rapidly and they are by no means perfect or even quite commendable, but I believe they will show you the rudiments about which you have expressed interest. Unfortunately the director of the school does not have any system in the method of teaching here, I am very much afraid. I am delighted that you are already so well advanced, but I have no idea what he expects me to do with my other students who are very retarded and chiefly stupid, in my opinion.

Unfortunately, I am an agnostic; however, I am quite an admirer of St. Francis of Assisi from a distance, it goes without saying, I wonder if perhaps

глас Бантинг. Я спросил, где я мог бы посмотреть его работы. Я спросил ее (понимая, что это политика дальнего прицела), видела ли она репродукции с картин Антонелло да Мессина. Я просил ее: напишите мне, пожалуйста, сколько вам лет, и пространно уверил ее, что сохранию в тайне эти сведения, ежели она их мне сообщит. Я объяснил, что справляюсь об этом по той причине, что мне так будет легче подобрать наиболее эффективный метод преподавания. И тут же, единым духом, я спросил, разрешают ли принимать посетителей в монастыре.

Последние строки, вернее — последние кубические метры моего письма, лучше всего воспроизвести дословно, не изменяя ни синтаксис, ни пунктуацию.

«...Если вы владеете французским языком, прошу вас поставить меня в известность, так как лично я умею более точно выражать свои мысли на этом языке, прожив большую часть своей молодости в Париже, Франция.

Очевидно, вы весьма заинтересованы в том, чтобы научиться рисовать бегущих человечков и впоследствии передать технику этого рисунка своим ученицам в монастырской школе. Прилагаю для этой цели несколько набросков, может быть, они вам пригодятся. Вы увидите, что сделаны они наспех, очень далеки от совершенства и подражать им не следует, но надеюсь, что вы увидите в них те основные приемы, которые вас интересуют. К несчастью, директор наших курсов в преподавании не придерживается никакой системы, боюсь, что это именно так. Вашими успехами я восхищаюсь, вы уже далеко ушли, но я совершенно не представляю себе, чего он хочет от меня и как мне быть с другими учащимися, людьми умственно отстающими и, по моему мнению, безнадежно тупыми.

К сожалению, я агностик. Однако я поклонник св. Франциска Ассизского, хотя — что само собой понятно — чисто теоретически. Кстати, известно

you are thoroughly acquainted with what he (St. Francis of Assisi) said when they were about to cauterise one of his eyeballs with a red-hot, burning iron? He said as follows: "Brother Fire, God made you beautiful and strong and useful; I pray you be courteous to me." You paint slightly the way he spoke, in many pleasant ways, in my opinion. Incidentally, may I ask if the young lady in the foreground in the blue outfit is Mary Magdalene? I mean in the picture we have been discussing, of course. If she is not, I have been sadly deluding myself. However, this is no novelty.

I hope you will consider me entirely at your disposal as long as you are a student at Les Amis Des Vieux Maîtres. Frankly, I think you are greatly talented and would not even be slightly startled if you developed into a genius before many years have gone by. I would not falsely encourage you in this matter. That is one reason why I asked you if the young lady in the foreground in the blue outfit was Mary Magdalene, because if it was, you were using your incipient genius somewhat more than your religious inclinations, I am afraid. However, this is nothing to fear, in my opinion.

With sincere hope that you are enjoying completely perfect health, I am,

Very respectfully yours,

(signed)

JEAN DE DAUMIER-SMITH

Staff Instructor

Les Amis Des Vieux Maîtres

P.S. I have nearly forgotten that students are supposed to submit envelopes every second Monday to the school. For your first assignment will you kindly make some outdoor sketches for me? Do them

ли вам досконально, что именно он (Франциск Ассизский) сказал, когда ему собирались выжечь глаза каленым железом? Сказал он следующее: «Брат огонь, бог дал тебе красоту и силу на пользу людям, молю же тебя — будь милостив ко мне». В ваших картинах есть что-то очень хорошее, напоминающее его слова, так мне по крайней мере кажется. Между прочим, разрешите узнать, не является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной? Я говорю о картине, которую мы только что обсудили. Если нет, значит, я глубоко заблуждаюсь. Впрочем, мне это свойственно.

Пожалуйста, пока вы обучаетесь на курсах «Любители великих мастеров», считайте меня в полном вашем распоряжении, я очень на это надеюсь. Говоря откровенно, я считаю вас необыкновенно талантливой и ничуть не удивлюсь, если в самом ближайшем будущем вы станете великим художником. По этой причине я и спрашиваю вас, является ли молодая особа в голубой одежде, на первом плане, Марией Магдалиной, потому что если это так, то боюсь, что в ней больше выражен ваш врожденный талант, чем ваши религиозные убеждения. Однако, по моему мнению, бояться тут нечего.

С искренней надеждой, что мое письмо застанет вас в добром здравии, остаюсь

*уважающий вас
(тут следовала подпись)
Жан де Домье-Смит,
штатный преподаватель курсов
«Любители великих мастеров».*

П о с т с к р и п т у м. Чуть не забыл предупредить вас, что слушатели обязаны представлять в школу свои работы каждые две недели, по понедельникам. В качестве первого задания попрошу вас сделать несколько набросков с натуры. Пи-

very freely and do not strain. I am unaware, of course, how much time they give you for your personal drawing at your Convent and hope you will advise me. Also I beg you to buy those necessary supplies I took the liberty of advocating, as I would like you to begin using oils as soon as possible. If you will pardon my saying so, I believe you are too passionate to paint just in watercolors and never in oils indefinitely. I say that quite impersonally and do not mean to be obnoxious; actually, it is intended as a compliment. Also please send me *all* of your old former work that you have on hand, as I am eager to see it. The days will be insufferable for me till your next envelope arrives, it goes without saying.

If it is not overstepping myself, I would greatly appreciate your telling me if you find being a nun very satisfactory, in a spiritual way, of course. Frankly, I have been studying various religions as a hobby ever since I read volumes 36, 44, 45 of the *Harvard Classics*, which you may be acquainted with. I am especially delighted with Martin Luther, who was a Protestant, of course. Please do not be offended by this. I advocate no doctrine; it is not my nature to do so. As a last thought, please do not forget to advise me as to your visiting hours, as my weekends are free as far as I know and I may happen to be in your environs some Saturday by chance. Also please do not forget to inform me if you have a reasonable command of the French language, as for all intents and purposes I am comparatively speechless in English owing to my varied and largely insensible upbringing.

шите свободно, без напряжения. Разумеется, я не осведомлен, сколько свободного времени уделяют вам в вашем монастыре для личных занятий искусством, и прошу поставить меня об этом в известность. Также прошу вас приобрести те необходимые пособия, которые я имел смелость перечислить выше, так как я хотел бы, чтобы вы начали писать маслом как можно скорее. Простите меня, если я скажу прямо, но мне кажется, что вы — натура страстная, порывистая и вам надо писать не акварелью, а скорее переходить на масло. Говорю это в совершенно отвлеченном смысле, вовсе не желая вас обидеть, наоборот, я считаю это похвалой. Прошу вас также переслать мне все ваши прежние работы, какие только сохранились, я жажду увидеть их поскорее. Не стану говорить, как невыносимо для меня будут тянуться дни, пока не придет ваше письмо.

Если это не слишком большая смелость с моей стороны, то я бы очень хотел узнать от вас, удовлетворяет ли вас монастырская жизнь, разумеется в чисто духовном смысле. Скажу откровенно, что я изучал множество религий с чисто научной точки зрения, главным образом по 36-му, 44-му и 45-му тому «Классических произведений» в гарвардском издании, с которыми вы, быть может, знакомы. Особенно я восхищаюсь Мартином Лютером, но, конечно, он был протестант. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не защищаю ни одного вероисповедания — это не в моем характере. В заключение этого письма еще раз прошу: не забудьте сообщить мне часы приема, так как конец недели у меня всегда свободен и я могу случайно оказаться в ваших краях в субботу. Пожалуйста, не забудьте также сообщить мне, владеете ли вы французским языком, потому что вопреки всем моим стараниям я с трудом нахожу слова на английском языке, так как получил беспорядочное и, честно говоря, неразумное воспитание».

I mailed my letter and drawings to Sister Irma around three-thirty in the morning, going out to the street to do it. Then, literally overjoyed, I undressed myself with thick fingers and fell into bed.

Just before I fell asleep, the moaning sound again came through the wall from the Yoshotos' bedroom. I pictured both Yoshotos coming to me in the morning and asking me, begging me, to hear their secret problem out, to the last, terrible detail. I saw exactly how it would be. I would sit down between them at the kitchen table and listen to each of them. I would listen, listen, listen, with my head in my hands—till finally, unable to stand it any longer, I would reach down into Mme. Yoshoto's throat, take up her heart in my hand and warm it as I would a bird. Then, when all was put right, I would show Sister Irma's work to the Yoshotos, and they would share my joy.

The fact is always obvious much too late, but the most singular difference between happiness and joy is that happiness is a solid and joy a liquid. Mine started to seep through its container as early as the next morning, when M. Yoshoto dropped by at my desk with the envelopes of two new students. I was working on Bambi Kramer's drawings at the time, and quite spleenlessly, knowing as I did that my letter to Sister Irma was safely in the mail. But I was nowhere even nearly prepared to face the freakish fact that there were two people in the world who had less talent for drawing than either Bambi or R. Howard Ridgefield. Feeling virtue go out of me, I lit a cigarette in the instructors' room for the first time since I'd joined the stuff. It seemed to help, and I turned back to Bambi's work. But before I'd taken more than three or four drags, I felt, without actually glancing up and over, that M. Yoshoto was looking at me. Then, for confirmation, I heard his chair being pushed back. As usual, I got up to meet him when he came over. He explained to me, in a bloody irritating whisper, that he personally had no objection to smoking, but that, alas, the school's policy was against smoking in

В половине четвертого утра я вышел на улицу, чтобы опустить в почтовый ящик письмо сестре Ирме вместе с рисунками. Буквально ошалев от радости, я разделся, еле двигая руками, и повалился на кровать.

Уже сквозь сон за перегородкой я услышал стон из супружеской спальни Йошото. Я представил себе, как утром они оба подходят ко мне и просят, нет, умоляют выслушать то, что их мучает, до самых последних, самых страшных подробностей. Я отчётливо представил себе, как это будет. Я сяду между ними за кухонный стол и выслушаю по очереди каждого из них. Опустив голову на руки, я буду их слушать, слушать, слушать, пока наконец у меня не лопнет терпение. И тогда я запущу руку прямо в горло мадам Йошото, выну ее сердце, и, как птичку, согрею его в руках. А когда они успокоятся, я покажу им рисунки сестры Ирмы, и они разделят мою радость.

Обычно явные истины познаются слишком поздно, но я понял, что основная разница между счастьем и радостью — это то, что счастье — твердое тело, а радость — жидкое. Радость, переполнявшая меня, стала утекать уже с утра, когда мосье Йошото положил на мой стол два конверта от новых учеников. В ту минуту я мирно и беззлобно работал над рисунком Бэмби Кремер, зная, что мое письмо к сестре Ирме уже ушло. Но я никак не ожидал, что придется столкнуться с таким уродливым явлением и с двумя людьми, еще более бездарными, чем Бэмби или Р. Говард Риджфилд. Чувствуя, как все мои добрые намерения испаряются, я закурил — это была первая сигарета, выкуренная в преподавательской комнате со дня моего вступления в штат. Сигарета помогла, и я снова взялся за рисунки Бэмби. Но не успел я затянуться раза три-четыре, как почувствовал, что мосье Йошото смотрит мне в спину. И, словно в подтверждение, я услышал, как он отодвигает стул. Я встал ему навстречу, когда он подходил. Донельзя противным шепотом он объяснил мне, что лично

the instructors' room. He cut short my profuse apologies with a magnanimous wave of his hand, and went back over to his and Mme. Yoshoto's side of the room. I wondered, in a real panic, how I would manage to get sanely through the next thirteen days to the Monday when Sister Irma's next envelope was due.

That was Tuesday morning. I spent the rest of the working day and all the working portions of the next two days keeping myself feverishly busy. I took all of Bambi Kramer's and R. Howard Ridgefield's drawings apart, as it were, and put them together with brand-new parts. I designed for both of them literally dozens of insulting, subnormal, but quite constructive, drawing exercises. I wrote long letters to them. I almost begged R. Howard Ridgefield to give up his satire for a while. I asked Bambi, with maximum delicacy, to please hold off, temporarily, submitting any more drawings with titles kindred to "Forgive Them Their Trespasses." Then, Thursday mid-afternoon, feeling good and jumpy, I started in on one of the two new students, an American from Bangor, Maine, who said in his questionnaire, with wordy, Honest-John integrity, that he was his own favorite artist. He referred to himself as a realist-abstractionist. As for my after-school hours, Tuesday evening I took a bus into Montreal proper and sat through a Cartoon Festival Week program at a third-rate movie house—which largely entailed being a witness to a succession of cats being bombarded with champagne corks by mice gangs. Wednesday evening, I gathered up the floor cushions in my room, piled them three high, and tried to sketch from memory Sister Irma's picture of Christ's burial.

I'm tempted to say that Thursday evening was peculiar, or perhaps macabre, but the fact is, I have no bill-filling

он не возражает против курения, но что, увы, школьные правила запрещают курить в преподавательской. Он широким жестом остановил поток моих извинений и вернулся в свой угол, к мадам Йошото. В совершенном ужасе я подумал, как бы мне выдержать эти тринадцать дней до понедельника, когда должно было прийти письмо от сестры Ирмы, и не спятить окончательно.

Это было во вторник утром. Весь этот день и оба следующих дня я развивал лихорадочную деятельность. Я, так сказать, распотрошил до основания все рисунки Бэмби Кремер и Р. Говарда Риджфилда и собрал их заново, заменив некоторые части новыми. Я приготовил для них буквально десятки оскорбительных для нормального человека, но вполне конструктивных упражнений по рисунку. Я написал им подробнейшие письма. Р. Говарда Риджфилда я упрашивал на время отказаться от карикатур. Со всей возможной деликатностью я просил Бэмби, если можно, хотя бы временно воздержаться от посылки рисунков с заголовками вроде «И прости им прегрешения их». А в четверг утром, взвинченный до предела, я занялся одним из новых учеников, американцем из города Бангор, в штате Мэн, который писал в анкете с многословием честного простака, что его любимый художник он сам. Он именовал себя реалистом-абстракционистом. Внеслужебные часы я провел так: во вторник вечером поехал на автобусе в центр Монреаля и высидел в третьеразрядном кино целую мультипликационную программу — шел фестиваль мультфильмов, — причем меня главным образом заставили любоваться бесконечным хороводом кошек, которых целые полчища мышей бомбардировали пробками от шампанского. В среду вечером я собрал все циновки в своей комнате, навалил их друг на друга и стал по памяти копировать картину сестры Ирмы «Погребение Христа».

Чувствую большое искушение назвать четверговый вечер странным, может быть даже зловещим, но, по

adjectives for Thursday evening. I left Les Amis after dinner and went I don't know where—perhaps to a movie, perhaps for just a long walk; I can't remember, and, for once, my diary for 1939 lets me down, too, for the page I need is a total blank.

I know, though, why the page is a blank. As I was returning from wherever I'd spent the evening—and I do remember that it was after dark—I stopped on the sidewalk outside the school and looked into the lighted display window of the orthopedic appliances shop. Then something altogether hideous happened. The thought was forced on me that no matter how coolly or sensibly or gracefully I might one day learn to live my life, I would always at best be a visitor in a garden of enamel urinals and bedpans, with a sightless, wooden dummy-deity standing by in a marked-down rupture truss. The thought, certainly, couldn't have been endurable for more than a few seconds. I remember fleeing upstairs to my room and getting undressed and into bed without so much as opening my diary, much less making an entry.

I lay awake for hours, shivering. I listened to the moaning in the next room and I thought, forcibly, of my star pupil. I tried to visualize the day I would visit her at her convent. I saw her coming to meet me—near a high, wire fence—a shy, beautiful girl of eighteen who had not yet taken her final vows and was still free to go out into the world with the Peter Abelard-type man of her choice. I saw us walking slowly, silently, toward a far, verdant part of the convent grounds, where suddenly, and without sin, I would put my arm around her waist. The image was too ecstatic to hold in place, and, finally, I let go, and fell asleep.

I spent all of Friday morning and most of the afternoon at hard labor trying, with the use of overlay tissue, to make recognizable trees out of a forest of phallic symbols the man from Bangor, Maine, had consciously drawn on

правде сказать, для описания этого вечера у меня просто не хватает слов. Я ушел из дому после обеда и пошел куда глаза глядят, не то в кино, не то просто прогуляться — не помню, а мой дневник за 1939 год на этот раз меня подвел: в тот день страница так и осталась пустой.

Но я знаю, почему она пустая. Возвращаясь домой после как-то проведенного вечера — ясно помню, что стемнело, — я остановился на тротуаре перед курсами и взглянул на освещенную витрину ортопедической мастерской. И тут я испугался до слез. Меня пронзила мысль, что, как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем по саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где царит безглазый, слепой деревянный идол — манекен, облаченный в дешевый грыжевый бандаж. Непереносимая мысль — хорошо, что она мелькнула лишь на секунду. Помню, что я взлетел по лестнице в свою комнату, сбросил с себя все и нырнул в постель, даже не открыв дневника.

Но заснуть я не мог, меня била лихорадка. Я слушал стоны из соседней комнаты и заставлял себя думать о лучшей моей ученице. Я старался представить себе, как я приеду к ней в монастырь. Я видел — вот она выходит мне навстречу, к высокой решетчатой ограде, робкая, прелестная девушка лет восемнадцати, еще не принявшая постриг — она еще была вольна уйти в мир со своим избранником, так похожим на Пьера Абеляра. Я видел, как мы медленно и молчаливо проходим в глубину зеленого монастырского сада и там бездумно и безгрешно я обвиваю рукой ее талию. Видение было таким неземным, что его трудно было удержать, оно постоянно улетучивалось, и я погрузился в сон.

В пятницу я проработал как каторжный все утро и полдня, пытаюсь при помощи карандаша и кальки переделать в сколько-нибудь похожие деревья тот лес фаллических символов, который добросовестно изобразил на прекрасной веленовой бумаге гражданин города Бан-

expensive linen paper. Mentally, spiritually, and physically, I was feeling pretty torpid along toward four-thirty in the afternoon, and I only half stood up when M. Yoshoto came over to my desk for an instant. He handed something to me—handed it to me as impersonally as the average waiter distributes menus. It was a letter from the Mother Superior of Sister Irma's convent, informing M. Yoshoto that Father Zimmermann, through circumstances outside his control, was forced to alter his decision to allow Sister Irma to study at his Amis Des Vieux Maitres. The writer said she deeply regretted any inconveniences or confusions this change of plans might cause the school. She sincerely hoped that the first tuition payment of fourteen dollars might be refunded to the diocese.

The mouse, I've been sure for years, limps home from the site of the burning ferris wheel with a brand-new, airtight plan for killing the cat. After I'd read and reread and then, for great, long minutes, stared at the Mother Superior's letter, I suddenly broke away from it and wrote letters to my four remaining students, advising them to give up the idea of becoming artists. I told them, individually, that they had absolutely no talent worth developing and that they were simply wasting their own valuable time as well as the school's. I wrote all four letters in French. When I was finished, I immediately went out and mailed them. The satisfaction was short-lived, but very, very good while it lasted.

When it came time to join the parade to the kitchen for dinner, I asked to be excused. I said I wasn't feeling well. (I lied, in 1939, with far greater conviction than I told the truth—so I was positive that M. Yoshoto looked at me with suspicion when I said I wasn't feeling well.) Then I went up to my room and sat down on a cushion. I sat there for surely an hour, staring at a daylit hole in the window blind,

гор, в штате Мэн. К половине пятого я так отупел умственно, душевно и физически, что едва привстал, когда мосье Йошото на минуту подошел к моему столу. Он подал мне конверт — так же равнодушно, как официант подает меню. Это было письмо настоятельницы монастыря, где находилась сестра Ирма, доведившее до сведения мосье Йошото, что отец Циммерман по не зависящим от него обстоятельствам был вынужден изменить свое решение и не может позволить сестре Ирме заниматься на курсах «Любители великих мастеров». Автор письма глубоко сожалеет, если эти изменения вызовут какие-либо затруднения или неприятности для администрации курсов. Кроме того, настоятельница искренне надеялась, что первый взнос на право учения, в сумме четырнадцати долларов, будет возмещен монастырю.

Я всегда был твердо уверен, что мышь, обжегшись искрой, летящей от фейерверка, хромает восвояси с готовым, безукоризненно продуманным планом, как убить кота. Прочитав и перечитав письмо матери-настоятельницы, я долго, не отрываясь, смотрел на него и вдруг, оторвавшись от созерцания, одним духом написал письма остальным моим ученикам — всем четверем, советуя им навсегда отказаться от мысли стать художниками. Я написал каждому в отдельности, что это пустая трата драгоценного времени, как своего, так и преподавательского. Я написал все письма по-французски. Окончив их, я тут же вышел и опустил их в ящик. И хотя чувство удовлетворения длилось недолго, но в эти минуты мне было очень, очень приятно.

Когда пришло время торжественно проследовать на кухню, я попросил извинить меня. Я сказал, что чувствую себя неважно. (Тогда, в 1939 году, я лгал куда убедительнее, чем говорил правду, и ясно видел, с каким подозрением взглянул на меня мосье Йошото, когда я сказал, что неважно себя чувствую.) Я поднялся к себе в комнату и сел на пол. Просидел я так больше часа, уста-

without smoking or taking off my coat or loosening my necktie. Then, abruptly, I got up and brought over a quantity of my personal notepaper and wrote a second letter to Sister Irma, using the floor as a desk.

I never mailed the letter. The following reproduction is copied straight from the original.

Montreal, Canada
June 28, 1939

Dear sister Irma,

Did I, by chance, say anything obnoxious or irreverent to you in my last letter that reached the attention of Father Zimmermann and caused you discomfort in some way? If this is the case, I beg you to give me at least a reasonable chance to retract whatever it was I may have unwittingly said in my ardor to become friends with you as well as student and teacher. Is this asking too much? I do not believe it is.

The bare truth is as follows: If you do not learn a few more rudiments of the profession, you will only be a very, very interesting artist the rest of your life instead of a great one. This is terrible, in my opinion. Do you realize how grave the situation is?

It is possible that Father Zimmermann made you resign from the school because he thought it might interfere with your being a competent nun. If this is the case, I cannot avoid saying that I think it was very rash of him in more ways than one. It would not interfere with your being a nun. I live like an evil-minded monk myself. The worst that being an artist could do to you would be that it would make you slightly unhappy constantly. However, this is not a tragic situation, in my opinion. The happiest day of my life was many years ago when I was seventeen. I was on my way for lunch to meet my mother, who was

вившись на светлеющую щелку в шторе, я не курил, не снял пиджак, не развязал галстук. Потом вдруг вскочил, достал свою почтовую бумагу и написал второе письмо сестре Ирме прямо тут же, на полу.

Письмо я так и не отправил. Привожу точную копию оригинала.

«Монреаль, Канада,
28 июня, 1939 г.

Дорогая сестра Ирма!

Неужели я нечаянно написал вам в последнем моем письме что-либо обидное или неуважительное и тем привлек внимание отца Циммермана и вам доставил неприятность? В таком случае осмеливаюсь просить вас дать мне хотя бы возможность извиниться за слова, сказанные с горячим желанием стать не только вашим учителем, но и вашим другом. Может быть, моя просьба слишком нескромна? Думаю, что это не так.

Скажу вам всю правду: не постигнув хотя бы элементарных основ мастерства, вы навек останетесь, может быть, и очень, очень интересным художником, но никогда не будете великим мастером. При этой мысли мне становится страшно. Отдаете ли вы себе отчет, насколько это серьезно?

Возможно, отец Циммерман заставил вас отказаться от занятий, решив, что они помешают вам выполнять долг благочестия. Если это так, то я обязан сказать, что он судит слишком поспешно и опрометчиво. Искусство никак не могло бы вам мешать вести монашескую жизнь. Я сам хоть и грешник, но живу как монах. Самое худшее, что бывает с художником, — это никогда не знать полного счастья. Но я убежден, что никакой трагедии в этом нет. Много лет назад, когда мне было семнадцать, я пережил самый счастливый день в жизни. Я должен был встретиться за завтраком со своей матерью — в этот день она впервые вышла на

going out on the street for the first time after a long illness, and I as feeling ecstatically happy when suddenly, as I was coming in to the Avenue Victor Hugo, which is a street in Paris, I bumped into a chap without any nose. I ask you to please consider that factor, in fact I beg you. It is quite pregnant with meaning.

It is also possible that Father Zimmermann caused you to stop matriculating for the reason perhaps that your convent lacks funds to pay the tuition. I frankly hope this is the case, not only because it relieves my mind, but in a practical sense. If this is indeed the case, you have only to say the word and I will offer my services gratis for an indefinite period of time. Can we discuss this matter further? May I ask again when your visiting days at the convent are? May I be free to plan to visit you at the convent next Saturday afternoon, July 6, between 3 and 5 o'clock in the afternoon, dependent upon the schedule of trains, between Montreal and Toronto? I await your reply with great anxiety.

With respect and admiration,
Sincerely yours,
(signed)
JEAN DE DAUMIER-SMITH
Staff Instructor
Les Amis Des Vieux Maîtres

P.S. In my last letter I casually asked if the young lady in the blue outfit in the foreground of your religious picture was Mary Magdalene, the sinner. If you have not as yet replied to my letter, please go on refraining. It is possible that I was mistaken and I do not willfully invite any disillusionings at this point in my life. I am willing to stay in the dark.

улицу после долгой болезни, — и я чувствовал себя абсолютно счастливым, как вдруг, проходя по авеню Виктора Гюго — это улица в Париже, — я налетел на человека без всяких признаков носа. Покорно прошу, нет, умоляю вас — подумайте об этом эпизоде, в нем скрыт глубочайший смысл.

Возможно также, что отец Циммерман велел вам прервать обучение, потому что не имеет возможности оплатить преподавание. Буду рад, если это так, не только потому, что это снимает с меня вину, но и в практическом отношении. Если причина действительно такова, то достаточно одного вашего слова, и я готов безвозмездно предложить вам свои услуги на неограниченное время. Нельзя ли обсудить этот вопрос? Разрешите еще раз спросить вас — в какие дни и часы допускается посещение монастыря? Не позволите ли вы посетить вас в следующую субботу, шестого июля, между тремя и пятью часами дня, в зависимости от расписания поездов из Монреаля в Торонто? С огромным нетерпением буду ждать ответа.

*С глубоким уважением и восхищением
искренне ваш*

(подпись)

*Жан де Домье-Смит,
штатный преподаватель курсов
«Любители великих мастеров».*

П о с т с к р и п т у м. В предыдущем письме я мимоходом спросил, не является ли молодая особа в голубой одежде, на переднем плане, Марией Магдалиной, великой грешницей? Если вы еще не написали мне, пожалуйста, воздержитесь от ответа на этот вопрос. Возможно, что я ошибся, но в нынешнем периоде моей жизни мне не хотелось бы испытать еще одно разочарование. Предпочитаю оставаться в неведении».

Even today, as late as *now*, I have a tendency to wince when I remember that I brought a dinner suit up to Les Amis with me. But bring one I did, and after I'd finished my letter to Sister Irma, I put it on. The whole affair seemed to call out for my getting drunk, and since I had never in my life been drunk (for fear that excessive drinking would shake the hand that painted the pictures that copped the three first prizes, etc.), I felt compelled to dress for the tragic occasion.

While the Yoshotos were still in the kitchen, I slipped downstairs and telephoned the Windsor Hotel—which Bobby's friend, Mrs. X, had recommended to me before I'd left New York. I reserved a table for one, for eight o'clock.

Around seven-thirty, dressed and slicked up, I stuck my head outside my door to see if either of the Yoshotos were on the prowl. I didn't want them to see me in my dinner jacket, for some reason. They weren't in sight, and I hurried down to the street and began to look for a cab. My letter to Sister Irma was in the inside pocket of my jacket. I intended to read it over at dinner, preferably by candlelight.

I walked block after block without so much as seeing a cab at all, let alone an empty one. It was rough going. The Verdun section of Montreal was in no sense a dressy neighbourhood, and I was convinced that every passer-by was giving me a second, basically censorious look. When, finally, I came to the lunch bar where I'd bolted the "Coney Island Red-Hots" on Monday, I decided to let my reservation at the Hotel Windsor go by the board. I went into the lunch bar, sat down in an end booth, and kept my left hand over my black tie while I ordered soup, rolls and black coffee. I hoped that the other patrons would think I was a waiter on his way to work.

While I was on my second cup of coffee, I took out my unmailed letter to Sister Irma and reread it. The substance of it seemed to me a trifle thin, and I decided to hurry back

Даже в эту минуту, через столько лет, я испытываю неловкость, вспоминая, что, уезжая на курсы «Любители великих мастеров», я захватил с собой смокинг. Но я его привез, и, окончив письмо сестре Ирме, я его надел. Все вело к тому, чтобы как следует напиться, а так как я еще никогда в жизни не напивался (из страха, что от пьянства задрожит та рука, что писала те картины, что завоевали те три первых приза, и так далее), то сейчас, в столь трагической ситуации, я счел нужным надеть парадный костюм.

Пока супруги Йошото сидели на кухне, я прокрался вниз к телефону и позвонил в отель «Виндзор» — перед отъездом из Нью-Йорка мне его рекомендовала приятельница Бобби, миссис Икс. Я заказал к восьми вечера столик на одну персону.

Около половины восьмого, одетый и причесанный, я высунул голову из комнаты — не подкарауливает ли меня чета Йошото? Сам не знаю почему, мне не хотелось, чтобы они увидали меня в смокинге. Но никого не было, и я быстро вышел на улицу и стал искать такси. Письмо к сестре Ирме уже лежало у меня во внутреннем кармане. Я собирался перечитать его за обедом, желательно при свечах.

Я шел квартал за кварталом, не встречая не только свободного такси, но и вообще ни одной машины. Я шел словно сквозь строй. Верденская окраина Монреаля далеко не светский район, и я был убежден, что каждый прохожий оборачивался мне вслед и провожал меня глубоко неодобрительным взглядом. Дойдя наконец до того бара, где я в понедельник сожрал четыре кони-айлендские «с пылу с жару» колбаски, я решил плюнуть на заказ в отеле «Виндзор». Я зашел в бар, уселся в дальнем углу и, прикрывая левой рукой черный галстук, заказал суп, рулет и черный кофе. Я надеялся, что остальные посетители примут меня за официанта, спешащего на работу.

За второй чашкой кофе я вынул неотосланное письмо к сестре Ирме и перечитал его. В основном оно показалось мне неубедительным, и я решил поскорее

to Les Amis and touch it up a bit. I also thought over my plans to visit Sister Irma, and wondered if it might not be a good idea to pick up my train reservations later that same evening. With those two thoughts in mind—neither of which really gave me the sort of lift I needed—I left the lunch bar and walked rapidly back to school.

Something extremely out of the way happened to me some fifteen minutes later. A statement, I'm aware, that has all the unpleasant earmarks of a build-up, but quite the contrary is true. I'm about to touch on an extraordinary experience, one that still strikes me as having been quite transcendent, and I'd like, if possible, to avoid seeming to pass it off as a case, or even a borderline case, of genuine mysticism. (To do otherwise, I feel, would be tantamount to implying or stating that the difference in spiritual *sorties* between St. Francis and the average, highstrung, Sunday leper-kisser is *only* a vertical one.)

In the nine o'clock twilight, as I approached the school building from across the street, there was a light on in the orthopedic appliances shop. I was startled to see a live person in the shopcase, a hefty girl of about thirty, in a green, yellow and lavender chiffon dress. She was changing the truss of the wooden dummy. As I came up to the show window, she had evidently just taken off the old truss; it was under her left arm (her right "profile" was toward me), and she was lacing up the new one on the dummy. I stood watching her, fascinated, till suddenly she sensed, then saw, that she was being watched. I quickly smiled—to show her that this was a non-hostile figure in the tuxedo in the twilight on the other side of the glass—but it did no good. The girl's confusion was out of all normal proportion. She blushed, she dropped the removed truss, she stepped back on a stack of irrigation basins—and her feet went out from under her. I reached out to her instantly, hitting the tips of my fingers on the glass. She landed heavily on her bottom, like a skater. She immediately got to her feet without looking at me. Her face still flushed, she pushed her hair back with one hand, and resumed lacing up the truss on the dummy. It was just then that I had my Experience.

вернуться домой и немного подправить его. Думал я и о своем плане — посетить сестру Ирму, даже решил было, что не худо бы взять билет сегодня же вечером. С этими мыслями, от которых, по правде сказать, мне не стало легче, я покинул бар и быстрым шагом пошел домой.

А через пятнадцать минут со мной случилась совершенно невероятная вещь. Знаю, что по всем признакам рассказ об этом неприятно похож на чистейшую выдумку, но это чистая правда. И хотя речь идет о странном переживании, которое для меня так и осталось совершенно необъяснимым, однако хотелось бы, если удастся, изложить этот случай без всякого, даже самого малейшего, оттенка мистицизма. Иначе, как мне кажется, это все равно что думать или утверждать, будто между духовным откровением святого Франциска Ассизского и религиозными восторгами ханжи-истерички, припадающей лишь по воскресеньям к язвам прокаженного, разница только внешняя.

Было девять часов, и уже стемнело, когда я, подходя к дому, заметил свет в окне ортопедической мастерской. Я испугался, увидев в витрине живого человека — плотную особу лет за тридцать, в зелено-желто-палевом шифоновом платье, которая меняла бандаж на деревянном манекене. Когда я подошел к витрине, она, как видно, только что сняла старый бандаж — он торчал у нее под мышкой. Повернувшись ко мне в профиль, она одной рукой зашнуровывала новый бандаж на манекене. Я стоял, не спуская с нее глаз, как вдруг она почувствовала, что на нее смотрят, и увидела меня. Я торопливо улыбнулся, давая понять, что не враг стоит тут за стеклом в смокинге и смотрит на нее из темноты, но ничего хорошего не вышло. Девушка испугалась сверх всякой меры. Она залилась краской, уронила снятый бандаж, споткнулась о грудку эмалированных кружек и упала во весь рост. Я протянул к ней руки, больно стукнувшись пальцами о стекло. Она тяжело рухнула на спину — так падают конькобежцы, но тут же вскочила, не глядя на меня. Вся раскрасневшаяся, она ладонью откинула волосы с лица и снова стала зашнуровывать бандаж на

Suddenly (and I say this, I believe, with all due self-consciousness), the sun came up and sped toward the bridge of my nose at the rate of ninety-three million miles a second. Blinded and very frightened—I had to put my hand on the glass to keep my balance. The thing lasted for no more than a few seconds. When I got my sight back, the girl had gone from the window, leaving behind her a shimmering field of exquisite, twice-blessed, enamel flowers.

I backed away from the window and walked around the block twice, till my knees stopped buckling. Then, without daring to venture another look into the shop window, I went upstairs to my room and lay down on my bed. Some minutes, or hours later, I made, in French, the following brief entry in my diary: "I am giving Sister Irma her freedom to follow her own destiny. Everybody is a nun." (*Tout le monde est une nonne.*)

Before going to bed for the night, I wrote letters to my four just-expelled students, reinstating them. I said a mistake had been made in the administration department. Actually, the letters seemed to write themselves. It may have had something to do with the fact that, before sitting down to write, I'd brought a chair up from downstairs.

It seems altogether anticlimactic to mention it, but Les Amis Des Vieux Maîtres closed down less than a week later, for being improperly licensed (for not being licensed at *all*, as a matter of fact). I packed up and joined Bobby, my stepfather, in Rhode Island, where I spent the next six or eight weeks, till art school reopened, investigating that most interesting of all summer-active animals, the American Girl in Shorts.

Right or wrong, I never again got in touch with Sister Irma.

Occasionally, I still hear from Bambi Kramer, though. The last I heard, she'd branched over into designing her own Christmas cards. They'll be something to see, if she hasn't lost her touch.

манекене. И вот тут-то оно и случилось. Внезапно (я стараюсь рассказать это без всякого преувеличения) вспыхнуло гигантское солнце и полетело прямо мне в переносицу со скоростью девяносто три миллиона миль в секунду. Ослепленный, страшно перепуганный, я уперся в стекло витрины, чтобы не упасть. Вспышка длилась несколько секунд. Когда ослепление прошло, девушки уже не было, и в витрине на благо человечеству расстился только изысканный, сверкающий эмалью цветник санитарных принадлежностей.

Я попятился от витрины и два раза обошел квартал, пока не перестали подкашиваться колени. Потом, не осмелившись заглянуть в витрину, я поднялся к себе в комнату и бросился на постель. Через какое-то время (не знаю, минуты прошли или часы) я записал в дневник следующие строки: «Отпускаю сестру Ирму на свободу — пусть идет своим путем. Все мы монахини». (*Tout le monde est une nonne.*)

Прежде чем лечь спать, я написал письма всем четырём недавно исключённым мною слушателям. Я написал, что администрацией допущена ошибка. Письма шли как по маслу, сами собой. Может быть, это зависело от того, что, прежде чем взяться за них, я принес снизу стул.

Хотя развязка получается очень неинтересная, придется упомянуть, что не прошло и недели, как курсы «Любители великих мастеров» закрылись, так как на них не было соответствующего разрешения (вернее, никакого разрешения вообще). Я сложил вещи и уехал к Бобби, моему отчиму, на Род-Айленд, где провел около двух месяцев — все время до начала занятий в Нью-Йоркской художественной школе — за изучением самой интересной разновидности всех летних зверушек — американской девчонки в шортах.

Хорошо ли, плохо ли, но я больше никогда не пытался встретиться с сестрой Ирмой.

Однако я изредка получаю весточки от Бэмби Кремер. Вот последняя новость — она занялась рисованием поздравительных открыток. Наверно, тут будет чем любоваться, если только ее таланты не заглохли.

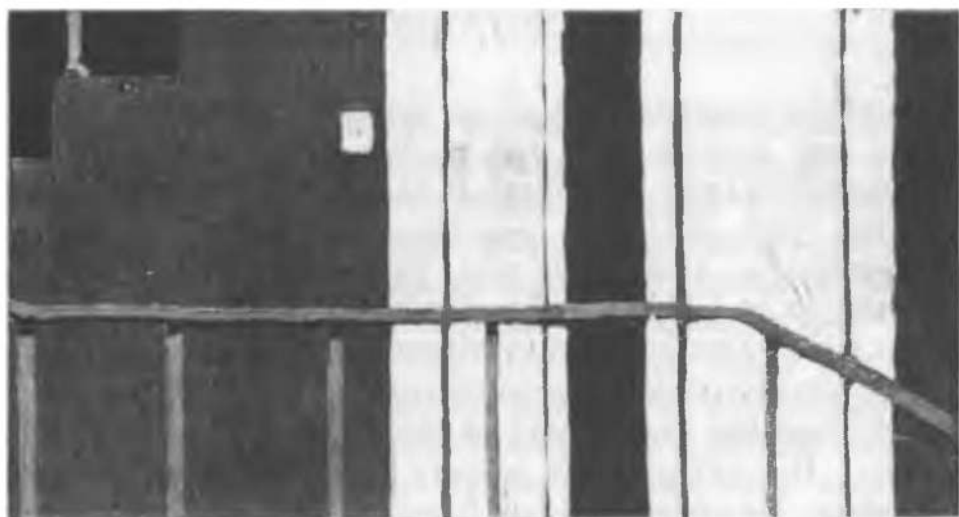


FLANNERY O'CONNOR

Judgement Day

Tanner was conserving all his strength for the trip home. He meant to walk as far as he could get and trust to the Almighty to get him the rest of the way. That morning and the morning before, he had allowed his daughter to dress him and had conserved that much more energy. Now he sat in the chair by the window—his blue shirt buttoned at the collar, his coat on the back of the chair, and his hat on his head—waiting for her to leave. He couldn't escape until she got out of the way. The window looked out on a brick wall and down into an alley full of New York air, the kind fit for cats and garbage. A few snow flakes drifted past the window but they were too thin and scattered for his failing vision.

The daughter was in the kitchen washing dishes. She dawdled over everything, talking to herself. When he had first come, he had answered her, but that had not been wanted. She glowered at him as if, old fool that he was, he should still have had sense enough not to answer a woman talking to herself. She questioned herself in one voice and answered herself in another. With the energy he had



ФЛАННЕРИ О'КОННОР

Судный день

Тэннер сберегал силы для возвращения домой. Он решил идти, куда сможет, и надеялся, что потом ему поможет всевышний. Сегодня утром, так же как и вчера, он позволил дочери себя одеть — и вот сберег еще немного сил. Сейчас он сидел в кресле у окна — синяя рубашка застегнута доверху, шляпа на голове, пальто на спинке кресла, — поджидая, когда дочь отправится за покупками. Он не мог уйти, пока она здесь. Окно выходило в узкий проулок, утонувший в смрадном нью-йоркском воздухе, а напротив взгляд упирался в кирпичную стену. За окном лениво кружились снежинки, такие мелкие и редкие, что он их не замечал — слишком плохо видели его слабеющие глаза.

Дочь мыла на кухне посуду. Она все делала не спеша, с прохладцей и постоянно сама с собой разговаривала. В первые дни после приезда к дочери Тэннер пытался поддерживать разговор, но оказалось, что собеседник ей вовсе не нужен. Дочь только раздраженно поглядывала на него — дескать, даже такой старый дурень, как он, мог бы догадаться, что не надо встречать, когда женщина разговаривает сама с собой. Она задавала какой-нибудь вопрос, а потом, изменив голос, сама же и отвечала. Вчера утром, разрешив дочери себя одеть, он сбе-

conserved yesterday letting her dress him, he had written a note and pinned it in his pocket. IF FOUND DEAD SHIP EXPRESS COLLECT TO COLEMAN PARRUM, CORINTH, GEORGIA. Under this he had continued: COLEMAN SELL MY BELONGINGS AND PAY THE FREIGHT ON ME & THE UNDERTAKER. ANYTHING LEFT OVER YOU CAN KEEP. YOURS TRULY T. C. TANNER. P.S. STAY WHERE YOU ARE. DON'T LET THEM TALK YOU INTO COMING UP HERE. ITS NO KIND OF PLACE. It had taken him the better part of thirty minutes to write the paper; the script was wavery but decipherable with patience. He controlled one hand by holding the other on top of it. By the time he had got it written, she was back in the apartment from getting her groceries.

Today he was ready. All he had to do was push one foot in front of the other until he got to the door and down the steps. Once down the steps, he would get out of the neighborhood. Once out of it, he would hail a taxi cab and go to the freight yards. Some bum would help him onto a car. Once he got in the freight car, he would lie down and rest. During the night the train would start South, and the next day or the morning after, dead or alive, he would be home. Dead or alive. It was being there that mattered; the dead or alive did not.

If he had had good sense he would have gone the day after he arrived; better sense and he would not have arrived. He had not got desperate until two days ago when he had heard his daughter and son-in-law taking leave of each other after breakfast. They were standing in the front door, she seeing him off for a three-day trip. He drove a long distance moving van. She must have handed him his leather headgear. "You ought to get you a hat," she said, "a real one."

"And sit all day in it," the son-in-law said, "like him in there. Yah! All he does is sit all day with that hat on. Sits all day with that damn black hat on his head. Inside!"

. "Well you don't even have you a hat," she said.

рег силы, чтоб написать записку, и для сохранности пришили ее в кармане булавкой. *Если умру переслать меня срочным багажом за счет получателя Коулмена Паррума в город Коринт штат Джорджия.* И приписал: *Коулмен продай мое имущество и заплати в транспортную и похоронную контору. Все что останется можешь взять себе. Всегда твой Т.С.Тэннер. Р. S. Коулмен живи где живешь не поддавайся их уговорам. Не приезжай в эту дыру.* Он трудился над запиской почти полчаса — буквы заваливались, налезая друг на дружку, но при желании разобрать текст было можно. Он придерживал правую руку левой. Но когда он справился наконец с запиской, дочь уже вернулась из магазина.

Зато сегодня все было готово. Только встать и заставить ноги двигаться — чтобы дойти до двери и спуститься по лестнице. Спустился — выбирайся из их квартала. Выбрался — нанимай первое же такси и поезжай до железнодорожной товарной станции. Доехал — залезай в товарный вагон, найдется какой-нибудь бродяга, поможет. Залез — все: ложись и отдыхай. Ночью состав отправится на Юг, и к завтрашнему дню или послезавтрашнему утру, живой или мертвый, он приедет домой. Живой или мертвый. Главное — добраться, а уж живым или мертвым — это как бог даст.

Будь он поумней, он вернулся бы домой на следующий же день после того, как приехал. А если бы он с самого начала не умничал, так он бы и вовсе сюда не приехал. Но по-настоящему он отчаялся два дня назад, когда услышал разговор дочери с зятем. Зять уезжал в трехдневный рейс — он был шофером мебельного фургона. Они прощались, стоя в прихожей, и дочь, наверно, протягивала ему кожаную кепку, потому что она сказала:

— Купил бы ты шляпу.

— И уселся бы у окна, — подхватил зять, — как этот. А что ему? Сидит себе весь день в своей шляпе. Напялит свою треклятую черную шляпу и сидит. Это в доме-то!

— А ты и шляпой не обзавелся, — сказала она. —

"Nothing but that leather cap with flaps. People that are somebody wear hats. Other kinds wear those leather caps like you got on."

"People that are somebody!" he cried. "People that are somebody! That kills me! That really kills me!" The son-in-law had a stupid muscular face and a yankee voice to go with it.

"My daddy is here to stay," his daughter said. "He ain't going to last long. He was somebody when he was somebody. He never worked for nobody in his life but himself and had people—other people—working for him."

"Yah? Niggers is what he had working for him," the son-in-law said. "That's all. I've worked a nigger or two myself."

"Those were just nawthun niggers you worked," she said, her voice suddenly going lower so that Tanner had to lean forward to catch the words. "It takes brains to work a real nigger. You got to know how to handle them."

"Yah so I don't have brains," the son-in-law said.

One of the sudden, very occasional, feelings of warmth for the daughter came over Tanner. Every now and then she said something that might make you think she had a little sense stored away somewhere for safe keeping.

"You got them," she said. "You don't always use them."

"He has a stroke when he sees a nigger in the building," the son-in-law said, "and she tells me..."

"Shut up talking so loud," she said. "That's not why he had the stroke."

There was a silence. "Where you going to bury him?" the son-in-law asked, taking a different tack.

"Bury who?"

"Him in there."

"Right here in New York," she said. "Where do you think? We go a lot. I'm not taking that trip down there again with nobody."

Знай себе ходишь в этой кепчонке с ушками. Самостоятельные люди все носят шляпы. А так, кое-какие, бегают в кожаных кепчонках.

— Самостоятельные люди? — выкрикнул зять. — Самостоятельные? Ну, уморила! Ей-богу, уморила! — У зятя было жесткое и бессмысленное лицо да еще и голос гундосый, как у всех этих янки.

— Папа здесь живет и будет здесь жить, — сказала дочь. — Да ведь долго он не протянет. Зато он всю жизнь был самостоятельным человеком — пока был человеком, а не дряхлым стариком. Уж он-то никогда ни на кого не работал, а вот другие — другие на него работали.

— Тоже мне, другие, — сказал зять. — Ниггеры! Ниггеры-то и на меня, случалось, работали.

— На тебя? Да это срамota была, а не ниггеры, — сказала дочь, вдруг понизив голос, так что Тэннер стал с трудом различать слова и подался вперед. — Вот именно — срамota! А для того, чтобы командовать настоящим ниггером, нужны мозги. Нужно уметь с ним управиться.

— А у меня, значит, уж и мозгов нету, — сказал зять.

Внезапно — а это с ним очень редко случалось — Тэннера захлестнуло теплое чувство к дочери. Временами она начинала разговаривать так, что могла, пожалуй, даже и неглупой показаться: в ее голове хоть и под спудом, но все же теплился здравый смысл.

— Есть, — сказала она, — но ты не всегда ими шевелишь.

— Его хватил удар, когда он увидел на лестнице ниггера, — сказал зять, — а она мне тут толкует...

— Тише ты, не ори, — сказала она. — А удар его хватил вовсе не поэтому.

Немного помолчав, зять сменил тему.

— Где ты собираешься его похоронить?

— Кого похоронить?

— Ну, этого... Твоего.

— Да прямо здесь, в Нью-Йорке, — сказала она. — А ты думал где? Мы ведь купили место. Туда я больше ни за что не потащусь.

"Yah. Well I just wanted to make sure," he said.

When she returned to the room, Tanner had both hands gripped on the chair arms. His eyes were trained on her like the eyes of an angry corpse. "You promised you'd bury me there," he said. "Your promise ain't any good! Your promise ain't any good. Your promise ain't any good." His voice was so dry it was barely audible. He began to shake, his hands, his head, his feet. "Bury me here and burn in hell!" he cried and fell back into his chair.

The daughter shuddered to attention. "You ain't dead yet!" She threw out a ponderous sigh. "You got a long time to be worrying about that." She turned and began to pick up parts of the newspaper scattered on the floor. She had gray hair that hung to her shoulders and a round face, beginning to wear. "I do every last living thing for you," she muttered, "and this is the way you carry on." She stuck the papers under her arm and said, "And don't throw hell at me. I don't believe in it. That's a lot of hardshell Baptist hooey." Then she went into the kitchen.

He kept his mouth stretched taut, his top plate gripped between his tongue and the roof of his mouth. Still the tears flooded down his cheeks; he wiped each one furtively on his shoulder.

Her voice rose from the kitchen. "As bad as having a child. He wanted to come and now he's here, he don't like it."

He had not wanted to come.

"Pretended he didn't but I could tell. I said if you don't want to come I can't make you. If you don't want to live like decent people there's nothing I can do about it."

"As for me," her higher voice said, "when I die that ain't the time I'm going to start getting choosey. They can lay me in the nearest spot. When I pass from this world I'll be considerate of them that stay in it. I won't be thinking of just myself."

— Конечно, — сказал он. — Это я так, к слову.

Когда она вошла в комнату, Тэннер сидел в кресле, яростно вцепившись руками в подлокотники. Он уставился на нее, словно оживший от злости труп.

— Ты обещала похоронить меня там, — прохрипел он. — Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья, — невнятно бормотал он пресекающимся голосом. Его трясло: тряслась голова, тряслись ноги, руки. — Так хорони меня здесь и будь навеки проклята! — выкрикнул он и откинулся на спинку кресла.

Дочь глянула на него, оторвавшись от своих мыслей.

— Да ведь ты еще живой. — Она тяжело вздохнула. — Рано об этом думать. — Отвернувшись, она стала собирать листы газеты, разбросанные по полу рядом с его креслом. У дочери были седые, до плеч, волосы и круглое, немного отяжелевшее лицо. — Я в лепешку для тебя расшибаюсь, — пробормотала она, — и вот твоя благодарность. — Она сунула газету под мышку и добавила: — И не пугай ты меня проклятьями. Я в них не верю. И ни в какие баптистские бредни не верю. — С этими словами она ушла в кухню.

Он напрягся и оскалился, стиснув искусственные зубы и придерживая языком пластмассовое нёбо. И все равно по щекам у него полились слезы, и он стал украдкой вытирать их о плечи.

Теперь, на кухне, она заговорила в полный голос.

— Ведь хуже ребенка, честное слово. То он хотел сюда ехать. То ему здесь не нравится.

Не хотел он сюда ехать.

— Делал вид, что не хочет, ну да я-то видела. Не хочешь, говорю, не езд, заставляй не собираюсь. Не хочешь жить, как живут приличные люди, оставайся здесь, что я могу поделать.

— Вот я, например, — вступил второй ее голос, — не буду я привередничать в свой смертный час. Пусть меня схоронят на ближайшем кладбище. Когда мне придет время перебираться на тот свет, я не захочу портить нервы живым. Потому что думаю не только о себе.

"Certainly not," the other voice said. "You never been that selfish. You're the kind that looks out for other people."

"Well I try," she said, "I try."

He laid his head on the back of the chair for a moment and the hat tilted down over his eyes. He had raised three boys and her. The three boys were gone, two in the war and one to the devil and there was nobody left who felt a duty toward him but her, married and childless, in New York City like Mrs. Big and ready when she came back and found him living the way he was to take him back with her. She had put her face in the door of the shack and had stared, expressionless, for a second. Then all at once she had screamed and jumped back.

"What's that on the floor?"

"Coleman," he said.

The old Negro was curled up on a pallet asleep at the foot of Tanner's bed, a stinking skin full of bones, arranged in what seemed vaguely human form. When Coleman was young, he had looked like a bear; now that he was old he looked like a monkey. With Tanner it was the opposite; when he was young he had looked like a monkey but when he got old, he looked like a bear.

The daughter stepped back onto the porch. There were the bottoms of two cane chairs tilted against the clapboard but she declined to take a seat. She stepped out about ten feet from the house as if it took that much space to clear the odor. Then she had spoken her piece.

"If you don't have any pride I have and I know my duty and I was raised to do it. My mother raised me to do it if you didn't. She was from plain people but not the kind that likes to settle in with niggers."

At that point the old Negro roused up and slid out the door, a doubled-up shadow which Tanner just caught sight of gliding away.

She had shamed him. He shouted so they both could

— Вы-то конечно, — отозвался первый ее голос. — Да вы никогда и не были эгоисткой. Вы ведь всегда заботитесь о людях.

— Стараюсь по крайней мере, — подтвердил второй ее голос.

На мгновение он прижал голову к спинке кресла, так что шляпа съехала ему на глаза. Он вырастил троих парней и ее. Парней уже нет: двоих унесла война, третий куда-то сгинул, и осталась только она — замужняя и бездетная цаца из Нью-Йорка, — и она сразу решила увезти его с собой, когда приехала и увидела, как он живет. Она просунула голову в дверь лачуги и с секунду бесстрастно глядела внутрь. Потом вдруг взвизгнула и отскочила назад.

— Что там на полу?

— Коулмен, — сказал он.

Старый негр, свернувшись на соломенном тюфяке, спал у изножья Тэннеровой кровати — вонючий кожистый мешок с костями, по форме отдаленно напоминающий человека. В молодости Коулмен был похож на медведя: состарившись, он стал походить на обезьяну. С Тэннером все получилось наоборот: в молодости он был похож на обезьяну, а состарившись, стал походить на медведя.

Дочь отступила подальше от двери. К стене лачуги, сколоченной из горбылей, были прислонены сиденья от двух стульев, но дочь не остановилась, не захотела присесть. Она спустилась с крыльца и отошла шагов на десять — как будто ближе она задышалась от вони. И только после этого дочь сказала свое слово:

— Если у тебя нет гордости, она есть у меня, я знаю свой долг — меня так воспитали, — и я его выполняю. Меня мама так воспитала. Она была хоть из простых, да не поселилась бы вместе с ниггером.

В этот момент старый негр проснулся и выскользнул за дверь — Тэннер едва его заметил: скрюченная тень, исчезающая вдали.

Дочь его опозорила. Поэтому он крикнул — так, чтобы негру тоже было слышно:

hear. "Who you think cooks? Who you think cuts my firewood and empties my slops? He's paroled to me. That no-good scoundrel has been on my hands for thirty years. He ain't a bad nigger."

She was unimpressed. "Whose shack is this anyway?" she had asked. "Yours or his?"

"Him and me built it," he said. "You go on back up there. I wouldn't come with you for no million dollars or no sack of salt."

"It looks like him and you built it. Whose land is it on?"

"Some people that live in Florida," he said evasively. He had known then that it was land up for sale but he thought it was too sorry for anyone to buy. That same afternoon he had found out different. He had found out in time to go back with her. If he had found out a day later, he might still be there, squatting on the doctor's land.

When he saw the brown porpoise-shaped figure striding across the field that afternoon, he had known at once what had happened; no one had to tell him. If that nigger had owned the whole world except for one runty rutted peafield and he acquired it, he would walk across it that way, beating the weeds aside, his thick neck swelled, his stomach a throne for his gold watch and chain. Doctor Foley. He was only part black. The rest was Indian and white.

He was everything to the niggers—druggist and undertaker and general counsel and real estate man and sometimes he got the evil eye off them and sometimes he put it on. Be prepared, he said to himself, watching him approach, to take something off him, nigger though he be. Be prepared, because you ain't got a thing to hold up to him but the skin you come in, and that's no more use to you now than what a snake would shed. You don't have a chance with the government against you.

— А кто мне, по-твоему, готовит еду? Кто рубит дрова и все здесь вычищает? Он у меня вроде как на поручках, понимаешь? Этот висельник сам предался мне в руки — тридцать лет назад. Но вообще-то он ничего.

Дочь не обратила на его слова внимания.

— Чья это хоть лачуга? Твоя или его?

— Он да я, мы ее сами построили. А ты отправляйся откуда приехала. Да я и за миллион с тобой не поехал бы! Да ни за какие коврижки!

— Оно и видно, что сами, — сказала она. — А на чьей земле?

— Хозяева во Флориде, — сказал Тэннер уклончиво. Земля продавалась, и он давно об этом слышал, но надеялся, что никто ее, такую тощую, не купит. В тот же вечер он узнал, что не тут-то было. Узнал как раз вовремя, чтобы согласиться уехать. Узнай он об этом хоть на день позже, может быть, он сейчас бы жил там, дома, — правда, на птичьих правах, потому что землю-то купили.

Едва увидев эту бесплечую фигуру, уверенно плывущую в зарослях сорняков, — точь-в-точь буро-коричневая морская свинья, — он сразу все понял, без всяких объяснений. Если бы этот ниггер владел всем миром, кроме клочка кочковатого горохового поля, на котором они с Коулменом построили хибару, а теперь купил и его, он шел бы именно так: по-хозяйски раздвигая заросли сорняков, набычив толстую шею и выставив вперед брюхо — трон для золотых часов и цепки. Доктор Фоули. Цветной. Но не чистокровный негр. В нем перемешались и белые, и черные, и индейцы.

Для негров чуть ли не бог — целитель и гробовщик, советник по всем делам и хозяин земли, — он мог даже сглазить или избавить от сглаза. Ну, подумал Тэннер, теперь не зевай, хоть чего-нибудь с него да урви, даром что он ниггер. Не зевай — ведь у тебя против него что? Только белая шкура, в которой ты родился. Так тебе от нее проку, как от слинявшей змеиной кожи. А попрешь против властей — пожалуй, спустят и шкуру.

He was sitting on the porch in the piece of straight chair tilted against the shack. "Good evening Foley," he said and nodded as the doctor came up and stopped short at the edge of the clearing, as if he had only just that minute seen him though it was plain he had sighted him as he crossed the field.

"I be out here to look at my property," the doctor said. "Good evening." His voice was quick and high.

Ain't been your property long, he said to himself. "I seen you coming," he said.

"I acquired this here recently," the doctor said and proceeded without looking at him again to walk around to one side of the shack. In a moment he came back and stopped in front of him. Then he stepped boldly to the door of the shack and put his head in. Coleman was in there that time too, asleep. He looked for a moment and then turned aside. "I know that nigger," he said. "Coleman Parrum—how long does it take him to sleep off that stump liquor you all make?"

Tanner took hold of the knobs on the chair bottom and held them hard. "This shack ain't in your property. Only on it, by my mistake," he said.

The doctor removed his cigar momentarily from his mouth. "It ain't my mis-take," he said and smiled.

He had only sat there, looking ahead.

"It don't pay to make this kind of mis-take," the doctor said.

"I never found nothing that paid yet," he muttered.

"Everything pays," the Negro said, "if you knows how to make it," and he remained there smiling, looking the squatter up and down. Then he turned and went around the other side of the shack. There was a silence. He was looking for the still.

Then would have been the time to kill him. There was a gun inside the shack and he could have done it as easy as not, but, from childhood, he had been weakened for that kind of violence by the fear of hell. He had never killed one,

Он сидел возле двери, на сиденье от стула, наклонно прислоненном к стене хибары.

— Добрый день, Фоули, — сказал он и кивнул, когда негр, приблизившись, внезапно остановился, будто только сейчас вдруг заметил Тэннера, хотя было ясно, что он давно его увидел.

— Осматриваю свое хозяйство, — сказал негр. — Добрый день. — Он произносил слова фальцетной скороговоркой.

Без году неделя оно твое, подумал Тэннер.

— А я смотрю, кто-то идет, — сказал он.

— Я как раз на днях все это купил, — сказал негр и, не глядя больше на Тэннера, ушел за хибару. Но сразу же вернулся и остановился прямо перед ним. Потом шагнул к двери и нахально заглянул внутрь. Коулмен и в этот раз спал на своем тюфяке. Через секунду доктор обернулся к Тэннеру.

— Знаю я этого черного, — сказал он. — Коулмен Паррум. Когда он встанет? Сколько ему надо, чтобы проспать после пойки, которое вы тут гоните?

Тэннер изо всех сил вцепился в сиденье стула.

— А этот дом, между прочим, мой, тут только земля не моя. Просто накладка вышла, — сказал он.

На мгновение негр вынул изо рта сигару.

— Да, накладно выходит, — сказал он и ухмыльнулся.

Тэннер все сидел, глядя прямо перед собой.

— Только вот внакладе-то не я, — сказал негр.

— А я вечно оставался внакладе, — пробормотал Тэннер.

— А так всегда, — сказал негр, — один внакладе, другой в выгоде. — Он стоял перед Тэннером, слегка ухмыляясь и оглядывая его с головы до ног. Потом опять зашел за хибару — с другой стороны. Наступила тишина. Доктор искал самогонный аппарат.

Тут бы его и убить. Ружье стояло в хижине, и Тэннер запросто мог пристрелить этого ниггера, но он еще ни разу на такое не отважился, потому что боялся угодить в ад. За всю свою жизнь он не убил ни одного, он знал,

he had always handled them with his wits and with luck. He was known to have a way with niggers. There was an art to handling them. The secret of handling a nigger was to show him his brains didn't have a chance against yours; then he would jump on your back and know he had a good thing there for life. He had had Coleman on his back for thirty years.

Tanner had first seen Coleman when he was working six of them at a saw mill in the middle of a pine forest fifteen miles from nowhere. They were as sorry a crew as he had worked, the kind that on Monday they didn't show up. What was in the air had reached them. They thought there was a new Lincoln elected who was going to abolish work. He managed them with a very sharp penknife. He had had something wrong with his kidney then that made his hands shake and he had taken to whittling to force that waste motion out of sight. He did not intend them to see that his hands shook of their own accord and he did not intend to see it himself or to countenance it. The knife had moved constantly, violently, in his quaking hands and here and there small crude figures—that he never looked at again and could not have said what they were if he had—dropped to the ground. The Negroes picked them up and took them home; there was not much time between them and darkest Africa. The knife glittered constantly in his hands. More than once he had stopped short and said in an off-hand voice to some half-reclining, head-averted Negro, "Nigger, this knife is in my hand now but if you don't quit wasting my time and money, it'll be in your gut shortly." And the Negro would begin to rise—slowly, but he would be in the act—before the sentence was completed.

A large black loose-jointed Negro, twice his own size, had begun hanging around the edge of the saw mill, watching the others work and when he was not watching,

как с ними управляться и без этого: ему вполне хватало его умения и везения. Ведь управляться с ними — особое искусство. Чтобы управиться с ниггером, надо дать ему почувствовать, что его мозги никуда против твоих, и тогда он навеки у тебя в руках, тогда он враз поймет: с тобой не пропадешь. Вот и Коулмен сам предался ему в руки; это случилось тридцать лет назад.

Впервые они встретились, Тэннер и Коулмен, когда у Тэннера под началом было шестеро ниггеров: они работали на лесопилке, в глухоманном бору — сам черт ногу сломит, пока туда доберется. Бригадка подобралась — надо б хуже, да некуда, к понедельнику его работнички проспаться не успевали. Ниггеры уже в то время что-то учуяли. Подступали выборы, и они надеялись, что скоро появится новый Линкольн, который вообще всякую работу отменит. Тэннеру удавалось держать их в узде с помощью острого перочинного ножа. У него уже и тогда было неладно с почками, и, чтобы ниггеры не заметили его трясущихся рук, он все время строгал кусок коры или щепку. Да и сам он не желал замечать эту дрожь, а считаться со своими хвоями и подавно не собирался. Нож кромсал древесину непрерывно, яростно, и время от времени грубо выструганные уродцы, на которых он сам никогда не смотрел, а посмотрев, не понял бы, что они такое, падали на землю. Негры подбирали их и уносили домой: между этими людьми и их древними предками, жившими когда-то в Африке, разницы почти не было. Нож непрерывно поблескивал у него в руках, и частенько, вплотную подойдя к негру, который лежал, облокотившись на пень, и вполглаза следил за приближающимся хозяином, Тэннер говорил мимоходом: «Ниггер! Этот нож пока у меня в руке, но, если ты будешь разбазаривать мое время, он окажется у тебя в кишках. Понял?» — И негр начинал нехотя подыматься — нехотя, но раньше, чем он заканчивал фразу.

Вокруг лесопилки повадился слоняться здоровенный, совершенно черный, с ленивой силой в движениях негр, ростом чуть ли не вдвое выше самого Тэннера; иногда он наблюдал, как другие работают, а иногда про-

sleeping, in full view of them, sprawled like a gigantic bear on his back. "Who is that?" he had asked. "If he wants to work, tell him to come here. If he don't, tell him to go. No idlers are going to hang around here."

None of them knew who he was. They knew he didn't want to work. They knew nothing else, not where he had come from, nor why, though he was probably brother to one, cousin to all of them. He had ignored him for a day; against the six of them he was one yellow-faced scrawny white man with shaky hands. He was willing to wait for trouble, but not forever. The next day the stranger came again. After the six Tanner worked had seen the idler there for half the morning, they quit and began to eat, a full thirty minutes before noon. He had not risked ordering them up. He had gone to the source of the trouble.

The stranger was leaning against a tree on the edge of the clearing, watching with half-closed eyes. The insolence on his face barely covered the wariness behind it. His look said, this ain't much of a white man so why he come on so big, what he fixing to do?

He had meant to say, "Nigger, this knife is in my hand now but if you ain't out of my sight..." but as he drew closer he changed his mind. The Negro's eyes were small and bloodshot. Tanner supposed there was a knife on him somewhere that he would as soon use as not. His own penknife moved, directed solely by some intruding intelligence that worked in his hands. He had no idea what he was carving, but when he reached the Negro, he had already made two holes the size of half dollars in the piece of bark.

The Negro's gaze fell on his hands and was held. His jaw slackened. His eyes did not move from the knife tearing recklessly around the bark. He watched as if he saw an invisible power working on the wood.

сто дрых у всех на виду, напоминая чудовищного черного медведя.

— Это кто? — спросил Тэннер. — Если он хочет работать, пусть подойдет, а нет — пусть проваливает. Бездельники у меня тут слоняться не будут.

Они не знали, кто он. Они знали одно: работать этот шатун явно не хочет. Ничего другого они знать не желали: ни откуда он, ни зачем болтается по лесу, хотя, возможно, он приходился кому-то из них братом, а может, он им всем был двоюродным дядей. В первый день Тэннер не обращал на него внимания — один тощий, пожелтевший от болезни белый с трясущимися руками против шестерых черных. Он не хотел торопить беду, но и ждать без конца не мог. На следующий день чужак пришел снова. Его шестерка все поглядывала на пришедшего бездельника, а когда до обеда осталось полных тридцать минут, они бросили работу и принялись жрать. Он не решился их одернуть. Он понял, что надо вырвать корень беды.

Чужак стоял на опушке, привалившись к дереву, наблюдая за Тэннером из-под полуопущенных век. Сквозь наглость в его лице проглядывала настороженность. Весь его вид, казалось, говорил, что, мол, этот белый — человечешка не ахти, но почему он здесь за главного и что у него на уме?

Он думал сказать: «Ниггер! Этот нож пока у меня в руке, но если ты не убереешься...» — да, подойдя ближе, раздумал. У негра были красные заплавленные глазки, и если он носил с собой нож, то наверняка не для забавы. Перочинный ножик Тэннера непрерывно двигался, но он орудовал им бессознательно: действовали только руки. Однако, когда он вплотную подошел к негру, в куске коры, который он строгал, были проделаны две дырки, каждая величиной с пятидесятицентовую монету.

Негр глянул на его руки — и застыл, разинув рот. Казалось, что он не может отвести взгляда от ножа, яростно кромсающего кусочек коры. Он смотрел так, будто увидел незримую силу, которая направляла руки Тэннера.

He looked himself then and, astonished, saw the connected rims of a pair of spectacles.

He held them away from him and looked through the holes past a pike of shavings and on into the woods to the edge of the pen where they kept their mules.

"You can't see so good, can you, boy?" he said and began scraping the ground with his foot to turn up a piece of wire. He picked up a small piece of haywire; in a minute he found another, shorter piece and picked that up. He began to attach these to the bark. He was in no hurry now than he knew what he was doing. When the spectacles were finished, he handed them to the Negro. "Put these on," he said. "I hate to see anybody can't see good."

There was an instant when the Negro might have done one thing or another, might have taken the glasses and crushed them in his hand or grabbed the knife and turned it on him. He saw the exact instant in the muddy liquor-swollen eyes when the pleasure of having a knife in this white man's gut was balanced against something else, he could not tell what.

The Negro reached for the glasses. He attached the bows carefully behind his ears and looked forth. He peered this way and that with exaggerated solemnity. And then he looked directly at Tanner and grinned, or grimaced, Tanner could not tell which, but he had an instant's sensation of seeing before him a negative image of himself, as if clownishness and captivity had been their common lot. The vision failed him before he could decipher it.

"Preacher," he said, "what you hanging around here for?" He picked up another piece of bark and began, without looking at it, to carve again. "This ain't Sunday."

"This here ain't Sunday?" the Negro said.

"This is Friday," he said. "That's the way it is with you preachers—drunk all week so you don't know when Sunday is. What you see through those glasses?"

"See a man."

"What kind of a man?"

Тогда Тэннер сам опустил глаза — и удивился не меньше негра: он держал в руках оправу для очков.

Он поднес ее к глазам и посмотрел сквозь дырки — на кучу стружек, на сосны за вырубкой, на загон, в котором стояли их мулы.

— Так ты, парень, плоховато видишь? — спросил он и стал разгребать землю носком ботинка. Потом нагнулся, поднял обломок проволоки, нашел другой, чуть покорооче, поднял и его, а потом начал спокойно прилаживать их к оправе. Теперь, зная, что делать, он не спешил. Когда очки были готовы, он протянул их негру. — Надень-ка эту штуку, парень, — сказал он. — Не нравится мне, когда кто-нибудь плохо видит.

Какое-то мгновение негр колебался: он мог вырвать очки и просто раздавить их, мог выхватить нож и ткнуть ему под ребро. Тэннер ясно уловил эту мгновенную нерешительность, когда в мутных, воспаленных с перепоя глазах негра читалось яростное желание выпустить белому кишки, борющееся с чем-то другим, он так и не понял с чем.

Все же негр потянулся за очками. Он аккуратно приладил дужки к ушам и глянул сквозь дырки — в одну сторону, в другую — с необычайной торжественностью. А потом посмотрел на Тэннера, не то ухмыльнувшись, не то оскалившись — Тэннер не понял смысла его гримасы, — но вдруг ощутил, всего лишь на секунду, что перед ним его двойник, только в черном варианте, будто шутовство и рабство были их общей долей. Но ощущение сразу развеялось, и он не успел его осмыслить.

— Преподобный, — сказал он, — ты зачем тут околачиваешься? — Он снова поднял кусочек коры и стал не глядя кромсать его ножом. — Ведь сегодня не воскресенье.

— Не воскресенье? — сказал негр.

— Пятница, — сказал он. — Так оно с вами, преподобными, и получается: глядишь, за пьянством воскресенье и проморгали. Ну а в очки тебе что теперь видать?

— Человека видать.

— Какого человека?

"See the man make these yer glasses."

"Is he white or black?"

"He white!" the Negro said as if only at that moment was his vision sufficiently improved to detect it. "Yessuh, he white!" he said.

"Well, you treat him like he was white," Tanner said. "What's your name?"

"Name Coleman," the Negro said.

And he had not got rid of Coleman since. You make a monkey out of one of them and he jumps on your back and stays there for life, but let one make a monkey out of you and all you can do is kill him or disappear. And he was not going to hell for killing a nigger. Behind the shack he heard the doctor kick over a bucket. He sat and waited.

In a moment the doctor appeared again, beating his way around the other side of the house, whacking at scattered clumps of Johnson grass with his cane. He stopped in the middle of the yard, about where that morning the daughter had delivered her ultimatum.

"You don't belong here," he began. "I could have you prosecuted."

Tanner remained there, dumb, staring across the field.

"Where's your still?" the doctor asked.

"If it's a still around here, it don't belong to me," he said and shut his mouth tight.

The Negro laughed softly. "Down on your luck, ain't you?" he murmured. "Didn't you used to own a little piece of land over across the river and lost it?"

He had continued to study the woods ahead.

"If you want to run the still for me, that's one thing," the doctor said. "If you don't, you might as well had be packing up."

"I don't have to work for you," he said. "The government ain't got around yet to forcing the white folks to work for the colored."

The doctor polished the stone in his ring with the ball of his thumb. "I don't like the government no bettern you," he

— Человека, чьи очки.

— Он белый или черный?

— Белый! — закричал негр, словно он только что прозрел и все вдруг увидел. — Во-во, сэр, он белый!

— Ну так ты и почитай его, как если он белый, — сказал Тэннер. — Как тебя зовут?

— Коулмен зовут, — сказал негр.

И вот тридцать лет, до самого отъезда к дочери, Тэннер не мог сбить Коулмена с рук: тот предался ему навеки, шут гороховый. Надо только сделать из ниггера шута — и он сам навеки предастся тебе в руки, но зато уже если он сделает шута из тебя — тогда или убей его, или смывайся. А он не хотел угодить в лапы к дьяволу за убийство ниггера. Он слышал, как за хибарой доктор пнул ведро. Он сидел и ждал.

Через секунду доктор появился опять — пробрался сквозь сорняки с другой стороны хижины, сшибая тростью метелки дикого проса. Он остановился шагах в десяти от крыльца, примерно на том же месте, где утром стояла дочь.

— Кое-кто живет здесь на птичьих правах, — сказал доктор, — и его можно притянуть к ответу.

Тэннер, не отвечая, не шевелясь, смотрел в поле.

— Так где самогонный аппарат? — спросил доктор.

— Если он тут и есть, так все равно он не мой, — сказал Тэннер и умолк, намертво закрыв рот.

Доктор негромко рассмеялся.

— А времена-то, я смотрю, изменились, — пробормотал он. — Помнится, у нас было вроде немного землицы — по-за речкой, да теперь, видать, сплыло, а?

Тэннер все так же, не отрываясь, глядел в поле.

— Если кто согласен гнать для меня самогон, — сказал доктор, — тогда оно другое, конечно, дело. А нет — так можно и вещички собирать.

— Я не обязан работать на цветных, — сказал Тэннер. — Пока еще власти до такого не докатились, чтобы заставлять белых работать на цветных.

Доктор потер пальцем камень на своем перстне.

— Власти, они и мне не по нутру, — сказал он. — Ну,

said. "Where you going instead? You going to the city and get you a soot of rooms at the Biltmo' Hotel?"

Tanner said nothing.

"The day coming," the doctor said, "when the white folks, IS going to be working for the colored and you might well to git ahead of the crowd."

"That day ain't coming for me," Tanner said shortly.

"Done come for you," the doctor said. "Ain't come for the rest of them."

Tanner's gaze drove on past the farthest blue edge of the tree line into the pale empty afternoon sky. "I got a daughter in the north," he said. "I don't have to work for you."

The doctor took his watch from his watch pocket and looked at it and put it back. He gazed for a moment at the back of his hands. He appeared to have measured and to know secretly the time it would take everything to change finally upside down. "She don't want no old daddy like you," he said. "Maybe she say she do, but that ain't likely. Even if you rich," he said, "they don't want you. They got they own ideas. The black ones they rares and they pitches. I made mine," he said, "and I ain't done none of that." He looked again at Tanner. "I be back here next week," he said, "and if you still here, I know you going to work for me." He remained there a moment, rocking on his heels, waiting for some answer. Finally he turned and started beating his way back through the overgrown path.

Tanner had continued to look across the field as if his spirit had been sucked out of him into the woods and nothing was left on the chair but a shell. If he had known it was a question of this—sitting here looking out of this window all day in this no-place, or just running a still for a nigger, he would have run the still for the nigger. He would have been a nigger's white nigger any day. Behind him he heard the daughter come in from the kitchen. His heart accelerated but after a second he heard her plump

да власти там, не власти, а деваться-то нам некуда. Можно, конечно, в город поехать жить, в Гранатель, и снять там люкс.

Тэннер молчал.

— Да ведь он уже на подходе, этот день, — сказал доктор, — когда белые станут работать на цветных, а кому-то всегда надо вперед других начинать.

— Для меня не на подходе, — отрезал Тэннер.

— Ну, значит, уже настал, — сказал доктор. — А для всех других пока еще не настал.

Взгляд Тэннера скользил вдоль синей кромки лесов, отчеркнувших выцветшее слепополуденное небо.

— У меня есть дочь на Севере, — сказал он. — Мне не придется работать на цветных.

Доктор вынул из кармана часы, посмотрел на них и сунул обратно в карман. Потом с секунду глядел на свои ногти. Казалось, у него было точно подсчитано, сколько надо времени, чтобы все переиначилось.

— А дочке, ей старый папаша ни к чему, что бы она об этом ни толковала, — сказал он. — Ей даже богатый папаша ни к чему. У дочек, у них свои собственные расчеты. Другой бы черный на моем месте вызверился, — сказал он, — ну, да я-то свое уже нажил. И я никогда ни на кого не накидывался. Могу подождать. — Он опять взглянул на Тэннера. — Я приду через неделю. И если самогонный аппарат будет работать — значит, мы обо всем договорились, — сказал он. Стоя перед Тэннером и слегка покачиваясь с носка на пятку, негр немного подождал ответа, потом повернулся и пошел прочь, продаваясь сквозь разросшуюся на тропинке траву.

Тэннер безжизненно смотрел в окно, как будто пустое выцветшее небо всосало в себя вместе с его пристальным взглядом и его жизнь, оставив лишь мертвую оболочку. Если бы сейчас ему предложили решить: сидеть день-деньской у окна в этой дыре или — на выбор — гнать самогон для ниггера, он бы согласился гнать самогон для ниггера. Он бы, не задумываясь, стал белым ниггером у ниггера. Дочь вернулась в комнату. У него забилося сердце, но через секунду он услышал, как

herself down on the sofa. She was not yet ready to go. He did not turn and look at her.

She sat there silently a few moments. Then she began. "The trouble with you is," she said, "you sit in front of that window all the time where there's nothing to look out at. You need some inspiration and an out-let. If you would let me pull your chair around to look at the TV, you would quit thinking about morbid stuff, death and hell and judgement. My Lord."

"The Judgement is coming," he muttered. "The sheep'll be separated from the goats. Them that kept their promises from them that didn't. Them that did the best they could with what they had from them that didn't. Them that honored their father and their mother from them that cursed them. Them that..."

She heaved a mammoth sigh that all but drowned him out. "What's the use in me wasting my good breath?" she asked. She rose and went back in the kitchen and began knocking things about.

She was so high and mighty! At home he had been living in a shack but there was at least air around it. He could put his feet on the ground. Here she didn't even live in a house. She lived in a pigeon-butch of a building, with all stripes of foreigner, all of them twisted in the tongue. It was no place for a sane man. The first morning here she had taken him sightseeing and he had seen in fifteen minutes exactly how it was. He had not been out of the apartment since. He never wanted to set foot again on the underground railroad or the steps that moved under you while you stood still or any elevator to the thirty-fourth floor. When he was safely back in the apartment again, he had imagined going over it with Coleman. He had to turn his head every few seconds to make sure Coleman was behind him. Keep to the inside or these people'll knock you down, keep right behind me or you'll get left, keep your hat

она плюхнулась на диван. Значит, она еще не собирается уходить. Он не обернулся, не посмотрел на нее.

Некоторое время она сидела молча. Потом начала:

— Вся беда твоя в том, — сказала она, — что ты как уставишься спозаранку в окошко, так до ночи и сидишь. А на что там смотреть? Тебе нужно отвлечься, набраться впечатлений. Давай я поверну твое кресло к телевизору, чтоб ты хоть на минуту забыл эту мертвечину — смерть, адские муки, божье возмездие... О господи!

— День божьего суда близится, — пробормотал он. — Агнцы будут отделены от козлищ. Те, кто выполнял обещания, — от отступников. Те, кто не оскудевал в благих деяниях, — от грешников. Те, кто почитал отца своего и мать, — от тех, кто злословил их. Те...

Она вздохнула — так тяжело и громко, что почти заглушила его бормотанье.

— С тобой толковать — только слова зря тратить, — сказала она, и ушла на кухню, и стала с остервенением греметь кастрюлями.

Ну и важная же птица — просто деваться некуда! Там, у себя, он хоть и жил в хибаре, так зато мог дышать. И мог ходить по земле. А она здесь даже и живет — не в доме. Понатыкали в небо голубятен — и живут, куда ни сунешься, чужак на чужаке, и каждый несет свою тарабарскую околесицу. Нормальному человеку в такой дыре не выжить. Он понял это в первые же пятнадцать минут, когда она повела его осматривать город — на следующее утро после приезда. И с тех пор он больше уж не выходил из квартиры. Все эти лифты до тридцать пятых этажей, самодвижущиеся лестницы, подземные железные дороги — ему даже думать о них было тошно. В тот раз, благополучно добравшись до дому, он представил себе, что привез сюда Коулмена и вот они отправились осматривать город. Конечно же, ему пришлось непрерывно оглядываться — ведь Коулмен мог в любую минуту отстать. Держись-ка поближе к домам, говорил он, а то эти люди враз тебя затопчут, держись-ка поближе ко мне, говорил он, а то потеряешься,

on, you damn idiot, he had said, and Coleman had come on with his bent running shamble, panting and muttering, What we doing here? Where you get this fool idea coming here?

I come to show you it was no kind of place. Now you know you were well off where you were.

I knowed it before, Coleman said. Was you didn't know it.

When he had been here a week, he had got a postcard from Coleman that had been written for him by Hooten at the railroad station. It was written in green ink and said, "This is Coleman—X—howyou boss." Under it Hooten had written from himself, "Quit frequenting all those nitespots and come on home, you scoundrel, yours truly. W. P. Hooten." He had sent Coleman a card in return, care of Hooten, that said, "This place is alrite if you like it. Yours truly, W. T. Tanner." Since the daughter had to mail the card, he had not put on it that he was returning as soon as his pension check came. He had not intended to tell her but to leave her a note. When the check came, he would hire himself a taxi to the bus station and be on his way. And it would have made her as happy as it made him. She had found his company dour and her duty irksome. If he had sneaked out, she would have had the pleasure of having tried to do it and to top that off, the pleasure of his ingratitude.

As for him, he would have returned to squat on the doctor's land and to take his orders from a nigger who chewed ten-cent cigars. And to think less about it than formerly. Instead he had been done in by a nigger actor, or one who called himself an actor. He didn't believe the nigger was any actor.

There were two apartments on each floor of the building. He had been with the daughter three weeks when the people in the next hutch moved out. He had stood in the hall and watched the moving out and the next day he had watched a moving-in. The hall was narrow and dark and he

да чертов же идиот, да не сдергивай ты все время шляпу, говорил он, а Коулмен, скрючившись, плелся сзади, одышливо бормоча: «Ну на кой мы здесь ходим? Какого черта мы сюда притащились?»

Я хочу, чтобы ты сам увидел эту дыру. Чтобы ты знал, как хорошо ты жил там, где жил.

Я-то знал, бормотал Коулмен. Это ты не знал.

Через неделю он получил от Коулмена открытку, написанную Хутеном с железнодорожной станции. Она была написана зелеными чернилами, и в ней говорилось: «Отписывает Коулмен — как ты там, хозяин». Ниже Хутен прибавил от себя: «Ты, висельник, возвращайся домой, хватит околачиваться по злачным местам, всегда твой У. Т. Хутен». Он отправил в ответ открытку «Хутену для Коулмена», в которой говорилось: «Это место ничего — кому такие нравятся. Всегда твой Т. С. Тэннер». Открытку он отдал дочери и поэтому не написал, что собирается вернуться — как только очередной раз получит пенсию. Он решил, что не будет с ней ничего обсуждать, а просто, уходя, оставит записку. Получив пенсию, он выйдет на улицу, наймет первое попавшееся такси, доберется до автобусной станции — и в путь. Если бы он уехал, было бы лучше им обоим. Ее раздражало его всегдашнее угрюмство, а свой дочерний долг она несла как тяжкий крест. Сумей он улизнуть — она обрадовалась бы вдвойне: ведь ей было бы не в чем себя упрекнуть, а он еще и неблагодарным бы оказался.

Ну а он — он возвратился бы восвояси, чтобы жить хоть и на птичьих правах, да дома. Он стал бы работать на черного доктора, насквозь провонявшего дешевыми сигарами. И плевать ему, на кого работать, лишь бы дома. Но его чуть не угробил ниггер-актер, а вернее, ниггер, назвавший себя актером. Тэннер-то ему, разумеется, не поверил.

В том огромном курятнике, где поселилась его дочь, было по две квартиры на каждом этаже. И вот, когда он прожил у дочери три недели, жильцы из соседней квартиры уехали. Он видел, как грузчики выносили мебель, а на завтра в квартиру уже въезжали другие. Площадка

stood in the corner out of the way, offering only a suggestion every now and then to the movers that would have made their work easier for them if they had paid any attention. The furniture was new and cheap so he decided the people moving in might be a newly married couple and he would just wait around until they came and wish them well. After a while a large Negro in a light blue suit came lunging up the stairs, carrying two canvas suitcases, his head lowered against the strain. Behind him stepped a young tan-skinned woman with bright copper-colored hair. The Negro dropped the suitcases with a thud in front of the door of the next apartment.

"Be careful, Sweetie," the woman said. "My make-up is in there."

It broke upon him then just what was happening.

The Negro was grinning. He took a swipe at one of her hips.

"Quit it," she said, "there's an old guy watching."

They both turned and looked at him.

"Had-do," he said and nodded. Then he turned quickly into his own door.

His daughter was in the kitchen. "Who you think's rented that apartment over there?" he asked, his face alight.

She looked at him suspiciously. "Who?" she muttered.

"A nigger!" he said in a gleeful voice. "A South Alabama nigger if I ever saw one. And got him this high-yeller, high-stepping woman with red hair and they two are going to live next door to you!" He slapped his knee. "Yes siree!" he said. "Damn if they ain't!" It was the first time since coming up here that he had had occasion to laugh.

Her face squared up instantly. "All right now you listen to me," she said. "You keep away from them. Don't you go over there trying to get friendly with him. They ain't the

была темная и очень узкая, но он стоял в сторонке, чтобы не мешаться под ногами, и только изредка давал грузчикам советы, которые могли бы здорово им помочь, если б они не пропускали его слова мимо ушей. Мебель была новая и довольно неприхотливая, поэтому он решил, что новые жильцы, скорее всего, окажутся молодоженами, и вот он тихонько подождет их на лестнице, а когда они придут, пожелает им счастья. Вскоре на лестнице показался негр — здоровый детина в голубом костюме, — он размашисто шагал через несколько ступенек, держа в руках два матерчатых чемодана и от натуги вытянув вперед шею. За ним шла молодая медноволосая женщина со светлой золотисто-коричневой кожей. Остановившись перед дверью соседней квартиры, негр брякнул чемоданы на пол.

— Милый, будь, пожалуйста, поаккуратней, — сказала женщина, — там моя косметика.

И тут Тэннер понял, что происходит.

Негр улыбнулся и шлепнул женщину по заду.

— Перестань, — сказала она, — вон старичок на нас смотрит.

Они оба повернулись и поглядели на Тэннера.

— Привет, — сказал он и легонько кивнул. Потом быстро повернулся и пошел к своей двери.

Дочь была на кухне.

— Знаешь, кто снял соседнюю квартиру? — спросил ее Тэннер с сияющим лицом.

— Кто? — отозвалась она, подозрительно на него глянув.

— Ниггер, — ответил он ликующим голосом. — Из Южной Алабамы, если я что-нибудь понимаю. И с ним рыжеволосая фря, только посветлее, и они поселились рядом с тобой. Чтоб мне провалиться! — Он хлопнул себя по колену. — Так-то вот, дорогуша, — сказал он и засмеялся, в первый раз с тех пор, как уехал из дому.

Ее чуть оплывшее лицо вдруг стало жестким.

— Выговорился? — спросила она. — Теперь послушай меня. Ни в коем случае не пытайся с ними заигрывать, а лучше вообще держись от них подальше. Потому

same around here and I don't want any trouble with niggers, you hear me? If you have to live next to them, just you mind your business and they'll mind theirs. That's the way people were meant to get along in this world. Everybody can get along if they just mind their business. Live and let live." She began to wrinkle her nose like a rabbit, a stupid way she had. "Up here everybody minds their own business and everybody gets along. That's all you have to do."

"I was getting along with niggers before you were born," he said. He went back out into the hall and waited. He was willing to bet the nigger would like to talk to someone who understood him. Twice while he waited, he forgot and in his excitement, spit his tobacco juice against the baseboard. In about twenty minutes, the door of the apartment opened again and the Negro came out. He had put on a tie and a pair of horn-rimmed spectacles and Tanner noticed for the first time that he had a small almost invisible goatee. A real swell. He came on without appearing to see there was anyone else in the hall.

"Haddy, John," Tanner said and nodded, but the Negro brushed past without hearing and went rattling rapidly down the stairs.

Could be deaf and dumb, Tanner thought. He went back into the apartment and sat down but each time he heard a noise in the hall, he got up and went to the door and stuck his head out to see if it might be the Negro. Once in the middle of the afternoon, he caught the Negro's eye just as he was rounding the bend of the stairs again but before he could get out a word, the man was in his own apartment and had slammed the door. He had never known one to move that fast unless the police were after him.

He was standing in the hall early the next morning when the woman came out of her door alone, walking on high gold-painted heels. He wished to bid her good morning or simply to nod but instinct told him to beware.

что здесь они совсем не такие, и я не хочу вляпаться с ниггерами в беду. Раз уж приходится жить рядом с ниггерами, не лезь к ним — тогда и они к тебе не полезут. Да ведь ладно жить только так и можно. Не лезь к другим — будешь ладно жить. Живи сам и другим не мешай. — Она стала по-кроличьи подергивать носом — ее обычная дурацкая гримаса. — Здесь у нас никто не лезет к другим, — сказала она, — и все живут ладно. И от тебя ничего другого не требуется.

— А я ладил с ниггерами, — сказал он дочери, — когда тебя и на свете еще не было. — Он ушел на площадку и принялся ждать. Он-то мог чем угодно поручиться, что ниггеру захочется потолковать с человеком, который по-настоящему его понимает. Дожидаясь, он от волнения два раза забылся и сплюнул табачную жвачку на плинтус. Минут через двадцать дверь открылась и негр снова появился на площадке. Он был при галстукке, в роговых очках, и тут Тэннер впервые заметил его бородку — маленькую, едва заметную, клинышком. Ну и ферт! Негр шел мимо и, казалось, не видел, что на лестнице стоит кто-то еще.

— Привет, Джонни, — сказал Тэннер и кивнул, но негр не обратил на его слова внимания и, стуча каблучками, устремился вниз.

Глухонемой, что ли? — подумал Тэннер. Он вернулся в квартиру и сел у окна, но, заслышав на лестнице чьи-нибудь шаги, вставал, шел в прихожую и высовывался за дверь — посмотреть, не возвращается ли их новый сосед. Один раз, под вечер, он выглянул на площадку, когда негр показался из-за поворота лестницы, но не успел он и рта раскрыть, как негр скрылся в квартире и захлопнул дверь. Тэннер никогда не видел, чтобы люди так бегали — если им не надо было спастись от полиции.

На следующее утро он уже стоял на посту, когда женщина — одна — вышла из квартиры, постукивая высокими золочеными каблучками. Он хотел с ней поздороваться или просто кивнуть, но чутье подсказало ему, что стоит поостеречься. Он не встречал таких жен-

She didn't look like any kind of woman, black or white, he had ever seen before and he remained pressed against the wall, frightened more than anything else, and feigning invisibility.

The woman gave him a flat stare, then turned her head away and stepped wide of him as if she were skirting an open garbage can. He held his breath until she was out of sight. Then he waited patiently for the man.

The Negro came out about eight o'clock.

This time Tanner advanced squarely in his path. "Good morning, Preacher," he said. It had been his experience that if a Negro tended to be sullen, the title usually cleared up his expression.

The Negro stopped abruptly.

"I seen you move in," Tanner said. "I ain't been up here long myself. It ain't much of a place if you ask me. I reckon you wish you were back in South Alabama."

The Negro did not take a step or answer. His eyes began to move. They moved from the top of the black hat, down to the collarless blue shirt, neatly buttoned at the neck, down the faded galluses to the gray trousers and the high-top shoes and up again, very slowly, while some unfathomable dead-cold rage seemed to stiffen and shrink him.

"I thought you might know somewhere around here we could find us a pond, Preacher," Tanner said in a voice growing thinner but still with considerable hope in it.

A seething noise came out of the Negro before he spoke. "I'm not from South Alabama," he said in a breathless wheezing voice. "I'm from New York City. And I'm not no preacher! I'm an actor."

Tanner chortled. "It's a little actor in most preachers, ain't it?" he said and winked. "I reckon you just preach on the side."

"I don't preach!" the Negro cried and rushed past him as if a swarm of bees had suddenly come down on him out of nowhere. He dashed down the stairs and was gone.

щин ни среди белых, ни среди черных и сейчас, растерянный, даже напуганный, стоял, изо всех сил прижимаясь к стене и делая вид, что его тут нет.

Женщина равнодушно скользнула по нему взглядом, отвернулась и обошла его как можно дальше, словно незакрытое помойное ведро. Он перевел дух, только когда она скрылась. А потом стал терпеливо дожидаться мужчину. Негр появился часов в восемь.

На этот раз Тэннер заступил ему дорогу.

— А-а, преподобный, — сказал он. — Привет. — Он по опыту знал, что если негр не в духе, то такое обращение всегда его смягчает.

Негр резко остановился.

— Недавно здесь? — спросил его Тэннер. — Я и сам не здешний. А что, небось хочется к себе в Алабаму?

Негр не шелохнулся, ничего не ответил. Он принялся в упор рассматривать Тэннера. Его взгляд уперся в черную шляпу, двинулся вниз, к синей рубашке без ворота, аккуратно застегнутой на верхнюю пуговку, царапнул вылинявшие бесцветные подтяжки, спустился ниже — к серым брюкам, к сапогам и снова — очень медленно — начал подниматься, мерцая лютой ледяной ненавистью, от которой негр весь подобрался и, казалось, осунулся.

— А я ведь, преподобный, что подумал, — сказал Тэннер, — может, мы где ни то сыщем здесь купель? — К концу фразы его голос порядком осип, и тем не менее в нем все еще слышалась надежда.

Изо рта негра вырвалось пронзительное шипенье. Потом он сказал, задыхаясь от злобы:

— Я не из Южной Алабамы. Я из Нью-Йорка. И я никакой не преподобный. Я актер!

Тэннер хихикнул.

— Ясное дело, — сказал он и подмигнул. — Все вы немножко актеры. А проповедники — это уже в свободное время.

— Никакой я не проповедник! — заорал негр. Он промчался мимо Тэннера, словно спасаясь от ос, неведь откуда появившихся на лестнице, ринулся вниз и мгновенно исчез.

Tanner stood here for some time before he went back in the apartment. The rest of the day he sat in his chair and debated whether he would have one more try at making friends with him. Every time he heard a noise on the stairs he went to the door and looked out, but the Negro did not return until late in the afternoon. Tanner was standing in the hall waiting for him when he reached the top of the stairs. "Good evening, preacher," he said, forgetting that the Negro called himself an actor.

The Negro stopped and gripped the banister rail. A tremor racked him from his head to his crotch. Then he began to come forward slowly. When he was close enough he lunged and grasped Tanner by both shoulders. "I don't take no crap," he whispered, "off no wool-hat red-neck son-of-a-bitch peckerwood old bastard like you." He caught his breath. And then his voice came out in the sound of an exasperation so profound that it rocked on the verge of a laugh. It was high and piercing and weak, "And I'm not no preacher! I'm not even no Christian. I don't believe that crap. There ain't no Jesus and there ain't no God."

The old man felt his heart inside him hard and tough as an oak knot. "And you ain't black," he said. "And I ain't white!"

The Negro slammed him against the wall. He yanked the black hat down over his eyes. Then he grabbed his shirt front and shoved him backwards to his open door and knocked him through it. From the kitchen the daughter saw him blindly hit the edge of the inside hall door and fall reeling into the living room.

For days his tongue appeared to be frozen in his mouth. When it thawed it was twice its normal size and he could not make her understand him. What he wanted to know was if the government check had come because he meant to buy a bus ticket with it and go home. After a few days, he made her understand. "It came," she said, "and it'll just pay the first two weeks' doctor-bill and please tell me how

Тэннер остался на площадке один. Немного погодя он ушел в квартиру и весь день молча просидел у окна, обдумывая, стоит ли попробовать еще раз или уж окончательно махнуть рукой на это знакомство. Но, услышав на лестнице чьи-нибудь шаги, он выглядывал за дверь. Негра все не было. А вечером, когда негр наконец возвратился, Тэннер уже поджидал его на площадке.

— Добрый вечер, преподобный, — сказал он негру, забыв, что тот назвал себя актером.

Негр остановился и вцепился в перила. По его телу прокатилась мгновенная судорога. А потом он медленно двинулся вперед. Подойдя ближе, он рванулся к Тэннеру и схватил его за плечи.

— Ты что ж, белая гнида, — прошипел он, — думаешь, я дам дермить себе мозги такому старому сучьему отродью, как ты? — На миг он замолчал и перевел дыхание. А потом, в выхлесте злобы, его голос сорвался и задребезжал, как хрипатый истеричный хохот. Он звучал пронзительно, сипло и бессильно. — И никакой я не преподобный. Я даже не христианин. Я не верю во все это божье дерьмо. Нету никакого господя, нету Христа!

Сердце старика вдруг тяжело одеревенело.

— И ты не черный, — сказал он. — А я не белый.

Негр с размаху ударил Тэннера об стенку. Дернул вниз его шляпу — она насунулась Тэннеру на глаза. Потом, схватив его за застежку рубахи, поволок к открытой двери и пихнул в квартиру. Из кухни дочь видела, как отец влетел в прихожую, ударился о косяк и уже в комнате рухнул на пол.

Долгие дни его язык, словно застыв, не двигался. А когда он смог им наконец шевелить и попытался разговаривать, дочь ничего не поняла — язык так распух, что Тэннер едва им ворочал. Он хотел спросить, получила ли она его пенсию, потому что собирался купить билет на автобус и уехать домой. Через несколько дней она поняла, чего он хочет.

— Получить-то получила, — сказала она, — но ее хватит, чтобы заплатить доктору только за первые две недели, да и скажи ты мне, пожалуйста, куда ты по-

you're going home when you can't talk or walk or think straight and you got one eye crossed yet? Just please tell me that?"

It had come to him then slowly just what his present situation was. At least he would have to make her understand that he must be sent home to be buried. They could have him shipped back in a refrigerated car so that he would keep for the trip. He didn't want any undertaker up here messing with him. Let them get him off at once and he would come in on the early morning train and they could wire Hooten to get Coleman and Coleman would do the rest; she would not even have to go herself. After a lot of argument, he wrung the promise from her. She would ship him back.

After that he slept peacefully and improved a little. In his dreams he could feel the cold early morning air of home coming in through the cracks of the pine box. He could see Coleman waiting, red-eyed, on the station platform and Hooten standing there with his green eyeshade and black alpaca sleeves. If the old fool had stayed at home where he belonged, Hooten would be thinking, he wouldn't be arriving on the 6:03 in no box. Coleman had turned the borrowed mule and cart so that they could slide the box off the platform onto the open end of the wagon. Everything was ready and the two of them, shut-mouthed, inched the loaded coffin toward the wagon. From inside he began to scratch on the wood. They let go as if it had caught fire.

They stood looking at each other, then at the box.

"That him," Coleman said. "He is there his self."

"Naw," Hooten said, "must be a rat got in there with him."

"That him. This here one of his tricks."

"If it's a rat he might as well stay."

"That him. Git a crowbar."

Hooten went grumbling off and got the crowbar and came back and began to pry open the lid. Even before he had the upper end pried open, Coleman was jumping up

едешь, если ты не можешь ни ходить, ни говорить, ни соображать, а один глаз у тебя все еще косит. Ну куда ты такой поедешь?

И вот постепенно до него дошло, в каком он теперь оказался положении. Тогда он постарался убедить дочь в том, что хотя бы схоронить его надо дома. Ведь они могут отправить его в вагоне-холодильнике и он в нормальном виде будет доставлен до места. Молодчики из здешних похоронных контор его не заполучат — на это он не согласен. Просто его надо будет сразу отправить, и он прибудет домой на утреннем поезде, и надо послать телеграмму Хутену, чтобы тот нашел Коулмена, и Коулмен все сделает; ей даже не придется ехать туда самой. После долгих споров он вырвал у нее обещание. Она сказала, что отправит его в Коринт.

Он стал лучше спать и немного пришел в себя. Во сне он ощущал миссисипский ветерок, подувающий в щели соснового ящика. Ему виделся красноглазый старина Коулмен, стоящий на платформе, а рядом Хутен, с зеленым козырьком и в черных нарукавниках. Если бы старый дурень остался дома, думает, наверно, Хутен, где он прожил всю жизнь, ему бы не пришлось сейчас ехать в ящике. А Коулмен уже, наверно, развернул фургон — интересно, у кого он выпросил мула? — чтобы вдвинуть в него ящик прямо с перрона. Все готово, утренний — 6.03 — уже прошел, и вот они молча наклоняются над гробом и начинают осторожно сдвигать его в фургон. А Тэннер принимается скрести ногтями по крышке. Они отскакивают от гроба, как будто тот вспыхнул.

Они глядят друг на друга, потом — на ящик.

— Это он, — говорит Коулмен.

— Да нет, — говорит Хутен, — должно, крыса забралась в гроб.

— Это он. Это он штуку такую удумал.

— А если это крыса, так пусть там и сидит.

— Это он. Надо ломик.

Хутен, ворча, уходит за ломиком, возвращается и подсовывает ломик под крышку. Передний край крышки чуть-чуть приподымается, а Коулмен уже на-

and down, wheezing and panting from excitement. Tanner gave a thrust upward with both hands and sprang up in the box. "Judgement Day! Judgement Day!" he cried. "Don't you two fools know it's Judgement Day?"

Now he knew exactly what her promises were worth. He would do as well to trust to the note pinned in his coat and to any stranger who found him dead in the street or in the boxcar or wherever. There was nothing to be looked for from her except that she would do things her way. She came out of the kitchen again, holding her hat and coat and rubber boots.

"Now listen," she said, "I have to go to the store. Don't you try to get up and walk around while I'm gone. You've been to the bathroom and you shouldn't have to go again. I don't want to find you on the floor when I get back."

You won't find me at all when you get back, he said to himself. This was the last time he would see her flat dumb face. He felt guilty. She had been good to him and he had been nothing but a nuisance to her.

"Do you want you a glass of milk before I go?" she asked.

"No," he said. Then he drew breath and said, "You got a nice place here. It's a nice part of the country. I'm sorry if I've give you a lot of trouble getting sick. It was my fault trying to be friendly with that nigger." And I'm a damned liar besides, he said to himself to kill the outrageous taste such a statement made in his mouth.

For a moment she stared as if he were losing his mind. Then she seemed to think better of it. "Now don't saying something pleasant like that once in a while make you feel better?" she asked and sat down on the sofa.

His knees itched to unbend. Git on, git on, he fumed silently. Make haste and go.

"It's great to have you here," she said. "I wouldn't have you any other place. My own daddy." She gave him a big

чинает что-то выкрикивать, припрыгивая на месте и задыхаясь от волнения. Тэннер снизу упирается в крышку, она отскакивает — и вот он появляется из ящика.

— Судный день! — кричит он. — Настал Судный день! А вы, два олуха, ничего и не знаете!

И вот теперь он узнал цену ее обещаниям. Уж лучше положиться на свою записку и на любого чужака, который найдет его мертвым — на улице, в товарном вагоне или где он там умрет. А она все сделает, как ей заблагорассудится, ничего другого от нее не дождешься. Она снова на минутку вошла в комнату, неся шляпу, пальто и резиновые сапоги.

— Мне надо в магазин, — сказала она. — А ты не пытайся тут без меня вставать или, не дай бог, ходить, слышишь? В уборной ты был — тебе незачем вставать. А то вернусь и увижу тебя на полу — только этого мне и не хватало.

А ты меня и вовсе не увидишь, подумал он. Последний раз он смотрел на ее лицо — плоское, глупое. Но ему было совестно. Она ведь всегда относилась к нему по-доброму, а он — он всегда ей только досаждал..

— Хочешь, я принесу тебе стакан молока? — спросила она.

— Да нет, — сказал он. Потом вздохнул и сказал: — А у тебя здесь славно. Да и вокруг тут славно. И мне очень жаль, что ты волновалась, когда я приболел. Я ведь сам виноват — не надо было мне заигрывать с этим ниггером. — А я враль треклятый, сказал он себе, чтоб уничтожить прогорклый привкус унижения, оставшийся у него во рту после этих слов.

Она вытаращилась, как будто он окончательно рехнулся. Но потом, видно, решила, что он просто поумнел.

— Понял наконец, что сказать приятное другому, хотя бы только изредка, и самому бывает приятно? — спросила она и уселась на диван.

Ему казалось, что его ноги сейчас уйдут без него. Да не чешишь же ты, молил он ее мысленно. Уходи!

— Я так рада, что ты здесь, — сказала она. — Да где тебе и быть-то, родному отцу? — Она одарила его широ-

smile and hoisted her right leg up and began to pull on her boot. "I wouldn't wish a dog out on a day like this," she said, "but I got to go. You can sit here and hope I don't slip and break my neck." She stamped the booted foot on the floor and then began to tackle the other one.

He turned his eyes to the window. The snow was beginning to stick and freeze to the outside pane. When he looked at her again, she was standing there like a big doll stuffed into its hat and coat. She drew on a pair of green knitted gloves. "Okay," she said, "I'm gone. You sure you don't want anything?"

"No," he said, "go ahead on."

"Well so long then," she said.

He raised the hat enough to reveal a bald palely speckled head. The hall door closed behind her. He began to tremble with excitement. He reached behind him and drew the coat into his lap. When he got it on, he waited until he had stopped panting, then he gripped the arms of the chair and pulled himself up. His body felt like a great heavy bell whose clapper swung from side to side but made no noise. Once up, he remained standing a moment, swaying until he got his balance. A sensation of terror and defeat swept over him. He would never make it. He would never get there dead or alive. He pushed one foot forward and did not fall and his confidence returned. "The Lord is my shepherd," he muttered, "I shall not want." He began moving toward the sofa where he would have support. He reached it. He was on his way.

By the time he got to the door, she would be down the four flights of steps and out of the building. He got past the sofa and crept along by the wall, keeping his hand on it for support. Nobody was going to bury him here. He was as confident as if the woods of home lay at the bottom of the stairs. He reached the front door of the apartment and

кой улыбкой и принялась натягивать резиновый сапог. — Ну и погодка! — сказала она. — Хороший хозяин собаку не выпустит. Да ведь мне-то все равно надо идти за покупками. Будем надеяться, что я не поскользнусь и не сломаю себе шею. А ты тут не вставай. — Она притопнула по полу обутрой ногой и энергично ухватилась за второй сапог.

Он скосил глаза и глянул в окно. Снег налипал на карниз и замерзал. Когда он снова посмотрел на дочь, она уже стояла в пальто и шляпе, напоминая большую неуклюжую куклу. Потом она надела вязанные перчатки.

— Так я ушла, — сказала она. — Тебе и правда ничего не нужно?

— Да нет, спасибо, — сказал он. — Ступай.

— Тогда пока, — сказала она.

На прощание он немного приподнял шляпу, обнажив бледный, в коричневых крапинах череп. Дочь захлопнула входную дверь. От возбуждения его стала бить дрожь. Он потянулся к спинке кресла и стащил пальто на колени. Надев его, немного переждал, отдышался и потом, опираясь о подлокотники, поднялся. Ему почудилось, что он превратился в колокол, бесшумно сотрясаемый раскачивающимся билом. Поднявшись, он немного постоял на месте; его шатало, но постепенно он утвердился на ногах. И тут его охватило отчаяние. Он не сможет. Не доберется. Ни живым, ни мертвым. Он заставил левую ногу сдвинуться с места — и не упал; уверенность вернулась к нему. «Господь пастырь мой, — пробормотал он, — я ни в чем не буду нуждаться». Он двинулся к дивану в поисках опоры. И дошел до него! Путешествие началось.

В конце концов он доберется и до входной двери, а за это время дочь уже спустится по лестнице — четыре марша — и выйдет на улицу. Он проковылял мимо дивана и потащился вдоль стены, для устойчивости придерживаясь за нее рукой. Теперь им не удастся схоронить его здесь. Он был твердо в этом уверен — словно родные леса начинались у подъезда. Он добрался до

opened it and peered into the hall. This was the first time he had looked into it since the actor had knocked him down. It was dank-smelling and empty. The thin piece of linoleum stretched its moldy length to the door of the other apartment, which was closed. "Nigger actor," he said.

The head of the stairs was ten or twelve feet from where he stood and he bent his attention to getting there without creeping around the long way with a hand on the wall. He held his arms a little way out from his sides and pushed forward directly. He was halfway there when all at once his legs disappeared, or felt as if they had. He looked down, bewildered, for they were still there. He fell forward and grasped the banister post with both hands. Hanging there, he gazed for what seemed the longest time he had ever looked at anything down the steep unlighted steps; then he closed his eyes and pitched forward. He landed upside down in the middle of the flight.

He felt presently the tilt of the box as they took it off the train and got it on the baggage wagon. He made no noise yet. The train jarred and slid away. In a moment the baggage wagon was rumbling under him, carrying him back to the station side. He heard footsteps rattling closer and closer to him and he supposed that a crowd was gathering. Wait until they see this, he thought.

"That him," Coleman said, "one of his tricks."

"It's a damn rat in there," Hooten said.

"It's him. Git the crowbar."

In a moment a shaft of greenish light fell on him. He pushed through it and cried in a weak voice, "Judgement Day! Judgement Day! You idiots didn't know it was Judgement Day, did you?"

"Coleman?" he murmured.

The Negro bending over him had a large surly mouth and sullen eyes.

"Ain't any coal man, either," he said. This must be the

двери, ведущей на лестницу, открыл ее и настороженно оглядел площадку — впервые с тех пор, как негр чуть его не убил. Его встретила затхлая сырость и тишина. Тонкая лента полуистлевшего линолеума протянулась к двери соседней квартиры. «Тоже мне актер!» — пробормотал он.

До ступенек было десять или двенадцать футов, и он строго приказал себе двигаться напрямик, а не обходить всю площадку, придерживаясь за стену. Расставив руки в стороны, он побрел прямо к лестнице. Он одолел уже почти половину пути, как вдруг у него напрочь отнялись ноги — ему показалось, что их просто не стало. Он глянул вниз и страшно удивился, потому что ноги были на месте. Он покачнулся и, падая, ухватился за перила. Повиснув на руках, он глядел вниз, на крутую, плохо освещенную лестницу — никогда он так долго ни на что не смотрел, — потом, закрыв глаза, судорожно дернулся вперед. Он грохнулся — головой вниз — в середине лестничного марша.

Теперь он чувствовал, как наклоняется ящик; его спускали из вагона в багажную тележку. Но время еще не настало, и Тэннер вел себя тихо. Состав громыхнул буферами и уехал. Потом задребезжали колеса тележки — Тэннера везли к зданию станции. Он слышал топот ног — все ближе, ближе... и понял, что вокруг ящика собирается народ. Подождите, сейчас вы увидите, подумал он.

— Это он, — сказал Коулмен. — Штуку удумал.

— Да нет, там крыса, чтоб ее, — сказал Хутен.

— Это он. Надо ломик.

Зеленоватый отсвет скользнул по его лицу. Он резко приподнялся — отблеск пропал — и еле слышно выкрикнул: «Судный день! Судный день! Судный день настал! Что, олухи, не знали?»

— Коулмен? — прошептал он.

У наклонившегося над ним негра были мрачные глаза и мясистые, угрюмо сжатые губы.

— Нет здесь никаких Коулменов, старик, — сказал негр.

wrong station, Tanner thought. Those fools put me off too soon. Who is this nigger? It ain't even daylight here.

At the Negro's side was another face, a woman's—pale, topped with a pile of copper-glinting hair and twisted as if she had just stepped in a pile of dung.

"Oh," Tanner said, "it's you."

The actor leaned closer and grasped him by the front of his shirt. "Judgement day," he said in a mocking voice. "Ain't no judgement day, old man. Cept this. Maybe this here judgement day for you."

Tanner tried to catch hold of a banister-spoke to raise himself but his hand grasped air. The two faces, the black one and the pale one, appeared to be wavering. By an effort of will he kept them focused before him while he lifted his hand, as light as a breath, and said in his jauntiest voice, "Help me up, Preacher. I'm on my way home!"

His daughter found him when she came in from the grocery store. His hat had been pulled down over his face and his head and arms thrust between the spokes of the banister; his feet dangled over the stairwell like those of a man in the stocks. She tugged at him frantically and then flew for the police. They cut him out with a saw and said he had been dead about an hour.

She buried him in New York City, but after she had done it she could not sleep at night. Night after night she turned and tossed and very definite lines began to appear in her face, so she had him dug up and shipped the body to Corinth. Now she rests well at night and her good looks have mostly returned.

Видно, это другая станция, подумал Тэннер. Эти олухи сгрузили меня раньше времени. Что это за ниггер? Тут вон и день еще не начинался.

Потом он увидел другое лицо — бледное, с копной ярко-рыжих волос, — искривившееся в брезгливой гримасе.

— Ах вон оно что, — прошептал Тэннер.

Актер нагнулся и ухватил его за рубаху.

— Судный день, говоришь, настал? — спросил он с издевкой. — Не настал, старик. Хотя для тебя-то — пожалуй.

Тэннер потянулся к стойке перил — он хотел приподняться, — но ухватил только воздух. Два лица — черное и рядом с ним светлое — дрожали и расплывались. Он напряг все силы — лица прояснились — и, протянув вверх почти бесплотную руку, сказал негру как можно естественней:

— Помоги-ка мне, преподобный. Я еду домой.

Дочь увидела его, возвращаясь из магазина. Шляпа была насунута ему на глаза, голова и руки — почти до локтей — заклинились между двумя стойками перил, а ноги, как у человека, забитого в колодки, свисали за перила. Она отчаянно дернула его за плечи, ничего не смогла сделать и бросилась в полицию. Полицейские вытащили его, распилив стойки, и сказали, что он умер примерно час назад.

Она похоронила его в Нью-Йорке, но после этого у нее началась бессонница. Ночь за ночью она беспокойно металась в кровати, и на ее лице явственно обозначились морщины. Тогда она обратилась в похоронную контору, Тэннера выкопали и отправили в Коринт. Теперь она спокойно спит по ночам и выглядит почти так же мило, как прежде.

ПОСЛЕСЛОВИЕ КОММЕНТАРИИ

МАЛАЯ ФОРМА И ЕЕ ВЕЛИКАНЫ

...передо мной по земле, на которой много, слишком много пигмеев, прошел настоящий великан, даже если ему удалось как следует лишь два-три шага, соизмеримые с его величием.

У. Ф о л к н е р. О Шервуде Андерсоне.

В 1925 году Б. М. Эйхенбаум опубликовал статью на тему, к которой он ни до, ни после этого не обращался. Статья называлась «О.Генри и теория новеллы» и, как явствует из ее заглавия, была посвящена творчеству знаменитого американского писателя, чьи рассказы в первое десятилетие XX века имели огромный успех у него на родине, где породили множество подражаний, а в двадцатые годы немало позабавили и русскую публику.

Чрезвычайно ловко скроенные новеллы О.Генри с их эффектными, всегда неожиданными (так называемыми «сюрпризными») концовками привлекли внимание ученого, видимо, потому, что в них он увидел великолепную иллюстрацию к законам литературной эволюции, открытым «формалистами». «В истории эволюции каждого жанра, — писал Б. М. Эйхенбаум, — наблюдаются моменты, когда использованный в качестве вполне серьезного или «высокого» жанр перерождается, выступая в комической или в пародийной форме. ...Местные и исторические условия создают, конечно, самые разнообразные вариации, но процесс сам по себе, как своего рода эволюционный закон, сохраняет свое действие: первоначально-серьезная трактовка фабулы с тщательной и детальной мотивировкой уступает место иронии, шутке, пародии; мотивировочные связи ослабевают или обнажаются, как условные, на первый план выступает сам автор, то и дело разрушающий иллюзию подлинности и серьезности; сюжетная конструкция

приобретает характер игры с фабулой, а фабула превращается в загадку или в анекдот»¹.

Именно такую метаморфозу жанра «короткого рассказа» (short story) — жанра, который на всем протяжении XIX века играл в американской литературе особенно важную, ведущую роль и заслужил репутацию национального, — и завершает О.Генри. Со времени своего зарождения в «эскизах» В. Ирвинга, в «гротесках и арабесках» Э. По и вплоть до изощренных экспериментов Г. Джеймса американская сюжетная новелла существовала преимущественно как «высокий», серьезный жанр. И только начиная с Марка Твена, замечает Б. М. Эйхенбаум, она «делает резкий шаг в сторону анекдота, выдвигая рассказчика-юмориста или вводя элементы литературной пародии и иронии. ...Конструктивные приемы намеренно обнажаются в своем чисто формальном значении, мотивировка упрощается, анализ исчезает. На этой основе развиваются новеллы О.Генри, в которых принцип приближения к анекдоту доведен, кажется, до предела»².

Приведя целый ряд ярких примеров, Б. М. Эйхенбаум показывает, что истинным содержанием рассказов писателя часто становится сама литература — «анекдот то и дело превращается в пародию, в игру с формой»; конструкция и приемы намеренно, по-стерниански, обнажаются, «точно Генри прошел сквозь «формальный метод» в России и часто беседовал с Виктором Шкловским». Так, если классическая американская новелла всегда строилась на «сюжетном ударе в конце», то ударные концовки его рассказов уже пародируют эту общепринятую логику жанра: «Это — неожиданность пародийная, трюковая, играющая с литературными навыками читателя, сбивающая его с толку, почти издевающаяся над ним»³.

Однако, согласно закону литературной эволюции,

¹ Эйхенбаум Б. Литература. Теория. Критика. Полемка. Л., 1927. С. 175—176.

² Там же. С. 177.

³ Там же. С. 186, 195, 199.

«пародия — путь к чему-то иному», и потому Б. М. Эйхенбаум предсказывает, что после О. Генри американская новеллистика должна претерпеть существенные изменения. В ней, пишет он, «намечается движение к нравоописательной и психологической новелле, в которой самый материал имеет большее формальное значение, чем конструкция. Внимание направляется на тщательность и полноту мотивировки»¹. Как мы теперь знаем, практика подтвердила предсказание теоретика, и наметившийся в американской новеллистике поворот, который Эйхенбаум скорее угадал, чем засвидетельствовал, действительно вывел ее на новый путь. Собственно говоря, с этого поворота и начинается «настоящий, некалендарный двадцатый век» в литературе США; самый же первый шаг в него сумел сделать Шервуд Андерсон своим новеллистическим циклом «Уайнсбург, Огайо». По словам ирландского писателя Фрэнка О'Коннора, «именно из этой маленькой книжки вышла вся современная американская новелла».

Вспоминая много лет спустя о том, как был написан первый рассказ из цикла «Уайнсбург, Огайо», Андерсон назвал этот день важнейшим, переломным моментом в своей биографии, ибо тогда, и только тогда он, уже автор двух романов, вдруг осознал себя настоящим художником: «Я был болен, подавлен, сломлен судьбой. Я жил тогда в дешевом пансионе; помню, как, поднявшись по ступенькам, я вошел в комнату — вид ее был непригляден. В городе у меня не было родственников и очень мало друзей. В комнате стоял пронизывающий холод, несколько часов назад я узнал, что меня увольняют с работы. ...Я зажег свет и начал писать не отрываясь. И я написал рассказ, не изменив в нем ни слова. ...Я писал, забыв о времени, а когда кончил, то встал из-за стола и вышел на улицу. ...Наверное, прошло несколько часов, прежде чем я, набравшись храбрости, вернулся домой и прочел то, что написал.

Рассказ получился: там было все на месте, все как в

¹ Там же. С. 209.

жизни. Я опустился на стул. ...У меня промелькнула мысль, что мир полон чудес и что одно из них, наверно, скрыто во мне»¹.

Программные слова Андерсона «все как в жизни» не следует понимать буквально, как клятву верности реализму. Недаром сам Андерсон однажды заявил: «Реализм, если имеется в виду жизнеподобие, — это всегда дурное искусство». Когда художник с гордостью произносит: «У меня — все как в жизни» (а нечто подобное произносили многие сотни разных художников в разные времена), по сути дела, он хочет сказать лишь одно: «Не так, как было в искусстве до меня». До Андерсона американская новелла оставалась прежде всего *сюжетной* малой формой, и потому для него принципиальное значение имел отказ от сюжетности — от анекдота с неожиданным поворотом в конце. Если О.Генри обнажал конструкцию, то Андерсон, напротив, делал ее неощутимой, незаметной, возвращаясь на новом витке эволюционной спирали к поэтике раннеромантического «эскиза». Бунт против сюжета, против «сюрпризов» в финале был осознан им как художественная необходимость. В автобиографической книге «История рассказчика» он писал о литературной ситуации начала века: «В ту пору вся американская новеллистика исходила из убеждения, что рассказы непременно должны строиться вокруг сюжета. ...Эти сюжетные рассказы заполняли журналы, на сцене ставились в основном сюжетные пьесы. В беседах с друзьями я называл сюжет ядом, который отравляет новеллистику. Я считал, что нужен не сюжет, а форма, то есть нечто куда более сложное, неопределенное, труднодостижимое»².

Излюбленной формой Андерсона стала короткая психологическая зарисовка, показывающая центрального персонажа — обычного, ничем не выдающегося жителя американской провинции — в такой ситуации, когда в нем вдруг выявляется скрытый не только от по-

¹ Цит. по: Каули М. Дом со многими окнами. М., 1973. С. 112.

² Sh. Anderson. *A Story Teller's Story*. N. Y., 1951. P. 352.

сторонних, но и от самого себя внутренний человек, когда в стертой заурядности обнаруживается неповторимая личность. «Как рассказчик, я пришел к мысли, что истинная история жизни есть лишь история отдельных моментов», — говорил Андерсон, и из подобных историй — вспышек, озарений, прорывов — состоит его главная книга. Так, в рассказе «Сила Божья» случайный взгляд, брошенный добропорядочным, скучным священником в чужое окно, где он видит обнаженные плечи молодой женщины, читающей в постели, внезапно приостанавливает «нормальный» автоматизм его существования; в душе смешного провинциального зануды разверзается бездна; из-под спуда «привычек сознания и поведения» наружу вырываются подавленные вожделения, а вместе с ними — подавленное маловерие. Правда, в конце концов еще одно, ошибочно истолкованное «озарение» возвращает героя на прежнюю стезю, но тем самым он предает себя и, значит, предает Бога в себе, совершает святотатство. Его стерильная, выхолощенная, лишенная любви вера в «силу Божью» ложна, на что указывает символический жест, когда, преодолевая искушение, он разбивает витраж с изображением Христа.

К истории двух «моментов» в жизни священника примыкает рассказ «Учительница», рисующий столь же важный «момент» другой судьбы — судьбы той самой невольной искушительницы, которая на некоторое время, сама того не подозревая, превратила своего соседа в захолустного святого Антония. Оказывается, что и в ее «страстной душе» идет отчаянная борьба между запретными порывами и «привычками сознания», которую не дано увидеть и понять потрясенному красотой ее тела соглядатаю; закрытые друг для друга, две разные внутренние жизни обнаруживают глубинное сходство, иронически отражаясь в своих «двойниках».

Ключевое понятие эстетики Андерсона — это понятие гротеска, введенное им в новелле «Книга о гротескных людях», открывающей «Уайнсбург, Огайо». Главная писательская задача, утверждает он, заключается в

том, чтобы выявить странное, неожиданное, гротескное в будничном, заурядном материале, или, как сказали бы русские формалисты, остранисть его. В этом смысле «гротескны» все его новеллы, обычно строящиеся на подчеркнутых, резких контрастах между видимостью и сущностью, внешним и внутренним, явным и скрытым, комическим и трагическим. Объединенные единым образом рассказчика, отдельные «моменты» складываются в единое целое, между ними возникают смысловые связи и переклички, постоянные мотивы начинают переходить из текста в текст. Новеллы Андерсона уже по самой своей природе тяготеют к циклизации, и в «Уайнсбурге, Огайо» он опробовал одну из ее моделей; действие всех рассказов происходит здесь в одном и том же месте и в один и тот же период времени; центральные персонажи некоторых рассказов мелькают на периферии повествования в других; возникает «сквозной герой» — молодой журналист Джордж Уиллард, в котором критики не без оснований видят автопортрет самого писателя. Ослабив сюжетность внутри новелл, Андерсон придает ее всему циклу, ибо сквозь кажущийся хаос разрозненных «моментов» из жизни обитателей Уайнсбурга явственно проглядывает конструкция романа воспитания, а сам провинциальный город приобретает свойства особого мифопоэтического пространства, где герой приобщается к таинствам жизни и смерти. Впоследствии той же моделью с различными модификациями будут пользоваться многие американские прозаики — от Хемингуэя с его циклом новелл о Нике Адамсе и Фолкнера с его полуроманами-полусборниками типа книги «Сойди, Моисей» до Сэлинджера, который даст ее камерный вариант, ограничив пространство стенами нью-йоркской квартиры, а круг персонажей — одним, хотя и необыкновенным семейством Глассов.

Впрочем, лучшие новеллы Андерсона отнюдь не нуждаются в отраженном свете своих соседей по сборнику, а сами по себе становятся законченными «формами», вмещающими в себя, по словам М. Каули, целую жизнь. К этим подлинным шедеврам писателя — к

двум-трем великанским его шагам — безусловно принадлежит «Смерть в лесу», где слились воедино все основные темы андерсоновской новеллистики: бессмысленное тягостное существование «маленького человека», унижение личности и ее способность выпрямиться, противостоять давлению среды, равнодушие и жестокость природы, ее красота и тайна, прорыв к знанию через внезапное «озарение». В этом рассказе Андерсону удалось то, к чему он всегда стремился, — удалось одухотворить конечное, преобразовать будничныи, пошлыи, «низкий» материал в многозначную символическую картину мира, открывающую вечные трагические смыслы в жалкой судьбе и одинокой гибели униженной и несчастной старухи.

В большинстве рассказов Андерсона повествование ведется от лица автора, не скрывающего дистанции между собой и предметом изображения; по интонации оно, как правило, представляет собой лирическое воспоминание, где важен не только сам «момент» жизни, но и отношение к нему рассказчика. Другой путь к преодолению сюжетности, намеченный еще Твеном, лежал через «сказ», и Андерсон несколько раз не без успеха пользовался повествовательными масками, позволяя самим персонажам — бродягам, неудачникам, мальчишкам — говорить с читателем без посредника, впрямую, на тех жаргонах и диалектах, которые приличествовали их социальному статусу. Однако подлинным мастером «сказа» в американской новеллистике был Ринг Ларднер, который обладал удивительно чутким слухом, улавливающим тончайшие оттенки обыденного разговора. В свое время М. Леvidов по праву сравнил его с ранним Зоценко¹.

Прекрасный образец подобного «сказа» — новелла «Кому сдавать?». Конечно, в ней есть фабульная основа — предыстория мужа рассказчицы, неудачника Тома, брошенного любимой девушкой, с которой он встре-

¹ Леvidов М. Предисловие // Ларднер Р. Новеллы. М., 1935. С. 4.

чается после нескольких лет разлуки, но ее доминанта — сам процесс рассказывания, пошлое и глупое словоизвержение с его банальностями, внезапными скачками от темы к теме, невольными проговорками и разоблачениями. Здесь важны не сами раскрывающиеся семейные тайны, а то, как и кем они нечаянно выбалтываются; на несоответствии же между этими уровнями текста рождается обычный для весьма жестокого к своим персонажам Ларднера комический и сатирический эффект.

Своими рассказами Андерсон и Ларднер заложили тот прочный фундамент, на котором началось бурное развитие американской новеллистики в двадцатые—тридцатые годы. В ту пору почти все ведущие прозаики США отдали дань «малой форме», но истинными «великанами» жанра смогли стать лишь четверо — Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер и Кэтрин Энн Портер.

В очень неровном творческом наследии Фицджеральда есть немало слабых, сентиментально-слащавых новелл, которые он писал ради денег и презрительно называл дрянью; есть и несколько рассказов-жемчужин, вошедших в память американской культуры. Его коронным жанром стала нравоописательная новелла, запечатлевшая ломку моральных устоев в Америке послевоенного десятилетия, в эпоху, которую он сам же окрестил Веком Джаза. «Меня вынесло в те годы на поверхность, — не без ностальгической грусти вспоминал он, — меня осыпали похвалами и заваливали деньгами, о каких я не смел и мечтать, и все по одной-единственной причине: я говорил людям о том, что испытываю такие же чувства, как они сами, и что надо найти какое-то применение всей этой нервной энергии, скопившейся и оставшейся неизрасходованной в годы войны»¹. Энергия находила выход в гедонизме: секс, пьянство, смелые танцы и моды, раскованные манеры, взвинченные

¹ Фицджеральд Ф. С. Портрет в документах. Письма. Из записных книжек. Воспоминания. М., 1984. С. 39.

ритмы, трансатлантические вояжи — «всю страну охватила жажда наслаждений и погоня за удовольствиями»¹, а Фицджеральд оказался блистательным знатком, исследователем и пропагандистом этого нового, карнавального стиля жизни молодого поколения. Подобно тому как Байрон был одним из великих байронических героев, он стал героем собственных книг, властителем дум воспетого и отчасти созданного, придуманного им Века Джаза — Фицджеральду подражали, у него учились прожигать жизнь. Поэтому рассказ «Опять Вавилон», написанный спустя два года после того, как биржевой крах положил конец «самой дорогостоящей оргии в истории», носит исповедальный характер — это одновременно и элегическое прощание с бесшабашной молодостью, и беспощадный суд над ней. Герой рассказа, американец Чарли, потерявший жену и состояние, разлученный с дочерью, возвращается в Париж — «Вавилон» Века Джаза — после двухлетней отлучки и не узнает столицу «вечного праздника». Опустели знакомые кафе и некогда переполненные американцами бары, закрылись танцевальные залы, исчезли бывшие собутыльники и подруги. Лишь нелепая пара «теней из прошлого», упрямо не желая замечать перемен, по-прежнему предается ритуальному пьянству и блуду, но даже этим призракам былого удастся разрушить надежды героя начать новую жизнь на обломках старой. Прошлое не отпускает его без покаяния — только признав свою вину, признав, что «все по-настоящему ценное» — любовь, семью, совесть, самоуважение — он потерял не во время кризиса, а во время бума, он может надеяться когда-нибудь обрести их вновь.

Нравоописательные новеллы Фицджеральда по сравнению с простейшими повествовательными формами у Андерсона и Ларднера — это, безусловно, следующая ступень эволюции; в них мы обнаруживаем и более разнообразный материал, и более тонкий и тщательный психологический анализ, и более широкий сти-

¹ Там же. С. 41.

листический диапазон. Фицджеральд даже восстанавливает в правах сюжетную конструкцию с акцентированным финалом, хотя у него она играет отнюдь не главную, а вспомогательную, подчиненную роль. Однако и на этой стадии эволюция долго не задерживается — почти одновременно с Фицджеральдом на сцену выходят Хемингуэй и Фолкнер, которые, воспользовавшись открытиями своих предшественников, в очередной раз обновляют и усложняют новеллистические структуры.

В американской литературе XX века Хемингуэй и Фолкнер занимают примерно такое же положение, какое в русской литературе XIX столетия занимали Толстой и Достоевский. Они — великие современники и великие соперники; каждый из них в споре с другим отстаивал свою собственную систему представлений о человеке и универсуме, свою поэтику, свой стиль. Если воспользоваться клишированными формулами, выработанными русской критической традицией (разумеется, *mutatis mutandis*), то Фолкнера мы могли бы назвать почвенником, ясновидцем духа, адептом полифонического романа, а Хемингуэя — психологом-аналитиком, моралистом, ясновидцем плоти, писателем монологического типа. Созданные ими миры полярно противоположны во многом, и прежде всего в том, что касается категории времени. «У Хемингуэя вообще нет времени, только чистые мгновения — моменты действия, — писал Р. П. Уоррен. — В его произведениях нет ни родителей, ни детей. А если и есть, то это дедушка, живущий где-то в Америке и высылающий деньги, подобно дедушке в романе «Прощай, оружие!». В произведениях Хемингуэя нет младенцев. Вы читаете о смерти во время родов, но ни слова о ребенке. Все вынуто из течения времени. А у Фолкнера всегда много стариков и детей. Время сплетается и становится важной, ужасной вещью. Здесь все течет, расплывается в разные направления. ...Вы ощущаете, как во времени незначительное становится значительным, а важное теряет свое значение и как надо всем проносится время. Все уже здесь,

рядом, и ждет своего мгновения, чтобы произойти. Текучести времени и горячке важных событий противостоят застывшие, очищенные мгновения. Фолкнер играет этими застывшими мгновениями. Хемингуэй ведет другую игру. У Хемингуэя вообще нет времени. Он целиком вне истории. В определенном смысле он пытается отрицать историю...»¹

Именно поэтому Хемингуэю, как правило, слишком просторно в большом романном строении, а Фолкнеру, напротив, слишком тесно в узких рамках «малой формы». Типичная новелла Хемингуэя — самодостаточная, завершенная экзистенциальная драма, разыгранная на залитых ослепительным ровным светом подмостках до последнего занавеса; типичная новелла Фолкнера — вставленный в раму фрагмент единого потока, потенциально глава или сжатый конспект более крупного текста. Недаром фолкнеровский рассказ очень часто или примыкает к какому-нибудь роману (например, «Когда наступает ночь» — к «Шуму и ярости»), или впоследствии оказывается его составной частью. Даже самые, казалось бы, завершенные сюжеты у Фолкнера могут получить неожиданное продолжение. Так, хотя финал рассказа «Когда наступает ночь» не оставляет никаких сомнений в неотвратимой гибели героини, писатель много лет спустя воскресил ее в романе «Реквием по монахине», пояснив в одном из интервью: «Это один и тот же персонаж. Я руковожу своими героями, имею право перемещать их во времени, когда мне это представляется необходимым»².

Чтобы понять принципиальные, глубинные различия художественного мышления писателей, достаточно сравнить их, пожалуй, самые известные новеллы: «Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера» и «Роза для Эмили», тем более что обе они заканчиваются смертью главного действующего лица. В рассказе Хемингуэя всего три персонажа с резко обозначенными, почти шаржи-

¹ Уоррен Р. П. Как работает поэт. Статьи, интервью. М., 1988. С. 366—367.

² Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. М., 1985. С. 295.

рованными признаками: инфантильный пятидесятилетний «мужчина-мальчик» Макомбер, которого снедает «холодный, сосущий страх», его жестокая, властная, развращенная жена, унижающая и презирующая рабски послушного ей мужа, и охотник Уилсон, беспристрастный рефери их смертельной схватки, блюститель нравственного кодекса, чья оценка событий совпадает с авторской. Африканская саванна, в которой происходит ритуализированное действие, — это обобщающий образ мира как площадки, где идет извечный поединок между мужчиной и женщиной, между человеком и природой, между постыдной трусостью раба и бесстрашием свободного духа. Макомбер выигрывает бой — он преодолевает страх смерти и «достигает совершеннолетия», осознавая себя сильным и свободным, но его счастье длится недолго. Напуганная внезапным преображением послушного раба в «настоящего мужчину», его жена метким выстрелом разносит ему череп. Таков, согласно Хемингуэю, трагический удел современного человека. «Когда люди столько мужества приносят в этот мир, — писал он в «Прощай, оружие!», — мир должен убить их, чтобы сломить, и поэтому он их и убивает». Единственная победа, которую можно одержать, — победа над самим собой, единственно возможное счастье — распрямиться, принять гибель достойно, по-мужски, стать героем в игре со смертью, и в этом смысле судьба Макомбера — героическая судьба, которой должен желать каждый.

У Фолкнера в «Розе для Эмили», так же как и у Хемингуэя, женщина убивает мужчину, но этим сходство двух новелл и ограничивается. Действие здесь разворачивается не в пустом, необжитом и неуютном пространстве, а среди людей, в густонаселенном, домашнем мире; рассказчик то и дело упоминает, как старых знакомых, различных жителей городка, передает сплетни, пересуды, чужие мнения, вспоминает о событиях и делах давно минувших дней. Из пестрого бытового сора складывается образ единого временного потока, непрерывной череды рождений и смертей, свадеб и новосе-

лий, приездов и исчезновений — самого движения жизни в ее вечных изменениях и метаморфозах, которому отчаянно пытается противостоять главная героиня новеллы. В изменчивой реальности она неподвижный памятник, миф, легенда, обломок героического прошлого, попавший в чужое окружение, подобно тому как ее дом, некогда стоявший на аристократической улице, теперь попадает в скопление гаражей, бензколонок и фабрик. Нарушив однажды южный кодекс чести и отдавшись вне брака чужаку-северянину, несчастная Эмили оплачивает свой грех его жизнью и с этого момента превращается в живого мертвеца — время для нее останавливается, она заточает себя в собственном доме, переходя «от поколения к поколению, словно драгоценное, неотвязное, недоступное, изломанное наше наследие».

Местоимение «наше» здесь, как и на протяжении всей новеллы, отсылает к специфически южному, почвенному сознанию; за местоимением «мы», которым широко пользуется рассказчик, стоит южная община и, шире, весь американский Юг, родина Фолкнера. Поэтому финальная сцена новеллы, когда для этого собирательного «мы» открываются страшные тайны героини — убийство и некрофилия, носит символический характер: община производит переоценку своего «неотвязного наследия», своего исторического прошлого, обнаруживая в нем не только героические деяния, но и преступления, вину, гордыню, саморазрушительное стремление к смерти.

Впрочем, очень важная для Фолкнера тема познания зла имела не меньшее значение и для Хемингуэя, и для многих других американских прозаиков, начиная с романтиков, так что ее можно считать центральной темой американской новеллистики. Как отметил один из исследователей, в литературе США широчайшее распространение получает так называемая «новелла инициации», или «новелла узнавания», в которой «обычно изображается движение персонажа от невинности к знанию. Говоря языком теологии, он узнает или познает

зло. В терминах же более секулярных — познает ограниченность как природы (настоящее), так и мифа (прошедшее)»¹.

В рассказах этого типа воспроизводится трехчленная структура инициационных мифов и обрядов, которые «состоят из выделения индивида из общества (так как переход должен происходить за пределами устоявшегося мира), пограничного периода... и возвращения, реинкорпорации в новом статусе или в новой подгруппе общества. При этом инициация осмысливается как смерть и новое рождение... налицо также мифологическая интерпретация пространства: выход за пределы замкнутой территории, освоенной общиной, приравнивается к смерти»². Для американской культуры, в основе которой, как уже неоднократно отмечалось, лежат мифологизированные представления о Новом Свете как Новом Эдеме, а об американце — как Новом Адаме, инициация чаще всего окрашена в трагические тона, ибо «переход от невинности к знанию» неизбежно влечет за собой отпадение от центрального мифа и уподобляется изгнанию из рая. Поэтому типичный герой американской «новеллы инициации», однажды выйдя за пределы «устоявшегося мира», очень редко мирится с новым статусом, который уготован ему по возвращении; чаще он выбирает себе роль одиночки, изгоя, бунтаря, тоскующего по утраченной «невинности духа»; как заметил Р. Льюис, он не возвращается в общество, а, постигнув его природу, уходит из него»³.

Подобными инициационными мотивами буквально пронизаны все новеллы Э. Хемингуэя о Нике Адамсе, на что указывает, кстати, уже сама «адамическая» фамилия героя — «лирического двойника» автора. Так, в «Индийском поселке» Ник совершает свое первое сим-

¹ R. B. West, Jr. *The Short Story in America. 1900—1950*. Chicago, 1952. P. 96.

² Левинтон Г. А. Инициация // Мифы народов мира. Энциклопедия. М., 1980. Т. 1. С. 544.

³ См.: R. W. B. Lewis. *The American Adam. Innocence, Tragedy and Tradition in the 19th Century*. Chicago-Lnd., 1971. P. 115.

волическое путешествие в «иной мир», где приобщается к тайнам рождения, смерти и страдания, но его детское, «невинное» сознание еще не пропускает в себя преподанный урок (он «был совершенно уверен, что никогда не умрет»); в «Убийцах» уже сами посланцы из «иного мира» неожиданно и грубо вторгаются в его «рай», вынуждая потрясенного героя выйти за его границы и осознать, что зло и смерть реальны, хотя он по-прежнему сохраняет надежды на спасение («Уеду я из этого города»); наконец, в рассказе «Какими вы не будете» мы видим Ника уже после того, как он вернулся с «того света», пройдя через «смерть», и навсегда утратил «невинность». Сходный «спуск в ад» совершают и трое детей в новелле Фолкнера «Когда наступает ночь» — перейдя ров, как бы рассекающий пространство текста надвое, они попадают в самое «сердце тьмы», где у них на глазах готовится принять страшную смерть от руки мужа-убийцы негритянка Нэнси, местная проститутка. Их приход в хижину к жертве напоминает приход Ника Адамса к обреченному Оле Андресону в «Убийцах», причем любопытно, что в обоих рассказах противопоставлены три различные реакции на происходящее. У Фолкнера Джейсон отделяет себя от чужого страдания («Я не черномазый»), Кэddie стремится проникнуть в тайну порока и смерти («Какой конец, Нэнси?»), а рассказчик принимает все как должное («Кто теперь будет нам стирать?»); у Хемингуэя повар-негр и «слушать не желает» об убийстве, Джордж спокойно рассуждает о нем, а Ник переживает как личную трагедию.

«Новеллы инициации» обычно так или иначе связаны со смертью, но это смерть либо символическая, либо посторонняя воспринимающему сознанию героя, явленная ему во испытание и назидание. В новелле же К. Э. Портер — писательницы, вместе с Фолкнером принадлежавшей к «южной школе», — «Как была брошена бабушка Вэзеролл» — приближение и самый момент физической смерти увидены изнутри, внутренним зрением расстающегося с жизнью человека. В отличие от большинства своих современников-новеллистов Портер

редко строила рассказ как драматическую сцену, где ведущую роль играют диалог и сюжетно не закреплённые детали в описаниях. Говоря словами ещё одной писательницы «южной школы», Ю. Уэлти, «у нее беззвучный удар настигает персонажа, когда он остается наедине с самим собой, в полном одиночестве, какое бывает, наверное, раз в жизни. ...Часто откровение, которое пронзает ум и сердце героя, обнажая перед ним его жизнь или его смерть, приходит к нему во сне, в воспоминании, в болезни и отчаянии, в момент крушения надежд, в момент гибели. Именно эти субъективные миры галлюцинаций, навязчивых идей, страстных желаний, вины и заставляет нас увидеть мисс Портер. Присутствие смерти, парящей над бабушкой Вэзеролл, в ее рассказе столь же реально и близко, как сама привычная комната, где стоит кровать старухи, — нет, реальнее и ближе, ибо мы узнаем не только присутствие смерти, но и тот образ, в котором она приходит за бабушкой Вэзеролл¹.

В одной из лекций о русской литературе В. В. Набоков сказал, что «Смерть Ивана Ильича» Толстого — повесть о жизни, а не о смерти, и эти слова вполне можно отнести и к новелле Портер. В блестяще написанном внутреннем монологе умирающей героини, где смешиваются настоящее и далекое прошлое, воспоминания и кошмары, бытовые мелочи и отчаянные молитвы, возникает целостный образ ее *живой* души, долгие годы таившей в себе неизбывное страдание и поруганную, безответную любовь к тому, кем она когда-то была жестоко брошена. Боль и отчаяние, вырвавшись из глубины, оказываются единственной реальностью ее существования, и на пороге небытия она во второй раз переживает самый страшный миг своей жизни: как и первый возлюбленный, Бог оставляет ее, «не подав знака», и она покидает этот мир все той же «брошенной невестой», какой оставалась всегда.

В творчестве великолепной четверки американской

¹ E. Welty. *The Eye of the Story*. Selected Essays and Reviews. N. Y., 1979. P. 31-32.

прозы были разработаны все основные варианты, так сказать, постандерсоновской новеллы, и писателям следующего поколения пришлось уже завершать традицию. Едва ли случайно самые лучшие, самые оригинальные новеллисты пятидесятих годов смогли обогатить жанр лишь за счет инъекций новых не только для него, но и для всей американской культуры идей и стилей. Религиозные гротески Фланнери О'Коннор, например, рождались на скрещении поэтики «южной школы» с тематикой европейского католического романа; Сэлинджер создавал свои рассказы-притчи, опираясь на традиции христианского и восточного мистицизма (вспомним хотя бы прозрение главного героя в финале «Голубого периода де Домье-Смита»); Маламуд вместе с рядом других писателей привнес в американскую психологическую новеллу еврейский бытовой материал и окрашенную грустным юмором повествовательную интонацию, напоминающую о Шолом-Алейхеме, Бабеле и Зингере. К середине шестидесятых годов возможности постандерсоновской новеллы были, по-видимому, исчерпаны, и тогда с ней начали происходить примерно те же метаморфозы, которые в начале века, по наблюдению Б. М. Эйхенбаума, произошли с сюжетной новеллой классического типа — ее «истинным содержанием» начала становиться сама литература, вперед выдвинулся насмешливый, иронический автор, конструкция обнажилась, ослабленный сюжет сделался предметом пародийной игры. В эволюции жанра наметился очередной поворот, но он остается уже за рамками нашего сборника и, следовательно, нашей статьи.

А. Долинин

КОММЕНТАРИИ

Настоящий сборник был задуман не только как антология лучших американских новелл нашего столетия, но и как антология их лучших переводов на русский язык; именно качество перевода в ряде случаев послужило главным критерием при отборе текста. За немногими исключениями в сборнике представлены все крупные мастера художественного перевода, сделавшие американскую прозу XX века фактом отечественной культуры, — от погибшего в годы Большого Террора В. О. Стенича до находящегося в расцвете творческих сил В. П. Голышева. Особое место занимают работы переводчиков, входивших в свое время в «Первый переводческий коллектив» под руководством И. А. Кашкина, — Н. Волжиной, Н. Дарузес, Евг. Калашниковой, М. Лорие, О. Холмской, которым удалось дать первые эталонные образцы русского Хемингуэя и русского Фолкнера, остающиеся непревзойденными и по сей день. Разумеется, творческие манеры и принципы всех переводчиков различны — у каждого из них своя мера точности, свои излюбленные приемы, свои взгляды на допустимую «длину контекста», и, скажем, В. Стенича, тяготевшего к скупому «буквализму», отделяет от А. Кистяковского, виртуозно, но весьма вольно обращавшегося с оригиналом, дистанция огромного размера. Однако, помещенные в параллель с английским текстом, отобранные переводы обнаруживают свою эквивалентность последнему по крайней мере в объеме фразы (в редчайших случаях — абзаца) и потому, как

правило, способны сами выполнять функцию лексико-стилистического комментария к нему. Это избавило нас от необходимости пояснять особенности словоупотребления в оригиналах — исключение составляет лишь тот (относительно небольшой) лексико-фразеологический материал, который не нашел адекватного отражения в переводе.

Справки об общеизвестных исторических лицах, литературных и мифологических персонажах, топонимах в комментариях не приводятся. Названия городов, улиц, ресторанов, гостиниц, фирм и т. п. комментируются только тогда, когда они имеют существенные для понимания текста историко-культурные коннотации.

В комментариях к рассказам Ш. Андерсона, Ф. С. Фицджеральда, Э. Хемингуэя и Дж. Сэлинджера учтены сведения, содержащиеся в отечественных изданиях сборников новелл этих писателей на английском языке (авторы комментариев, соответственно: Р. Розина; А. И. Полторацкий; И. Финкельштейн и И. Кудряшова; Р. Розина).

SHERWOOD ANDERSON

(1876—1941)

Прижизненные сборники: «Уайнсбург, Огайо» (*Winesburg, Ohio*, 1919), «Торжество яйца» (*The Triumph of the Egg*, 1921), «Кони и люди» (*Horses and Men*, 1923), «Смерть в лесу» (*Death in the Woods*, 1933).

В историю американской литературы вошел прежде всего как автор «Уайнсбурга, Огайо», совершившего подлинный переворот в новеллистике. Сам Андерсон не раз подчеркивал, что в «Уайнсбурге» он «создал свою собственную форму» и что сборник состоит из отдельных рассказов о людях, «чьи жизни каким-то образом связаны». В одном из писем он даже называет «Уайнсбург» романом нового типа.

Текстологические исследования черновых рукописей «Уайнсбурга», проведенные американским литера-

туроведом Уильямом Л. Филлипсом, показали, что писатель задумал свой сборник как единое целое, причем рассказы создавались им почти в той же последовательности, в какой они вошли в книгу. (См.: Phillips W. L. *How Sherwood Anderson Wrote "Winesburg, Ohio"*. — *The Achievement of Sherwood Anderson. Essays in Criticism*. — Chapel Hill, 1966.)

По словам Андерсона, «книга была задумана в многолюдном жилом массиве Чикаго, а прототипами почти всех ее персонажей стали его соседи по меблированным комнатам, многие из которых никогда не бывали в провинции». Так писатель отвергал попытки представить его Уайнсбург «точной копией провинциальной жизни в штате Огайо», хотя подобная топография, облик и жители Уайнсбурга несут в себе определенные черты родного городка Андерсона — Клайда, как, впрочем, и многих других захолустных американских городов, по улицам которых воображение писателя «вечно скиталось в поисках ключа от тайны бытия». Ограничение места действия позволяет Андерсону объединить рассказы и в то же время не локализует, а, скорее, расширяет их проблематику. На улицах Уайнсбурга пересекаются пути и судьбы героев сборника, здесь каждый из них рано или поздно встречается с Уиллардом — главным героем книги, alter ego ее автора. Он словно выполняет тот наказ, который через восемь лет после выхода «Уайнсбурга» даст Андерсон своему сыну-художнику и в котором сформулировано творческое кредо самого писателя: «По улицам проходят мужчины и женщины. Что ты о них знаешь? Изучай их, не бойся, иди... Не прислушивайся к их словам, постарайся понять их мысли и чувства».

Прототипом для Андерсона мог стать любой прохожий, поскольку в его понимании «каждый человек столь же важен, как дерево или гора». Обычно толчком к созданию новеллы ему служило мимолетное впечатление, наблюдение или рассказанный кем-то случай; при этом, как свидетельствовал его редактор, новелла «уже не имела ничего общего с первоисточником».

The Book of the Grotesque

Рассказ написан в Чикаго в ноябре 1915 г., впервые напечатан в журнале *The Masses* (1916, февраль).

Открывая сборник «Уайнсбург, Огайо», он, несомненно, является ключевым рассказом, который, по первоначальному замыслу автора, должен был дать название всему сборнику.

Английский текст печатается по: *The Portable Sherwood Anderson*. — Penguin Books, 1977.

На русский язык ранее переводился под различными названиями: «Книга гротеска» (Ш. Андерсон. Уайнсбург, Огайо. М.—Л., 1924; пер. П. Охрименко), «Книга странностей» (Ш. Андерсон. Уинсберг, Охайо. М., 1924; пер. С. Д. Матвеева) и «Книга о гротескных людях» (Ш. Андерсон. Рассказы. М., 1959; пер. М. Колпакчи). Такое разнообразие переводных версий заглавия объясняется тем, что в английском языке слово “grotesque” более многозначно, чем «гротеск» в русском, и к тому же используется Андерсоном в специфическом смысле, отсылая не столько к художественному приему, сколько к особому складу человеческого характера.

Перевод дается по: Ш. Андерсон. Избранное. М., 1983.

8. Andersonville prison — военная тюрьма, где во время Гражданской войны в США содержались пленные северяне; находится в городке Андерсонвилле (штат Джорджия).

12. carelessness — как обнаружил Уильям Л. Филлипс, в рукописи рассказа и в первой журнальной публикации здесь стояло другое слово: «carefullness»; по-видимому, в дальнейшем Андерсон не заметил опечатки, которая и стала переходить из издания в издание. (См.: Phillips W. L. *The Editions of “Winesburg, Ohio”*. — *Sherwood Anderson: Centennial Studies*. Ed. by Campbell H. — N. Y., 1976.)

The Strength of God

Рассказ написан в конце 1915 — начале 1916 г., впервые — в журнале *The Masses* (1916, май).

Английский текст печатается по: *The Portable Sherwood Anderson*.

На русском языке — в составе упомянутых выше сборников 1924 г. (пер. П. Охрименко и С. Д. Матвеева). Перевод В. П. Голышева печатается по: Ш. Андерсон. Избранное. М., 1983.

14. Presbyterian Church — Пресвитерианская церковь, старейшее конфессиональное направление американского протестантизма.

20. The piece of glass broken out ... the bare heel of the boy — поступок священника символически соотнесен в рассказе с ветхозаветным сюжетом грехопадения Адама и Евы; искушавший их змей по воле проклявшего его Бога должен вечно враждовать с человеком и «жалить его в пятую» (ср. пятую мальчика на витраже, отбитую священником).

The Teacher

Рассказ был написан сразу после «Силы Божьей», впервые — в сборнике «Уайнсбург, Огайо».

Английский текст печатается по: *The Portable Sherwood Anderson*.

На русском языке — в составе сборников 1924 г. (пер. П. Охрименко и С. Д. Матвеева). Перевод В. П. Голышева печатается по: Ш. Андерсон. Избранное. М., 1983.

В «Мемуарах» Андерсон рассказывает о своей сестре Стелле — школьной учительнице в небольшом городке, испытавшей нечто подобное тому, что происходит в новелле с учительницей Кейт Свифт: «В письме она сообщала мне, что с ней произошла огромная перемена — она обрела Бога. К ней явился Иисус... Это произошло

ночью, когда она уже лежала в постели. Она думала о своих братьях и укоряла нас... И в этот момент... комнату вдруг озарил свет. Она убеждена, что это был сам Иисус и что он обнял ее».

38. Charles Lamb — Чарлз Лэм (1775—1834), английский писатель, поэт, эссеист, критик, близкий друг С. Т. Колриджа. Пересказал для детей драмы Шекспира, «Одиссею» Гомера. Романтическая биография Лэма хорошо известна англоязычным читателям.

Benvenuto Cellini — Бенвенуто Челлини (1500—1571), итальянский художник, ювелир и скульптор. Всемирную славу ему принесла автобиографическая книга «Жизнь Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентийца, написанная им самим во Флоренции» (не закончена; изд. 1728) — непринужденный, живой рассказ о многочисленных приключениях и эскападах.

Death in the Woods

Рассказ, давший название последнему сборнику Ш. Андерсона (1933). Первоначально вошел как эпизод в книгу *Tar: A Midwest Childhood* (1926).

Английский текст дается по: *The Portable Sherwood Anderson*.

На русский язык был впервые переведен в 1934 г.: Интернациональная литература, 1934, № 3—4; пер. Е. Романовой; Литературный современник, 1934, № 10; пер. В. Стенича.

Перевод печатается по: Ш. Андерсон. Избранное. М., 1983.

Писатель работал над «Смертью в лесу» много лет и считал этот рассказ лучшим своим рассказом. В 1937 г. он писал: «Мне кажется, тема этого рассказа — постоянный животный голод человека. Есть такие женщины, которые всю свою жизнь тратят на то, чтобы утолять этот голод. Рассказ я обдумывал много лет. ...Я написал несколько вариантов и отбросил их. Например, я считал необходимым... вывести животный голод, о котором

идет речь в рассказе, из сферы секса. Отсюда моя измощенная, бесполой старуха и собаки, насыщающиеся после ее смерти мясом, которое она несла в заплечном мешке. ...Я хотел уловить что-то за пределами горизонта, сохранить ощущение тайны бытия и в то же время показать, какой ценой утоляется иногда наш животный голод». О «Смерти в лесу» Андерсон вспоминает и в своих посмертно изданных «Мемуарах»: «Впечатления, полученные писателем в первые двадцать лет жизни, встреча с людьми и события, пережитые им в годы становления, когда воображение еще живо, неизбежно становятся для него источником на всю жизнь; часто нужно вернуться в детство, чтобы восстановить некоторые из этих впечатлений, которые становятся материалом творчества. Когда мне было уже за сорок, я написал рассказ, ставший заглавным в сборнике. Я назвал его «Смерть в лесу». По-моему, это один из самых лучших и самых крепких моих рассказов. Писал я его долго, а он все никак не выходил. Наконец, я закончил его, и на свет появилась моя старуха, жена жестокого мужа и мать не менее жестокого сына. В юности я не раз видел таких женщин: им суждено тратить жизнь на то, чтобы накормить животных в людях и в зверях. Они кормят скот и собак. Они кормят цыплят. Они кормят животное вожделение в мужчинах».

RING LARDNER (1885—1933)

Основные прижизненные сборники: «Лучшие рассказы Ринга Ларднера» (*The Best Short Stories of Ring Lardner*, 1922), «Как писать рассказы» (*How to Write Short Stories*, 1924), «Любовное гнездышко» (*The Love Nest and Other Stories*, 1926), «Облава» (*The Round Up*, 1929). После смерти писателя его избранные рассказы были собраны в книгу *The Collected Short Stories of Ring Lardner*.

Первые рассказы Ларднера, профессионального

спортивного журналиста, были посвящены исключительно миру бейсбола, баскетбола или бокса, но постепенно круг его персонажей расширяется и в него входят новые типы характеров, порожденные материалистической послевоенной эпохой. Всего в периодических изданиях было напечатано 120 новелл писателя (только половина из них вошла в сборники), которые были с интересом приняты не только любителями развлекательного чтения. Уже в 1922 г. Шервуд Андерсон написал о нем: «У Ларднера в одном абзаце больше понимания жизни, человеческой симпатии и соленой мудрости, чем в сотнях страниц прозы, скажем, Синклера Льюиса». С особым блеском мастерство Ларднера проявляется в рассказах, написанных от первого лица: он обладал особо чутким слухом, умением уловить и передать тон, ритм, интонацию и оттенки обыденной, социально окрашенной речи. По словам известного американского критика Эдмунда Уилсона, Ларднер «продемонстрировал непревзойденное и, возможно, недостижимое мастерство владения тем языком, который после публикации книги Менкена стали именовать американским». Кстати, Г. Менкен, автор фундаментального исследования *The American Language*, был одним из первых почитателей ларднеровского таланта и даже считал себя должником писателя.

Однако сами достоинства ларднеровского стиля и его едкого юмора содержали опасность того, что его новеллы останутся в том времени, которое они столь точно отразили. «Я сомневаюсь, — писал Менкен, — что его рассказам суждена долгая жизнь: наши внуки не поймут, о чем они. Дело не только и не столько в том, что уйдет язык, хотя это само по себе будет серьезным препятствием их восприятия. Главное — это то, что уйдут герои». Отчасти опасения Менкена оправдались, и публикуемый ниже рассказ «Кому сдавать?» это отлично подтверждает. Хотя вульгарный монолог подвыпившей глупенькой героини по-прежнему способен вызвать смех, а типы характеров отнюдь не ушли из жизни, очень многие ударные «репризы» в новелле уже поте-

ряли всю свою соль. Так, забыты бывшие в 20-е годы у всех на слуху имена и названия, которые беспрерывно путает героиня (далеко не все из них удалось разъяснить в комментариях); стерлись различия между словами и выражениями из разных стилистических рядов, смешение которых должно было вызвать комический эффект и т. п.

Who Dealt?

Впервые — в журнале *Hearst's International — Cosmopolitan* (1926, январь), вошел в сборник *The Love Nest*.

Английский текст печатается по: *The Ring Lardner Reader*. — N. Y., 1963.

Впервые на русском языке: Американская новелла. М., 1958, т. II; пер. Н. Дарузес. Перевод печатается по: Р. Л а р д н е р. Новеллы. М., 1975 (с изменениями).

80. ...for a place on the Yale nine — героиня путает бейсбол с футболом: именно бейсбольную команду называют «девяткой» по числу игроков команды. Ср. далее игру со словом “runner” (бейсболист в определенной позиции).

84. “Black Oxen” — «Черные быки» (1923), популярный роман американской беллетристки Гертруды Атертон (Atherton, 1857-1948).

86. Bryn Mawr — престижный женский колледж близ Филадельфии (осн. 1880).

88. “apple sauce” (*устар. сленг*) — грубая лесть, надувательство.

90. a proverb... about like not liking like — героиня придает противоположный смысл пословице “like likes like” (подобное любит подобное; ср.: Рыбак рыбака видит издалека).

Irving Berlin (1888-198?) — американский композитор, автор множества популярных песен, мюзиклов, музыки к спектаклям и кинофильмам.

Gershwin — Джордж Гершвин (1898—1937), прославленный американский композитор. В конце 1910 — начале 1920-х гг. выступал главным образом в эстрадных жанрах.

Jack Kearns — героиня путает известного американского боксера Джека Кернза (1883—1963) с композитором Джеромом Керном (Kern, 1885-1945), входившим вместе с Берлином и Гершвином в тройку корифеев американской легкой музыки 20-х годов.

90—91. “Humoresque” and “Indian Love Lyrics” — по-видимому, речь идет о произведениях американского композитора Эдварда Макдоуэлла (Mac Dowell, 1861-1908): пьесе для фортепиано «Юмореска» (1887) и второй части его симфонической «Индейской сюиты» — *Love Song* (1897).

92. Ed Wynn (1886—1966) — американский конферансье, актер комического амплуа и режиссер; автор целого ряда песенок и скетчей.

“The Foll” (1922) — пьеса американского драматурга Чэннинга Поллока (Pollock, 1880-1946), выдержавшая 373 представления на Бродвее.

“Lightnin” (1918) — популярная комедия американского драматурга Уинчелла Смита (Smith, 1871-1933), написанная в соавторстве с исполнителем главной роли, актером Фрэнком Бейконом (Bacon, 1864-1922). Выдержала 1291 представление.

94. How is that for a T. L. — фраза, выпущенная в переводе (*устар. сленг*) — комплимент (обычно ответный).

96. Robert Chambers (1865—1933) — американский писатель и художник-иллюстратор, автор множества популярных романов.

Irving R. Cobb — имеется в виду Irvin S. Cobb (1876–1944), американский журналист и писатель, работавший в жанре юмористической новеллы. С кем путает его героиня, установить не удалось.

Runkle, or Byers — героиня называет фамилии второстепенных американских литераторов — романистки Берты Ранкл (ум. 1958) и поэта Сэмюэля Байерса (1838—1933).

KATHERINE ANNE PORTER (1890—1980)

Прижизненные сборники: «Цветущий багряник» (*Flowering Judas*, 1930; малотиражное издание по заказу автора), «Цветущий багряник и другие рассказы» (*Flowering Judas and Other Stories*, 1935; расширенное издание), «Бледный конь, бледный всадник» (*Pale Horse, Pale Rider*, 1939), «Падающая башня» (*The Leaning Tower*, 1944), «Избранные рассказы» (*The Collected Stories*, 1965; 2-е испр. изд. 1967).

«Портер — замечательная писательница. Она прирожденный гений малой прозы», — сказал о своей современнице Роберт Пенн Уоррен, заметив также, что без ее рассказов была бы неполной антология мировой новеллистики: «Из двадцати лучших новелл всех времен и народов две, вероятно, принадлежат ей».

Хотя Портер начала писать в детстве, ее рассказы увидели свет довольно поздно. Сказалась чрезвычайная требовательность писательницы к себе, стремление к отточенности, к завершенности. Зато уже первый ее сборник, включавший всего шесть рассказов, среди знатоков снискал ей репутацию тонкого стилиста, глубокого и оригинального писателя, способного, по словам того же Уоррена, «наполнить малые формы огромным содержанием». Но не только прирожденный талант, особая интеллигентность писательницы и тщательная работа со словом помогли ей занять почетное место в американской литературе. Ею двигала вера в искусство,

которое она считала «самым честным голосом жизни». В предисловии 1940 г. к первому сборнику своих рассказов она пишет: «...всю свою сознательную жизнь я ощущаю мрачную угрозу мировой катастрофы и почти всю энергию мысли и духа трачу на то, чтобы понять смысл этой угрозы, проследить ее истоки и понять логику великого и ужасного поражения человека в западном мире. По сравнению с громадой несчастий и бед, нависшей сегодня над миром, голос одного художника может показаться не более значительным, чем стрекот кузнечика в траве; но искусство не умирает, и оно поистине живет верой; его имена, его формы, его приемы, его основные значения остаются невредимыми даже во времена забвения, пренебрежения, урона; они живут дольше, чем правительства, чем убеждения, чем общества; дольше, чем цивилизации, которые их порождают. Искусство нельзя уничтожить, потому что оно — суть веры и единственная реальность. Расчистим руины — и под ними вновь обнаружим искусство. И даже самый незначительный и несовершенный вклад в искусство, сделанный в наши дни, — это гордое выступление в защиту веры».

The Jilting of Granny Weatherall

Впервые — в журнале *Transition* (1929, февраль). Вошел в оба сборника *Flowering Judas*.

Английский текст печатается по изданию: *The Collected Stories of Katherine Anne Porter*. — N. Y., 1969.

На русском языке впервые в пер. Н. Волжиной: Иностранная литература, 1976, № 7. Перевод приводится по этой публикации.

124. Again no bridegroom and the priest in the house — ср. новозаветную притчу о женихе и десяти девах, которые вышли ему навстречу со светильниками в руках: «Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих. И как жених замедлил, то задре-

мали все и уснули. Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились; после приходят и прочие девы, и говорят: Господи! Господи! отвори нам. Он же сказал им в ответ: истинно говорю вам: не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (*Матф.*, 25, 1—13).

F. SCOTT FITZGERALD
(1896—1940)

Прижизненные сборники: «Соблазнительницы и философы» (*Flappers and Philosophers*, 1920), «Истории Века джаза» (*Tales of the Jazz Age*, 1922), «Все печальные молодые люди» (*All the Sad Young Men*, 1926), «Побудка на заре» (*Taps at Reveille*, 1935).

Хотя своей славой классика американской литературы XX века Фицджеральд обязан преимущественно двум романам: «Великий Гэтсби» и (в меньшей степени) «Ночь нежна», в количественном отношении новеллистика занимает значительное место в его творческом наследии. Всего за свою жизнь он опубликовал более 150 новелл, большая часть которых, по его собственной, весьма трезвой оценке, — это «довольно занимательные, слегка устаревшие истории, из тех, что, несомненно, помогают скоротать ужасные полчаса в приемной у дантиста». В отличие от других писателей, чьи рассказы вошли в настоящий сборник, Фицджеральд не отдавал предпочтения какому-то определенному типу новеллы, но легко варьировал жанровые модели, чутко следя за спросом на книжном и журнальном рынке. Однако не следует забывать, что даже над коммерческими расска-

зами он работал чрезвычайно серьезно, и поэтому и в них, говоря его словами, «всегда есть капелька чего-то — не моей крови, не моих слез, не моего семени, а еще более личного, более высокого, что есть во мне». Лучшие же его рассказы — «Первое мая», «Молодой богач», «Опять Вавилон» и др. — были написаны отнюдь не на продажу и принадлежат к числу шедевров «малой формы» в литературе США.

Babylon Revisited

Впервые — в журнале *Saturday Evening Post* (1931, февраль), вошел в сборник *Taps at Reveille*.

Рассказ был написан осенью 1930 г. вскоре после того, как жена Фицджеральда Зельда была помещена в психиатрическую лечебницу, а ее родственники попытались лишить его прав на воспитание девятилетней дочери, и насыщен автобиографическими, даже исповедальными мотивами. В позднейшем письме к дочери Фицджеральд назвал ее «одним из персонажей... этого прекрасного рассказа» (Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Портрет в документах. М., 1984. С. 145; письмо от 25 января 1940 г.).

Английский текст рассказа печатается по: F. Scott Fitzgerald. *Selected Short Stories*. — Moscow, 1979.

На русском языке впервые под названием «Возвращение в Вавилон» в одноименном сборнике рассказов Фицджеральда (М., 1969; пер. Е. Васильевой).

Перевод М. Кан дается по: Ф. С. Фицджеральд. Избранные произведения. М., 1984. Т. 3.

Название рассказа уподобляет космополитический Париж 20-х годов библейскому Вавилону в двух основных мифологических значениях: Вавилон как место смешения языков (см.: Бытие, II) и как «мать блудницам» (см.: Откровение, 17, 5).

126. the Snow Bird — прозвище образовано от “snow”; в сленговом значении «кокаин».

the Ritz bar — в 20-е годы Фицджеральд был завсег-

датаем этого дорогого бара в одноименном фешенебельном парижском отеле (см.: Э. Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. М., 1966. С. 124).

128. chasseur (фр.) — посыльный при отеле.

130. Le Plus que Lente (фр.) — «Более чем медленно», вальс французского композитора Клода Дебюсси (1862—1918).

the Second Empire — Вторая Империя (1852—1870), период правления во Франции императора Наполеона III (1808—1873).

132. My old pie — видимо, модификация разговорного выражения “sweetie-pie” — красотка, девчушка.

136. strapontin (фр.) — откидное место.

Josephine Baker (1907—1975) — негритянская танцовщица и певица; в конце 20-х годов выступала в парижских ресторанах и кафешантанах.

cocottes (фр.) — уличные девки.

138. brasserie (фр.) — пивная.

140. épinards (фр.) — шпинат.

chou-fleur (фр.) — цветная капуста.

haricots (фр.) — фасоль.

Qu'elle ... une Française (фр.) — Очаровательная малышка! И говорит совсем как француженка.

The Empire — концертный зал в Париже.

150. Burlington — город в штате Вермонт, на озере Шамплен.

158. threw up the sponge — букв.: сдалась, признала себя побежденной (образ, заимствованный из бокса).

quai (фр.) — набережная.

164. pneumatique (фр.) — письмо, доставленное по пневматической почте.

168. bonne à tout faire (фр.) — прислуга, выполняющая всю домашнюю работу.

174. not in the first crash, but then in the second — имеются в виду два «черных дня» на нью-йоркской бирже — 24 и 29 октября 1929 г., когда в результате стремительного падения курса акций множество их владельцев оказались разоренными. Этот биржевой крах положил начало самому глубокому экономическому кризису в истории США

WILLIAM FAULKNER (1897—1962)

Прижизненные сборники: «Тринадцать» (*These Thirteen*, 1931), «Доктор Мартино и другие рассказы» (*Doctor Martino and Other Stories*, 1934), «Ход конем» (*Knight's Gambit*, 1949). Кроме того, опубликовал две книги «гибридного» характера — нечто среднее между романом и сборником рассказов, объединенных друг с другом либо общими персонажами, либо единой — сквозной — темой: «Непобежденные» (*The Unvanquished*, 1938) и «Сойди, Моисей» (*Go Down, Moses*, 1942). В 1950 г. вышло в свет составленное Фолкнером «Собрание рассказов», в котором 42 ранее опубликованные новеллы были распределены по шести тематическим разделам.

В интервью Синтии Гренье (1955) Фолкнер сказал: «Мне кажется, каждый романист — это неудавшийся поэт. То есть сначала человек попытался писать стихи и убедился, что не сможет. Потом попробовал себя в жанре рассказа, который по сложности формы стоит на втором месте после поэзии. И, только потерпев и здесь поражение, принялся за сочинение романов» (У. Фолкнер. Статьи, речи, интервью, письма. М., 1985. С. 216). Под «каждым романистом» Фолкнер имел в виду прежде всего самого себя, ибо именно так складывался в 20-е годы его путь в литературе — от слабых, подражательных стихов к малым прозаическим фор-

мам (очерк, этюд, лирическая новелла) и, наконец, к романам, которые принесли ему сначала известность, а потом и мировую славу.

Однако и став романистом, Фолкнер не отошел от новеллистики. Как он объяснял студентам Виргинского университета, для него не существовало принципиальной разницы между зарождением и воплощением замысла рассказа или романа: «Иногда все начинается с образа человека, иногда с факта, но короткий рассказ обдумываешь так же, как большую книгу. ...Не думаю, чтобы писатель или писательница усаживались за стол и говорили себе: «Вот сейчас буду писать рассказ» или «А теперь начну роман». Какая-то мысль, образ, факт наталкивают на идею, и в тот же момент, с быстротой молнии, идея начинает принимать форму, и писатель сразу понимает, получится у него короткий рассказ или роман. Иногда бывает так. Иногда — иначе. Порой думаешь, что выйдет рассказ, но оказывается, что не можешь его написать. Или кажется, что получается роман, но после того, как поработаешь над ним, убеждаешься, что все можно сказать с помощью двух-пяти тысяч слов. На это нет правил» (У. Фолкнер. Статьи, речи. С. 273—274).

В большинстве произведений Фолкнера (и рассказов в том числе) местом действия неизменно является вымышленный округ штата Миссисипи — Йокнапатофа, а персонажами — его жители, причем между отдельными частями этого огромного цикла устанавливаются сложные фабульно-тематические связи: многие герои переходят из текста в текст, сюжетные линии одной книги находят свое продолжение в других; рассказы трансформируются в эпизоды романа, а романы обрастают новеллами-спутниками и т. п. «Все, что Фолкнером написано об Йокнапатофе, — заметил М. Каули, — является частью одной развивающейся модели. ...Все отдельные произведения писателя похожи на мраморные плиты из одной и той же каменоломни: в них те же прожилки, те же дефекты, что и в скале, из которой они вырублены» (М. Каули. Дом со многими окнами. М.,

1973. С. 216—217). И тем не менее эту тенденцию к циклизации, к усилению межтекстовых связей не следует абсолютизировать, утверждая (как это делает, например, А. М. Зверев), что новеллы Фолкнера — это чаще всего только «фрагменты эпоса, пространные и относительно законченные отрывки той «большой книги», над которой писатель работал всю жизнь» (У. Ф о л к н е р. Собрание рассказов. М., 1979. С. 575). Учитывать связи между различными произведениями Фолкнера, входящими в «сагу Йокнапатофы», конечно, необходимо, но в то же время нельзя недооценивать их самостоятельность, их собственную — в себе и для себя — завершенность. Так, очень многие рассказы Фолкнера, хотя и формально относящиеся к «саге», вполне могут рассматриваться вне ее контекста или как своего рода ее метонимии (характерный пример — «Роза для Эмили»). Подтверждением тому, что в «фолкнеровской вселенной» действуют силы не только взаимопритяжения, но и взаимоотталкивания, служит не вполне удавшаяся ему попытка придать «Собранию рассказов» «определенную цельность, единый настрой, развитие в направлении к одной цели, финалу» (У. Ф о л к н е р. Статьи, речи. С. 428): несмотря на объединение текстов в тематические группы, «Собрание» по форме оказалось все-таки ближе к традиционному сборнику разнородных новелл, чем к циклу или, тем более, «полуроману».

A Rose for Emily

Впервые — в журнале *Forum* (1930, апрель), вошел в сборник *These Thirteen*. В «Собрании рассказов» открывает второй раздел, «Городок» (*The Village*), куда включены рассказы о жителях Джефферсона — главного города фолкнеровской Йокнапатофы. В мире Фолкнера маленький южный город — это осознающая свою целостность община, которая обладает устойчивыми, общими для всех ее членов нравственными представлениями и общей исторической памятью. С точки зрения общины и ведется повествование в «Розе для Эмили»;

грамматически эта позиция выражена местоимением «мы», которым пользуется безымянный повествователь.

Выступая в Японии (1955), Фолкнер сказал, что «название рассказа аллегорично; перед нами трагедия женщины, непоправимая трагедия, последствия которой изменить нельзя; но мне жалко эту женщину, и названием рассказа я как бы приветствую ее, подобно тому как отдают честь рукой; женщинам в таких случаях преподносят розу, за мужчин поднимают чашечку сакэ» (У. Ф о л к н е р. Статьи, речи, интервью, письма. М., 1985. С. 174).

На русском языке впервые: Молодежь Грузии, 1969, 9 августа; пер. Р. Струнского. Перевод И. Бернштейн печатается по: У. Ф о л к н е р. Собрание сочинений в 6-ти т. М., 1987. Т. 6.

178. cotton wagons — запряженные мулами фургоны, в которых фермеры привозили в город хлопок.

180. Colonel Sartoris — постоянный персонаж «саги Йокнапатофы», «старый Баярд», сын полковника конфедератской армии Джона Сарториса; по традиции к нему перешло звание отца. Как явствует из романа «Сарторис», он умер в 1919 г. в семидесятилетнем возрасте.

184. Judge Stevens — Лемюэль Стивенс, отец одного из важнейших фолкнеровских персонажей Гэвина Стивенса, действующего в романах «Свет в августе», «Осквернитель праха», «Поселок», «Город», «Особняк» и ряде рассказов.

190. noblesse oblige (фр.) — положение обязывает.

192. Elks' Club — по-видимому, имеется в виду местный клуб американской филантропической организации «Орден Лосей» (Benevolent and Protective Order of Elks).

194. the Baptist minister—Miss Emily's people were Episcopal — конфессиональные различия на юге США имеют очень важное значение. Принадлежность к малочисленной епископальной церкви (американская ветвь англиканства) обычно указывает на то, что семья ведет свое начало от англикан-«кавалеров», основавших в XVII в. колонии в Виргинии, и следовательно считается признаком аристократизма. Большинство же населения принадлежит к другим, более демократическим протестантским церквям: баптистской, методистской или пресвитерианской.

That Evening Sun

Впервые — в журнале *The American Mercury* (1931, март) под названием *That Evening Sun Go Down* с небольшими купюрами и изменениями, сделанными по настоянию редактора журнала Г. Л. Менкена. Полный текст вошел в сборник *These Thirteen* и во второй раздел «Собрания рассказов».

По набору действующих лиц рассказ примыкает к роману «Шум и ярость»: один из главных героев романа Квентин Компсон выступает здесь в качестве рассказчика; упоминаются также его родители, брат Джейсон, сестра Кэдди, негры, работающие на Компсонов. Тот факт, что в рассказе при этом ничего не говорится о самом младшем из детей — идиоте Бенджи, который играет столь заметную роль в «Шуме и ярости», заставляет предположить, что он был написан раньше романа или на самой первой стадии работы над ним.

В дальнейшем Фолкнер прямо не обращался к сюжету рассказа, хотя эпизодический персонаж романа «Святылище» — безымянный негр, ожидающий казни за то, что бритвой перерезал горло своей жене, — вполне может быть отождествлен с мужем Нэнси Иисусом, который, по внутренней логике текста, неминуемо должен совершить подобное преступление. Однако в позднем романе «Реквием по монахине» (1951) Фолкнер неожиданно «оживил» чернокожую героиню рассказа — нар-

команку и проститутку, дав ей фамилию Мэннигоу и новую, более продолжительную биографию (там ее казнят за убийство ребенка ее хозяйки). «Это один и тот же персонаж, — говорил писатель о противоречии между двумя текстами. — Я руковожу своими героями, имею право перемещать их во времени, когда мне это представляется необходимым» (У. Фолкнер. Статьи, речи. С. 295).

Название рассказа — цитата из знаменитого блюза У. К. Хэнди (W. C. Handy, 1873-1958) *St. Louis Blues* (1914).

Для речевой характеристики персонажей в рассказе воспроизводятся особенности негритянского просторечья на различных уровнях: грамматическом (двойное отрицание с универсальным использованием формы “ain’t”, неправильное образование степеней сравнения, изменения глагольной парадигмы “be” и т. п.), фонетическом (yawl вместо you all, wropped вместо wrapped, telefoam вместо telephone и т. п.) и лексическом (I ain’t studying в значении I don’t bother about и т. п.).

Английский текст приводится по: *Collected Stories of William Faulkner*. — N. Y., 1977.

Впервые на русском языке в переводе О. Холмской: Американская новелла XX века. М., 1934. Этот перевод, неоднократно переиздававшийся впоследствии с минимальной редакторской правкой и считающийся классическим, был выполнен по журнальному варианту и поэтому в некоторых местах не совпадал с оригиналом. Для настоящего издания в перевод внесены отдельные исправления и дополнения.

202. Negro Hollow — в родном городе Фолкнера Оксфорде, основном прототипе Джефферсона, было два негритянских района, один из которых назывался *Nigger Hollow*.

204. Dilsey — старая служанка в доме Компсонов, один из главных персонажей в романе «Шум и ярость».

226. We passed the pasture gate — перевод неточен. Как явствует из контекста, путь героев лежит *мимо* огороженного луга.

234. popper — “the old-fashioned corn-popper for use over an open fire consisted of a solid metal box fitted with a screened top and mounted on a handle about 3’ long. The top slid in grooves at the top of the box and had a wire attached to it so that it could be pulled back to empty the corn after it was popped. It was presumably this wire which was missing and which Nancy replaced to “fix” the popper” (Calwin S. Brown. *A Glossary of Faulkner’s South*. — New Haven-Lnd., 1976. P. 153)

ERNEST HEMINGWAY (1899—1961)

Основные прижизненные сборники: «В наше время» (*In Our Time*, 1924), «В наше время» (*In Our Time*, 1925), «Мужчины без женщин» (*Men Without Women*, 1927), «Победитель не получает ничего» (*Winner Take Nothing*, 1933), «Пятая колонна и первые сорок девять рассказов» (*The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories*, 1938), «Рассказы» (*The Short Stories of Ernest Hemingway*, 1953). В обширном новеллистическом наследии Хемингуэя особое место занимают рассказы о Нике Адамсе, три из которых включены в настоящее издание. Всего в разное время Хемингуэй написал двадцать четыре рассказа с этим героем (восемь опубликовано посмертно). Жизнь Ника — это своего рода духовная биография «потерянного поколения»; из нее выросли такие герои романов Хемингуэя, как Джейк Барнс («И восходит солнце») и Фредерик Генри («Прощай, оружие!»), Роберт Джордан («По ком звонит колокол») и Ричард Кэнтвелл («За рекой в тени деревьев»). У них общее с Ником детство и юность, общий военный опыт — ранение и «потерянность», утрата жизненных ориентиров. Во многом общими с Ником были и впечатления самого

писателя, который отдает герою эпизоды и детали своей биографии. Так, место действия «Индийского поселка» — Северный Мичиган — связано с детством Хемингуэя: здесь на озере Валлун его семья проводила летние месяцы. Отец писателя Кларенс Эдмунд, подобно отцу Ника, был врачом, изучал быт индейцев-оджибвеев, живших неподалеку. Однако отметить лежащее на поверхности сходство биографий писателя и его главного персонажа недостаточно для понимания сущности Ника Адамса, ибо он — это Хемингуэй в созданной им художественной реальности, так же как Хемингуэй — это Ник Адамс в реальности жизненной. Герой Хемингуэя двупланен как герой лирический, возникающий «тогда, когда читатель, воспринимая лирическую личность, одновременно постулировал в самой жизни бытие ее двойника» (Л. Я. Г и н з б у р г. О лирике. Л., 1974. С. 160). Доказательством «двойничества» автора и его героя может служить тот факт, что в одном из ранних рассказов Хемингуэй отдает Нику свое авторство, заставляя его рассуждать о написанном им, Ником Адамсом, рассказе «Индийский поселок» и — шире — «о писательстве» (под таким заглавием рассказ был опубликован после смерти Хемингуэя). «Впечатления нужно переплавлять и создавать людей заново, — размышляет Ник Адамс. — Ник из его рассказов не был он сам. Он его выдумал. Никогда он, конечно, не видел, как индианка рождает. Потому получилось толково. И никто об этом не знает. А видел он женщину, рожавшую на дороге, когда ехал на Карагеч, и постарался помочь ей. Вот как оно было» (Иностранная литература, 1973, № 6. С. 212).

Indian Camp

Впервые — в журнале *Transatlantic Review* (1924, апрель), вошел в сборник *In Our Time*, где ему предшествует очерк «В порту Смирны» — об ужасах смерти и муках рождения, и небольшая военная «зарисовка» о солдатах, которые не в силах преодолеть страх смерти.

В рассказе задается основная тема всего цикла о

Нике Адамсе — тема становления юного героя. Образно-символическая система рассказа опирается на инициационные мотивы, характерные для подобных сюжетов (см. Послесловие, с. 542). С инициацией, обретением нового статуса традиционно связывается переправа через реку, представляющую собой рубеж между двумя мирами. В начале рассказа индеец, подобно Харону, перевозит Ника в «царство мертвых», где ему впервые предстоит воочию увидеть смерть. Характерным инициационным мотивом является и то, что именно отец посвящает юного героя в таинство рождения и смерти.

По первоначальному замыслу Хемингуэя, цикл рассказов о Нике Адамсе должен был открываться другой новеллой — «Три выстрела», черновой набросок которой сохранился и был опубликован после смерти писателя (Е. Hemingway. *The Nick Adams Stories*. Ed. by Philip Young. — N. Y., 1972). Здесь, в отличие от «Индийского поселка», герой теряет детскую веру в собственное бессмертие: оказавшись ночью один в незнакомом месте, он «испытывает страх смерти», «впервые он понимает, что ему самому придется когда-нибудь умереть».

Английский текст рассказа печатается по: *The Short Stories of Ernest Hemingway*. — N. Y., 1953.

Перевод О. Холмской был впервые опубликован в журнале «Интернациональная литература» (1934, № 1). Печатается по: Э. Х е м и н г у э й. Собрание сочинений в 4-х т. М., 1968. Т. 1.

В переводе есть несколько отступлений от авторской разбивки текста по абзацам.

250. St. Ignace — город в северо-западном Мичигане.

252. It was an awful mess to put you through — в переводе «Надо же было случиться такой истории» утрачен смысл высказывания отца Ника, который жалеет, что из-за него мальчику пришлось пережить ужасную ночь (to put through = to cause [someone] to undergo or suffer [something difficult])

The Killers

Написан в Испании в мае 1926 г. Первоначальное название «Матадоры». Впервые — в журнале *Scribner's Magazine* (1927, март). Вошел в сборник *Men Without Women*.

Считается одним из наивысших достижений писателя. Даже В. В. Набоков, обычно презрительно отзывавшийся о Хемингуэе как о «современном заместителе Майн-Рида», назвал «Убийц» прекрасным рассказом и намеревался перевести его на русский язык.

Многочисленные исследователи творчества Хемингуэя видят в «Убийцах» классический образец использования и художественного переосмысления традиций «низших» жанров в литературе и кинематографе (детектив, гангстерский боевик), отмечая и обратное влияние этого рассказа на развитие в американской массовой литературе так называемой “hard-boiled fiction”. Обращаясь к обычному гангстерскому сюжету (месть изменнику, нарушившему кодекс шайки) и вводя в число персонажей наемных убийц со всеми их кинематографическими атрибутами (котелки, перчатки, узкие черные пальто, оружие, механические движения и реплики, «профессиональный» жаргон), Хемингуэй подчиняет их решению задач, гангстерским фильмам и книгам не свойственных. Как показали в своем хрестоматийном анализе рассказа американские исследователи К. Брукс и Р. П. Уоррен, в центре «Убийц» — не гангстеры и не их жертва, а Ник Адамс, переживающий в столкновении с ними критический для своей духовной биографии момент постижения реальности зла, которое прежде существовало для него в нереальном кином мире.

Английский текст рассказа печатается по: *The Short Stories of Ernest Hemingway*. — N. Y., 1953.

На русском языке впервые — Интернациональная литература, 1934, № 1, пер. за подписью Г. К. Х.

Перевод Е. Калашниковой печатался в сборнике «Пятая колонна и первые 38 рассказов» (М., 1939) и других изданиях. Приводится по: Э. Х е м и н г у э й. Собра-

ние сочинений в 4-х т. М., 1968. Т. 1. В переводе имеется ряд незначительных отклонений от оригинала. Все они мотивированы стремлением переводчика сохранить речевые характеристики персонажей и интонацию повествователя, хотя в некоторых случаях предложенные решения представляются не вполне убедительными (например, уменьшение числа повторов словосочетания “bright boy”, которые используются автором не только для речевой характеристики гангстера, но и для увеличения внутренней напряженности текста).

256. Summit — название города в штате Нью-Джерси. Однако, по словам самого Хемингуэя, его Сэммит находится в штате Иллинойс, близ Чикаго, где в 20-е годы активно действовали группы гангстеров и в том числе синдикат наемных убийц.

258. What are you looking at? — инверсия в русском переводе («Ты чего смотришь?») заменяет курсив оригинала.

A Way You'll Never Be

Впервые — в сборнике *Winner Take Nothing*.

Тематически рассказ связан с другими, более ранними рассказами Хемингуэя, посвященными военному опыту Ника Адамса: «На сон грядущий» и «В чужой стране» (сборник «Мужчины без женщин»), в которых герой переживает психологические последствия тяжелого ранения или контузии, а также с миниатюрой из книги «В наше время» (гл. V), где раненый Ник заключает «сепаратный мир».

Как и все произведения Хемингуэя о первой мировой войне, рассказ имеет автобиографическую основу. По словам самого писателя, «Какими вы не будете» — это попытка рассказать о том, что происходило с ним самим «в окопе у Форначи». Ровесник своего героя, Хемингуэй в восемнадцать лет попал на итальянский фронт как водитель машины Красного Креста и 8 июля 1918 г. был

тяжело ранен на реке Пьяве, где тогда шли активные боевые действия. «Я умер, — вспоминал он впоследствии, — я почувствовал, как моя душа или что-то в этом роде вылетела из моего тела, как это бывает, когда вытаскивают из кармана шелковый платочек. Она полетела и вернулась на место, и я уже был жив. Я был в сознании и в то же время полностью оглушен. Наступило какое-то помрачение. Инстинкт заставлял меня ползти сквозь грязь, грохот, взрывы снарядов. Я спрашивал себя: жив ли я? Была только боль и чернота. ...Я хотел бежать, но не мог, как это случается с каждым в ночных кошмарах» (Цит. по: Б. Г р и б а н о в. Хемингуэй. М., 1970. С. 43). Пережитые Хемингуэем «смерть и воскрешение» были осознаны им как важнейшая ступень духовной биографии целого поколения, прошедшего войну, как всеобщая душевная рана. В предисловии к сборнику «Мужчины на войне» он писал: «Когда вы идете на войну мальчиком, вы верите в бессмертие. Других убивают, не вас... Потом после первого ранения вы теряете иллюзии и понимаете, что это может случиться с вами. После тяжелого ранения... мне было очень плохо, пока я не осознал, что со мной не может произойти ничего, что не произошло с другими людьми до меня» (Е. Hemingway. *Introduction*. — In: *Men at War*. — Crown, 1942. P. XII-XIV). Рана — психическая и физическая — становится в творчестве Хемингуэя одним из важнейших и постоянных символов, и ею отмечены почти все его лирические герои — от Ника Адамса и Джейка Барнса до полковника Кэнтвелла, причем обстоятельства ранения и даже место обычно совпадают. Полковник Кэнтвелл, например, так же как и Ник, получает ранение на реке близ Фоссальты и тоже возвращается в эти места. Реальный пейзаж, где Хемингуэй и его герои испытали ужас смерти, приобретает в творчестве писателя характер мифопоэтический: река как граница между жизнью и смертью. Таким образом, в сюжете воспитания Ника Адамса события, описанные в рассказе «Какими вы не будете», являются кульминацией: становление героя завершается, и в последующих

рассказах он уже не претерпевает развития.

Действие рассказа, по-видимому, происходит летом 1918 г. незадолго до того, как в Италию прибыли американские войска. Как явствует из воспоминаний героя, он был добровольцем в итальянской армии и участвовал в сражениях 1917 г., когда австрийские войска прорвали линию обороны итальянцев и отбросили их к реке Пьяве. Чтобы остановить их стремительное наступление, в бой бросали отряды восемнадцатилетних юношей, о чем, вероятно, и вспоминает герой.

Английский текст рассказа печатается по: *The Short Stories of Ernest Hemingway*. — N. Y., 1953.

Впервые на русском языке в переводе И. А. Кашкина — Знамя, 1938, № 7. Перевод многократно переиздавался. Приводится по: Э. Хемингуэй. Собрание сочинений в 4-х т. М., 1968. Т. 1.

274. Nicholas Adams — впервые в цикле рассказов герой здесь назван полным именем — своего рода сигнал, указывающий на его переход в новое состояние.

278. Форнаци — деревушка в Италии на реке Пьяве близ Фоссальты.

280. tessera (ит.) — удостоверение.

282. I'm supposed to have my pockets full of cigarettes and postal cards and such things... I should have a musette full of chocolate — еще одна автобиографическая подробность. Как писал фронтовой друг Хемингуэя, «каждый день Эрнест нагружался шоколадом, сигаретами, почтовыми открытками, садился на велосипед, который неизвестно где раздобыл, и ехал на передовую».

Grappa (ит.) — водка из виноградной кожуры.

286. Savoia — кодированное название одной из операций на итальянском фронте. Упоминается также в романе «Прощай, оружие!».

teleferica house — станция подвесной канатной доро-

ги, которая использовалась на итальянском фронте для эвакуации раненых и доставки боеприпасов (в переводе допущена ошибка).

288. Gaby Delys — сценическое имя Алисы Делисии (1889—1979), актрисы и певицы, звезды парижского мюзик-холла.

Harry Pilcer (1885—1961) — артист театра, эстрады и кино, танцовщик.

The Paris part came earlier — американские новобранцы попадали сначала во Францию. Здесь по пути в Италию Хемингуэй впервые оказался под бомбежкой.

292. Iritrea campaign — имеются в виду колониальные войны Италии в Эфиопии (1894—1896), в результате которых итальянским войскам пришлось покинуть Абиссинию.

...fought in Tripoli — имеется в виду итало-турецкая война 1911—1912 гг. за Триполитанию (ныне Ливия), закончившаяся победой итальянцев.

Carso — город в Альпах, близ которого в 1917 г. проходила линия итало-австрийского фронта.

...the grasshopper... These insects at one time played a very important part in my life — в рассказе «На Биг Ривер-II» Ник Адамс возвращается к своему любимому занятию — ловле форели на кузнечиков, «коричневых, среднего размера».

296. Henry Wilson (1864—1922) — генерал, начальник английского генерального штаба, член Высшего военного совета, образованного 7 ноября 1917 г. в Рапалло.

The Short Happy Life of Francis Macomber

Первоначальное название: *A Budding Friendship*. Впервые — в журнале *Cosmopolitan* (1936, сентябрь). Открывает сборник *The Fifth Column and the First Forty-Nine Stories*; в предисловии к этой книге Хемингуэй

называет «Недолгое счастье» одним из самых любимых своих рассказов.

Английский текст печатается по: *The Short Stories of Ernest Hemingway*. — N. Y., 1953.

На русском языке впервые в переводе Э. Л. Жуховицкой и Г. М. Свободина: Интернациональная литература, 1937, № 3. Перевод М. Ф. Лорие дается по: Э. Хемингуэй. Собрание сочинений в 4-х т. М., 1968. Т. 1.

По наблюдению исследователей, главным литературным источником рассказа была повесть Стивена Крейна «Алый знак доблести», которую Хемингуэй относил к «лучшим произведениям литературы». Вслед за Крейном Хемингуэй исследует психологию страха и его преодоления: путь Макомбера к «недолгому счастью» почти идентичен опыту крейновского героя — солдата Генри.

302. lime juice — сок лайма, растения семейства цитрусовых.

gimlet — коктейль, в состав которого входят джин или водка, подслащенный сок лайма и содовая вода.

308. Swahili — язык народа суахили в Восточной Африке; используется как основа для африканского «лингва-франка», смешанного жаргона, на котором объясняются между собой носители различных языков.

four-letter — устойчивый эвфемизм, заменяющий самые грубые бранные слова в английском языке, которые состоят из четырех букв. Здесь в значении “shit” (дерьмо, трус, ничтожество).

312. Memsahib (англ.-инд.) — госпожа, обращение индуса-слуги к белой женщине.

328. Wakamba — диалект племени. В других случаях африканцы объясняются с белыми на суахили.

330. Bwana (суах.) — на африканском лингва-франка вежливое обращение к мужчине.

332. **shauri** (*суах.*) — дело, договоренность.

340. **...the Martin Johnsons lighted it on so many silver screens** — имеется в виду чета Джонсонов: Мартин Элмер Джонсон (1884—1937), американский писатель, исследователь Африки, получивший в 20-е годы широкую известность благодаря своим книгам и фильмам о дикой Африке, и его жена и соавтор Оза Элен Джонсон (1894—1953), неизменно принимавшая участие в экспедициях.

358. **five-letter woman** — эвфемизм, образованный по аналогии с “four-letter” и заменяющий слово “bitch”, использующееся в рассказе для характеристики героини. Переводчик смягчает грубость этого каламбура.

362. **“By my troth ... is quit for the next”** — слегка сокращенная цитата из хроники Шекспира «Генрих IV» (часть 2, акт III, сц. 2). Эти слова произносит в пьесе один из рекрутов, портной Мозгляк, соглашаясь идти на войну. В предисловии к сборнику «Мужчины на войне» Хемингуэй вспоминает, что в 1917 г. «учился храбрости у одного британского офицера», который цитировал ему тот же отрывок из «Генриха IV».

BERNARD MALAMUD (1914—1986)

Основные прижизненные сборники: «Волшебный бочонок» (*The Magic Barrel*, 1958), «Идиотов пропускают вперед» (*Idiots First*, 1963), «Шляпа Рембрандта» (*Rembrandt's Hat*, 1973), «Рассказы» (*The Stories of Bernard Malamud*, 1983).

Б. Маламуд вошел в литературу в 50-е годы вместе с целой плеядой талантливых писателей еврейского происхождения (С. Беллоу, Н. Мейлер, Ф. Рот, Д. Шварц) — главным образом детей иммигрантов из Восточной Европы. Как заметил известный американский критик И. Хау, этот этнический аналог различных

региональных школ в литературе США генетически и типологически сходен с феноменом «Южного Возрождения»: «В обоих случаях субкультура обретает свой страстный голос в тот самый момент, когда она приближается к распаду. Это момент обостренного самосознания, который дает писателям ряд преимуществ. Он предоставляет в их распоряжение неизбежные темы: оценка того запечатленного в памяти мира, в котором они выросли, любовь и ненависть к нему, цена, которую приходится платить за отрыв от него. Он придает им эмоциональные силы, чей источник — традиционные нормы поведения — кодекс чести у южан, «избранность» у евреев, — которые писатели пытаются сохранить или преодолеть, от которых они бегут, обретая в самой этой борьбе свой словесный дар. Он предлагает им вибрацию старинных легенд, будь то рассказы престарелых конфедератов или жалобы дедушек в ермолках на страшную жизнь при царе. Он очаровывает их ностальгической тоской по былому, более героическому, чем настоящее, тоской, переплетенной с яростным желанием отречься от прошлого» (I. Howe. *World of Our Fathers. The Journey of the East European Jews to America and the Life They Found and Made*. N. Y., 1976. P. 586).

В той или иной степени все еврейские писатели этого поколения (которые, кстати, никогда не составляли организованной группы или направления) были связаны с национальными традициями, с фольклором, с литературой, которая, по замечанию английского критика В. С. Притчетта, «хотя и создавалась на языке «идиш», отмечена сильным славянским влиянием. ...Им знакомо то, что западные тевтоны давно уже забыли: чувства неприкаянности, вневременности и бескрайнего пространства. Они обладают природным богатым воображением, которое черпают из двух источников, а опыт смешанных культур придает легкость и жизнерадостность их стилю» (Диалог — США. 1975, № 1. С. 116). Однако наиболее прочные, кровные связи с еврейской традицией (в частности, с творчеством Шолом-Алейхема) сохранил именно Маламуд, и нигде они так явственно не проявля-

ются, как в его рассказах с их сплавом фантастики и «реальности», с их узнаваемыми персонажами, с их грустным юмором.

The Magic Barrel

Вошел в одноименный сборник.

Особый колорит рассказу придает неправильная речь профессионального свата Пини Зальцмана, который произносит на еврейский лад некоторые английские слова (например, *theyater=theatre*), изменяет порядок слов (например, *I am invited? A sliced tomato you have maybe?*) и т. п. В целом его речевая характеристика соответствует тому, как описывает вторжение идиша в английский язык Лео Ростен, автор остроумной книги *The Joys of Yiddish*.

“1. Blithe dismissal via repetition...

2. Mordant syntax: ‘Smart, he isn’t’.

3. Sarcasm via innocuous diction: ‘He only tried to shoot himself’.

4. Scorn through reversed word order: ‘Already you’re discouraged?’

5. Contempt via affirmation: ‘My son-in-law he wants to be’.

6. Fearful curses...

7. Politeness expedited by truncated verbs and eliminated prepositions: “You want a cup coffee?”

8. Derisive dismissal disguised as innocent interrogation...

9. The use of a question to answer a question to which the answer is so self-evident that the use of the first question (by you) constitutes an affront (to me) best erased either by (a) repeating the original question or (b) retorting with a question of comparably asinine self-answeringness.”

Подобные интонации из идиша проникают (хотя в ослабленной форме) и в речь других персонажей, и даже (едва заметно) в авторскую речь, что виртуозно передано в переводе.

Английский текст печатается по: *The Stories of Bernard Malamud*. N. Y., 1983.

На русском языке впервые в пер. Р. Райт-Ковалевой: Б. М а л а м у д. Туфли для служанки. Рассказы. М., 1967. Текст дается по этому изданию.

386. he ran around in the woods — перевод «весь день он бегал по парку» неверен. **In the woods** — идиома, означающая «в беде, в тревоге, в растерянности».

390. Yiddishe kinder (*идиш*) — букв. еврейские дети.

392. cloven-hoofed Pan — в греческой мифологии Пан — божество стад, лесов и полей, входящее в свиту Диониса. Он козлоног, покрыт шерстью, известен страстием к вину и разгулу.

396. This confession he spoke harshly because its unexpectedness shook him — в переводе эта фраза пропущена.

398. Five Books — Пятикнижие, название пяти первых книг Ветхого Завета, написанных Моисеем.

mea culpa (*лат.*) — моя вина.

JÉROME DAVID SALINGER (род. 1919)

Основной сборник: «Девять рассказов» (*Nine Stories*, 1953). В конце 60-х годов прекратил литературную деятельность.

Из многочисленных рассказов, которые Сэлинджер публиковал в американских журналах на протяжении сороковых — начала пятидесятых годов, жизнь в литературе он сохранил лишь девяти, включив их в свой единственный сборник, и обрек остальные на полное забвение. Причиной столь строгого отбора послужила не только поразительная, граничащая с перфекционизмом, требовательность писателя к форме (а с этой точки

зрения все его девять рассказов безукоризненны), но и сложившаяся к моменту выхода сборника система представлений о целях и задачах словесного искусства, которое, по убеждению Сэлинджера, должно служить средством познания трансцендентной истины, непостижимой рассудком. Поэтому, как отметили исследователи, в книгу вошли лишь такие рассказы, где действие приводит к эпифании, к внезапному озарению, показывающему, с одной стороны, ужас и мрак бессмысленного, механического существования вне этой истины и ее спасительную светоносность, с другой. Уход из жизни героя первого рассказа сборника — знаменитого «Хорошо ловится рыбка-бананка», положившего начало циклу повестей о братьях и сестрах Глассах, — трагедия человека, познавшего истину, но неспособного жить в согласии с ней; уход из жизни героя последнего рассказа «Тедди» — победа духа над плотью, снятие иллюзорного покрывала с реальности, торжество «совершенно-мудрия». Между двумя крайними точками книги развивается ее внутренний сюжет, ее движение от ужаса и отчаяния к полному душевному спокойствию, от гибели — к спасению. И если этически спасение для Сэлинджера немыслимо без традиционных христианских идей служения и сострадания, то гносеологически и онтологически оно осмысливается писателем в понятиях восточной религиозной философии, в первую очередь даосизма и дзэн-буддизма.

Согласно интересной, хотя и не бесспорной концепции И. Л. Галинской, к восточным (точнее, древнеиндийским) поэтикам восходит и сама композиция сборника. В каждом из девяти рассказов, считает исследователь, преобладает то «главное чувство», которое, по древнеиндийскому канону, должно возбуждать у читателя одно из девяти «поэтических настроений» (раса), причем принятая в подобных классификациях последовательность строго соблюдается (см.: И. Л. Г а л и н с к а я. Философские и эстетические основы поэтики Дж. Д. Сэлинджера. М., 1975. С. 26—30). Соответственно, «в буквальном смысле рассказов помимо реалистичес-

кого их содержания имеется и смысл затаенный, не только как констатация невозможности рассудочного решения жизненных проблем, а как идеалистическое утверждение существования двух миров — явного и скрытого, материального и духовного, реального и ирреального» (там же. С. 32).

По-видимому, в увлечении Сэлинджера восточными философиями и следует искать объяснение его неожиданного ухода из литературы. Ведь он не только принял их основные принципы, но и стремился жить, руководствуясь ими, и потому не мог в конце концов не восстать против самого языка как орудия познания мира. Уже в повестях о Глассах, приближающихся по жанру к религиозной притче, ощутимо авторское недоверие к собственному слову и к языку вообще, ибо он, как сказано в любимой Сэлинджером древнекитайской книге «Чжуан-цзы», в состоянии передать лишь «грубую сторону вещей», но не подлинную реальность, которая, по определению, неназываема и невыразима: «Знающий не говорит, говорящий не знает. Поэтому совершенномудрый осуществляет науку безмолвия. Дао нельзя постичь при помощи слов... Рано или поздно Сэлинджер, всегда стремившийся «постичь дао», должен был прийти к мысли о несовместимости литературного творчества с «совершенномудрием» и по логике развития предпочесть «науку безмолвия».

De Daumier-Smith's Blue Period

Впервые — в лондонском журнале *World Review* (1952, май). В сборнике «Девять рассказов» занимает восьмую позицию и, по древнеиндийской классификации (см. выше), должен передавать «настроение удивления», причем его «главное чувство» — откровение. Этим требованиям вполне соответствует главное событие рассказа — мистическое озарение в духе близкого Сэлинджеру учения дзэн-буддизма о сатори (внезапном просветлении), которое испытывает герой.

В названии обыгрываются два значения словосоче-

тания «голубой период» (по аналогии с утвердившимся в искусствоведении наименованием определенного периода в творчестве П. Пикассо) и «дурные времена» (от “blue” — дурной, скверный, грустный, тоскливый).

Английский текст печатается по: J. D. Salinger. *Nine Stories. Franny and Zooey. Raise High the Roof Beam, Carpenters*. М., 1982.

На русском языке впервые: Новый мир, 1963, № 11; в пер. Р. Райт-Ковалевой. Дается по: Дж. Д. С э л и н д ж е р. Над пропастью во ржи. Повести. Девять рассказов. М., 1983.

416. the Wall Street Crash — см. коммент. к с. 174.

independent American art galleries — в переводе допущена неточность. Как явствует из контекста, речь идет не о галереях американской живописи, а об американских картинных галереях.

418. pompadour — перевод не вполне точен; имеется в виду не чуб, спускающийся на лоб, а «кок», стоящий торчком надо лбом.

de bon goût (фр.) — в хорошем тоне.

game of Musical Chairs — игра, в которой участники бегают вокруг стульев, число которых на один меньше числа играющих. По команде играющие стараются занять места на стульях; оставшийся без места выбывает и т. д.

420. Harvard Classics — знаменитое 50-томное издание шедевров мировой литературы, выпущенное в США в 1909—1910 гг. под редакцией президента Гарвардского университета Чарльза У. Элиота (1834—1926).

422. Cambridge — здесь имеется в виду пригород Бостона, где находится Гарвардский университет.

after-you-Alphonse relationship — аллюзия на серию юмористических рисунков американского художника Фредерика Оппера (Oppen, 1857-1937), постоянные персонажи которой — французы Альфонс и Гастон — от-

личались преувеличенной вежливостью.

fortement (*фр.*) — настойчиво.

Les Amis Des Vieux Maîtres (*фр.*) — «Друзья старых мастеров».

424. Honoré Daumier (1808-1879) — французский график и живописец, мастер острогротескного рисунка.

gagné (*фр.*) — привлекли.

ulcération cancéreuse (*искаж. фр.*) — раковая опухоль.

résolution (*фр.*) — решение.

très pressé (*фр.*) — срочно.

overlay tissue paper — папиросная бумага.

special-delivery stamp — марка курьерской почты.

432. Sax Rohmer's Fu Manchu books — английский писатель Сакс Ромер (псевдоним Артура Сарсфилда Уорда, 1886—1959), создал серию популярных приключенческих романов-боевиков, главный герой которых — «непроницаемый злодей» (*inscrutable villain*) Фу Манчу — ведет длительную борьбу со своим постоянным преследователем, элегантным джентльменом Нейландом Смитом (отсюда, вероятно, вторая часть выдуманной фамилии героя рассказа).

le pauvre Picasso (*фр.*) — бедный Пикассо.

M. Picasso, où allez-vous? (*фр.*) — Куда вы идете, мэтр Пикассо?

434. "Les Saltimbanques" (*фр.*) — «Бродячие акробаты», одна из самых известных картин Пикассо (1905).

436. Presbyterians — см. коммент. к с. 14.

en masse (*фр.*) — целиком.

Oui! (*фр.*) — Да!

Sulka tie — по-видимому, галстук-шнурок (по названию одного из папуасских племен).

B. V. D's — мужское нижнее белье (по названию распространенной фирменной марки).

442. spirit gum — театральный клей.

444. Walt Disney (1901-1966) — прославленный американский художник-мультипликатор, режиссер, продюсер, создатель множества рисованных фильмов для детей.

“Forgive Them Their Trespases” — перифраза новозаветной формулы (см., например, Матф., 6, 14—14; Марк, 11, 25 и т. п.).

446. Sargent — американский художник Джон Сингер Сарджент (1856—1925).

“Titan” (*искаж.*)=Titian — Тициан.

“Sweet Sue” or “Let Me Call You Sweetheart” — популярные в США между двумя мировыми войнами песенки.

450. Christ being carried to the sepulchre in Joseph of Arimathea’s garden — новозаветный сюжет: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвинил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба» (Матф., 27, 57—61). Согласно Евангелию от Иоанна, тело Иисуса было положено во гроб не в скале, а в саду Иосифа (19, 41).

the women of Galilee — согласно Евангелию от Луки (23, 55), «ко Гробу Господню Иосифа из Аримафеи сопровождали женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи».

452. sans (*фр.*) — без.

Toward dinner time — перевод «в обеденный перерыв» неверен; *прав.* незадолго до обеда.

a lulu (*сленг*) — замечательная, великолепная вещь (или человек).

456. a long shot — очевидно, в данном контексте этот фразеологизм употреблен не в том значении, которое выбрал переводчик, а в том, которое дает «Словарь американского сленга»: “a scheme with little chance of success but with potentially great returns if success should occur” (т. е. рассказчик понимает, что имя Антонелло да Мессины скорее всего ничего не скажет его корреспондентке, но все же задает вопрос о нем, ибо картина монахини вызвала у него прямую ассоциацию с этим художником).

Antonello da Messina (ок. 1430—1479) — итальянский художник, один из величайших мастеров раннего Возрождения. Его картины на священные сюжеты отличается внимание к миру «малых вещей», слияние земного и сакрального.

St. Francis of Assisi (1182-1226) — один из самых известных католических святых, канонизированный в 1228 г.; основатель ордена францисканцев. О нем сложено множество легенд, одна из которых и приводится ниже. Она относится к последним годам жизни Св. Франциска, когда, изнуренный скитаниями, постом и болезнями, он начал слепнуть, и ему прижгли бельмо на глазу раскаленным железом.

458. ...the young lady in the foreground in the blue outfit is Mary Magdalene? — на знаменитой картине Антонелло да Мессины «Распятие» изображена Мария Магдалина в голубых одеждах, сидящая у креста.

460. volumes 36, 44, 45 of the Harvard Classics — в т. 36 «Гарвардских классиков» (см. коммент. к с. 420). включены сочинения Н. Макиавелли («Князь»), Т. Мора («Утопия») и М. Лютера («95 тезисов» и «К христианскому дворянству немецкой нации»). В т. 44—45 входят основные священные тексты всех мировых религий.

464. bill-filling — подходящий (от “to fill the bill” — отвечать какой-либо цели, назначению).

466. Peter Abelard-type man — Пьер Абеляр (1079—

1142), выдающийся французский богослов, возглавивший рационалистическое направление в схоластике и многократно подвергавшийся преследованиям за свои взгляды. Самая яркая страница в его биографии — любовь к Элоизе, его юной ученице, племяннице каноника Фулберта. Их тайная связь, а затем и тайный брак длились недолго — оскорбленные родственники Элоизы составили заговор против Абеяра и жестоко надругались над ним, после чего возлюбленные приняли монашеский постриг.

476. the difference ... is only a vertical one — т. е. различие, как между начальником и подчиненным.

the average, highstrung, Sunday leper-kisser — заурядный псих, неумело, по-любительски, лобзающий прокаженных; **Sunday (сленг)** — любительский, неумелый, неподлинный; перевод неточен.

sorties (фр.) — вылазки, выходы, излияния.

FLANNERY O'CONNOR (1925—1965)

При жизни Фланнери О'Коннор увидел свет только один сборник рассказов: «Хорошего человека найти не легко» (*A Good Man is Hard to Find*, 1955). После смерти писательницы вышел второй, составленный ею самой сборник «Все, что поднимается вверх, должно сойтись воедино» (*Everything That Rises Must Converge*, 1965).

Фланнери О'Коннор родилась в католической семье, получила католическое образование и до конца жизни оставалась католичкой. Для писательницы католицизм не только факт биографии, но прежде всего способ постижения трансцендентной истины, которую можно было бы противопоставить бездуховности современного общества.

Католицизм О'Коннор усложнил ее позицию писательницы «южной школы», поскольку американский Юг, о жизни которого она писала, был почти исключи-

тельно протестантским. Вместе с тем ориентация О'Коннор на южный материал в своей основе не противоречила ее религиозным исканиям и даже поддерживала их, так как именно на американском Юге общественное сознание смогло сохранить пиетет по отношению к Писанию и основным догматам христианства.

В своем творчестве О'Коннор руководствовалась концепцией «глубинного реализма», согласно которой в литературном произведении «конкретное время и пространство должны пересекаться с вечностью». Иначе говоря, элементы существующей в сознании писательницы метафизической картины мира должны как бы «просвечивать» сквозь изображение, придавая ему некое «дополнительное измерение».

Способность узреть сакральное в реальном О'Коннор считала необходимой для писателя. Исходя из этого представления, она выстраивает каждый свой рассказ таким образом, что под пластом реальности в нем открывается глубинный уровень, который она, вслед за средневековыми экзегетами, называет анагогическим. Художественные средства, используемые писательницей для выхода на этот анагогический уровень, разнообразны: деталь, аккумулирующая дополнительные значения и перерастающая в символ, значимые имена и названия, библейские аллюзии и цитаты, общехристианская символика.

Разъясняя свою концепцию «глубинного реализма», О'Коннор обращает особое внимание на то, что часто писатель, стремясь проникнуть в суть явления, найти разгадку его внутреннего смысла, изображает события странные, единичные, неожиданные, «которые мы не привыкли наблюдать ежедневно». Изображение событий, ситуаций, поступков, не укладывающихся в привычные схемы обыденного сознания, по мысли писательницы, должно преодолеть инерцию восприятия и, шокируя читателя, заставить его прозреть, увидеть в жизни зло, к которому он привык настолько, что стал считать его естественным. Именно поэтому основным художественным приемом О'Коннор становится гро-

теск; именно поэтому большинство ее зрелых рассказов заканчиваются сценами насилия и смерти.

Judgement Day

Завершает сборник *Everything That Rises Must Converge*. Над сюжетом рассказа писательница работала много лет: «Судному дню» предшествовали два варианта — «Герань» (*The Geranium*, 1946), первый опубликованный рассказ О'Коннор, и «Изгнанник на Востоке» (*An Exile in the East*), о котором она упоминала в одном из писем. Если в первом варианте рассказа герой остается жив, то в двух последних можно обнаружить типы развязки, характерные для поздней новеллистики писательницы: смерть героя в результате самоубийства («Изгнанник») и насильственная смерть («Судный день»).

Английский текст печатается по: Flannery O'Connor. *The Complete Stories*. — N. Y., 1972.

На русском языке впервые в пер. А. Кистяковского: Новый мир, 1974, № 1. Текст дается по: Фланнери О'К о н н о р. Хорошего человека найти не легко. Рассказы. М., 1974.

В переводе имеются некоторые отклонения от оригинала, связанные с трудностями передачи просторечья, которым изобилует рассказ; в комментариях они особо не отмечаются.

494. He had had Coleman on his back for thirty years — в одном из писем О'Коннор так прокомментировала эту фразу: "As for the 'on his back' business — that's a cherished Southern white assertion — that the Negro is on his back and in way it's quite true". (*The Habit of Being. Letters of Flannery O'Connor*. — N. Y., 1979. P. 593.)

504. "The sheep'll be separated from the goats..." — новозаветная аллюзия. См.: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей ... и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет

овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов — по левую» (Матф., 25, 31—33).

512. we could find us a pond, Preacher — Тэннер, желая подружиться с темнокожим соседом, хочет пригласить его поудить рыбу в пруду. Перевод “pond” как «купель» меняет весь характер его обращения к соседу, придавая ему отсутствующий в оригинале оскорбительный оттенок.

520. “The Lord is my shepherd,” he muttered, “I shall not want” — цитата из Псалтири (23, 1; в православной традиции: 22, 1).

А. А. Долинин, Г. В. Лапина

Американская новелла XX века

Сборник

(На английском языке с параллельным русским текстом)

Составитель Галина Васильевна Лапина

Издательский редактор В. Я. Бонар
Художник А. О. Семенов
Художественные редакторы П. В. Иващенко, А. Г. Тончинская
Технический редактор И. К. Дергунова
Корректор Е. В. Солнцева

ИБ № 4738

Сдано в набор 15.12.88. Подписано в печать 06.10.89. Формат 84×108^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура эксцельсиор. Печать офсетная. Услови. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 62,68. Уч.-изд. л. 27,80. Тираж 50 000 экз. Заказ № 2938. Цена 3 р. 20 к. Изд. № 5442.

Издательство «Радуга» В/О «Совэксспорткнига» Государственного комитета СССР
по печати

119859, Москва, ГСП-3, Zubovskiy bulvar, 17

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 170024, Калинин, пр. Ленина, 5.